

**В редакцию
не вернулся...**



1944

43 1945

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас... Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус Фучик.
«Репортаж с петлей на шее»



В редакцию **не вернулся...**

КНИГА ПЕРВАЯ

Издание второе



Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва • 1972



002

B11

Составители
П. Д. КОРЗИНКИН, А. И. ЛАНГФАНГ

Слышишь, как порохом пахнуть стали
Передовые статьи и стихи?
Перья штампуют из той же стали,
Которая завтра пойдет на штыки.

Константин Симонов



Юрий Жуков

«ПУСТЬ НЕ БУДЕТ СКИДОК НИКОМУ И НИКОГДА»

...Пусть, когда дело идет о жизни—а искусство—это есть жизнь,—не будет скидок ни на молодость, ни на старость, ни на заслуги и ордена, пусть не будет скидок никому и никогда.

Сергей Диковский



Много лет—да, уже более тридцати—прошло с того злого дня, когда военный телеграф принес эту скупую, горькую весть: во время боевой операции на Ухтинском направлении погибли военные корреспонденты «Правды» писатели Сергей Диковский и Борис Левин. Не раз—увы, много раз!—с той поры приходили такие скорбные известия с войны, и многие имена, дорогие и близкие каждому из нас, пришлось заключить в суровую траурную рамку. Эти жертвы были самыми первыми: так в канун решающего боя уходят вперед разведчики и минеры, прокладывающие путь частям,—впереди колющая проволока, впереди мины, волчьи ямы, впереди бодрствующий, не спугнутый, еще сильный враг, и не так уж велики шансы выжить у тех, кто первыми покидают обжитой окоп, уходя навстречу опасности. Тем большей признательностью платят остальные солдаты людям, идущим впереди, и тем крепче помнят о них, если не суждено им вернуться с боевого задания...

Был бы наверняка сейчас Сергей Диковский большим писателем, видным публицистом, автором увлекательных

книг,— чертовски много обещал талант этого человека! Но чудес на свете не бывает, люди, не вернувшиеся с боевого задания, остаются навечно там, где застал их последний час. И быть Сергею вечно тем молодым человеком, каким сохранился он в памяти его друзей: никакой внешней солидности, худощавое, смуглое мальчишечье лицо, всегда освещенное умной, немного иронической улыбкой, и чудесные, с хитрецою, проницательные и жадные до наблюдений глаза — глаза следопыта, который никогда не успокоится, пока не узнает, не выведает все тонкости, все детали, все подробности того.

В сущности говоря, Диковский всю свою жизнь был именно таким, жадным до впечатлений, разведчиком и следопытом. «О себе могу сообщить следующее,— написал он в 1938 году в своей коротенькой, на полстранички, автобиографии.— Сын художника. Родился в Москве. Детство провел на Украине. Половину жизни (16 лет) провел на колесах. Был курьером, хористом в опере, расклейщиком афиш, носильщиком на вокзале, библиотекарем, комсомольским работником, репортером, фельетонистом, суперкарго, студентом японского факультета во Владивостоке. Служил в ОКДВА (во время конфликта на КВЖД ¹)... 16 лет путешествую по земле, воздуху и воде в поисках настоящей книги о настоящих людях. В качестве корреспондента «Комсомольской правды» и «Правды» был в Мурманске, в Кара-Кумах, на Камчатке, в Маньчжурии, Карелии, на Алтае, в горах Сихотэ-Алиня, в странах Скандинавии, на Каспии, Балтике, Азовском и Черном морях, но больше всего меня привлекает Дальний Восток — край необжитый, просторный, где растут по соседству виноград, березы и ели, где работать трудно и радостно. На Дальний Восток к рыбакам, угольщикам, лесорубам, охотникам, к отважным бойцам-пограничникам ездил шесть раз и, вероятно, снова поеду...»

В этих строчках весь Диковский — человек поразительной энергии и трудоспособности, готовый отправиться на край света за новыми и новыми деталями, способными сделать еще более яркими и убедительными образы тех настоящих людей, которые всегда были героями его книг. Немало есть у нас непоседливых журналистов и писателей, неумоимо путешествующих по белу свету в поисках инте-

¹ ОКДВА — Особая Краснознаменная Дальневосточная армия. КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога.

ресных людей и интересных событий,— честь им и хвала. Но Диковский отличался от многих своей особой целеустремленностью и, я бы сказал, цепкостью. Куда бы он ни ехал, в какую бы обстановку ни попал, с какими бы людьми ни повстречался,— он ко всему и ко всем подходил со своей особой мерой. Он никогда не удовлетворялся беглым знакомством. Он очень редко вынимал из кармана блокнот. Диковский был способен терпеливо перебрать несколько десятков собеседников — и притом отнюдь не как навязчивый интервьюер, а именно как собеседник, приятный и занимательный,— пока не нападет на настоящую крупницу золота, которая потом заблещет теплым светом в очерке или рассказе. И чаще всего он находил такие крупницы на своем любимом Дальнем Востоке.

Вспоминается сейчас наша добрая «старая» «Комсомольская правда» — задорный коллектив молодых людей, составлявших ее редакцию в ту эпоху, когда Горький назвал «Комсомолку» самым живым и талантливым органом нашей прессы,— на тридцатилетних в этом коллективе глядели как на безнадежных стариков. Тесные клетушки на третьем этаже старого дома в Малом Черкасском переулке. Играющие под ногами, протертые чуть не насквозь половицы. Вечно горящий световой плакат у входа в крохотный зал: «Тише! Идет совещание»,— никто на этот плакат не обращает внимания, и вокруг стоит постоянный галдеж. Длинный, узкий коридор, прозванный почему-то «улицей радости», и продавленный ветхий диван в углу, оккупированный веселой компанией разъездных корреспондентов — Михаил Розенфельд только что закончил какой-то экстравагантный перелет, Николай Маркевич опять улетает в Среднюю Азию, Сергей Диковский вернулся из дальнего и длительного рейса по таежным пограничным заставам. Сергей даже одет в гимнастерку с зелеными петлицами и явно гордится ею — ведь это подарок «оттуда».

Все трое молоды и веселы, и у каждого впереди еще около десяти лет жизни: Диковскому суждено погибнуть в снегах Финляндии, Розенфельду — в жарких боях под Харьковом, Маркевичу — во время воздушнодесантной операции на северо-западе России. Все трое — жизнерадостные и немного озорные. Розенфельд красочно рассказывает о том удивительном зрелище, которое он увидел вчера поздно вечером на «улице радости»: все сотрудники уже ушли, и вдруг раздалось заунывное посвистывание; Розенфельд,

задержавшийся случайно за работой, выглянул в коридор и увидел, что седой ночной сторож — большой оригинал, который всем нам показывал свое удостоверение члена «Общества друзей кремации», наигрывает на какой-то трубочке, а вокруг него — полтора десятка жирных крыс; их водится в нашем доме великое множество еще с той поры, когда здесь помещались лабазы китайгородских оптовых купцов...

Сергей Диковский как будто бы внимательно слушает эту экстравагантную историю, но по глазам его видно, что мысленно он далеко отсюда: Сергей весь поглощен предстоящей большой и трудной работой.

— Как же мне назвать все это? — вдруг спрашивает он. — Советуют так — «Стой! Кто идет?». Пожалуй, для газеты это неплохо. Ну а если из этого получится книжка? Лучше взять самое спокойное и непритязательное название. Пусть это будет «Застава N». Не надо навязывать книгу читателю. Уж если он возьмет ее даже в скромной одежке, значит, его по-настоящему заинтересует тема...

Диковский не скрывает, что он очень доволен поездкой. Он говорит, что ему пришлось объехать десять застав и «самым основательным образом» познакомиться с тридцатью четырьмя командирами, пока он нашел наконец заставу и человека, которые ему были нужны. Облюбовав приглянувшуюся ему «точку», Диковский обосновался на заставе всерьез и надолго. Он выходил с бойцами в наряды, участвовал в преследовании нарушителей границы, внимательно наблюдал боевую учебу. То, что он делал, казалось, далеко выходит за пределы обязанностей корреспондента. Но именно таким путем, вживаясь в жизнь заставы, Диковский сумел отыскать то, чего никогда не сыщет самый опытный литератор, если он ограничится беглым знакомством с людьми, о которых собирается писать.

— Теперь я могу со спокойным сердцем засесть за очерки, — говорит он. — Мне не будет совестно перед пограничниками...

Так рождается ставшая впоследствии широко известной серия очерков-рассказов «Застава N». Потом Диковский рассказывал, что ему почти не понадобились блокноты с записями, когда он писал свои очерки, — настолько он сжился со своими героями, они стояли перед ним как живые.

И так — везде и всегда. Путешествовал ли Диковский по пескам Кара-Кумов с участниками знаменитого автопробега,

отправлялся ли он на парусной яхте в поход вокруг Скандинавии с ленинградскими спортсменами, ехал ли к строителям Харьковского тракторного завода или к золотоискателям Восточной Сибири,— он прежде всего заботился о том, чтобы его не приняли за стандартного «человека с блокнотом», который сначала запишет, потом напишет. Он искал и находил общий язык с любым человеком, незаметно вникая во все подробности его жизни. И когда он садился, наконец, писать, то прежде всего тщательно отбирал лишь типичные, правдивые, жизненные детали, а все наносное, случайное отбрасывал, даже если среди этих случайных подробностей и были внешне эффектные вещи.

С каким негодованием рассказывал он о писателе, который, приехав в Восточную Сибирь на золотой прииск, долго отыскивал приискателя в плисовой рубашке с кушаком, а не найдя его, ударился в другую крайность: обрадовался, что на столе у шахтера-забойщика лежит томик Шекспира.

— Шахтер этот был малограмотен,— говорил Диковский.— Шекспира читал не он, а его сын, ученик десятилетки. И писать следовало не о забойщике и Гамлете, а о том, что, несмотря на свою малограмотность, этот старый рабочий пытается с помощью сына сочинить книгу, в которой хочет рассказать об опыте, накопленном им на приiske, где он проработал десятки лет...

Еще резче высмеивал Диковский литераторов, порхающих с одного «объекта» на другой без мысли в голове, озабоченных лишь тем, как бы погуще начинить свои записи «цифрами и фактами» и вовсе не думающих о том, что главное — в очерке ли, в рассказе ли — идея, которую вкладывает в свое произведение автор. Если в произведении писателя нет идеи, то его не спасут ни бухгалтерские выкладки, ни цитаты, ни всяческие словесные узоры, вроде «отяжелевшего солнца», «смуглых тел молодых яблонь» или «дымчатой паутины синей мглы».

У самого Диковского идея всегда была тем главным, ведущим, животворным началом, благодаря которому все то, что он успел написать за свою недолгую жизнь, приобрело поразительную жизненную стойкость. Сколько книг, больших и малых, поблекло, состарилось, умерло за эти годы! А раскройте вы «Железную утку», «Патриоты», «Команданта птичьего острова», да что там, перечитайте газетные очерки и корреспонденции, щедро рассыпанные Диковским по страницам «Комсомольской правды» и «Правды», и вам

в лицо пахнёт бодрящей свежестью. Вы не увидите морщин на лицах героев Диковского. Они сохраняют свою молодость, и новое поколение знакомится с ними как со своими ровесниками. Так еще раз оправдывается старая мудрость: талантливое — вечно.

И чем глубже вникаешь в произведения, оставленные нам этим по-настоящему талантливым человеком, тем ярче разгорается перед тобою основная идея, одухотворяющая все, что написано им. Это идея служения Родине и готовности защищать ее до последнего дыхания. Для Диковского эта идея не была формулой, которая еще ждет своего решения применительно к определенному, «роковому» часу. И не случайно сам он оказался на переднем крае фронта в первые же часы первой битвы — он нетерпеливо рвался туда, как прошедший боевую выучку обстрелянный солдат, знающий свое место в бою. И когда в суровый зимний вечер 1940 года, получив роковое известие, Валентина Диковская, задыхаясь от острого горя и слез, в десятый раз рассказывала друзьям, как спешил Сергей явиться к месту назначения, как, собравшись наскоро и даже не захватив валенок, бежал он за вагоном тронувшегося поезда — «а калошка-то спадывает...» — добавляла она горестно, по-женски, — мы испытывали смешанное чувство: было невыразимо горько сознавать, что этого замечательного человека уже нет, но, с другой стороны, уже в эти часы перед нами вырастал образ, которым нельзя было не любоваться и не гордиться. Всей жизнью, а не только книгами своими Диковский показал сверстникам величие идеи, поборником которой он был.

Эта идея и сделала его тем большим писателем, каким знаем его мы и каким будут знать его наши дети. Его писательская биография началась на поле боя — в Маньчжурии в 1929 году, когда Особая Дальневосточная армия дала отпор белокитайским налетчикам, действовавшим по наущению некоторых государств. Именно там 22-летний сотрудник армейской газеты «Тревога» Диковский впервые увидел зарево войны и понял всю остроту и жизненную необходимость военно-патриотической темы в литературе. Тогда и родились его первые, пусть еще не совершенные рассказы: «В осином гнезде», «Бой», «Когда умолкли пушки». И с той поры до последних дней своих он не устал развивать патриотическую тему в своих произведениях — с каждым годом все ярче, все сильнее, все с большей зрелостью.

Диковскому не довелось участвовать в великих битвах 1941—1945 годов. Ему не пришлось побывать ни в Чаньчуне, ни в Северной Корее, ни в Токио. Но перечитайте страницы его повести «Патриоты», написанной еще до событий у озера Хасан, перечитайте его рассказы о пограничниках, и вы увидите прекрасное воплощение чудесной силы предвидения, которую дают художнику лишь тесное общение с жизнью, с людьми и непоколебимая вера в силу этих людей. Страницы, посвященные боевым столкновениям пограничников с японскими провокаторами, в точности соответствуют сотням и сотням боевых эпизодов, свидетелем которых Диковскому быть уже не привелось. Его герои продолжали и продолжают жить и действовать после смерти писателя — ведь они перешли в его книги из самой жизни.

Писатель непоколебимо верил в силы своих героев, и он знал, каков будет исход борьбы, которая рано или поздно неизбежно должна была начаться у рубежей его страны, и в частности у рубежей столь милого его сердцу Дальнего Востока.

Зная, что эта борьба неминуема, он заблаговременно пристально изучал врага. Сделать это было не так просто — Диковскому ни разу в жизни не привелось побывать в Японии. И тем не менее он так хорошо узнал Японию и японцев, что самые опытные японоведы только разводили руками: откуда у этого молодого человека такое глубокое знание материала? Он изучал не только японский язык и японскую военную литературу. Он знал быт Японии, ее нравы, знал характеры людей, принадлежащих к различным классам японского общества. И его рассказы о Японии и японцах — такие, как «Госпожа Слива» или «Труба», — сделали бы честь писателю, долгие годы прожившему в Японии.

В повести «Патриоты» перекрещиваются судьбы двух основных действующих лиц — советского пограничника Коржа и японского солдата Сато. Это ровесники: оба они из крестьян, оба — люди труда, оба становятся солдатами одновременно. Но какая огромная пропасть разделяет их! Андрей Корж — хозяин своей страны, веселый, чудесный парень «из той славной породы людей, без которых гармонь не играет, пиво не бродит и девчата не смеются». В армию он приходит с известной стройки, он знаменитый бригадир маляров. К своим двадцати двум годам этот парень «успел выкрасить четыре волжских моста, два теплохода, фасад Дома Союзов, шесть водных станций, решетку зоосада и не меньше тысячи

крыш». В этой коротенькой, своеобразной авторской ремарке отражена эпоха, которой жили автор и его герои,— эпоха пятилеток. А вот — Сато, воспринимающий свое превращение в солдата как переход из одного подневольного состояния в другое, еще более подневольное. Он привык к неволе сызмальства: в детстве Сато боялся отца, потом боялся учителя, потом боялся хозяина туковарни, теперь он боится старших солдат и ефрейтора, который зовет его «рыбьей головой». Но служба есть служба, и Сато усердно выполняет все приказы. По образному выражению командира советской пограничной заставы Дубаха, японский патриотизм «вкопан в землю насильно, как столб». И когда в бою сталкиваются люди этих двух миров, победа, естественно, остается не за теми, чья дисциплина покоится на животном страхе, а за теми, кто сознательно выполняет свой долг.

Эта повесть встретила теплый прием у читателей и критики. Но сам Диковский остался ею недоволен. Отправившись в новую поездку на Дальний Восток, чтобы еще ближе познакомиться со своими героями, он писал литератору, который в своей рецензии на его книгу сделал несколько критических замечаний:

«У меня были свои трезвые мысли насчет повести... Многое казалось литературным, фальшивым, раздражало голой утилитарностью и скудостью мыслей... Меня нисколько не утешает, что повесть встречена хорошо. Будь я моложе и простодушней, непременно стал бы добрым и спокойным литературным меринком, но, к счастью, я очень люблю Гоголя. Всегда, когда хочется взять аванс или согласиться на что-нибудь бездумное, легкое, вспоминается строгий гоголевский «Портрет». Как это у него?..»

И Диковский процитировал мудрые и жестокие строки: «Сначала художника бросали в пот такие требования: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец, он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот. Кориной ли, Ундиной, Аспазией желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей

кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением».

«Вот повесть, — добавил Диковский, — которую нужно глотать как хину после хвалебной рецензии...»

Подвергнув критике казавшиеся ему недостаточно убедительными образы «Патриотов», он заявил, что хочет написать «книгу с характерами — такую, чтобы вырвалась из-под пера, прыгнула со стола и сама пошла по улице... Такую книгу я сделать обязан», — подчеркнул он.

Проявляя столь суровую взыскательность к себе, Диковский с полным правом призывал всех литераторов относиться к своей работе с суровой, непримиримой требовательностью. Многие до сих пор помнят такую неожиданную, яркую и страстную речь этого молодого писателя на общемосковском собрании литераторов 20 апреля 1939 года — речь, в которой он без всяких околичностей критиковал произведения ряда видных писателей, художников, кинематографистов.

— Отвечать съезду партии, вдохновителю всего народа, можно только работой. И вот о нашей работе, об ее светлых и теневых сторонах нам следует говорить так же откровенно, беспощадно, смело, как говорили на съезде о хозяйственных и партийных делах, — сказал Диковский. — ...Не следует забывать, что в арсенале наших врагов был не только меч, но и та же розовая краска, которой они старались закрасить, залакировать, скрыть нечестное, грязное...

Это была суровая, прямая и резкая речь. И в то же время — какой горячей верой в творческие силы советской литературы была проникнута она!

— У нас есть все для того, чтобы работать хорошо, — заявил Диковский в заключение. — Мощный аппарат издательств, кино, театры, способные выполнить самый дерзкий, самый смелый замысел автора. Есть миллионы друзей-читателей, есть партия, направляющая нас крепкой и заботливой рукой.

И пусть, когда дело идет о жизни, — а искусство это есть жизнь, — не будет скидок ни на молодость, ни на старость, ни на заслуги и ордена, пусть не будет скидок никому и никогда.

Будем же почаще вспоминать, друзья, эти хорошие, согретые нерушимой верой в творческие силы советского человека слова! И пусть действительно не будет скидок никому и никогда!

ПИСАТЕЛЬ-ВОИН

— Пять тысяч выправленных военкоровских заметок и рабкоровских писем — это, пожалуй, стоит большой книги, — сказал однажды Сергей Диковский.

Он сказал это в Хабаровске, когда работал в партийном отделе армейской газеты «Тревога», правил заметки и никак не мог вырвать время, чтобы засесть за книгу, которая уже просилась на бумагу. Однако в течение своей короткой жизни, работая в разных редакциях, он успел и выправить эти «пять тысяч заметок» и написать несколько больших, по-настоящему талантливых книг.

Диковский погиб 6 января 1940 года, когда ему было всего 32 года. Это произошло в бою под Суоми-Сальми. Он погиб, едва промолвив свое первое слово в русской литературе. Но слово это еще долгие годы будет жить среди советских людей. Оно будет жить всегда.

Во всех биографиях Сергея Диковского говорится, что свой путь в журналистике он начал в 1925 году, работая репортером в газете «Красное Черноморье», а затем фельетонистом в газете московских комсомольцев «Молодой ленинец».

На самом деле этот путь начался гораздо раньше.

В первой половине 20-х годов Сергей Диковский воспитывался в подмосковном детском доме «Молодая гвардия» на станции Жаворонки. Этому детскому дому «повезло» на будущих литераторов: кроме Диковского здесь выросли также писатели Борис Лихарев и Дмитрий Левоневский. Здесь, еще на школьной скамье, и начал свой путь в журналистике Сергей Диковский.

Он посылал заметки в школьную многотиражную газету «Радио», издававшуюся в московском детском доме имени Карла и Розы. С годами газета росла, была переименована в «Школьную правду», стала органом МК комсомола и распространялась по детским домам многих городов страны: она печаталась тиражом пять тысяч экземпляров. Весной 1925 года на базе «Школьной правды» была создана «Пионерская правда», первый номер которой вышел 6 марта.

Вот в этой школьной, полностью самостоятельной, или, как сказали бы теперь, выпускавшейся на общественных

началах, газете «Радио» и начал журналистский путь Сергей Диковский.

От школьной многотиражки до большевистской «Правды» — таков этот путь. И хотя Диковский погиб в самом начале своей многообещающей писательской деятельности, молодость не помешала ему проявиться как литератору исключительного мастерства, большого опыта и глубоких жизненных наблюдений. Все это дала ему работа в газете.

Годы своей журналистской юности Сергей отдал «Молодому ленинцу». Он делал здесь все: давал хронику, писал рецензии и фельетоны, отчеты, зарисовки, очерки. Следуя тогдашней моде, Сергей подписывал свои фельетоны непонятным псевдонимом: «В. Дриль». Об этом периоде жизни Диковского еще почти ничего не написано. А именно в «Молодом ленинце» вместе с Колей Кабановым (он подписывался «А. Том») Сергей напечатал свой первый роман, разумеется приключенческий, и тоже под псевдонимом. Это была «проба пера» уже не в журналистике, а в литературе, хотя и не очень удачная.

Часто, окончив работу в редакции — тогда она помещалась в Столешниковом переулке, — мы бродили по ночной Москве, переживая события бурного редакционного дня, строя планы на будущее. Шли длинными, путаными маршрутами и обычно выходили на Тверскую, к памятнику Пушкину. Нас с Сергеем связывала общая судьба — оба росли в детских домах, обоим было по 18 лет...

Потом Сергей уехал на Дальний Восток. Работал в радиоредакции, ездил, много писал. Мы снова встретились в 1929 году, во время конфликта на КВЖД. Сергей был призван в 106-й стрелковый полк, я — во 2-й Нерчинский. Когда начались боевые действия, Сергея взяли в корпусную газету «Отпор». Здесь он и получил свое боевое крещение. С тех пор до конца жизни военно-патриотическая тема стала главной в его творчестве.

Диковский быстро рос как писатель. Высокая идейность, свежесть красок, точное знание материала, острота сюжета и неутомимое трудолюбие — вот его оружие. Поэзия мужества, преданность Родине, верность долгу воина — вот его любимые темы. Диковский сумел просто и проникновенно рассказать о советских патриотах. В этой сдержанности — огромная сила, высокое искусство, берущее за сердце.

У Сергея был младший брат — Тарас, тоже журналист. Тарас пережил Сергея всего на полтора года. Сергей погиб в Финляндии, работая в армейской газете «Героический поход». Тарас был корреспондентом Всесоюзного радио по Эстонии и погиб летом 1941 года, когда наш флот покидал Таллин,— гитлеровцы торпедировали судно, на котором плыли корреспонденты.

У меня хранится пачка писем Сергея Диковского — мы вместе начинали в «Радио», потом работали в «Молодом ленинце», вместе служили в Особой Дальневосточной армии. Кроме писем я бережно храню его книги с озорными — такими молодыми! — надписями. На одной из них — первом издании «Заставы N» — он написал:

«Когда захочешь пройти от Столешникова до Тверской — зайди за мной, Петро. 18/X — 33 г.»

Я часто хожу теми улицами и переулками, которыми когда-то мы бродили вдвоем...

Грянул год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.

Александр Твардовский



Василий Гроссман

«ВЫ ОТЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР И ОРГАНИЗАТОР...»



Когда говорят о погибших друзьях, вспоминают хорошее. Но если бы я и захотел вспомнить отрицательные черты Василия Тихоновича Бобрышева, я не смог бы. Все знавшие его говорили о нем: хороший человек.

Мы познакомились в 1935 году, когда Василий Тихонович работал в журнале «Наши достижения». Он предложил мне написать очерк для журнала, соблазнил в поездку. Я поехал, но очерка не написал, не помню, по какой причине. Деловые отношения так и не установились между нами. Но установились отношения дружбы. Мы встречались часто, ежедневно. Пришлось нам вместе поездить, вместе мы ходили в театры, иногда заходил я к Василию Тихоновичу в редакцию, много раз гуляли мы с ним за городом.

Он был большим патриотом журнала. С гордостью показывал он удачные номера журнала и огорчался, если не видел ответного восхищения. В журнале его занимали не только содержание очерков и статей, но и обложка, фотографии, шрифт, бумага. Сколько волнения, сколько жадной

работы вкладывал Василий Тихонович в журнал. Как мило сердился он на неудачных авторов, как обижался на легкомысленное отношение к работе, как хорошо кичился удачными очерками.

Максим Горький, ответственный редактор «Наших достижений», писал ему: «Скажу Вам то, что давно и от души хотел сказать: Вы отличный редактор и организатор... Хочется сказать Вам и сотрудникам Вашим искреннее спасибо, крепко пожать руки». Об этих письмах Горького я узнал после войны. Бобрышев никогда не говорил мне о них, хотя не раз рассказывал об отзывах и замечаниях Горького по поводу каждого самого маленького события в журнале.

В комплектах «Наших достижений» собраны многие сотни очерков. В них рассказано о стройках, об огромных заводах, о новых дорогах, о новых городах, об орошении пустынь, о научных работах, о путешествиях и экспедициях, о невиданных в старой России отраслях промышленности, о многих сотнях замечательных людей.

Лучшего помощника, чем Бобрышев, для редактирования «Наших достижений», мне кажется, Горькому трудно было бы найти.

Человеку, не знавшему Бобрышева, могла бы показаться необъяснимой и даже несколько смешной эта жадная и ненасытная любовь к журналу, печатавшему очерки.

Сознаюсь, и у меня в начале нашего знакомства возникло такое чувство — мне показалось, что это чудачество. Откуда этот интерес к очеркам о художниках Палеха, Мстеры, Хохломы, к северным резчикам по кости, к павловским кустарям, выращиванию лимонов в горшках, к чайным и цитрусовым плантациям, к какому-то чудаку, ищущему корни деревьев с причудливыми формами змей и ящериц, и тут же к очеркам о строителях, летчиках, инженерах, ученых? Очерки, очерки, очерки... Потом я понял: суть была не в приверженности Бобрышева к литературному очерковому жанру. Суть была в ненасытном интересе Василия Тихоновича к миру, природе и к человеческому труду.

Он был полон любопытства к тому, как работает человек в поле, на заводе, в шахте, в слесарной мастерской, как он выращивает каучуконосы и выводит новые сорта яблок, как создает он плотины и гидростанции и как с помощью кисточки, сделанной из тонких беличьих волосков, рисует золотом и серебром на черном лаке русалок и витязей. Интерес к человеческому труду был естественно присущ Бобры-

шеву — он сам был замечательный работник, родной брат бесчисленных русских талантливых рабочих, обладавших чарующим даром преображать материю. Даже наружностью он походил на знаменитого мастерового — высокий лоб, узкое, худое лицо, тонкий нос с горбинкой и светлые, чуть выходящие, мягкие волосы, тонкие, но жилистые и сильные руки с длинными пальцами, мягкие и точные движения.

Мне пришлось во время своей инженерской службы в Донбассе встречаться с знаменитыми рабочими — слесарями, механиками, электриками, доменщиками. Застопорится работа в цехе, бьются люди, отчаются наладить дело и зовут знаменитого рабочего — этот наладит.

И когда я вспоминаю редактора, писателя и критика Бобрышева, мне он представляется не за письменным столом; в синем засаленном комбинезоне, зажав слесарный ключ в тонких, длинных пальцах, идет он по сумрачному цеху легкой походкой к заболевшему станку, тряхнет головой, откинет волосы, насмешливо посмотрит светлыми глазами на заводское начальство и негромко скажет: «А ну, начальнички, хозяева, посторонитесь, дайте я погляжу», — таким я его не видел, но таким он был. Модный пиджак, всегда казавшийся просторным на худых плечах Василия Тихоновича, он носил с тем изяществом, с каким рабочие-академики носят свои брезентовые куртки.

В сильных и тонких руках Василия Тихоновича оживал самый простенький, нехитрый инструмент. С виртуозным мастерством вырезал он из березовых чурбачков тюльпаны с нежной листвой, длинные, из десятков звеньев цепи, копируя китайских мастеров, создавал загадочные сложные шары, в которые были включены все новые и новые, свободно вращающиеся одна в другой сферы.

Как-то он вздумал украсить елку для своей дочери и из деревянных чурбачков, картона, яичных скорлупок смастерил невероятные игрушки; право, я никогда не видел такой прелести.

С удивительной легкостью оживали в его руках умершие замки, часы, электрические приборы, быстро вспыхивал вдруг погасший свет, едва он подходил к щиту.

Он любил цветы, и редкие, никогда не растущие в комнате хвойные деревца отлично жили на его окнах.

Ходить с Василием Тихоновичем по лесу, в поле, на речку было большим удовольствием. Слитный зеленый мир леса во время наших прогулок расчленялся на десятки раз-

ных личностей: деревья, травы,— каждая со своей особой жизнью. Легко и точно определял он по полету и голосам птиц, с точностью мага умел он пользоваться топором, ножом, строить укрытия от дождя и ветра, разводить огонь, кипятить воду, варить кулеш на маленьком огоньке костра. Как вкусно, не подберу другого слова, вонзал он в землю лопату, быстрыми, сильными движениями вскапывал землю.

В годы гражданской войны на долю красноармейца-добровольца Бобрышева пришлось много холодных дождей, метелей, ночных гроз, топких болот, долгих километров проселочных дорог...

В мирное время, работая в Главполитпросвете, в редакциях газет и журналов, работая над статьями и над книгой о теме труда в советской литературе, он верил, что труд — духовная основа человека, что труд формирует человеческий дух.

Он берег свой опыт красноармейской жизни, как люди, прошедшие войну, берегут свои солдатские шинели. А вдруг настанет день и вновь придется надеть старую шинельку?!

Этот день вновь пришел, и Василий Тихонович стал под ружье, пошел красноармейцем-добровольцем на фронт.

И я вижу его в зеленой гимнастерке, в пилотке со звездочкой, в тяжелых ботинках, в зеленых обмотках, с нетуго набитым солдатским мешком за плечами.

Мне рассказывали люди, служившие с ним в одной части, каким хорошим товарищем был он в походах — мудрый и простодушный солдат, бережливый, спокойный, выносливый. Таким он и был, представитель чудесной человеческой породы — русской революционной интеллигенции. Его близость к людям тяжелого, каждодневного труда не была кажущейся. Это была кровная, братская близость.

С фронта Василий Тихонович прислал мне два письма.

В этих письмах он такой, каким я знал его до войны,— человек с ясной душой, хороший человек. Эти письма писаны после изнурительных трудных пятидесятикилометровых переходов. Но в них много спокойствия, много скромности и сдержанности, в них любовь к людям, нежность к полям и рекам родной стороны — судьба сулила ему встретить последние дни жизни на смоленской земле, где он родился.

Эти письма, как последние лучи вечернего света, освещают стоящего во весь рост человека — его любовь к родной земле, его страстное, жадное желание знать, как живет рабочий народ, его волю быть солдатом народной войны.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Вихрастый мальчишка-рыболов напомнил мне замечательного смоленского человека, Василия Тихоновича Бобрышева. Он был редактором журнала «Наши достижения». Его многие знали — худого, со смеющимися глазами и светлой прядью, падавшей на лоб. Было в нем что-то от старых русских мастеров, от лесковского Левши. О таких людях, как Бобрышев, говорят: «Золотые руки».

Он прекрасно составлял журнал. Он собрал вокруг него всю даровитую литературную молодежь. Как все талантливые люди, Бобрышев любил все делать сам: чинить всякие приборы, часы, особенно старые музыкальные ящики с их перезвоном простых мелодий («В милые годы ты возвратишься...»), выращивать у себя в комнате на улице Горького диковинные цветы и собирать грибы в подмосковных лесах. В свободное время он вытачивал из дерева необыкновенно тонкие вещи. Однажды он вырезал перочинным ножом из цельного куска липы сомкнутую цепь.

Он погиб в народном ополчении под родным Смоленском.

Рувим Фраерман

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ

Ах Вася Бобрышев! Милый Василий Тихонович!

Как сейчас, помню его худощавую, высокую, немного сутулую фигуру в рядах Московского ополчения, выступившего из Москвы под Смоленск навстречу наступающим гитлеровским полчищам.

По счастливому случаю я попал в один полк с Василием Тихоновичем, в одну и ту же роту и даже в одно отделение. Он был правофланговым в нашем отделении, а я, по причине своего малого роста, — левофланговым.

Поэтому, равняясь в строю, я каждый день и даже по нескольку раз в день видел приятную для моих глаз и хорошо знакомую фигуру Василия Тихоновича в защитного

цвета пилотке, надвинутой низко на стриженую голову, в солдатских ботинках, в аккуратно намотанных желто-зеленых обмотках — всю его ладную, по-военному подобранную фигуру старого солдата и бывшего красноармейца времен гражданской войны.

В тот последний раз, когда мы с ним виделись, был вечер — тихий смоленский вечер с высоким и чистым небом чуть зеленоватого цвета, как бы цвета морской воды. Из Союза писателей приехала какая-то комиссия с фронтовыми подарками для бойцов ополчения и со списком, по которому из рядов ополчения отбирали некоторое число писателей и перебрасывали их в действующую армию, в армейские газеты. В числе отобранных был и я. А Василия Тихоновича не было. И тогда мы поняли, что пришло нам время расставаться. После переключки по команде: «Вольно! Оправиться!» — мы с Василием Тихоновичем отошли в сторону и сели на траву. Я выложил из карманов все свое солдатское имущество, небогатое это имущество — два моточка ниток — черных и белых, две иголки, случайно оставшиеся деньги, складной нож и несколько кусков сахара.

Василий Тихонович переложил на свою сторону все, что нашел нужным, и поднялся на ноги.

— Ну что ж, Рувим Исаевич, — сказал он мне. — Видно, надо нам прощаться, как следует. Живи и будь здоров! А фашистов мы все равно в землю втопчем. В этом будь уверен. А случится тебе побывать в Москве — увидишь мою жену и дочку Алесю, скажешь им, что я думал и о них в эту минуту. Не забудешь?

— Не забуду, скажу!

— Вот так. А теперь спешу. Была команда. Машина уже отходит. Опоздаешь!

Но я не опоздал. Я все-таки успел вскочить в кузов машины и присел на борт, крепко прижимая к себе винтовку. И пока машина подпрыгивала на ухабах фронтовой дороги, я все видел высокую фигуру Василия Тихоновича в солдатской пилотке, с винтовкой, приставленной к ноге. По мере того как машина продолжала свой путь, фигура Бобрышева все удалялась от меня, точно корабль, уходящий в море, — корабль, оснащенный всеми парусами, с полным грузом в трюмах, с грузом, драгоценнее которого нет ничего на свете и который носит в своей душе каждый советский человек и воин, — полная уверенность в своей правоте и окончательной победе над всеми врагами Отечества.

«...МЫ ПОБЕДИМ...»

(ИЗ ПИСЕМ В. Т. БОБРЫШЕВА)

«...Ты уже достаточно взрослая, чтобы не бояться трудностей, которые грозят нам. Мы выдержим их — поверь мне, уже испытавшему это один раз».

(Из письма к дочери от 3 июля 1941 года)

«...Мои ожидания, связанные с ополчением, полностью не оправдались. Мы все дальше уходим от дома¹, никто нас не обучает военному делу, и вблизи фронта мы действуем не оружием, а лопатой. Это утомительно и скучно. Мне бы хотелось — раз мы оказались здесь — быть тут не землекопом, а воином. Хотя никаких сомнений в необходимости нашей работы у меня не возникает ни на минуту.

...А домой мы вернемся не раньше, чем будет разбит Гитлер. Что ж! Тем радостнее будет наша встреча».

(Из письма от 8 августа 1941 года)

«...Как у тебя, Алесья? Напиши о своих делах — занятиях, знакомствах, времяпрепровождении. Что собираешься делать зимой — кроме учебы? Читаешь ли? Обязательно запишись в библиотеку. Прочитай снова (кажется, ты читала) Аксакова: он ведь пишет о местах, в которых ты сейчас оказалась, — бывшая Уфимская губерния. «Детские годы Багрова-внука», «Записки об ужении рыбы» — вообще хорошие произведения русской литературы. У Аксакова превосходный язык, и он замечательно изображает и описывает природу.

Ну, будьте счастливы, мои дорогие. Бодритесь и надейтесь на скорую встречу. Мы победим — в этом сомнений никаких нет».

(Из письма от 9 августа 1941 года)

¹ Родина Бобрышева — Смоленщина.

Борис Камов

ПУТИ-ДОРОГИ ГАЙДАРА



Я не забуду той минуты, когда Афанасия Федоровна Степанец после очень долгой беседы у нее в избе повела меня поздно вечером на другой конец Леплявы. Мы вышли к железнодорожной линии, дугой огибающей мрачноватый лес. Молча в темноте шли по шпалам. Потом Афанасия Федоровна подвела меня к совсем еще молодой сосне, что росла на самом краю насыпи, и просто сказала: «Здесь погиб Гайдар».

...В Канев я ехал «на деревню к дедушке», зная, что поблизости от маленького этого города находится Леплява, где в партизанском отряде сражался и погиб Гайдар, и помня, что именно там жила семья Степанец, в доме которой бывал писатель.

Конечно, за двадцать с лишним лет много могло измениться, но я верил, что следы Гайдара не могли совершенно затеряться, не такой это был человек. И не ошибся.

В Лепляве я отыскал жену погибшего партизана Андриана Алексеевича Степанца — Афанасию Федоровну. Она, конечно, помнила многих партизан, особенно Гайдара. Вол-

нуясь, рассказывала Афанасия Федоровна о том, как Аркадий Петрович впервые появился у них в хате, как он подолгу, случалось, сидел на лавке у окна — это было любимое его место — и часами о чем-то думал, а потом записывал в свои тетрадки, которые он носил в битком набитой противозащитной сумке.

Оказалось, что в райцентре Гельмязове живет бывший начальник штаба отряда И. С. Тютюнник, что в Гельмязовский райком партии недавно пришло письмо от бывшего батальонного комиссара З. М. Бугаева, который тоже некоторое время был партизаном... Круг людей, которым довелось встретиться с Гайдаром в дни войны, постепенно расширялся. Удалось найти бывшего партизана И. К. Василаду, полковника А. Д. Орлова, бывшего гвардии майора В. Д. Коршенко, бывшего командира батальона И. Н. Прудникова, о котором Гайдар писал в очерке «У переправы», М. И. Ильяшенко — дочь погибшего комиссара отряда, в прошлом разведчицу, В. И. Скрыпника — непосредственного свидетеля гибели писателя.

И теперь уже день за днем можно восстановить все важнейшие события жизни Гайдара в последние для него трагические месяцы 1941 года.

...В Киеве военный корреспондент «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар появился солнечным июльским утром 1941 года. Ему отвели номер в гостинице «Континенталь» — пресс-центре Юго-Западного фронта, временном обиталище журналистов, кинооператоров, фоторепортеров.

Был Аркадий Петрович в гимнастерке, перехлестнутой ремнями, над левым карманом тускло поблескивал «штатский» орден «Знак почета», новенькие петлицы на воротнике были пусты. В суматохе тех дней мало кто обратил на это внимание. Между тем на фронт Гайдар попал чудом. Врачи, сыпя латинскими терминами, начисто отказали ему, когда он стал проситься в армию. Аркадий Петрович терпеливо обошел много кабинетов, прежде чем ему, командиру полка в отставке, позволили выехать на фронт.

Попав в Киев, Гайдар почти все время проводит на передовой. «По долгу службы» посетив штаб дивизии или полка, он затем уверенно шел в окопы. «Хочу видеть врага лицом к лицу», — часто повторял он в те дни.

И молодые командиры рот с запыленными кубиками на петлицах — в большинстве недавние читатели Гайдара, —

видя, что писатель норовит попасть на особенно опасный участок, просили его: «Аркадий Петрович, пожалуйста, не надо». — «Есть, есть, больше не буду», — отшучивался он и дальше, действительно, уже не шел и не полз. Разумеется, до следующего раза. Впрочем, однажды за ним все-таки не уследили и он ушел с батальоном в бой, из которого вернулся позже всех с немецким трофейным автоматом.

18 сентября Гайдар покидал город. Вместе с товарищами-журналистами медленно ехал он в полуторке по пыльной дороге, забитой пехотой, артиллерией, беженцами, автомашинами с заводским оборудованием и чемоданами.

Под Борисполем огромная колонна остановилась. Началась бомбежка. Гайдар переждал ее в большой воронке. Когда самолеты улетели, он вернулся на старое место. Грузовик, в котором он ехал, был разбит. Товарищей поблизости тоже не оказалось. Пошел пешком.

Вскоре Аркадий Петрович заметил эмку. Заднее сиденье в ней было свободно. Возле машины стоял невысокий командир с двумя «шпалами» на петлицах и красной звездой на рукаве. Аркадий Петрович спросил, можно ли занять свободное место.

Когда машина тронулась, познакомились. Батальонного комиссара звали Виктор Дмитриевич Корщенко. Он искренне обрадовался, узнав, что случайный попутчик его — Гайдар, книгу которого «Тимур и его команда» он совсем недавно прочитал.

Огромный поток людей и техники двигался все медленнее. Гайдар много раз выходил из машины и всякий раз возвращался очень озабоченный.

— А не к немцу ли в лапы мы с вами едем? — раздумчиво спросил Гайдар у Корщенко. — Лейтенант, которого я только что видел у автобуса с радиостанцией, говорит, что впереди, в Переяславе, никто не отвечает ни на шифрованный текст, ни на открытый.

Опасения Гайдара оправдались. На северной окраине села Ерковцы, куда свернула часть колонны, их неожиданно обстреляли немецкие автоматчики, засевшие в двух больших избах у самой дороги. Дав несколько очередей, они стали кричать: «Рус, бросай оружие, иди к нам!»

Открыв дверцу машины, Гайдар прыгнул в канаву, отполз к кусту и взвел затвор. И когда фашист, высунувшись с чердака, снова крикнул: «Рус, бросай оружие!..» — Арка-

дий Петрович, прицелившись, плавно нажал спусковой крючок. Солдат выронил автомат.

Началась перестрелка. Гитлеровцев было немного, и они поспешили скрыться. Двигаться вперед было нельзя, и колонна свернула на село Скопцы, где, по слухам, еще оставались части нашей армии.

...Это случилось дня через три. Заметно поредевшая группа бойцов и командиров остановилась на привал на маленьком заболоченном островке у реки Трубеж.

На рассвете, по горло мокрый, прибежал разведчик. «Немцы... в специальных комбинезонах... идут сюда», — доложил он сержанту-пограничнику, который был здесь вроде коменданта.

— Приготовиться к бою, — приказал сержант.

Внезапно из кустов появился майор, странный человек, избегавший разговоров и державшийся в стороне. — Отставить! — крикнул он. — Это дурость открывать огонь. Если мы убьем хоть одного солдата, противник перепашет пушками весь остров.

А немцы вошли уже в воду. И когда они были совсем близко, пограничник скомандовал: — Огонь!

— Отставить! — перебил его майор.

Залп треснул неуверенно и дробно. Бойцы растерялись.

— Товарищ сержант, — начал было он снова, — я вас предупреждаю...

Пограничник обернулся, вскинул винтовку и выстрелил. Майор упал.

— По немецким оккупантам огонь! Огонь! Огонь! — кричал сержант, выпрямившись во весь рост.

Немцев перебили в несколько минут. Спаслись только те, что шли сзади. Наши потери — один человек. Майор.

...Гайдар прибежал с другого конца острова, когда все кончилось. Увидел убитого. Ему рассказали. Он отыскал сержанта, подавленного тем, что он сделал и чего не сделать не мог.

— Я все знаю, — произнес Аркадий Петрович, — вы поступили правильно. — И он обнял пограничника.

— Победили вы сегодня, товарищи, потому, — объяснял он вечером красноармейцам, — что, сжавшись в комок, подпустили немцев совсем близко, что послушались не перетрусившего майора, а сержанта. Много у нас еще необстрелянных, неумелых командиров. Но мы воюем, значит, учимся.

Чем дальше уходил Гайдар от Киева, тем чаще думал он о том, чтобы начать рискованную партизанскую войну — с засадами, набегами, ночными налетами и хитрыми ловушками. И Гайдар очень обрадовался встрече с группой речников Днепровской флотилии. Было их человек тридцать. Они сразу заявили, что есть у них и вторая группа, что из окружения они выходить и не собираются, а, наоборот, останутся здесь и либо присоединятся к партизанам, либо создадут свой отряд.

Аркадий Петрович стал уговаривать Корщенко тоже уйти в Приднепровские леса. Но Корщенко замещал командира, и вместе с бойцами должен был выполнить приказ. Гайдар решил, что он пойдет с речниками, и товарищи расстались.

Возле деревни Семеновка Аркадий Петрович случайно повстречался с полковником Александром Дмитриевичем Орловым, начальником штаба 36-й авиационной истребительной дивизии. Познакомились они еще в Киеве, на командном пункте ВВС Юго-Западного фронта, вместе бывали потом в частях.

Александр Дмитриевич шел во главе группы в несколько десятков человек, в основном это был комсостав. Направлялись они к Полтаве. Гайдар присоединился к ним.

По свидетельству Орлова, Гайдар оказался для всей группы человеком незаменимым. Он добывал продукты, ходил в разведку. Случалось, притаившись где-нибудь в сарае, он наблюдал, как немцы с пистолетами в руках носились по улицам села, по дворам, стреляя кур, гусей и свиней.

Бойцам, которые отправлялись в разведку вместе с Гайдаром, стоило иной раз большого труда удержать Аркадия Петровича, готового открыть по распоясавшимся фашистам стрельбу или швырнуть в них давно согревшуюся в руке «лимонку».

Отводил он душу на мотоциклистах. «Пойду, Александр Дмитриевич, заарканю парочку-другую», — шутливо говорил Аркадий Петрович Орлову. Когда темнело, Гайдар натягивал поперек дороги тонкий телефонный провод. Мотоциклист с ходу налетал на невидимую в сумерках преграду. А через полчаса насмерть перепуганный связист, с опаской поглядывая на Гайдара, уже давал показания, которые Орлову тут же переводил молодой красноармеец Пенцак.

Однажды группа остановилась на отдых возле леса. Гайдар стоял на посту. Неожиданно застучали копыта. Из чащи

выехал всадник в штатском. Гайдар велел ему спешиться. Оказалось, это партизан. Он сообщил, что здесь, поблизости, еще несколько человек из отряда, с ними можно познакомиться.

Партизанский отряд, с бойцами которого встретились окруженцы, был создан за несколько недель до падения Киева. Руководил им первый секретарь Гельмязовского райкома партии Федор Дмитриевич Горелов.

Группа Орлова поселилась в большом доме лесника, в двух километрах от партизанского лагеря. Нужно было отдохнуть, дать возможность оправиться больным, найти врача, чтобы он осмотрел и, если нужно, сделал операцию раненому лейтенанту.

Но сразу же возникли трудности с продовольствием. В походе выручал «бесхозный скот». Теперь его не было. Просить продукты у партизан было неловко: они сами сидели на весьма скудном пайке, хотя с готовностью поделились своими запасами сахара, конфет и теплого белья.

К счастью, у Гайдара в окрестных деревнях очень быстро появилось много знакомых, и они охотно снабжали его хлебом, картошкой, салом. Все это, очень довольный, Аркадий Петрович приносил товарищам.

Полковник Орлов вспоминает, что, за самым редким исключением, Гайдар всегда был в бодром настроении. В свободную минуту — неистощимый собеседник — он рассказывал о гражданской войне, о литературе, о писателях, с которыми был знаком, читал свои очерки, главы из книг, и, что самое интересное, читал наизусть, легко и свободно, как будто держал перед глазами раскрытую книгу.

Гайдар часто и весело шутил. Мишенью для его шуток чаще всего становились вечерние чаепития. Аркадий Петрович как бы совершенно всерьез начинал страстно доказывать, что пить чай, да еще к тому же сладкий, очень вредно: люди от жидкого полнеют и у них портится фигура. При этом он нередко прибегал к любимому своему выражению: «Что мы видим на этой картинке?» И сам же отвечал: «Мы видим, как группа закаленных в боях и походах воинов дует подогретую болотную воду, именуемую чаем, с карамельками производства Киевской артели имени товарища Беляя».

В отряде Горелова Аркадий Петрович сразу принялся за дело. Начал он с составления писем-обращений к местному населению. Были они лаконичными, хлесткими, проза

перемежалась со стихами. Гайдар сам разносил эти обращения по окрестным деревням. Там они переписывались от руки и распространялись. Нередко их разбрасывали по селам мальчишки — дети партизан.

Аркадий Петрович чувствовал, что он снова возвращается к писательской своей деятельности, и был очень доволен этим. И когда Орлов с товарищами собрались в дальнейший путь, рассчитывая дойти до линии фронта и прорваться к своим, идти вместе с ними Гайдар отказался. «Я здесь больше найду материала для себя, да еще самолично буду бить фрицев, а на фронте мне не будет такой возможности», — объяснил он.

Прощаясь, Гайдар просил Орлова взять с собой два небольших очерка. Один был о летчике, который таранил немецкий самолет над железнодорожным мостом. Другой — о шести советских гражданах, которых фашисты связали колючей проволокой и живыми бросили в глубокий пруд.

Но очерков Орлов не взял. До фронта предстояло пройти более пятисот километров, и Александр Дмитриевич не надеялся, что ему удастся донести рукописи в сохранности и доставить их по назначению...

Из домика лесника Аркадий Петрович перебрался в лагерь, в землянку начальника штаба Ивана Сергеевича Тютюнника. В землянке было холодно, и они спали с Тютюнником под одним одеялом, набрасывая сверху свои шинели.

Утром 22 или 23 октября близ лесопильного завода раздались два выстрела. Это стреляли дозорные, давая знать о приближении фашистов. Комиссар Ильяшенко с партизаном Дороганем отправились в разведку.

Они не успели далеко отойти, как наткнулись на немцев. Комиссар тут же был убит. Дорогань вернулся в лагерь, чтобы сообщить о случившемся.

Бойцы выскочили из землянок, приготовились к бою. У подножия могучей сосны в небольшом, но глубоком окопчике с ручным пулеметом расположился Гайдар.

Шум моторов приближался, слышно было, как на неровностях дороги подвывали двигатели. Разведка насчитала пять грузовиков, набитых карателями.

Когда за деревьями отчетливо проступили фигуры в серых шинелях и касках, Горелов громко скомандовал: «Огонь!»

Раздался дробный винтовочный залп. Продолжая его, забили два автомата, ахнула, солнечно осветив хмурый осенний лес, одинокая лимонка.

И тут деловито, короткими очередями забил ручной пулемет Гайдара. В маленьком окопчике Аркадий Петрович чувствовал себя уверенно и удобно. Прищурясь, он цепко и быстро высматривал, где шевелятся кусты, откуда бьют автоматные очереди, и, туго уперев приклад в большое плечо, нажимал крючок. Почувствовав, что слева огонь фашистов несколько ослаб, Гайдар легко приподнял пулемет, поставив его справа от ствола. Минут через семь Гайдар отчетливо услышал стрельбу уже откуда-то сзади. Это означало, что, пока часть немцев вела бой, остальные продолжали брать лагерь в кольцо.

Бой продолжался, но положение партизан с каждой минутой становилось все более опасным. Горелов и Тютюнник приняли решение разделить отряд на две части и отойти. По цепочке передали приказание.

— Аркадий Петрович, товарищ Гайдар, — громким шепотом заговорил Дорогань. — Отходим по одному, собираемся у речки.

— Спасибо, понял, — ответил Гайдар и прижался щекой к тяжелому прикладу.

Когда обе группы отряда отошли на изрядное расстояние от лагеря и люди поняли, что на удивление благополучно вырвались из кольца, кто-то вдруг испуганно произнес: «Послушайте!»

Сквозь глухие очереди немецких автоматов отчетливо доносились тяжелый перестук ручного пулемета и раскатыстые, но редкие винтовочные выстрелы.

В отряде было всего лишь два пулемета. Один в первые же минуты боя отказал. Сомнений не оставалось: стрелял Гайдар.

На минуту все замолчали, разом поняв, что Гайдар сам, без приказа, остался в разоренном лагере, чтобы огнем своего пулемета прикрыть отход товарищей.

Потом только стало известно, что с ним был младший лейтенант Михаил Тонковид, который набивал и подавал ему запасные диски взамен быстро пустевших.

По Гайдару били из-за дубов, сосен, из-за старых трухлявых пней. Раза два рвались гранаты, но гитлеровцы бросали их лежа, и они не долетали. Аркадий Петрович отвечал, переноса, почти перебрасывая пулемет, молниеносно

отвечая на новую вспышку огня, и непременно короткими очередями, и не иначе, как прицелившись.

Поединок этот с несколькими десятками автоматчиков длился до тех пор, пока Гайдару не показалось, что уже прошло достаточно времени, отряд в безопасности и они с Тонковидом тоже могут отступить...

После боя, поздно вечером, около тридцати бойцов пришли в Лепляву помыться и переодеться. Одни пошли в хату Игната Касича, другие — в дом Степанца. К Степанцам пришел и Гайдар. Но оставаться в селе было рискованно. Часть бойцов приняла решение разойтись по другим деревням, где у них были родные и знакомые, а Гайдар с большой группой направился в Прохоровский лес, что был в десяти километрах от Леплявы; он намеревался создать там новый лагерь, тем более что в тех местах Аркадий Петрович бывал и лес этот знал.

Группа Гайдара пробыла в Прохоровском лесу двое суток. Остаться в нем дольше она не могла: в лесу нечего было есть, к тому же бойцы не знали, что стало с товарищами, где они, каковы их планы.

В ночь с 25 на 26 октября Гайдар и еще четверо бойцов вышли малоприметной тропой к Лепляве, к насыпи, а затем, пользуясь темнотой, добрались до хаты Степанцов.

Партизан тут же накормили. К сожалению, ни Андриан Степанец, ни Игнат Касич не могли сказать, где находится большая группа Тютюнника. Они сами этого не знали.

Поужинав, посидев час в тепле, Гайдар и его товарищи поднялись. Им предстояло еще затемно добраться до старого разгромленного лагеря, отыскать там что-нибудь из продуктов и вернуться обратно в Прохоровский лес.

Игнат Касич и Андриан Степанец провели разведчиков задворками до леса, еще раз объяснили, как удобнее всего добраться до лагеря, и вернулись домой.

В старом лагере Гайдар с бойцами отыскивали деревья, к которым были подвешены мешки с копченым мясом и салом. Все это было заготовлено впрок после удачной операции, когда партизаны из-под самого носа немцев вывезли на машине много свиней.

Незадолго до рассвета, сгибаясь под тяжестью мешков, двинулись обратно.

Партизаны теми же задворками вышли к Лепляве. Заходить к Степанцам снова не имело смысла. Гайдар и его товарищи бесшумно и быстро перебрались через высокую

насыпь и узкой стежкой вдоль железнодорожного полотна дошли до серой дощатой будки путевого обходчика.

Бойцам оставалось сделать еще несколько шагов, повернуть направо, на едва приметную тропку, что вела к Прохоровке, и скрыться в лесу. Но за ночь они прошагали не один десяток километров, и, прежде чем одолеть несколько последних, может быть, самых трудных, партизаны остановились перекурить и отдохнуть. Тут и пришла кому-то мысль зайти к обходчику Игнату Сорокопуду, что жил в каменном доме напротив будки, взять у него картошки и тогда уже двинуться дальше.

Отправиться за картошкой вызвался Гайдар, который хорошо знал Сорокопуду, потому что несколько раз приходил к нему: приносил листовки, брал кое-что из продуктов.

Аркадий Петрович поправил ушанку и неторопливо стал взбираться на насыпь. И вдруг партизаны услышали его громкий, предупреждающий крик:

— Ребята, немцы!

Треснула поспешно одинокая очередь.

Гайдар упал.

Пуля ударила прямо в сердце.

Но прежде чем автомат застучал опять, в кусты, где притаились фашисты, за деревья, где они прятались, полетели гранаты. Крик Гайдара лишь на несколько мгновений опередил выстрелы. Но это были те самые мгновения, которые позволили товарищам выхватить и бросить гранаты. Мгновения, ошеломившие гитлеровцев стремительностью ответного удара. Мгновения, даровавшие жизнь всем четверым.

Погибая, Гайдар спас товарищей...

Лев Славин

О ЛАПИНЕ И ХАЦРЕВИНЕ



Когда я впервые увидел Бориса Лапина, ему было лет двадцать пять. У него была репутация «старого» литератора. Он печатался с шестнадцати.

Но эти первые его юношеские стихи я прочел через много лет, и они задним числом удивили меня. Они совсем не походили на ту умную полнокровную прозу, которую он стал писать, перевалив за двадцать. Лапин начал в эксцентрическом роде. То была какая-то странная помесь Карамзина и Хлебникова, допотопных романтических баллад и словотворческих изысков наимоднейшего покроя. «Я писал стихи книжные, туманные и оторванные от жизни», — вспоминает Лапин в автобиографической заметке. Явственный дух романтики бился и не мог выбиться из этих архаически-заумных упражнений.

Первые шаги всегда подражательны. Чем больше юный автор упорствует в неповторяемости, тем неотвратимей он эпигонствует. Надо вспомнить время, когда иждивением авторов выходило в свет безмерное количество тощих эстетских сборничков под марками «Цеха поэтов», «Московского

Парнаса», какого-то «Издательства Чихи-Пихи» тиражом 250—300 экземпляров и с явной претензией ниспровергнуть всю предшествующую мировую литературу. Об их существовании не подозревала страна, напрягавшая силы в трудах и боях. Ни даже Москва. Может быть, только несколько переулков, окружавших кафе «Стойло Пегаса» на Тверской, где ежевечерне происходило комнатное кипенье поэтических страстей. Вскоре эта армия, рекрутировавшаяся по преимуществу из пошляков и графоманов, бесследно расточилась. Одни шагнули из поэзии прямо в коммерцию только что объявленного нэпа. Другие стали благопристойными авторами опереточных либретто.

В литературе от всего этого остались несколько истинных талантов, для которых мальчишеская игра в гениальничанье была первой пробой сил. Среди них был Борис Лапин.



Нас познакомили. Признаюсь, не таким представлял я себе этого неутомимого путешественника, автора «Тихоокеанского дневника» и «Повести о стране Памир». Передо мной стоял невысокий худенький юноша с изящной и хрупкой внешностью типичного горожанина, сутулый, словно от неумеренного сгибания над письменным столом, неразговорчивый, порывистый. Речь его была сдержанна и как-то рассчитанно банальна. Толстые стекла отстраняюще-холодно мерцали под высоким чистым лбом. Красивый нежный рот улыбался редко, с напряженной вежливостью. Под всем этим была какая-то невыраженная, но явственно ощущаемая сила.

Он похвалил что-то, написанное мной, все в той же небрежной, отрывистой манере. Позже я стал догадываться, что истоки этого ненатурального высокомерия — в застенчивости Лапина.

Впоследствии, когда я с ним подружился, я увидел, что основой его душевной организации была эта прелестная, непосредственная, детски нетронутая свежесть. Но и тогда временами он вдруг ускользал в свою скорлупу несколько надменной замкнутости, увлекаемый туда отвлечением к интимным излияниям, в которых всегда ему чудилось подозрительное красноречие.

Иногда, рассказывая что-нибудь (а рассказывал он с блеском истинного художника), он вдруг осекался и,

к удивлению слушателя, впадал в бесцветное бормотание. Он стыдился своего блеска, он намеренно притушивал его, боясь быть уличенным в неестественности, в позе, которой он чурался больше всего на свете.

* *
*

Лапину скоро надоела мышинная возня московской салонной поэзии двадцатых годов. И однажды он отшвырнул от себя весь этот прокатный бред экспрессионизма. Он вырос из него, как вырастают из детского платья. К тому же оно было не свое, заемное, не гревшее в русских морозах. А Лапин был человек очень московский, родившийся и выросший в Москве, в гуще Сретенских переулков, очень любивший Москву, пропитанный ее своеобразностью, ее говорком, духом ее советской вольности. В Октябрьскую революцию ему исполнилось двенадцать лет, он рос в годы гражданской войны, созревал в пятилетке.

Лапин поехал на Восток, чтобы увидеть его глазами эстета. Он увидел его глазами исследователя и борца, глазами советского гражданина. Приблизившись к колониальным странам Тихого океана, он записал в «Тихоокеанском дневнике»: «Трагедия существования всех этих живущих под тяжестью цивилизации народов и племен — в их жестокой и неумолимой зависимости от европейцев, созданной императорами биржи и конторскими конквистадорами...»

Как это непохоже на кокетливые экстравагантности всяких ничевоков и беспредметников, рядом с которыми еще так недавно соседствовал Лапин! Талант его преобразовался на ходу, в работе. Прорвавшись к большому миру, Лапин прорвался к самому себе. Его искусство наполняется жизненностью и боевой политической тенденцией. Оно приобретает значительность.

* *
*

В течение нескольких лет Борис Матвеевич Лапин печатал в газетах свои корреспонденции, подписываясь: «Пограничник». Он не был журналистом обычного типа, который наблюдает жизнь с пером в руках. Он всюду влезал в жизнь, как соучастник. Энергии в этом несильном теле хватило бы на добрый десяток здоровяков.

Он прошел горные кряжи Памира как регистратор переписи Центрального статистического управления. При этом

он в совершенстве изучил персидский язык. Он работал в Крыму как сотрудник археологической экспедиции. Он исколесил Чукотку как служащий пушной фактории. Вернувшись оттуда, он передал в Академию наук составленный им словарь одного из небольших северных племен. В качестве штурманского практиканта на пароходе «Чичерин» он посетил порты Турции, Греции, Сирии, Палестины, Египта. Он ездил по Средней Азии как нивелировщик геоботанической экспедиции. Он превратил свою жизнь в практический университет. Познания его были разнообразны. Он никогда не щеголял ими. Все в себе ему казалось заурядным. Так, случайно открылось однажды, что он, между прочим, обучался и в авиашколе и получил звание летчика-наблюдателя. Через много лет эти практические знания всплыли в повести «Подвиг», где с профессиональной точностью описаны детали боевой работы военного летчика.

После каждого путешествия круг его друзей расширялся. Среди них были и академик с европейским именем, годящийся ему в деды, и молодой монгольский поэт, повстречавшийся где-то в Гоби, и капитан лайнера, совершающего международные плавания. Лапин любил людей и книги.

Он любил книги, но не был книжником. И его обширная библиотека вряд ли пленила бы коллекционера, выдерживающего свое собрание в строгом стиле (например, только первоиздания, или только XVIII век, только классики и т. п.). Какой-то библиофил, забредший к Лапину, высокомерно заметил: «Это библиотека варвара».

Это была библиотека энциклопедиста. Она отражала широкие жизненные интересы Лапина. Оглядывая его книжные полки, можно было подумать, что они принадлежат нескольким специалистам по разным областям знания.

В газетных очерках Лапина сомкнулись искусство и репортаж. Из поэзии он принес в журналистику взыскательное отношение к слову. Газета влила в него дух политической страстности, научила его точности, конкретности, оперативности.

Так родился жанр его книг. Он был настолько своеобразен, что его можно обозначить только словом «книга». В одном произведении — и новеллы, и стихи, и документы, и публицистика, и научный трактат, и лирика, и политический памфлет, и сочиненное, и подлинное. Все это сгущено на немногих страницах. Таковы и «Набег на Гарм», и «1869 год», и «Разрушение Кентаи», и «Тихоокеанский днев-

ник», и «Посторонний наблюдатель», и даже одна из наиболее зрелых его вещей, обозначенная им самим как повесть, — «Подвиг». Это был сознательный стилизованный прием.

В то же время каждое из этих произведений не мозаично, а, напротив, стройно, неразделимо, цельно. А герои Лапина обладают такой силой жизненности, что автору приходилось в специальных предисловиях предупреждать читателя, что они вымышленны:

«...В эти тревожные дни два вымышленных героя едут в путешествие на пароходе «Браганца» мимо берегов Сирии...» и т. д. (предисловие к книге «Путешествие», 1937 г.).

Эту книгу Лапин написал вместе с Захаром Хацревиным. С некоторого времени они были неразлучны в странствованиях и в труде.



Всюду, где появлялся маленький Лапин, улыбаясь с нежной рассеянностью и заносчиво поводя упрямым подбородком, рядом с ним шагал, раскачиваясь на длинных ногах, рослый Хацревин в изящной пиджачной паре со своей счастливой, немного беспечной улыбкой и чуть раскосыми, беспощадно-наблюдательными глазами. Тенорок Лапина и бас Хацревина сливались не в дуэт, а в унисон. Один начинал, другой подхватывал, первый опять вырывался вперед, второй на ходу вставлял детали. Они много видели вместе, много передумали вместе. Даже когда они пререкались, казалось, что они подходят разными путями к одному и тому же и здесь сталкиваются. Походило на спор, но было согласием.

Захар Хацревин встретился с Борисом Лапиным, когда тот был уже сложившимся писателем. Сам Хацревин только начинал, хотя он был старше Лапина.

У Захара Львовича Хацревина была превосходная фантазия. Он был выдумщиком в сказочном роде. Но это еще предстояло расположить на бумаге, которая одна в состоянии отцедить литературу от словесной пены. Есть авторы, которые предпочитают тяжелому труду над бумагой эффектный шум устной импровизации. Почему? Ссылка на лень тут ничего не объясняет. Талант и лень несовместимы. Если о ком-то говорят: «Талантливый лентяй», значит, на самом деле талант его неполноценен. Или он дилетант. В состав дарования входит трудолюбие, признак количества.

Каждый писатель несет в самом себе некоего «внутреннего критика», голос которого и является для него решающим.

А тут у Лапина появился и «критик внешний», но приобщенный к процессу его творчества так интимно, как если бы он был частью самого Лапина. Это было тем более значительно, что Хацревин обладал своего рода абсолютным литературным слухом, чья сила действовала особенно метко, когда она бывала направлена не на самого себя.

Так появился новый писатель: Лапин плюс Хацревин.

Наряду с ним продолжал действовать и прежний Лапин. Можно удивляться его высокой продуктивности. Вместе с Хацревиным он написал: «Америка граничит с нами» (1932 г.), «Дальневосточные рассказы» (1935 г.), «Путешествие» (1937 г.), «Рассказы и портреты» (1939 г.).

И в те же годы один он написал: «Разрушение Кентаи» (1932 г.), «Новый Хафиз» (1933 г.), «Подвиг» (1934 г.), «1869 год» (1935 г.), «Однажды в августе» (1936 г.), «Врач из пустыни» (1937 г.), «Витька» (1938 г.), «В нескольких шагах от реки» (1939 г.), «Приезжий» и «Человек из стены» (1940 г.).

Что касается Хацревина, то он растворился в своем соавторе почти без остатка. До объединения с Лапиным он выпустил интересную маленькую книгу рассказов «Тегеран». После — ничего, если не считать двух-трех рассказов.

При некоторых совпадающих чертах это объединение двух писателей не было таким полным и органичным, как, например, у Ильфа и Петрова, которые сливались, так сказать, химически. Если их книги уподобить воздуху, то Евгений Петров в них играл роль азота. Одним кислородом нельзя долго дышать. Он сжигает. Жгучую едкость ильфовской иронии Петров разбавлял своим живительным юмором. Они были неразделимы. Когда они обособлялись, воздух распадался, писателя не было.

Лапин и Хацревин иногда явственно отслаиваются друг от друга. Но временами, когда их соединенные усилия достигали гармонии, им удавалось создавать такие маленькие шедевры, как «Дональд Ши» или «Знаки», принадлежащие к лучшим образцам советской новеллистической литературы. Одна из совместных книг их, «Дальневосточные рассказы», превосходна.

Хацревин иногда говорил о Лапине, что по всему строю дарования он больше ученый, чем поэт.

Нужно сказать, что сам Хацревин был широко образованным человеком, особенно в востоковедческих дисциплинах (он окончил Ленинградский институт востоковедения, тогда как Лапин был самоучкой).

Но в этих словах его отразились творческие споры соавторов. Хацревин тяготел к чувствительности, к эмоциональной раскраске сюжета, к плавному рассказу о страстях, к музыкальному построению фразы, даже к строфичности в прозе. Лапин — к изображению эпохи, социальной психологии, к снайперски-точному выражению мысли, идя на тяжеловесность ради ясности. В его искусстве царят порядок и своего рода суровость, выраженные с присущей ему сдержанной силой. Он ненавидит полногласие. Он находит свой пафос в сухости, свое красноречие — в краткости. В манере его было что-то от «Записок» Цезаря или от прозы Пушкина. Недаром всегда восхищался он пушкинским «Кирджали». К слову сказать, эта восьмистраничная повесть, на наш взгляд, не что иное, как репортаж, гениально вознесенный на высоты большого искусства. Именно этот жанр — с его фактичностью, свободной манерой повествования, коротко, но глубоко врезанными характеристиками и ярко обозначенной политической тенденцией — был излюбленным жанром Лапина.

Но в словах Хацревина была и верно наблюденная черта его друга. И вправду, Лапин иногда напоминал ученого, который приневолил себя к искусству и принес туда точность и обстоятельность лабораторного исследователя. Его книги местами переходили как бы в изыскания.

Лапин, чрезвычайно сознательно относясь к своей работе, знал и подчеркивал это. В «Подвиге» мы читаем:

«Как ученый исследователь по осколку пористой кости, найденному среди силурийских пластов, восстанавливает неизвестный скелет давно погибшего животного, так и я должен был восстанавливать душевный скелет капитана Аратоки, пользуясь отрывками лживых интервью, рассказами невежественных очевидцев, преклонявшихся перед газетной мудростью...»

Не отсюда ли у Лапина эта страсть документировать свои фантазии, превращая документы в элемент повествования?

Однако не холодное научное исследование было его целью.

«Не как антрополог, не как психолог и не как портретист хотел бы я смотреть на людей. Я хотел бы изучить место, какое люди занимают в своем времени. Я хотел бы, чтобы, взглянув на моего героя, каждый говорил: «Живи я в одно время с ним, я был бы его другом». «Я был бы его врагом...»» («1869 год»).

Это книга о пушечном негодяе и авантюристе Генрихе Кеферлейне, немецком фабриканте смерти. Сквозь его биографию просвечивает детство империализма, взрыв колониальной экспансии, начало роста вооружений. Из вышеприведенной цитаты становится ясной творческая программа Лапина, как она определилась для него в 1935 году, когда ему исполнилось тридцать лет: с точностью ученого, действуя приемами художника, добиваться политических результатов, заражая читателя влюбленностью или отвращением к персонажам из мира своих героев, всегда окрашенных социально. И он этого добивается.

Не сомневаюсь, что, став ученым, Борис Лапин при своих блестящих дарованиях сделал бы значительные открытия. Но воображение, вся пылкость образного мышления увлекли Лапина в искусство. Научный метод он использовал как поэтический прием. Потому, что вопреки характеристике Хацревина больше всего Лапин был все-таки поэтом.

* * *

Они были очень дружны. Эта дружба выдержала испытания работой, опасностями, самой смертью.

Они были товарищами в труде, в путешествиях, в войнах. Это была дружба мужественных людей. Они обходились без сентиментальных заверений во взаимной дружбе. Напротив, они нередко препирались.

Хацревин не упускал случая подтрунить над феноменальной рассеянностью Лапина.

Эта рассеянность происходила от сосредоточенности. Иногда она бывала так глубока, что походила на одержимость. Это означало, что Лапин охвачен идеей новой книги или замыслом нового путешествия, куда непрерывно гнал его беспокойный и отважный дух исследователя. Решения его часто казались внезапными. На самом деле они длительно и незримо созревали в недрах его деятельного мозга,

что бы другое, видимое, ни делал он в эту минуту: читал ли, гулял ли, разговаривал ли на постороннюю тему. И тогда под незначительностью обыденного разговора порой чувствовалась пылающая работа его воображения. Легкий тик, пробегающий в такие минуты по его лицу, казался произвольным мускульным усилием, способствовавшим напряженной работе мысли.

Лапин любил Хацревина немного покровительственной любовью старшего брата (хотя он был моложе Хацревина) или матери, которая хоть сама и покрикивает на своего несмышленища, но никому другому не позволяет обижать его. В этом несомненно был и оттенок жалости. Широкоплечий жизнерадостный Хацревин был очень больным человеком. Это не помешало ему в 1939 году, когда вспыхнули военные действия на реке Халхин-Гол, помогать командировки на фронт.

Там, в районе боев, этот хилый человек с привычками изнеженного горожанина, страдавший жестоким пороком сердца и изнурительными припадками ноктурны (род падучей болезни), не знал ни страха, ни уныния, ни усталости.

Койки Лапина и Хацревина в редакции армейской газеты всегда пустовали. Друзья вечно пропадали на переднем крае. Уже тогда ими владела мечта «раствориться в безыменной красноармейской массе». Впоследствии они развили эту идею в своей пьесе «Военный корреспондент», не дошедшей до сцены, но оказавшей известное влияние на нашу драматургическую литературу.

* *
*

В боевой обстановке фронта Лапин и Хацревин показали себя бесстрашными людьми.

Мне кажется, что это бесстрашие покоилось не только на их личных свойствах, на врожденной силе духа или на крепости нервной организации.

Мне кажется, что это бесстрашие происходило и от острого осознания благородства цели, за достижение которой борется Советский Союз и обороняющая его Красная Армия, от сознания, что вся чистота и правда мира на нашей стороне.

Отсюда рождалось ощущение бессмертия, бессмертия дела, защищаемого нами, бессмертия коммунизма. Это, в сущности, и было тем, что называется советский патриотизм.

Лапин и Хацревин никогда не трепали это высокое чувство в болтовне житейских разговоров, но оно выразилось во всем их жизненном поведении, в самой фактуре их произведений — оптимистичной, ясной, жизнерадостной. Иной литератор из «бодрячков» бубнит всю жизнь в такой уныло-монотонной ноте, словно он пишет о зубной боли, а не о строительстве нового мира. Жизнерадостный тон, который так характерен для произведений Лапина и Хацревина (так же, как и одного Лапина), является как бы отпечатком самой натуры их, бодрой, неутомимой, бесстрашной натуры борцов.

Таково было их умонастроение, так и вели они себя на полях этой короткой, но жестокой войны в недрах Азии. Им было нелегко. Никто никогда не слышал от них жалоб. Хацревин мужественно преодолевал свою физическую хрупкость, свои сердечные обмирания, свои эпилептические припадки, которые почти каждую ночь били его. У Лапина от невзгод фронтовой жизни открылся старый рубец на спине, оттуда все время сочилась кровь. Он больше всего боялся, чтобы редактор не заметил этого и не откомандировал его с фронта.

Помимо всего, война остро интересовала их как неповторимый материал для наблюдений. Вот тут и начинаются различия.

Хацревин наблюдал войну с жадной любознательностью, не затрудняя наблюдений никакими литературными расчетами. Эта неутомимая любознательность гнала его под огонь минометов, в гущу атаки, делала его опасным спутником.

У Лапина же этот процесс осложнялся чрезвычайным напряжением внимания, направленным на запоминание. Не доверяя памяти, он записывал все, что видел, в свою тетрадку, которая, так же как и пистолет, всегда была при нем. Он заносил в нее как бы моментальные снимки с натуры — короткими словами, почти стенографическими иероглифами. Тут же с лихорадочной быстротой он запечатлевал обобщения, образы, ассоциации, вихрем проносившиеся в его мозгу. Он запоминал войну как материал для искусства. И никакая острота обстановки не в состоянии была парализовать эту профессиональную потребность писателя.

Как-то на одном из участков на Халхин-Голе наблюдатель доложил, что японцы надевают противогазы. Можно было ожидать химической атаки. Ни у кого из нас троих

не было противогазов — по недопустимой небрежности мы оставили их в броневишке и отпустили его. Все вокруг натянули на себя противогазы, запасных не оказалось.

Я закурил папиросу, чтобы определить направление ветра по дыму. Но медлил смотреть на него. Странное-оцепенение овладело мной.

Хацревин беспечно улыбался и, засунув руки в карманы, с любопытством озирался по сторонам.

Лапин же выхватил из кармана свою тетрадку и принялся писать. Он фиксировал свои «предсмертные» ощущения. Он писал очень быстро, чтобы успеть записать как можно больше.

Наконец Хацревин сказал, покосившись на дым моей папиросы:

— Ветер к японцу.

Мы вздохнули и рассмеялись.

Потом Лапин читал нам свои лжепосмертные записи:

«Газовая тревога. Барханы. Глубокий песок. До японцев 350 метров. Сидим под высокой насыпью. Над головами жужжат пули. Массивность майских жуков. Здесь, в песках, портится все автоматическое — пистолеты, часы, ручки. Минометы молчат. Вечер. Но еще светло. Где же газы? Все в масках. Тупоносые. Ворочают серыми резиновыми пятками. Наших три голых незащитных лица. Чувство неизбежности. Газ еще не дошел. А может быть, он без запаха? Пульс учащенный. Смуглое небо. Орлы. Низко пролетают. Бегут. Мясистые крылья свистят, сдвигаясь...» — и так далее все в том же стиле скрупулезно-точного описания обстановки.

Они оба не чувствовали страха смерти. У одного он вытеснялся страстью видеть, у другого — страстью изображать.

* * *

Разразилась Отечественная война. Лапин мог бы эвакуироваться вместе с теми, кто уехал в тыл заниматься литературой. Он уже достиг того возраста, когда писатель начинает меньше скитаться и больше сидеть за письменным столом и разрабатывать накопленное. Но ему показалось невозможным писать, покойно расположившись за широкой спиной Красной Армии. Не жажда впечатлений гнала его на войну, а высокоразвитое чувство патриотического долга. Он при-

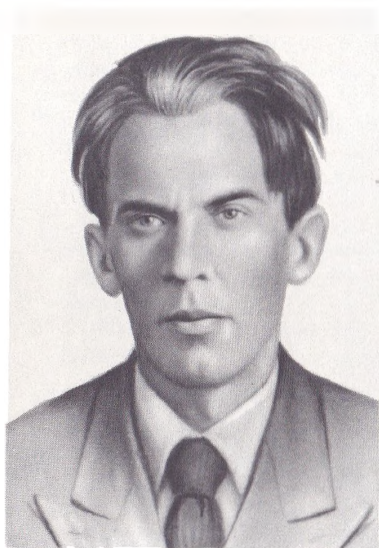


Сергей Диковский. Он
погиб, когда ему не испол-
нилось и тридцати трех лет.
Но книги его живут и будут
жить!

Снимок В. Диковской



Первые издания
первых книг С. Диковского



Было в нем что-то от старых русских мастеров, от лесковского Лавши. О таких людях, как Бобрышев, говорят: «золотые руки»

Максим Горький, Ромен Роллан и Василий Бобрышев (в центре) с палехскими художниками на даче у Горького. 1935 год



Аркадий Гайдар перед выездом на фронт. Снимок, сделанный в редакции «Комсомольской правды»



Б. Лапин и З. Хацревин на фронте в районе Киева. Август, 1941 год

Снимок Д. Бальтерманца



Юрий Инге и Елена Вечтомова. Кто-то из них установил традицию: фотографироваться вдвоем каждую весну. Вернувшись домой после финской кампании в 1940 году, они и не думали, что снимаются вместе в последний раз...

Саша Шуэр со своей матерью Елизаветой Ароновой. Снимок сделан в 1935 году



мкнул к тому отряду писателей, которые шли, погибали и побеждали вместе с солдатами.

В сторону неоконченные рукописи! Из-под кровати извлечены запыленные сапоги, на пояс повешен пистолет, сунута в карман тетрадка. Военные корреспонденты Лапин и Хацревин уехали на Юго-Западное направление. И вскоре, едва ли не ежедневно, на страницах «Красной звезды» стали появляться их «Письма с фронта».

С волнением перебираешь сейчас эти газетные вырезки. Они пожелтели от времени. Но короткие фразы еще горячи. В них жар боя и пламя горящих хлебов на полях Украины. Как все, написанное Лапиным и Хацревиным, эти корреспонденции о тяжком военном лете 1941 года дышат верой в победу, волей к победе.

По своему обыкновению Лапин и Хацревин значительно раздвинули привычные функции корреспондентской работы. В одной из немногих существовавших тогда статей о работе журналистов на фронте (сборник «Бои у Халхин-Гола») Лапин и Харцевин пишут, вспоминая опыт 1939 года:

«...Часто материал для номера собирали во время боя... Пробираясь по узеньким ходам сообщения, военные корреспонденты записывали в свои блокноты боевую хронику дня. Они наблюдали из окопа за атакой. Им случалось брать интервью, сидя в щелях во время налетов авиации. Дальние и ближние разрывы не мешали сосредоточенной деловой беседе... Вели и политическую работу на передовых позициях... Проводили короткие беседы... о сегодняшнем международном положении, о приеме в партию на позициях, даже о советской художественной литературе...»

Лапин и Хацревин гордились своим родом оружия. В армии во время Отечественной войны работали тысячи журналистов и писателей. Они шагали рядом с солдатами, они мокли в окопах, вылетали на штурмовиках, ходили на подлодках в неприятельские воды, высаживались с десантами, работали среди партизан в тылу врага. Как у всякого рода оружия, у них были свои обычаи, свой фольклор, своя честь. Они пели свои песни, которые им написали Лапин с Хацревиным и Симонов. Они жили с народом на войне, звали его в бой и сами ходили в бой. Поистине перо было приравнено к штыку, и к свинцу пуль — свинец типографского набора. Среди храбрейших из них были Лапин и Хацревин.

С самого начала войны нас разбросало по разным фронтам. Я был на Ленинградском. Все же еще раз я увидел их.



В августе 1941 года редакция вызвала отовсюду своих военных корреспондентов на несколько дней в Москву, чтобы дать им новые инструкции. Из-под Киева примчались на пятнистой простреленной эмке Лапин и Хацревин. В ночь перед возвращением на фронт Хацревин метался в сорокаградусном жару. К его обычным недугам добавилась дезинтерия. Он запретил нам сообщать редактору о его болезни. На следующее утро никто не сказал бы, что он болен. Он был, как всегда, весел, ясен, бодр, он в совершенстве сыграл здорового. И они уехали на своей машине обратно под Киев.

А на следующий день уехали обратно под Ленинград Михаил Светлов и я. Поезда уже не ходили. Мы поехали на машине. Но и Ленинградское шоссе оказалось перерезанным. Обходными путями через леса мы добрались до Мги и проскользнули сквозь нее. Через несколько часов она была занята немцами. Последняя дверь в Ленинград захлопнулась за нашей спиной. Мы въехали в блокаду.

Но оставались воздушные пути. Самолеты из Москвы садились на маленьких площадках на окраинах Ленинграда. В октябре прилетел один знакомый летчик. Он сказал, что Лапин и Хацревин погибли в боях под Киевом.

Офицер, который видел их последним, рассказывал. На охатке сена у дороги лежал Хацревин. Он был окровавлен. Лапин склонился над ним, в солдатской шинели, сутулый, с винтовкой за спиной. Они пререкались. Хацревин требовал, чтобы Лапин уходил без него. Лапин отвечал, скрывая нежность и заботу под маской раздраженности:

— Ну ладно, хватит говорить глупости, я вас не оставлю...



Почему их жизнь мне кажется такой замечательной? Ничего как будто и особенного: труд, скитания, война.

Но доброта, талант, естественное и деятельное благородство, честность, мужество, скромность, рассеянные по многим людям, соединялись в каждом из них слитком высочайшей пробы.

«Мальчики убиты!» — эта весть горестно поразила всех друзей. Я забыл сказать, что их называли «мальчики» (хоть старшему из них исполнилось тридцать семь), вероятно, за то сияние душевной чистоты, которое так молодило их.

Б. Лапин, З. Хацревин

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЗАДУШЕВНАЯ

(На могиле «Раскинулось море широко...»)



Погиб журналист в многодневном бою
От Буга в пути к Приднепровью,
Послал перед смертью в газету свою
Статью, обогренную кровью.

* * *

Редактор суровый статью прочитал
И вызвал сотрудницу Зину,
Подумал, за ухом пером почесал,
И вымолвил мрачно: «В корзину».

Наутро уборщицы вымыли пол,
Чернильные пятна замыли,
А очерк его на растопку пошел,
И все журналиста забыли.

И только лишь старый седой метранпаж
Печально и тихо заметил:
«Я помню, остер был его карандаш,
И честно он смерть свою встретил».

А жизнь по дорогам проторенным шла,
Как будто ни в чем не бывало,
И новый товарищ поехал туда,
Где вьюга войны бушевала...

По-видимому, это самая первая из фронтовых журналистских песен Великой Отечественной войны. Рукопись ее не сохранилась, песня передавалась из уст в уста. Этим и объясняется существование некоторых других вариантов текста. Разночтения, правда, незначительны.

Журналистская молва утверждает, что в создании этой песни кроме Бориса Лапина и Захара Хацревина участвовал еще и корреспондент «Известий» Михаил Сувинский. Проверить это нельзя — все трое пали в боях...

* * *

Мы уже подписывали верстку этой книги, когда узнали о том, как была сложена «Журналистская задушевная». Эти строки вписываются в верстку.

11 августа 1941 года в бою погиб корреспондент Всесоюзного радио Евгений Барский. О его гибели рассказывает дальше в этой книге Савва Морозов. Барского похоронили в братской могиле около Канева.

Вскоре в частях, сражавшихся в районе Канева, побывали Б. Лапин, З. Хацревин и корреспонденты «Известий» И. Осипов и М. Сувинский. Там они узнали о гибели Барского.

Из этой поездки Лапин, Хацревин и Сувинский возвращались вместе, в одной машине. В дороге они и сложили песню, посвященную одной из первых жертв войны среди собратьев по перу. Они вернулись в Киев 9 сентября, привезя готовую песню, сразу полюбившуюся журналистам.

Обо всем этом сообщил нам Иосиф Осипов.

А Константин Симонов нашел в своем архиве текст «Журналистской задушевной», записанный неизвестной рукой. Под ним три фамилии: «Б. Лапин, З. Хацревин, Мих. Сувинский».

Так сложили песню...

Елена Вечтомова

ВСЕГДА РЯДОМ



то очень здорово, но ты все выдумала сама! — Юрий засмеялся. Мы сидели на скамье в парке Госнардома, и я рассказывала ему сюжет повести о том, как к жене погибшего на Дальнем Востоке командира приходят его запоздавшие письма и возвращают ее к жизни.

Правда, у нас было в обычае рассказывать друг другу задуманные вещи как уже существующие, но это выдумала не я.

Мы радовались тому, что фронт отодвигается от Ленинграда и наши моряки снова должны возвращаться в Таллин. Юрий был в форме морского офицера, которой очень гордился. В нем появилась даже совершенно несвойственная ему степенность. Был июль 1941 года.

Юрий погиб через месяц, и два месяца письма от него продолжали приходить. День за днем я читала:

«С добрым утром, Аленушка! Прилетели «гости» и разбудили. Отогнали. Совершенно исключительное утро. Тишина. Только ехать гулять с тобой за город...»

«Приехал Броунштейн и привез мне два письма — от тебя и Севки¹. Видишь, опять радость! Видимо, ты плохо ориентирована. Наши товарищи расскажут подробно про житье-бытье...»

«Был на почте. Письма еще не разобрали. Жаль, что не могу ответить тебе. Здесь я понял, что такое письма и что такое семья...»

«Как-нибудь передай письмо через едущих сюда. Как наш Сереженька? Все ли у него есть?»

«Купил тебе синие шерстяные перчатки...»

Я знала о его гибели с той минуты, как редактор «Красного Балтийского флота», снова вернувшийся в Ленинград после эвакуации Таллина, собрал сотрудников и спросил: «Видели вы Инге?» Громоздкий детина старшина Вирчик, не подозревая, что рядом близкие погибших, ответил: «Я видел его почти до конца».

Два месяца друзья уверяли меня, что Юрий может оказаться на островах, может вернуться. Это самое худшее, что делают для человека, когда он уже знает все. Пытка надеждой. Но никому не хотелось верить, что Юрий уже нет.

А письма все приходили. Он всегда умел писать смешные, своеобразные письма — шуточные отчеты, сатирические боевые листки с заголовками, вырезанными из газет, с фотографиями. На домашних праздниках развешивал веселые лозунги и изречения. Мы часто бывали в командировках врозь. Оба работали постоянно для газет, и Юрий всегда был для меня примером настоящего журналиста. Часто переписывались. Но письма погибли в Сухуми во время наводнения, когда Юрий работал в газете Ткварчелстрой.

Мы прожили вместе ровно десять лет — с мая 1931 года до августа 1941-го.

Он любил жизнь. Так всегда говорят о безвременно погибших. Нет людей, которые не любили бы жизнь. Но Юрий любил ее деятельно, активно. Когда что-нибудь не ладилось с работой, он говорил: «Не разговаривай со мной. Я злой». И обязательно находил выход.

Бескомпромиссно, жадно и щедро любил он мир, в котором жил. Недаром он писал:

Но я грущу не о щедротах славы,
А лишь о том, что должен умереть,
Что в некий час придется умереть!

¹ Всеволод Азаров.

Он верил:

Мои друзья и вся моя эпоха
Помогут новый выдержать мне бой.

Он мечтал:

Услышать громкий голос внука,
Прожить всю жизнь и не солгать.

Он был очень добрым человеком, но умел быть и жестоким там, где дело касалось работы. Тут не было скидок и поправок. Он не прощал мягкотелости, плохого качества и не выносил «писателей только по внутреннему убеждению». Тут он мог быть и был злым. Его дружба не знала снисхождения к другу. Он мог махнуть рукой на плохую работу безразличного, случайного человека, но другу не прощал ни одной неудачной строки.

Он болел. У него был туберкулез, но никто не знал об этом. Дома, почувствовав себя плохо, он требовал стакан горячего молока с содой и маслом или стакан водки с перцем и горчицей, но утром, несмотря ни на какие предписания врачей, его уже не было в постели, и только легкая хрипота напоминала о его состоянии. Ни один человек так не запрещал себе болеть! Если же заболел сын или я, не было лучшей, заботливейшей и забавнейшей сиделки, чем он. Зато всякие «дамские хворобы» изгонялись начисто.

Юрий легко дружил с людьми, но, с тех пор как я узнала его, я ни разу не видела, чтобы он изменил принципиальной своей линии в литературе ради дружеских отношений. Сохранились его ненапечатанные осторожными редакторами статьи, которые звучат сегодня очень верно.

Многие его стихи, написанные давно, казались во время Отечественной войны сделанными только что («Осада», «Разбитый дом», да и другие). Его любили все, кроме окололитературных халтурщиков. Не о них ли он писал:

Но покоя мне не довольно,
Знаю цену таким вещам.
Ненавижу самодовольных
Обывателей и мещан.

Публицистический накал всегда был силен в его стихах. Как-то, едучи в командировку в колхоз, я в поезде столкнулась с моряком, пережившим эпопею таллинского прорыва. Он рассказывал о ней, как подобает моряку,—

иронически описывая свои злоключения между Кундой и Локсой (место гибели Инге) и с большим уважением говоря о товарищах: «Там погибли несколько писателей... Знаете, когда мы уходили из Таллина, все стены были оклеены их плакатами. Стихи писал Инге — его бы фашисты живьем съели, если бы он к ним попал!»

Когда Таллин был освобожден нашими войсками, в гестапо нашли списки людей, подлежащих немедленному уничтожению. Там были имена Вишневского, Инге, Азарова.

О нем невозможно говорить как об умершем; память о нем не в заупокойных речах, а в бесконечных часах рассказов друзей, коллег — о его чудачествах, путешествиях, замыслах, проделках, об участии в десанте в дни финской кампании. Он очень много работал. По сути дела, вся его жизнь была работа, но никогда он не вершил ее, как мрачное священнослужение.

Через два года после гибели Инге поэт-краснофлотец Снегирев напечатал в газете своего соединения может быть наивные, но горячие стихи, посвященные Юрию. Они кончались так:

Чтобы таким, как ты, поэтом быть,
Безумно надо Родину любить,
Святыне этой душу отдавать.

Там были и такие строки:

Твои стихи читались у могил,
Когда давали клятву боевую.

Во многих стихах говорится об Инге — у А. Прокофьева, Б. Слуцкого, Н. Брауна, Е. Рывиной. И не только у них.

Последние номера за август 1941 года газеты «КБФ», где служил Инге, погибли в море. Черновики стихов, набранных в этих номерах, не сохранились. Пленка с записью его голоса вместе с другими записями была эвакуирована в город Пушкин и там погибла.

Юрий работал до последнего дня, до последней минуты. Он был бодр, находил силы оставаться самим собой, подшучивал над приунывшими товарищами. Когда фашисты пустили торпеды в госпитальное и штабное судно «Вирония», шедшее перед «Вальдемарасом», на котором были наши писатели, Юрий не поверил своим глазам. «Какие сволочи!» — крикнул он. Он стоял на ходовом мостике, запоминая все, о чем должен был написать: «клубящийся дым горящего Таллина, наши корабли в бою, людей. Все спасательные средства

были брошены к «Виронии», а через несколько минут торпеда подорвала «Вальдемарас»...

Бескомпромиссная, цельная, честная преданность своей работе, страстная, без рисовки, одержимость ею делали Юрия Инге таким естественным, мирили в нем серьезность и легкость. Ему не нужно было произносить пышные слова, чтобы заставить поверить в свою искренность, его вера была его дыханием, но сам он не был «священным сосудом», из которого не дай бог пролить каплю «священного елея». Он был живым и веселым человеком, широким, большим и острым. Он писал:

Дружба это — не вместе выпить.
Это — вместе на смерть пойти.

И он доказал это.

Ничего не было в нем узкого, только для себя, эгоистического, несмотря на отсутствие аскетизма, на самый земной его характер.

Проходя по Кировскому мосту в июле 1941 года, скрывая тревогу, Юрий подшучивал надо мной:

— Эх вы, пехота! Никакой романтики, все по земле ходите!

Я заглянул за перила моста:

— А у вас пешком не пройдешь...

Кто знал, что через месяц случится самое страшное...

Всеволод Азаров рассказывал, как работали они в Таллине. Оба жили в маленькой кухне при редакции. Оба, когда писали, должны были ходить. А писали они по заданию редакции стихи, очерки, рассказы, статьи, фельетоны в отделе «Полундра», подписи к плакатам ежедневно. Кухня была мала. Они делили ее. Два с половиной часа ходил один, два с половиной — другой. Тем не менее, когда Азарова откомандировали в Кронштадт, Юрий писал мне: «С Севкой работалось лучше».

Он никогда не халтурил, хотя считал, что обязан писать и по заказу. Он умел находить острые, злободневные, нужные темы, как журналист. У него был ящик стола, из которого он извлекал материалы, отложенные когда-то в запас. Всегда для них наступало свое время.

Память у него была прекрасная, слух абсолютный. Он был очень музыкален. Систематического образования он не получил, хотя все считали, что за его плечами искусствоведческий или исторический вуз. Он окончил всего пять

классов гимназии в Симферополе, где литературу тогда преподавал К. Тренев. После смерти отца — портового служащего, оставившего на его руках больную мать и двоих малышей, Юрий поступил чернорабочим на завод «Красный треугольник» и проработал там восемь лет. Получил квалификацию резинщика. Свою дисциплинированность он всегда объяснял тем, что ему пришлось работать на производстве. Она помогала ему неизменно и в журналистской работе. Он был завсегдатаем публичной библиотеки, всю жизнь учился и умел учиться... Он знал и помнил высказывания Ленина, кажется, в любой области. Любя историю, отлично зная ее, он много писал на темы историко-революционные. Первой такой работой была его поэма (1932 г.) «Биография большевика» о Васе Алексееве. Позднее он написал «Степана Халтурина», повести «Восстание на «Иоанне Златоусте», «Рассвет», «Акционерный феникс», наконец, свою любимую драматическую поэму «Жан-Поль Марат», до сих пор опубликованную только в отрывках. Он закончил ее накануне войны.

Десять книг его стихов, повести из истории флота, из истории рабочего движения в Петербурге — как ступени, по которым он поднимался день за днем, год за годом, всегда находясь в гуще жизни, десять лет.

Когда он погиб, ему было тридцать пять лет. Правда, никто не давал ему больше тридцати. Его первая книга вышла в 1931 году. С каждой книгой он становился суровее и глубже в своем творчестве. Это видно, если сравнить хотя бы его первую романтическую, искреннюю, но еще не вполне зрелую книгу «Эпоха» с книгами сорокового года «Сердца друзей», «Город на Балтике», с его посмертными — «Золотой век» и «Корабельная сторона».

Внешне Юрий — высокий, стройный, сухощавый, с серыми зоркими серьезными глазами — почти не менялся. Саянов писал, что в его облике «было что-то скандинавское». За последние годы только потемнели его золотистые волосы. Тот же Саянов писал, что стоило поговорить с Инге, как за «скандинавской» внешностью проглядывал заставский парень. А способность выглядеть в любом костюме отлично одетым у Юрия была чисто военная. Тем не менее с его «ограниченной годностью» ему было очень трудно добиться зачисления на флот еще в финскую кампанию.

Мы много ездили: Урал, Абхазия, Грузия, Украина, Ленинградская область, Балхаш, Средняя Азия. Садясь писать

обо всем виденном, страшно спорили. Написав, жестоко критиковали друг друга, ссорились, высказывали на лестницу и в то же время чувствовали себя чем-то единым.

В блокадную зиму с запозданием вышел журнал «Костер» с Юриными стихами. Я принесла его в группу писателей-балтийцев. Вишневский прочел вслух:

А женщина, суровая от горя,
Все думает, — сказать иль не сказать?
И сдерживает, пряча телеграмму,
Рыдания, в горле вставшие комком...
— Усни, сынок! — а он твердит упрямо,
Как все мальчишки: — Буду моряком!

Всеволод Витальевич вытер слезы. Разве думали мы, что строки эти станут пророческими...

Вся деятельность Инге была жизнеутверждающей. Он любил людей упрямых, захваченных идеей, большевиков. О своем семнадцатилетнем брате, погибшем незадолго до войны, он писал:

Вот именно это упрямство
В тебе я так сильно люблю.

Он мечтал о золотом коммунистическом веке. Последний цикл его стихов так и называется: «Золотой век». Люди, общавшиеся с ним, становились лучше. Читая в вахтенном журнале минного заградителя, историю которого он писал, запись и о нем, я вспоминала его стихи:

Будет день, и в вахтенном журнале
О нас напишет скупко командир.

Правление Союза писателей вместе с Политуправлением Балтийского флота направило меня докончить начатую им историю корабля. Война застала Юрия на борту этого минного заградителя, бывшей царской яхты «Штандарт», и с первого дня он стал корреспондентом «КБФ». Первая корреспонденция и стихи его были там напечатаны 22 июня 1941 года, а в Ленинграде в этот день вслед за правительственным сообщением передавали его поэму-плакат «Война началась».

27 июня Юрий уже писал оргсекретарю Союза писателей Величкину: «Дорогой Сергей Федорович! Привет тебе, привет! Как ты есть главный наш воротила, то, пожалуйста, организуй братьев-писателей, чтоб слали материал в «Красный Балтийский флот». Тематика ясна, я думаю. Так будем ждать? В отношении «старухи» Вечтомовой — не давай ей никаких направлений, а то опять смоемся на фронт».

Но быть военным корреспондентом можно было и не «смываясь» из Ленинграда.

За несколько дней до гибели Юрий написал мне:

«Собираемся выпускать сатирический журнал «Балтийский крокодил». База, бумага, деньги, благословение получено».

Этим планам не суждено было осуществиться...

Юрий погиб, когда его называли еще молодым поэтом. Его стихи звучат так, как будто он написал их сегодня. Чувство такое, что человек растет и мужает вместе со своим временем и всегда остается с нами рядом.

Александр Прокофьев

НА БАЛТИКЕ

ПАМЯТИ ЮРИЯ ИНГЕ

Из Таллина шли корабли к Ленинграду,
Их грозная доля вела.
И, минных полей разбивая блокаду,
Прорвались не все вымпела.

Простились давно мы с друзьями своими,
Но мнится мне, будто вчера
Балтийские волны сомкнулись над ними,
Промчались, подняв кивера.

И слышу я их нестихающий рокот
И вижу, как звезды горят
Над вечной могилой, большой и глубокой,
В которой товарищи спят.

Зигмунд Хирен

ВОЗДУХ ВОЙНЫ



Краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии после пяти с половиной месяцев гастролей в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии возвращался специальным поездом в Москву. Все были по горло сыты концертами, овациями, впечатлениями, и только один человек в поезде все еще хотел новых впечатлений. Забившись в купе, он рылся в записных книжках, блокнотах и с горечью вздыхал по поводу того, что на Сахалине не успел потолковать со знаменитым артиллеристом, что в Приморье не заехал на отдаленную пограничную заставу.

В это время певцы ансамбля согласно предписанию театрального отоларинголога, сопровождавшего их всю дорогу, исправно по утрам выжимали несколько лимонов и, не морщась, выпивали сок из блюдец, а танцоры, успев уже проделать необходимые разминки, глядя на своих коллег, морщились, а то и вовсе убегали. После завтрака все собирались у окон вагонов и подсчитывали, сколько осталось часов и минут до прибытия поезда в Москву.

Среди тех, кто копался в железнодорожных расписаниях, перечислял большие и малые станции по пути к Москве, не было человека, о котором мы уже упомянули. Сразу же после завтрака он вновь забирался к себе в купе и вновь перелистывал блокноты. Человека этого все звали просто Сашей, для читателей же газеты «Красная звезда» он был Петром Огиным. Дело в том, что и в самой редакции не всем было известно, что Саша Шуэр, который постоянно куда-то торопился с чужими гранками, пузырьком гуммиарабика, большими ножницами и макетом очередного номера газеты, и есть знаменитый Петр Огин, автор самых интересных и самых острых подвалов в газете.

Саша был самым крупным редакционным специалистом. Он составлял макеты, торопил всех со сдачей материала, бегал с гранками, требуя сократить то десять, то двадцать строчек, а потом выходил очередной номер газеты, и все с жаром и восхищением говорили на летучке об очередном подвале Петра Огина.

Саша являлся в редакцию в середине дня, а уходил из нее глубокой ночью, а то и под утро. Никто не знал, что почти постоянно первую половину дня проводил он или в одной из частей московского гарнизона, или у кого-нибудь из командиров дома. Был он человеком мягким, деликатным, вроде бы даже застенчивым. Время от времени Саша вымаливал у редактора разрешение поехать в командировку. Так он совершил знаменитое путешествие в Кара-Кумы.

Однако редко выпадало ему подобное счастье. И, в сущности, впервые удалось ему скрыться из редакции на такой большой срок, как в этот раз. Узнав о том, что ансамбль профессора Александрова едет на Дальний Восток, он попросился сопровождать его. Предполагалось, что командировка эта будет недолгая и Саша вскоре вернется в стены редакции. Но поездка затянулась почти на полгода. И вот сейчас в специальном поезде, предоставленном артистам, был только один человек, недовольный возвращением в Москву, а истосковался-то он по Москве не менее других. И все-таки сожалел, что вот побыл на Дальнем Востоке и не видел ни одного боевого столкновения...

В те времена на нашей дальневосточной границе происходили частые столкновения с японскими жандармскими войсками. То и дело их пикеты нарушали линию границы, рыли окопы на нашей земле, пробирались в глубь советской территории. Все это обычно кончалось боевыми столкнове-

ниями. Естественно, направляясь на Дальний Восток, Саша не прочь был попасть в подобную переделку. Ансамбль забирался в самые глухие гарнизоны, но всегда оказывалось так, что столкновение происходило или до прибытия артистов, или о нем узнавали уже из газет, когда артисты находились уже в другом конце Дальнего Востока. И вот, перебирая в купе все записи, Саша сожалел, что не везет в Москву ни одного материала о боях.

И тут однажды Саша слышит по радио сообщение о боях в районе озера Хасан. Ни один из пассажиров специального поезда не представлял себе, где находится это озеро: несмотря на пять с половиной месяцев непрерывных гастролей, побывать там ансамблю не пришлось. Саша кинулся к книжке расписания поездов, но в ней ничего об этом районе не упоминалось. Однако за первым сообщением последовало новое. И в то время, когда все подсчитывали, сколько осталось до Москвы, Саша, выяснив наконец, где находится озеро Хасан, занялся подсчетами и составлением маршрута.

С этими данными он и направился в купе профессора Александрова. Естественно, что и профессор, как и весь ансамбль, больше всего в это время занят был подсчетами количества станций до Москвы. И когда Саша явился к нему с предложением повернуть поезд на Владивосток, профессор снял очки и посмотрел на него по меньшей мере как на сумасшедшего. Между тем Саша своим обычным, спокойным, немножко монотонным голосом стал докладывать профессору боевую обстановку. Через несколько минут в купе явился комиссар ансамбля, а уже на следующей станции была передана в Москву шифровка наркому обороны. В этой шифровке спрашивалось разрешение отправиться ансамблю в район озера Хасан. А еще через несколько станций получен был ответ, благословляющий ансамбль на поездку. Теперь опять заволновался отоларинголог. Дело в том, что поезд возвращался в Москву, и врач последнее время почти не осматривал солистов. А сейчас предстояли новые ответственные концерты, и надо быть уверенным в каждом певце...

Впереди был тяжелый путь по фронтовым дорогам. Но как только Саша оказался в районе боев, он расстался со своими спутниками. Надо было как можно скорее окунуться в боевую среду. Саша появился в бухте Ханси, откуда отправлялись воинские части в район боев и куда возвращались отдельные командиры, политработники со срочными

заданиями. Спали в красноармейской палатке. Спали — это, пожалуй, не то слово, потому что с тех пор, как появился там корреспондент «Красной звезды», всю ночь напролет все обитатели палатки были заняты писанием статей в газету, которые Саша тут же правил и дополнял со слов рассказчиков. Вслед за этим на страницах «Красной звезды» появлялись одна за другой авторские статьи о настоящих горячих боях на те самые темы, о которых думал все эти пять с половиной месяцев Саша.

Он как-то умел настраивать людей на «нужную волну». Люди рассказывали доверительно, страстно о самых свежих, самых волнующих впечатлениях боя, и Саша улавливал и душевное волнение, и напряжение мысли. Статьи получались интересные, хорошие, и публиковались они за подписями людей, до того никому не известных. Попутно накапливались материалы и для собственных очерков. Но писать их было некогда. А когда и удавалось выкроить время, то не оказывалось возможности передать их в Москву, потому что узел связи был забит шифровками, оперативными телеграммами и корреспонденции в газету передавались лишь в свободное время. А свободного времени у телеграфистов не было.

Бои кончились. Газета особенно нуждалась в очерках о боях на озере Хасан, о героях Хасана. Но «пробить» этот материал на узле связи не представлялось возможным. И тут родилась мысль: срочно перебазироваться на узел связи штаба армии, где аппараты Бодо были свободнее и можно было беспрепятственно поддерживать непрерывную связь с Москвой. Но добраться в штаб можно было лишь на самолете. А где взять самолет?

Мы жили тогда в одной комнате с полковником авиации, который руководил воздушными операциями на Хасане. Как ни упраскивали мы его, чтобы он «подкинул» нас в штаб армии, ничего добиться не удалось. И вот однажды полковник вбегает к нам и спрашивает, нет ли у кого-нибудь веревки. Веревки ни у кого не оказалось. Тогда, говорит он, снимайте поясные ремни. Ну что ж, хоть и не принято военному оставаться без ремня, но полковник так настойчиво требовал, что мы ему отдали свои ремни. Он с ними куда-то убежал, но вскоре вернулся и со злостью швырнул их обратно. Мы только было хотели выразить свой протест по этому поводу, но он совершенно неожиданно крикнул:



Встретились фронтовые товарищи — Михаил Калашников, Оскар Курганов, Михаил Бернштейн (с трубкой) и Петр Лидов. Это было в сентябре 1941 года под Ельней



Евгений Барский. Он был отличным журналистом

Первый редактор газеты 371-й стрелковой дивизии И. С. Якубенко. Снимок сделан в октябре 1939 года, когда Иван Софронович был курсантом Военно-политического училища имени В. И. Ленина

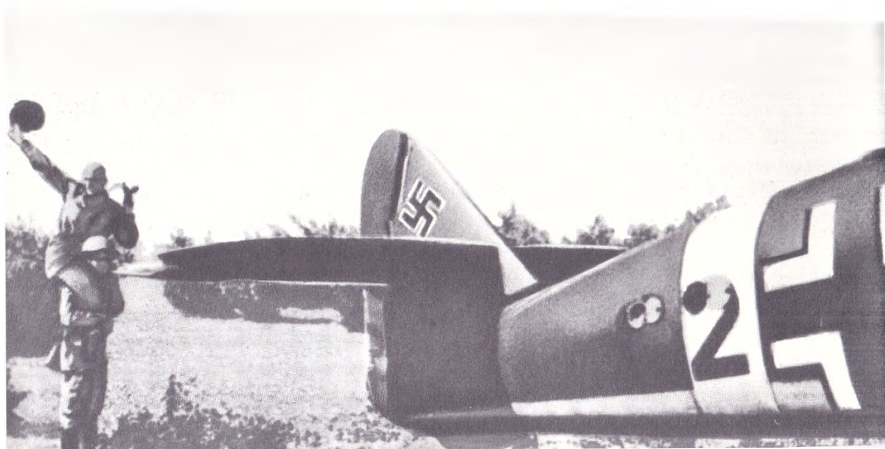




Павел Трошкин всегда в походе, всегда с бойцами...

Павел Трошкин нашел удобную точку для съемки... В роли «точки» — Константин Симонов

**Западный фронт.
Июль 1941 года**



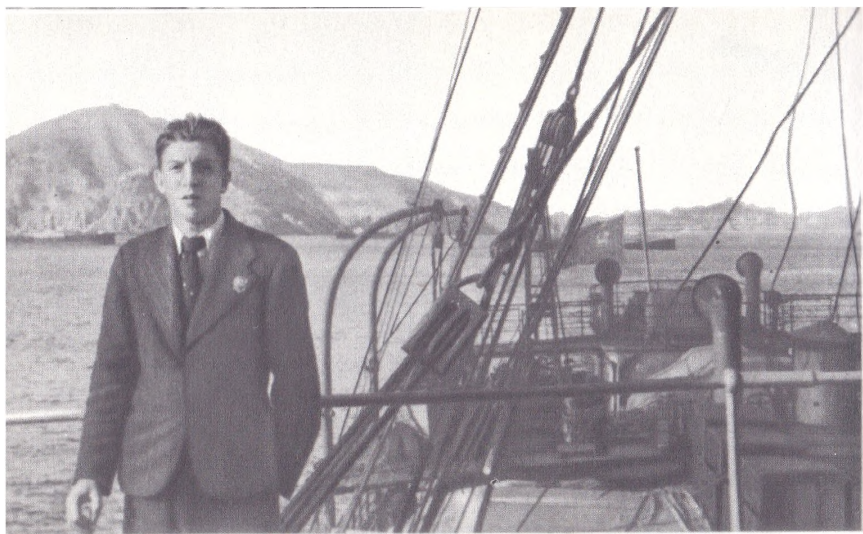


В Кронштадте, у памятника адмиралу Макарову. Справа — Петр Звонков. Слева — заместитель редактора газеты «Красный Балтийский флот» Николай Данилов. Он тоже погиб. Это произошло в конце августа 1941 года, при переходе нашего флота из Таллина в Кронштадт

«Оружием обвешан», как пелось в «Песне о веселом репортере»... Снимок сделан в 1942 году на Северо-Западном фронте. Слева направо фотокорреспонденты: Николай Кубеев (Фотохроника ТАСС), Сергей Коршунов («Правда»), Сергей Лоскутов («Красная звезда») и сотрудники фронтовой газеты «За Родину!» писатель Александр Исбах и фотокорреспондент Вячеслав Шаровский. Через несколько часов после этой съемки Николай Кубеев был смертельно ранен в бою осколком мины. Остальные живы-здоровы по сей день

Снимок фотоаппаратом Сергея Коршунова
сделал проходивший мимо автоматчик





Испания... «Трансбалт» — на рейде Картахены. Михаил Розенфельд готов к работе

Снимок Ю. Королькова

Харьков, 17 сентября 1941 года. В этот день Михаил Розенфельд (в центре) выехал на фронт. Слева — начальник отдела фронтовой жизни газеты «Красная Армия» Борис Фрумгарц, справа — его заместитель Леонид Вирон. Он погиб вместе с Розенфельдом



— Чего же вы стоите, бегите! Вот видите самолет на площадке, он вас доставит в штаб армии. Только быстрее, а то улетит.

Мы, так ничего и не поняв, ринулись к самолету.

Это был небольшой двухместный санитарный самолет. Когда мы подбежали к нему, летчик уже запустил мотор и пришлось громко кричать ему в ухо, объясняя, кто мы и кто нас прислал. Но летчик был чем-то огорчен не меньше нашего полковника. Лишь показал рукой, чтобы мы побыстрее занимали места.

Саша залез в фюзеляж, предназначенный для перевозки раненых. Крышка в фюзеляже поднималась, внутри во всю длину стояла узкая скамейка. На ней и устроился Саша. Летчик опустил крышку и закрыл ее на две задвижки дачного типа. Теперь Саша был скрыт от меня. После этого я залез в крошечную кабину и оказался спиной к сиденью летчика и лицом к крошечному оконцу, вырезанному в фюзеляже. Я заглянул туда: Саша, подложив под голову полевую сумку, набитую блокнотами, записными книжками и тетрадями, блаженствовал.

Когда мы подлетели к аэродрому, где предстояло совершить посадку, я увидел внизу блестящие медные трубы оркестра, выстроившиеся, как на парад, войска, много цветов, женщину, окруженную подругами. Как только мы приземлились, раздались звуки похоронного марша. И все ринулись к нашему самолету. Вышел летчик, выбрался из своей тесной кабины и я, а про Сашу мы забыли, потому что хотелось поскорее узнать, что же тут происходит. А происходило вот что.

Когда окончились бои, на высоте Заозерной состоялась встреча нашего командования с японским, где договорились о передаче тел погибших советских и японских воинов. Среди погибших был наш советский летчик. Его тело было доставлено в цинковом гробу, об этом немедленно сообщили в часть, где летчик служил, и командир прислал самолет. Наш знакомый полковник авиации, просивший у нас ремни, проверял, можно ли будет японский гроб установить в тот самый фюзеляж, где лежал сейчас Саша. Гроб был громадный и не влез. Видимо, полковник не успел сообщить, что тело убитого не доставят этим самолетом. Вот примерно и все объяснение. Но Саша-то, который лежал сейчас в фюзеляже, всего этого не знал. Несмотря на свой сдержанный характер, он сейчас неистово стучал по крышке фюзеляжа

сапогами, бранился. Я хотел открыть задвижки, но там был какой-то секрет, и без летчика мне не удалось это сделать. А летчик разговаривал с вдовой своего товарища, объяснял, что произошло, почему не удалось доставить убитого. Наконец Сашу выпустили, и он, поняв, что произошло, был настолько удручен и смущен, что буквально не знал, куда деться.

Прямо с аэродрома мы отправились на узел связи. И действительно получили возможность быстро и беспрепятственно связаться с Москвой и передать все, что накопилось у нас в полевых сумках. Саша предложил диктовать прямо на Бодо. Диктовали почти до самого утра.

Я невольно стал прислушиваться ко всему, что диктовал бодистке Саша, и постепенно пришел к выводу, что менее всего рассказывал он в своих очерках о чисто военных сторонах дела. Его волновали переживания людей, он за это время собрал громадный материал о психологии солдата на поле боя. Было в его рассказах много юмора, совершенно неожиданного, никто до этого так не писал. И когда мы вернулись в комнату, отведенную нам для ночлега, я поделился с Сашей своими впечатлениями о его очерках и выразил удивление по поводу того, что он так мало внимания уделяет чисто военным вопросам, на которые он обычно был падок, а больше пишет о переживаниях людей. И Саша, ласково улыбаясь, сказал: «Послушай, так это ведь и есть чисто военные вопросы — переживания людей. Это на учениях пишешь о тактике, о стрелковом оружии, о взаимодействии, а ведь на войне главное — поведение солдат, их уверенность в победе. Вот я и стараюсь писать о воздухе войны и тебе советую то же самое».

Каждый вечер Саша любил подводить итог прошедшего дня. Итог обычно был довольно солидный. Но Сашу никогда не удовлетворяло то, что мы успели сделать. Он всегда говорил: «Да, мы кое-что сделали, но все-таки в редакции нас, наверное, здорово бранят. Пойми, сейчас ведь материал о Хасане во как нужен, а мы что передали? Три очерка. Чепуха». Заметив, что я огорчился, начинал меня успокаивать: «А в общем-то мы кое-что все-таки сделали, еще завтра добавим». И на завтра начиналась обычная работа.

Внезапно в нее вторглось новое крупное событие. Из Москвы на самолете «Родина» вылетели три летчицы: Гризодубова, Осипенко и Раскова. Они должны были прилететь в Хабаровск. Известен был час, и в этот час все явились на

аэродром. Но самолета не было. Мы простояли несколько часов — не было самолета, не было никаких сведений о нем.

Находившийся в это время на аэродроме летчик Бряндинский, совершивший незадолго перед этим вместе с Коккинаки перелет из Москвы в Спасск, предложил подняться в воздух и просмотреть знакомый ему по недавнему перелету Яблоновыи хребет. Сразу же все кинулись к пассажирскому самолету, который должен был совершить этот поиск. Саша, взглянув на меня, усмехнулся, и мы поняли друг друга. Он видел, как я рвался в этот полет, и уступил.

Наш поиск, однако, ни к чему не привел. Более часа кружили мы над горами, над сопками, но самолета «Родина» не обнаружили. Не был он обнаружен и в последующие дни. Лишь спустя две недели самолет был найден в районе Керби, за рекой Амгунью. Самолет «Родина» совершил вынужденную посадку. Я срочно вылетел в район посадки, а Саша оставался в Хабаровске. Добираться туда было трудно. Но теперь, вооруженный Сашиной «наукой», я не унывал.

В это же время Саша в Хабаровске перехватил молодого паренька Володю Шаркова, который одним из первых спустился с парашютом к летчицам. Пока мы занимались поисками экипажа «Родина», Владимира Шаркова доставили в Хабаровск. Саша тут же нашел его, подробно расспросил обо всем, что он увидел на месте посадки, и передал по телеграфу в Москву. В сущности, это был первый большой материал о судьбе трех героинь. Об этом я узнал значительно позднее, и Саша смущенно извинялся, объясняя мне, что он вовсе не хотел «вставлять мне перо».

Но вот как все получилось: командующий ВВС ОКДВА комбриг Рычагов сообщил ему, что я погиб вместе с Бряндинским на том самолете, который столкнулся с другим над местом посадки героинь. Саша мне рассказывал, как готовился он сообщить эту печальную новость моим домашним и как в то же самое время был озабочен тем, что из-за моей гибели газета останется без материала о перелете. В этой-то обстановке и писалась беседа с Володей Шарковым! Почти все соответствовало действительности. В потерпевшем аварию самолете в самом деле находился корреспондент, только газеты «Тревога», а командующему Рычагову ошибочно доложили, что погиб корреспондент «Красной звезды».

Возвращались мы в Москву вместе с Сашей специальным поездом экипажа «Родины».

Корреспондентам отвели целый вагон. Почти на всех станциях они выстраивались в очередь к железнодорожному телеграфу, чтобы передать сообщения в редакции об очередном митинге. Телеграфистки высовывались из крошечных окошек, силясь услышать, что говорят им корреспонденты, потому что повсюду непрерывно гремели духовые оркестры: «Все выше, и выше, и выше...»

Мы с Сашей ни разу не подходили к телеграфному окошку. На это обратили внимание наши коллеги. А потом и одна из героинь — Полина Осипенко. Во время одного из митингов, заметив меня, она спросила: «А почему же вы к нам не приходите в вагон? Все корреспонденты уже перебывали». Дело было в том, что во время встречи на Амгуни я попросил у Полины Осипенко ее дневник для опубликования в газете. Она мне его показывала, но дать наотрез отказалась, ссылаясь на то, что там много личного и неудобно публиковать. И вот сейчас, когда она пригласила нас в вагон, я ей об этом напомнил. Полина Осипенко сказала: «Ну приходите, приходите». Когда мы пришли, у нее сидел летчик Михаил Сахаров, тот самый, который первым на своем гидроплане обнаружил самолет, совершивший вынужденную посадку.

Саша сразу же начал с дневника. Почему Полина отказалась опубликовать его в «Красной звезде»? Ведь она командир Красной Армии. А газета «Красная звезда» — командирская. Полина снова начала ссылаться на то, что там много личного. Согласилась написать нам статью на любую тему, лишь бы мы не возобновляли разговора о дневнике. Между тем Саша продолжал настаивать на своем. Он сделал такое предложение: «Знаете, Полина, мы поможем вам написать статью о дальности и высоте, изложим все, что вы сейчас нам рассказывали». Полина согласилась. И тут же добавила: «Знаете, ребята, если хорошо получится у вас, поговорим тогда о дневнике». Мы тут же отправились в купе и стали работать над записями, сделанными в вагоне у Полины Осипенко.

На одной из станций явились со статьей. Прочитали вслух. Полина Осипенко, человек по натуре очень мягкий и добрый, прекрасно понимая, о чем думали мы, когда читали ей сейчас эту статью, сказала: «Отличная статья». И тут Саша вопреки своей обычной скромности вскрикнул: «Ах, отличная! Значит, давайте дневник». Она вновь отказывалась, но в конце концов достала из наколенного кармана

своего мехового комбинезона ту самую тетрадь, которую я впервые увидел у нее на катере во время сильной бури на Амуре. Я знал содержание первых страниц этой тетради и конечно же хотел поскорее ощутить тетрадку в своих руках. Саша, конечно, переживал то же самое. Но надо было себя сдерживать. Ведь Полина еще не сказала, что отдает нам эту тетрадь. Она лишь достала ее для того, чтобы показать нам какое-то место из дневника. И тут Саша проявил невиданную для его характера неделикатность, что ли, и осторожно взял из рук Полины тетрадь еще до того, как она ее раскрыла. И тут же спрятал в карман. Полина испуганно закричала, стала уверять, что никак не может отдать эту тетрадь, но Саша не уступал. В конце концов сошлись на том, что она удалит те страницы, которые считает сугубо интимными. И вот заветная тетрадь, за которой гонялись все без исключения 50 корреспондентов нашего вагона,— у Саши в кармане. Мы запираемся в купе и сразу переписываем дневник на телеграфный язык. Телеграмма получается солидная: в несколько тысяч слов. Но как ее передать? Поезд стоит считанные минуты. Станционная телеграфистка не успеет даже сосчитать слова.

Тогда Саша предлагает такой план. Он диктует мне телеграмму: «Красноярск. Начальнику управления связи. Вышлите к экспрессу «Родина», вагон четвертый, купе третье, ответственное лицо для приема особо важной депеши». С этой телеграммой мы, впервые за всю дорогу, тоже стали в очередь к окошку.

Поезд мчался дальше, а мы вновь явились к Полине Осипенко за следующей тетрадью дневника. Опять обычный разговор. Но ей деваться было некуда. Она передала нам новую тетрадь, и мы засели в купе готовить очередную «порцию» дневника.

И вот Красноярск. Все корреспонденты вновь кинулись на телеграф, а мы с Сашей ходим озадаченные вдоль своего вагона. В каждом прохожем видим «ответственного представителя управления связи». Наконец заметили тощего, немножко сгорбившегося человека с портфелем. Он поглядывал на номера вагонов. И мы оба ринулись к нему, почти хором произнеся: «Из управления связи?» «Да»,— отвечает он. Мы ведем его к себе в купе. К этому времени уже подсчитали не только количество слов в телеграмме, но и сумму денег, необходимую для уплаты. Деньги телеграфисту вручили и попросили выписать квитанцию.

Таким же порядком были отправлены и все последующие «порции». Каждая из них занимала в газете почти целую полосу.

Рано утром на станции Александров все корреспонденты побежали на вокзал за свежими газетами. Побежали и мы с Сашей. Но уже по лицам тех, кто купил газеты до нас, можно было определить, что стряслось. А стряслось следующее: в «Красной звезде» было опубликовано начало дневника Полины Осипенко с «врезкой» от редакции о том, как был получен дневник. Так в течение одной минуты 50 друзей, наших спутников по вагону, стали нашими самыми закоренелыми «врагами».

* *

*

Здесь я изложил всего лишь один небольшой эпизод из жизни Александра Михайловича Шуэра — корреспондента газеты «Красная звезда».

После боев на Хасане Саша участвовал в финской кампании, работал там в армейской газете. Был награжден медалью «За боевые заслуги». Мне запомнилось, как после получения медали в Кремле Саша пригласил меня к себе на дачу, как всю ночь показывал свои рукописи, посвящая во все «задумки». Как и все журналисты, он мечтал написать большую, необыкновенную книгу. Запомнилось, как утром, когда мы торопились в Москву, в редакцию, жена Саши Таисия Васильевна вернула мужа, когда мы уже открывали калитку, заметив, что парусиновая туфля в одном месте недостаточно тщательно начищена зубным порошком. Затем она поправила ему воротник рубашки апаш, ласково ударила по затылку, и мы двинулись к поезду.

Это было незадолго до начала Великой Отечественной войны. Больше Сашу я не видел. Я уехал на Западный фронт, а он оказался на юге и при отходе наших войск из Киева погиб. Было ему тогда 37 лет. Обстоятельства его гибели известны мне лишь по рассказам наших общих друзей¹.

Александр Михайлович Шуэр был награжден орденом Ленина. Посмертно.

¹ Об обстоятельствах гибели А. Шуэра сообщил в своем письме С. Сапиго. См. дальше очерк Г. Кияшко «Письмо в вечность».

Константин Симонов

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ



Михаила Бернштейна и Павла Трошкина я впервые увидел летом тридцать девятого года в монгольской степи на Халхин-Голе. Трошкин — худощавый, щеголеватый, красивый, в сбитой набок синей авиационной пилотке, в новеньких ремнях, с полевой сумкой на боку и с «лейкой» на груди, с револьвером на другом боку — стоял между юртой разведотдела, вкопанной в желтую песчаную землю Хамар-Дабы, и пятнистым трофейным японским фордиком. Стоял и ждал, когда из юрты выйдут разведчики, вместе с которыми он должен был ехать на этой машине куда-то на передовую.

Таким — небрежным, щеголеватым и готовым к немедленному действию, как взведенный курок, запомнил я его в первые минуты нашего знакомства.

А Михаил Бернштейн, когда я впервые увидел его, — это было в 11-й Яковлевской бригаде, у танкистов, — сидел на плащ-палатке рядом с командиром батальона майором Михайловым, который погиб потом, в сорок втором году, на Калининском фронте, и белыми, веселыми, крепкими

зубами с азартом обгрызал с большой кости баранье недоваренное мясо. Обгрыз до конца, поправил «лейку» на круглом животе, засунул за ремень пилотку, встал и сказал:

— Пойду подскочу в разведбат. Обещали в броневинок засунуть, идут куда-то.

Таковыми были первые впечатления от них обоих.

Был тридцать девятый год, первая война, на которую мы попали, хотя и жестокая, но небольшая и далекая, про которую почти не писали в газетах. Была еще та война, на которую выписывали командировки только тем, кому повезло среди многих хотевших, и на командировках стояло: «Для выполнения особого задания», и можно было и ехать и не ехать на эту войну.

Был тридцать девятый год, молодость, предчувствие будущих больших событий, о всем трагизме которых мы не подозревали. Было двадцать три года за плечами и впервые надетая на плечи военная форма.

Мне — двадцать три, Бернштейну — чуточку больше, а Трошкину — тридцать.

Так это осталось в памяти.

Мы тогда еще не подружились. Как-то не свела вместе ни жизнь, ни опасность. Просто видели там по несколько раз друг друга и помнили потом взаимно, что знакомы по Халхин-Голу.

А потом, почти через два года, началась Великая Отечественная война, на которую не спрашивали — ехать или не ехать, потому что служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать на ней люди нашего возраста. Другие, такие же, как мы, просто получали повестки военкомата и шли на фронт рядовыми, сержантами и лейтенантами, в зависимости от того, какая действительная служба или какое военное образование было за плечами.

Работа военных корреспондентов была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимали, сами, без требований со стороны начальства, стремились сделать свою работу и опасной, и тяжелой, старались сделать все, что могли, не пользуясь ни выгодами своей относительно свободной на фронте профессии, ни отсутствием постоянного глаза начальства.

Именно к такому сорту корреспондентов и принадлежали они оба — и Михаил Бернштейн, и Павел Трошкин.

А люди они были очень разные, по-разному храбрые, и писать о них, наверное, нужно о каждом отдельно; тем более что и встречал я их обоих в годы войны по-разному, на разных фронтах и в несхожих обстоятельствах.

С Мишей Бернштейном случилось так, что хотя мы работали оба в одной редакции, в «Красной звезде», и близко дружили, но длительное время пробыли вместе на фронте только один раз, когда поехали в первых числах октября 1941 года в Заполярье и вернулись оттуда в декабре, накануне нашего наступления под Москвой.

Потом, в течение зимы 1941/42 года, мы с ним ездили два-три раза вдвоем, накоротке, на разные участки Западного фронта, но это не больно твердо осталось в памяти, и раз так, то лучше ее не неволить.

А вот поездку на север вместе с Мишей и третьим нашим товарищем — фотокорреспондентом «Известий» Георгием Зельмой я хорошо помню. И сейчас пишу это, а передо мной на столе лежат фотографии, снятые двадцать два года назад там, на севере, и на них Мишка — коренастый, курчавый, со своей неизменной полуулыбкой на добром, веселом, круглом лице. И хотя он давно погиб и я, как и все его товарищи, горевал, когда он погиб, и долго не хотел в это верить, сейчас, глядя на эти старые фотографии, я улыбаюсь... Такой уж он был человек, что нельзя не улыбнуться, вспоминая его.

И еще одно приходит на ум, когда глядишь на эти старые фотографии: тогда, благодаря своему могучему телосложению и своим медвежьим ухваткам, он не казался нам особенно молодым, а сейчас смотрю и вижу, какой он был молодой! Ему только недавно стукнуло двадцать пять, когда началась война, а до тридцати он так и не дожил, погиб в сорок втором, не то в конце мая, не то в начале июня под Харьковом, в окружении. Говорили, что застрелился, не желая попасть в плен. Из первых уст не слышал этого, слышал из вторых и даже из третьих — от людей, которым говорили другие люди, узнавшие это от третьих. Но хотя и слышанное из третьих уст — это очень похоже на правду. Михаил никогда сам не говорил на эти темы, он вообще не любил говорить о смерти, но он был человек решительный, умевший действовать без лишних слов, и мне почему-то

кажется, что спустить курок ему было легче, чем поднять руки.

Пишу это уверенно, хотя жизнь сложилась так, что как раз вместе с Бернштейном мне ни разу не пришлось бывать в критических обстоятельствах.

Наша поездка на север временами была трудной, но героическими боевыми эпизодами не изобиловала. Это была довольно мирная поездка на тяжелый, но устойчивый, давно стабилизовавшийся участок фронта. К бомбежкам Бернштейн относился со значительно большим юмором, чем я, а других совместных испытаний на нашу долю не выпадало. Были непогоды, метели, снежные завалы, опасность заблудиться и замерзнуть. Возникала необходимость кому-то одному идти вперед в метель и искать дорогу, приходилось толкать и тащить машину на руках через заносы, метр за метром, и снова метр за метром. А один раз так вышло, что шесть суток совсем ничего не ели, только пили спирт, разбавляя его горячей водой,— по наперстку в день.

Словом, случались обстоятельства, которые сами по себе не являлись испытанием мужества, но испытанием товарищества были, и в этих испытаниях Миша был тем товарищем — веселым, легким, самоотверженным, какого не забудешь всю жизнь, потому что всю жизнь хочется рядом с собой иметь именно таких товарищей. Первым вызывался идти разведывать дорогу и первым подставлял свое могучее плечо, чтобы подтолкнуть машину, и если, переживая метель, мы, несколько человек, укладывались на холоду поспать, накрывшись брезентом, то ложился не в середку, а с краю, а потом отказывался переместиться, смеясь, что ему всех теплей, потому что он самый жирный.

И голодал весело, с шутками, хотя здесь уж то, что он, как он сам выражался, жирный, наоборот, делало его положение самым тяжелым — аппетитом, как говорится, его бог не обидел!

Вот какой это оказался человек в той длинной и трудной дороге, которой была для нас эта поездка на север.

А каким он бывал в опасных переделках и как спокойно работал, и как не забывал шутить даже под пулями — об этом мне при случае не раз рассказывали другие мои товарищи, которым довелось быть тому свидетелями. Сам Мишка никогда не рассказывал о таких вещах, и, наверное, потому я особенно твердо верю всему тому хорошему, что говорили о нем другие.

Весной 1942 года, собираясь ехать на Юго-Западный фронт, Бернштейн зашел ко мне.

— Слушай,— сказал он,— ты долго будешь сидеть в Москве?

Я только накануне вернулся с фронта, собирался отписываться и рассчитывал, что пробуду в Москве по крайней мере две недели.

— Тогда знаешь что,— сказал он,— дай мне твою кожанку. Редактор велел мне смотаться под Харьков, я на коротке подскочу туда и через неделю буду.

Так и не знаю, почему ему тогда вздумалось лететь в этой моей кожанке, которая, кстати сказать, была не моя, а тоже досталась мне по дружбе. Видимо, она ему понравилась на севере. Мы там иногда менялись — он ходил в ней, а я в его парашютно-десантной, брезентовой, на толстой вате, куртке. В общем, забрал у меня кожанку и подскочил под Харьков. А из-под Харькова уже не вернулся...

Я не суеверный человек, но за эту весну и лето, как нарочно, дважды повторилась такая история — сначала с Мишей, а потом с Евгением Петровым, который тоже уехал в Севастополь в моем плаще. Во всяком случае, я никогда за всю войну больше никому из товарищей не давал на время своих вещей. Было слишком не по себе от этого двойного трагического совпадения.

Сейчас, через много лет, мне трудно написать что-то еще о Михаиле Бернштейне. Еще тогда, во время войны, вскоре после его гибели, когда снимался кинофильм «Жди меня», я вывел в нем человека, который, как мне казалось, был похож на Мишу. Мне захотелось это сделать в память о нем. В картине веселого фотокорреспондента звали Мишкой Вайнштейном. На протяжении картины он много шутил, а в конце ее погибал. Его играл Лев Свердлин, по-моему хорошо. Во всяком случае, мне лично, когда я смотрел картину, он напоминал того, настоящего Мишу. Напомнил и теперь, недавно, когда я смотрел ее вновь после долгого перерыва.

А Павел Трошкин был, как я уже сказал, совсем другим человеком, чем Бернштейн, и жизнь нас свела на фронте совсем в других обстоятельствах. Мне и потом, на протяжении войны до сорок четвертого года, приходилось бывать на разных фронтах вместе с Трошкиным, но с особою силой мне в память врезались две первые совместные с ним

поездки на фронт. Обе в самом начале войны — в июле сорок первого года. Одна — в Могилев, а другая, немного позже, когда Могилев уже пал, — под Дорогобуж и к Соловьевской переправе.

Обе поездки были тяжелые, полные опасностей и самых непредвиденных обстоятельств, в том числе и трагических. Некоторые из этих обстоятельств дали мне возможность и оценить и навсегда запомнить различные стороны своеобразной угловатой натуры Трошкина.

На мой взгляд, он был человек недюжинный. Мне казалось и продолжает казаться и сейчас, что, останься он жив, он бы не только мог создать из собственных достовернейших снимков целую летопись войны, но ему к этой летописи не понадобилось бы автора текста. Он был необыкновенно заинтересован в людях, любопытен, восприимчив, и мне казалось, что он еще когда-нибудь сам напишет обо всем, что видел.

К несчастью, он погиб незадолго до конца войны — был убит бандеровцами в перестрелке на дороге, недалеко от Львова. Говорили, что он залег в кювете, около своей подбитой машины, с автоматом и отстреливался до последней секунды. Я верю этому: это похоже на него.

В моей памяти он сохранился человеком сильным, упрямым и до такой степени необузданным в своей работе, что с ним было опасно ездить. Когда ему надо было что-то непременно снять, он не отступал от своего намерения ни при каких обстоятельствах и не только сам забывал об опасности, но и забывал, что его товарищи могут быть не настолько храбрыми людьми, как он сам, и что им может быть страшно.

Была в нем черта такого эгоизма: если ему как фотокорреспонденту нужно было сделать свое дело, он, ни с чем не считаясь и не жалея себя, готов был подвергнуть опасности и окружающих. Он просто в этот момент забывал о них. В то же время он сам никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлял товарища. Если тебе нужно было идти вечером, в сумерки, когда он уже не мог снимать, куда-то на передний край, чтобы говорить с людьми, не могло быть и речи, чтобы Трошкин оставался где-то сзади, в спокойном месте, и не пошел бы с тобой. Он просто не представлял себе этого. Он все равно шел всюду, куда шел его товарищ, даже если в этот момент для него как для фотографа это было абсолютно бессмысленно.

А в общем, ездить с ним вместе означало действительно все время быть вместе. Всюду, куда тебе нужно было идти, он шел с тобой; но всюду, куда нужно было идти ему, ты должен был идти вместе с ним. То есть он этого не требовал, но так себя вел, что это как-то уж само собой получалось! Было неудобно проявлять трусоватость, или, мягче выражаясь, благоразумие, находясь рядом с этим неукротимым человеком.

Когда я в книге «Живые и мертвые» писал главы, связанные с боями за Могилев, я часто вспоминал при этом Павла Трошкина, потому что именно с ним мы были там, под Могилевом, и с ним потом выбирались оттуда, и именно его, первая в советской печати, большая панорама разбитых немецких танков вместе с моим коротким очерком была помещена тогда же, в конце июля сорок первого года, в «Известиях».

А следующая наша поездка на фронт с Трошкиным чуть не кончилась плохо из-за его неукротимого характера.

Мы были в штабе одной из дивизий, в районе Дорогобужа, и оттуда поехали на передний край — в разведбат, стоявший где-то в лесу, у Соловьевской переправы. Кстати сказать, мы привезли в штаб дивизии пакет от командующего армией, а командир дивизии, когда мы обещали ему, что безусловно доберемся до его разведбата, дал нам с собой пакет для вручения командиру разведбата. В сорок третьем или сорок четвертом году все это показалось бы странным, но тогда, в первые месяцы войны, именно так и было.

До разведбата мы в конце концов добрались, поговорили с людьми и сфотографировали их. Пакет вручили, расписку взяли, все, казалось, сошло благополучно. Но на обратном пути, не доезжая до Дорогобужа, мы попали в кашу. Немцы именно в эти часы, когда мы ездили в разведбат, разбомбили и дотла сожгли Дорогобуж. Эта бомбежка еще продолжалась, когда мы возвращались: над дорогой туда и обратно шли «юнкерсы».

Дорогобуж был еще далеко, но над ним стояла полоса дыма. «Юнкерсы» тройками возвращались после бомбежки, бросали мелкие бомбы и поливали дорогу из пулеметов. Пришлось несколько раз выскакивать из машины и бросаться в кювет. Потом над головами прошли еще «юнкерсы», на этот раз четверка. С земли стреляли из винтовок

и пулеметов. Один из «юнкерсов» задымил, стал падать, и из него высыпались четверо на парашютах. Они опускались недалеко от дороги. Три остальных «юнкерса» снизились и стали на высоте семидесяти—восемидесяти метров кругами ходить над тем местом, где приземлились немецкие летчики, густо обстреливая из пулеметов окружающую местность. Видимо, они решили спасти своих—под прикрытием огня двух самолетов посадить третий на поле и забрать приземлившихся летчиков. В воздухе стоял сплошной гул моторов, яростная трескотня пулеметов и снизу и сверху, потому что все, кто находились на земле, били по «юнкерсам».

Трошкин, решив снять вблизи пикирующий «юнкерс», помчался к какому-то стоявшему недалеко от дороги каменному зданию, вылез на крышу и, дождавшись, когда «юнкерс» проходил у него над самой головой, снял его. Но этим он не удовлетворился и побежал на поле, где приземлились немецкие летчики. На наше счастье, к этому времени с земли подожгли еще один «юнкерс», и он врезался в землю, а два других—или поняв, что у них ничего не выйдет, или расстреляв все патроны—ушли.

Я побежал вслед за Трошкиным, который помчался снимать немцев, но когда добежал, то увидел, что наши набежавшие со всех сторон солдаты схватили там, на этом поле, не только немцев, но и Трошкина. Он был в летной синей пилотке, в испанской кожаной курточке поверх гимнастерки, да еще с немецкой «лейкой» на груди. Разоружая летчиков-немцев, уполномоченный особого отдела полка взял под стражу и Трошкина, приняв его за еще одного сбросившегося с самолета диверсанта.

Для того чтобы объяснить последующее, надо вспомнить тогдашнюю обстановку. Западный фронт, конец июля, дикая бомбежка Дорогобужа, зарево в полнеба, дорога, на которой возвращавшиеся с бомбежки немецкие самолеты только что убили много людей, первый сбитый самолет, первые пойманные летчики. Люди, в толпу которых я попал, выручая Трошкина, были вне себя. И когда я стал выручать его, то в меня самого уперли несколько винтовок и автоматов, разоружили и арестовали. Уполномоченный, на котором буквально лица не было и которого я на следующее утро, когда он пришел в нормальное состояние, просто-напросто не узнал, отказался даже смотреть наши документы. Не помогли и мои требования посмотреть хотя бы расписку

на пакете, который я отвозил от командира их же дивизии в их же разведбат.

В общем, нас посадили вместе с немцами в кузов грузовика. Трошкину и нашему водителю, так же как и немцам, связали ремнями руки, а я всю дорогу жалел, что не дал этого сделать с собой, потому что меня целый час везли, упереv в живот автомат, снятый с предохранителя.

Я никогда, ни до, ни после, не видел Трошкина в таком состоянии. Вдобавок, как выяснилось только вечером, у него была ангина, температура под сорок... Трошкин сидел в кузове грузовика со связанными руками и, косясь на сидевших тут же рядом и ничего не понимавших немцев, с перекошенным от гнева лицом кричал уполномоченному:

— Ты дурак, ты мальчишка! Руки мне связал, дурак. Я третью войну воюю, а ты еще первых немцев видишь. Панику устроил, дурак...

— Молчать!.. молчать!..— кричал уполномоченный.

— Хорошо,— кричал Трошкин,— я замолчу. Хорошо, буду сидеть связанный... Я тебе еще покажу, когда приедем в штаб дивизии... Отодвинь от меня, дурак, этих немцев, чтобы я с ними хоть рядом не сидел...

Он кричал это, одновременно брезгливо стараясь отодвинуться от немецких летчиков, которых, так же как и его, качало из стороны в сторону в кузове несшейся по разбитой дороге машины.

Потом мы добрались в штаб дивизии. Все в конце концов обошлось благополучно: нас освободили, уполномоченному намылили голову, вернули нам обратно фотоаппарат Трошкина, дали ему лекарство. К утру температура у него стала уже не сорок, а тридцать девять. Я хотел, чтобы он отлежался, но он настоял на том, чтобы ехать в редакцию: хотел скорее проявить пленку. Он безумствовал, потому что ему не дали вчера снять схваченных немцев (как раз, когда он побежал к ним, его самого схватили за руки), но утешался хотя бы тем, что сделал необыкновенный снимок — с тридцати — сорока метров, в лоб, с телеобъективом снял пикирующий «юнкерс».

Не берусь описывать, что с ним творилось в редакции, когда выяснилось, что бдительный уполномоченный не только арестовал его самого, но и, пока в штабе дивизии разбиралось что к чему, успел засветить всю пленку в аппарате.

Весь этот эпизод, о котором я вспомнил, носит, конечно, частный характер. Но мне показалось, что в этой истории проявились некоторые живые черточки характера человека, о котором я пишу. Оттого я и вспомнил об этом нашем совместном с Трошкиным приключении в первый месяц войны.

Были потом и разные другие встречи и поездки, но пишу об этих первых: и потому, что, как первые, они особенно врезались в память, и потому, что все это сохранилось в моих дневниках того времени.

А как ни говори, дневник — это полезное подспорье для памяти, когда ей приходится трудиться над давними событиями.

Савва Морозов

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ПАРЕНЬ



Так назывался один из юношеских рассказов Евгения Барского. Так мне хочется озаглавить эти страницы, посвященные покойному другу...

...Однажды зашла к нам домой молодая журналистка Элла с шестилетним сыном Волькой. Сероглазый, лобастый мальчонка с колючим ежиком стриженной головы не похож на свою мать, которую мы с женой помним с дошкольного возраста.

— Зато с дедом сходство поразительное,— решительно заявила моя жена.— Волька — вылитый Женья, только «масти» другой.

И в подтверждение своих слов начала рыться в старых фотографиях. Мы старательно сличали живого Вольку с покойным его дедом — другом нашей молодости Евгением Яковлевичем Барским. Да, сходство, как говорится, фамильное. И губы у обоих толстые, будто обиженно надутые, и глаза порой щурятся на свету, и ямочки такие симпатичные на круглых щеках. Ну а то, что «масть» другая — шестилетний Волька — светлый шатен в отличие от деда-

брюнета, — так это частичное различие только подчеркивает общее сходство.

С пожелтевших листов фотобумаги смотрел на нас Женя Барский — такой, каким помню я его в жизни. Всюду он улыбается, всюду приветлив, хоть снимки и сделаны в разные годы под разными широтами.

Вот Женя в перепачканной мазутом майке стоит на палубе танкера. На оборотной стороне карточки стихотворная подпись:

Туман дымит...
И шторм неистов...
И впереди спасенья нет...
...Как романтичны мотористы,
Которые вам шлют привет.

«Романтичный моторист», автор этих шуточных строк — он сам, заведующий морским отделом газеты «Водный транспорт». Летом 1935 года, выполняя задание редакции на Каспии, Барский плавал на танкерах в составе машинных команд. Любая должность там была привычной ему, бывалому моряку.

На другой фотографии — она особенно нравится и мне и моему приятелю Вольке — дед его запечатлен рядом с белой медведицей на фоне заснеженной бухты. Это снято в 1938-м в Арктике, когда коммунист Барский был парторгом коллектива в молодом, тогда еще только строившемся порту Тикси близ устья Лены.

Третий снимок был проявлен, отпечатан и прислан в Москву из-под Киева в конце лета 1941 года, когда Жени уже не было в живых. Тут старший политрук Барский в пилотке, сдвинутой набекрень, в новенькой, еще не обмявшейся бумажной гимнастерке. Сфотографировался, видашь, сразу, едва получив обмундирование, когда прибыл на Юго-Западный фронт спецкором Всесоюзного радио. То была его последняя редакционная командировка.

А сколько поколесил по родной земле и за ее рубежами за свою короткую тридцатитрехлетнюю жизнь Евгений Барский — комсомолец, рабкор, журналист, партийный работник!

Уроженец Закавказья, он пятнадцати лет пошел землекопом на стройку ЗАГЭС. Земо-Авчальская гидростанция, одна из первых по ленинскому плану ГОЭЛРО, сооружалась неподалеку от его родного Тифлиса. Потом, попав в Москву, Женя был послан биржей труда на завод «Котло-

аппарат» в слесарные ученики. Там он вступил в комсомол. Через несколько лет высококвалифицированный электрик Барский по партийной мобилизации был командирован в Черноморский торговый флот.

В редакцию «Рабочей газеты» — она помещалась тогда по соседству с Охотным рядом (по нынешним ориентирам это Манежная площадь, напротив гостиницы «Москва») — Женя пришел со стихами и путевыми очерками о дальнем плавании. Стихи и очерки понравились. Но автор ни за что не соглашался, чтобы их печатали за подписью «рабкора-моряка».

— Значит, плохо написаны, — с усмешкой и легкой обидой говорил Барский новым своим редакционным знакомым. — Что ж, если плохо — забракуйте. А то вы вроде извинения просите у читателя: не судите, мол, строго — рабкор-моряк, что с такого взять...

И года не прошло, как новые редакционные знакомые стали закадычными друзьями Жени, а сам он — штатным сотрудником сначала «Рабочей газеты», а затем созданной на ее основе ежедневной отраслевой газеты «Водный транспорт».

Была славная пора пятилеток. «Рабочка» посылала выездные редакции в Донбасс и на Магнитострой, спецкоры «Водного транспорта» были непременно участниками пионерных экспедиций по Северному Морскому пути.

Человек бывалый, работающий, от природы инициативный, легко владевший пером, одаренный неистощимым чувством юмора, Барский пришелся ко двору в коллективе. Товарищи полюбили его за добрый, веселый нрав, оценили его умение быстро вникать в сложные и порой запутанные вопросы народного хозяйства, которые освещались на газетных страницах. И в редакционной среде, и вне ее, встречаясь по работе со множеством различных людей, Барский быстро заводил дружеские отношения, всегда горячо брался помогать товарищам, вне зависимости от того, шла ли речь об экономической проблеме или чьей-то личной судьбе.

К Барскому в редакцию часто приходили капитаны судов, работники портов, партийные и комсомольские активисты с Черного моря и Каспия, с Волги, из речных и морских бассейнов Сибири и Дальнего Востока. Для всех находился у него дельный совет: как лучше подать то или иное выступление в печати, как разумнее, правильней поставить на страницах газеты тот или иной вопрос. Даже к самым

мелким бытовым делам людей ему почти незнакомых он отнесился участливо.

В этой связи вспоминаю, как мы подружились.

И полгода не прошло после моего поступления в редакцию «Водного транспорта», как выпала мне командировка в Арктику. В то время, в глазах двадцатилетнего юнца, это выглядело сверхъестественным счастьем. Озабоченный сборами и предстоящим отъездом, я столкнулся в редакционном коридоре с рослым, плечистым парнем в рубаше апааш, малость постарше меня на вид.

— К медведям собрались? — спросил он с улыбкой. — Что ж, завидую. Только имейте в виду, там холодно... Как у вас насчет одежды-обуви, а?

Я развел руками. Добыть теплое обмундирование летом 1933 года в Москве было делом мудреным. Даже на обычные грубошерстные брюки местком выдавал ордера со скрипом. А тут меховые вещи, где их взять?

— Шапку пыжиковую могу предложить, — радушно произнес Женя Барский, — феноменальной теплоты сооружение, доложу я вам. В такой хоть до полюса пёхом топать. Сам испытал, когда в низовьях Оби случилось плавать.

И, заметив мою стеснительность, добавил:

— Э-э, чего там... Взаимопомощь — закон моряков. Завтра принесу примерить.

Примерка состоялась, но шапка, увы, оказалась мне тесноватой, хоть мы с Женей были и одного роста, и почти одинакового сложения. Дальнейшие заботы о моей полярной экипировке взяли на себя снабженцы Главсевморпути.

Через полгода, возвратившись из своей первой поездки в Арктику, я сел за стол в тесной комнатке на пятом этаже. Напротив стоял стол Барского.

— Ну как, товарищ Амундсен, экзотики, романтики хватил? — посмеивался Женя. — Теперь, брат, займись-ка скучной прозой. Имей в виду, наш отдел недаром именуется эксплуатационным. Эксплуатировать тебя буду нещадно.

С этими словами он протянул мне пухлую папку рабковских писем:

— Подготовь подборочку. Мы сейчас большой рейд проводим по портам.

И с иронической улыбкой процитировал привычные фразы из очередной передовой:

— «График еще не стал железным законом движения...» «Порты еще являются кузницей простоев...» Ты уж, пожа-

луйста, язычок почисти, чтоб поменьше было этого канцелярского сукна.

Вечерами, когда мы поднимались из-за столов и в комнате было сизо от табачного дыма, Женя спрашивал меня:

— Книжку-то об Арктике пишешь?.. Смотри, черт, пиши, не ленись, а то совсем тут погрязнешь в подборках.

Сам он регулярно привозил очерки из своих частых поездок. С продолжением из номера в номер печаталась в «Водном транспорте» повесть Барского «Малый каботаж» — о морях черноморских танкеров.

Неистощимый на газетные выдумки, организатор раб-коровских рейдов, контрольных постов, взаимопроверок, обращений передовых людей флота, Барский никогда не забывал чисто литературную работу. И тут был одинаково взыскателен к товарищам, к себе. Каждый очерк, шедший по нашему отделу, всегда коллективно обсуждался, прежде чем его сдавали в набор.

В ту пору нам с Женей вдвоем не было и пятидесяти. В этом возрасте парни дружат самозабвенно. И хоть в командировки посылали нас порознь, зато в Москве мы дня не могли прожить друг без друга. С утра — в редакции, вечером — в Доме печати, в выходные дни зимой — на лыжах, летом — на байдарках. Всегда вместе! Никогда нам не было скучно...

Вместе задумали мы написать документальную повесть о полярниках, о преобразовании Крайнего Севера и с этой целью собрались на двухгодичную зимовку. В пустынной бухте Нордвик, где геологи обнаружили признаки нефти, намечалось большое строительство, создание такого «арктического Баку». Но, увы, не повезло ни геологам Нордвика, ни нам с Женей в наших литературных замыслах. Нефтяные месторождения оказались недостаточными для развития промыслов, а экспедиция, в которой участвовали мы, так и не достигла цели.

Вот как развивались события.

Плоскопечатная машина, шрифты, краски, рулоны бумаги грузились в Архангельске в корабельные трюмы вместе с буровым инструментом, разборными домами, консервами и мукой. Живя в палатках на дощатых причалах портового района Бакарицы, мы успели даже выпустить первый (и единственный!) номер нашего печатного органа

размером с носовой платок под громким и нескладным названием «За недра Арктики!». А потом Барский как парторг отплыл из Архангельска с наибольшей по численности группой зимовщиков на первом судне, а я с типографским имуществом отправился на втором. И вот у нас-то на борту в Баренцовом море возник пожар.

Из-за тяжелых ледовых условий первое судно не достигло Нордвика. Барский доплыл до Диксона, где Политуправление Главсевморпути назначило его редактором только начинавшей издаваться там многотиражной газеты вновь организуемого радиовещания. А я, проболтавшись недели две между островом Колгуев и Карскими Воротами, возвратился на Большую землю, как говорится, не солоно хлебавши...

— Не судьба, старик. Не получились из нас братья Лаптевы,— говорил Женя в микрофон Диксоновского радицентра поздней осенью 1936 года. А я слушал его, отвечал на его вопросы в Москве, на улице Разина.

Голос друга звучал так отчетливо, будто нас не разделяли тысячи километров, будто Женя был у себя на Танганке, а я у себя на Остоженке.

По тем временам прямой радиотелефонный разговор Диксон—Москва казался сенсационным. Но все-таки я чувствовал себя как-то неловко: «Вот втравил друга в поездочку...»

Первые политотдельские газеты Крайнего Севера «Полярная звезда» на Диксоне и «Стахановец Арктики» в Тикси подписывал ответственный редактор Е. Я. Барский. Всего в общей сложности на этих двух зимовках—двух стройках крупнейших портов Арктики—Евгений Яковлевич провел три года.

Возвратившись в Москву, он привез не только пухлые подшивки, которые затем бережно хранил в своем книжном шкафу, но и папки с листами машинописного текста, толстые общие тетради, исписанные вдоль и поперек то чернилами авторучки, то тупым карандашом.

— Мерзнут там чернила, когда на дворе минус сорок... Пока едешь на собачках, такого насмотришься, что обязательно записывать надо,—рассказывал мне Женя, давая читать путевые свои дневники, читая вслух готовые, перепечатанные на машинке рассказы.

Друзья слушали, хвалили, советовали нести в толстые журналы.

— Э-э, нет,— отмахивался Барский,— рановато, братцы... Хочется, чтобы о северных моих друзьях разговор получился обстоятельный, уважительный. Не так, чтобы какие-то байки... Понимаете?

Под «уважительным разговором» он разумел собрание литературных портретов, сборник сюжетных новелл о явлениях, типичных для нового, советского образа жизни в «краях нехоженных троп и непуганых птиц». Героями Барского были охотники и авиаторы, ученые и моряки, люди трудных, крутых судеб и ярких, самобытных характеров. Многих из них я вижу и сейчас перед собой, с такой любовью и теплотой, с таким дружеским юмором писал о них Женя.

Подготавливая сборник к печати, Барский продолжал редакционную работу в Москве — сначала в «Известиях», потом на радио. В коллективе «Последних известий», работая ответственным секретарем редакции, Евгений Яковлевич был избран парторгом и членом партийного бюро Всесоюзного радиокомитета.

В числе трех первых военных корреспондентов радио отправился он на Юго-Западный фронт в начале июля 1941 года.

Тяжелые оборонительные бои с рвавшимися вперед гитлеровскими полчищами наши войска вели уже на Правобережной Украине, неподалеку от Киева.

По традиции, установившейся много лет назад и еще не нарушенной войной, наша редакция каждый день имела прямую телефонную связь со столицей Украины. В то время, когда почта и телеграф работали уже с перебоями, это было особенно ценно. Каждый день наши стенографистки принимали и диктовали затем на машинку короткие зарисовки боевых эпизодов, рассказы о мужестве и воинском мастерстве пехотинцев и артиллеристов, саперов и летчиков.

Во многих местах — и на переднем крае, и на боевых аэродромах — успевал побывать за двух-трехдневную отлучку из Киева военный спецкор Барский. Всегда — не реже, чем раз в два-три дня, — он «обстреливал» стенографисток залпами из своего блокнота. Мы, работники «Последних известий», сидевшие пока в Москве, не раз восхищались работой Барского, его оперативностью, быстротой, особой, ему одному свойственной лиричностью, душевностью изложения. Как-то очень тепло, по-дружески умел

Женя рассказывать о встречах на фронтовых дорогах, удивительно метко схватывал черты характера, приметы людей, идущих на смерть во имя победы жизни.

Одна из таких корреспонденций — о подвиге санитаря — особенно запомнилась нам. Когда в ночном выпуске диктор объявил: «Наш военный корреспондент Барский передает с Юго-Западного фронта», все, кто работал в «Последних известиях», не могли сдержать слез... Утром этого дня из Киева был принят по телефону очередной репортаж Барского, а под вечер пришла телефонограмма из Политуправления фронта: «С глубоким прискорбием извещаем...»

Евгений Барский был убит прямым попаданием авиабомбы в танк, когда вместе с экипажем он шел в бой. Неподалеку от Канева в братской могиле товарищи похоронили его.

...Много раз за четыре года войны встречал я друзей Жени — и на подмосковных рубежах, и в освобожденном Харькове, в полярную ночь на полуострове Рыбачий за Мурманском. Куда ни приводили меня военные дороги, всюду находил я среди фронтовиков людей, которые помнили Барского по комсомолу, по флоту, по зимовкам в Арктике, по московским редакциям. Сотни людей помнят, любят его и теперь.

Василий Жилмостных

НАШ ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР



Имя его никому, пожалуй, кроме разве самых близких товарищей, неизвестно. Да и помнят ли о нем товарищи? Ведь с того времени, как он погиб, прошло уже больше тридцати лет...

...Иван Софронович Якубенко как раз перед началом Великой Отечественной войны закончил Военно-политическое училище имени В. И. Ленина. Оно находилось в Москве, недалеко от Донского монастыря. Прошел практику в газете «Комсомольская правда» и в августе 1941 года приехал в живописный уральский городок, где формировалась новая 371-я стрелковая дивизия. Он был назначен редактором дивизионной газеты.

Не стану рассказывать, как пришлось создавать газету. Скажу только, что на фронт (а это было в конце ноября 1941 года) мы приехали уже как сколоченный, небольшой, но крепкий редакционный коллектив. Редактор — политрук Иван Якубенко; инструктор газеты — политрук Иван Харьков; ответственный секретарь редакции — бывший работник «Уральского рабочего» младший политрук Александр

Можаев. Четвертым, нештатным работником редакции был я, красноармеец Василий Жилмостных, работавший до этого корреспондентом газеты «Животноводство» по Свердловской и Челябинской областям.

Из типографского оборудования была у нас старенькая, изрядно потрепанная печатная машина «бостонка» да несколько касс старых шрифтов. Вот и все наше редакционное и типографское хозяйство.

Но еще в теплушке, в которой мы ехали с Урала на фронт, шли у нас оживленные разговоры о наших будущих делах на фронте. Среди нас не было «обстрелянных», никто, по существу, не служил даже и в армии, за исключением редактора политрука Якубенко. Мы еще не представляли толком войну, не имели понятия, как будем в боевой обстановке делать газету.

Из всех нас, редакционных работников, редактор был самым молодым по возрасту. Мечтал редактор о том, что наша небольшая солдатская газета будет на фронте страстным агитатором и пламенным пропагандистом, что каждым своим словом она будет увлекать воинов на подвиги.

— Наша газета, — говорил Якубенко, — должна быть страстной. А будет она страстной, если мы с вами своими глазами будем видеть дела героев и, когда это нужно, вместе с ними пойдем в бой!

Мы смотрели на редактора, на его одушевленное лицо и горящие огнем черные глаза, и каждый из нас был уверен, что уж сам он, если это потребует, поведет бойцов в атаку.

И мы не ошиблись.

В ночь с 5 на 6 декабря 1941 года наша дивизия должна была вступить в бой. В первый бой. Начиналось вошедшее потом в историю наступление наших войск под Москвой. О наступлении мы узнали незадолго до его начала, когда наш редактор пришел из политотдела дивизии. Был он особенно радостен и возбужден.

— Ну, орлы (в минуты хорошего настроения он всех нас, даже сорокалетнего старшего наборщика Николая Ивановича Шатрова, называл орлами), дождались мы! Сегодня ночью наша дивизия вступает в бой. И я тоже иду с тридцать первым полком...

— Как, сразу же и в бой? — немного ошарашенные таким решением Якубенко, спросили мы.

Он засмеялся:

— Все мы успеем побывать в бою, и не раз. А первым пойду я. Между прочим, не хотел отпускать меня начальник политотдела, но удалось его убедить. Отпустил!

В радостном, немного возбужденном состоянии сел редактор за стол. Мы стояли тогда в одном из подмосковных сел, в целой, еще не разрушенной войной избе, где все было на месте. Потом нам уже редко приходилось пользоваться такими удобствами, как стол. Редактор прочитал оттиски готовых полос нашей маленькой солдатской газеты, подписал их и сказал печатнику красноармейцу Быкову, чтобы печатал. А сам вместе с нами начал обсуждать план очередного номера газеты:

— На первой полосе мы покажем героев первого боя. Этот материал делаю я. Ты, Харьков, готовишь материалы о воинах, подавших перед боем заявления о вступлении в партию. Ты, Жилмостных, сделаешь небольшую подборку об опыте бывалых воинов...

Распланировав таким образом следующий номер, Якубенко прилег прямо на полу на принесенную хозяйкой солому. Но заснуть ни редактор, ни мы не могли. Часов в двенадцать ночи Якубенко встал, умылся и сразу же ушел в полк.

Не думали мы тогда, что вечер, проведенный редактором с нами, был последним, что ушел он от нас навсегда...

Правда, не сразу мы узнали о его гибели. Не сразу, по-видимому, узнали об этом и в политотделе.

Как всегда, утром мы начали готовить материал в очередной номер газеты. С нетерпением ожидали редактора. Казалось, вот-вот войдет он и скажет: «Ну, орлы, и материала же у меня!»

Но редактор не возвращался...

Мы уже знали, что первый день боя увенчался успехом нашей дивизии, что уже были освобождены от гитлеровцев несколько деревень. К вечеру тылы дивизии стали готовиться к движению вперед. КП дивизии и политотдел уже двинулись.

Надо было сниматься и нам. Зашел работник политотдела по тылу и предупредил, что завтра утром мы должны погрузиться в одну из машин автороты (своей машины в редакции еще не было) и передислоцироваться туда, где уже расположился политотдел.

А редактора все не было... В сердца заползала тревога. Но мы еще надеялись, думали, что по каким-то причинам

Якубенко задержался в полку и ночью или рано утром, еще до нашего отъезда, появится.

Рано утром на санках к нам заехал начальник политотдела батальонный комиссар Ефанов. Лицо его было устало и сурово. Сразу же почувствовали, что с нашим редактором что-то случилось.

— Якубенко не вернется, — стараясь казаться спокойным, проговорил начальник политотдела. — Война есть война, без жертв не обойтись. Подписывать газету пока будешь ты, Харьков. Жилмостных сейчас поедет со мной, я его оставляю в полку, а затем пойдет в батальоны, роты и взводы. Будет организовывать для газеты материалы. Сегодня же перебирайтесь со своим хозяйством в деревню (он назвал — какую) и начинайте выпуск очередного номера. Обязательно покажите героев первого боя. Их у нас немало. Дивизия наша действовала хорошо, командующий армией генерал Лелюшенко остался доволен...

Начальник политотдела говорил отрывисто. Он старался не выдать своего волнения, но чувствовалось, что, так же как и мы, он тяжело переживал гибель Якубенко — за короткое время начальник политотдела полубил нашего молодого редактора.

Мы не расспрашивали, как, при каких обстоятельствах погиб Ваня Якубенко. Да и не мог начальник политотдела рассказать нам об этом — он сам не знал.

...А потом пошли бои. Тяжелые, кровопролитные. И из-за этих боев так и не удалось узнать подробно, как именно погиб наш первый редактор.

И уже долгое время спустя совершенно случайно узнал я о том, как это было.

Мы готовили материал к годовщине разгрома гитлеровских полчищ под Москвой. В полках, батальонах, ротах искали среди воинов участников первого боя в ночь с 5 на 6 декабря. В нашей дивизии их оставалось не так уж много.

Но вот наконец я нашел одного из участников первого боя. Тогда он был красноармейцем, теперь — сержант. Фамилию его не запомнил, а блокнота тех дней не сохранилось.

Рассказывая о первом бое, о своем боевом крещении, сержант, вдруг что-то вспомнив, проговорил:

— Не взять бы нам той деревни, если бы не политрук...

— Какой политрук? — поинтересовался я.

— Да он не из нашего батальона, а из политотдела. Пришел к нам ночью и вместе с нами пошел в первый бой. Ве-

селый был такой, молодой, сам из себя чернявый. Выговор у него еще немного украинский. И все он шутил, нас подбадривал... Помню, как сейчас, говорил он: «Да разве устоят перед такими героями-уральцами какие-то там фрицы! Ведь смотрите, кто в бой идет! Орлы, а не ребята!»

Орлы!

И я вдруг сразу вспомнил нашего Якубенко. Сразу же подумал: «Он!»

А сержант продолжал:

— И вот, этот самый политрук, когда мы все, кто остался еще в живых, залегли в снегу, а над головами свистели пули, кругом рвались мины, когда я, как и многие, наверное, другие, думал, что кончено, что деревни нам не взять и всех нас уложат в этом снегу на веки вечные, вдруг, как в сказке какой, поднялся этот самый политрук из снега во весь рост да как крикнет во весь голос: «А ну, орлы, за мной, вперед!» Тут он еще крепко выругался на фрицев. И все, кто лежал в снегу, вдруг вскочили, бросились вперед за политруком. А он бежал впереди всех, держа в руке огромный кольт или маузер. Не помню как, но мы ворвались в деревню, били фрицев кто чем мог. Стреляли, кололи штыком, били прикладом. Ни одного гитлеровца не выпустили из деревни живым. Да и своих мы в том бою много потеряли...

— Ну а политрук тот? — с нетерпением спросил я.

— Политрук? Не знаю, убит ли он был, ранен ли. Но только потом, когда мы все собрались, кто остался в живых, его среди нас уже не было,— ответил сержант.

Вот так, спустя год, узнал я подробности о гибели нашего редактора, о его подвиге. В том, что это был наш редактор политрук Якубенко, не было никаких сомнений: в тот раз никто из работников политотдела не погиб.

Когда я услышал все это, то даже не подумал, что это подвиг. Мало ли было в те дни таких примеров мужества и отваги! Они встречались на каждом шагу.

Но вот теперь, когда после войны прошло много времени, когда «большое видится на расстоянии», я все больше думаю о том, что наш молодой редактор и журналист политрук Иван Якубенко совершил настоящий подвиг. Ведь мог же он тогда не идти в бой, никто его не посылал, а, наоборот, даже удерживали... Мог бы он и не поднимать бойцов в атаку и, быть может, сохранить свою жизнь.

Но нет, не таким был Якубенко! Настоящий коммунист и патриот, он был к тому же настоящим, с горячим сердцем, советским журналистом. Он должен был показать пример мужества и бесстрашия в борьбе с врагами. И он показал его.

И вот сейчас, спустя много лет после гибели нашего редактора Ивана Софроновича Якубенко, я все же решил написать о нем. Пусть прочтут эти строки те, кто никогда не знал его. Пусть прочтут и те, кто, быть может, и знал его.

Прочтут и вспомнят Ивана Якубенко, молодого журналиста, отдавшего свою жизнь за нашу Родину.

Григорий Крылов
**«НАСТОЯЩИМ
ИЗВЕЩАЮ...»**



Он прибыл в редакцию армейской газеты в дни стремительного контрнаступления наших войск под Москвой.

20-я армия шла на запад по Волоколамскому шоссе.

Отряхнув заснеженную ушанку на крылечке сохранившейся каким-то чудом избы, он открыл дверь и доложил, как положено по уставу:

— Политрук Пуртов. Прибыл в ваше распоряжение...

Он был молод, ладно скроен, по-юношески застенчив, но по-военному быстр в движениях и решителен:

— Прошу задание и — на передовую.

До передовой было рукой подать.

Пуртов успел написать на войне две-три корреспонденции, не больше. Последняя из них рассказывала о санитарном инструкторе Серафиме Загвоздиной, вынесшей с поля боя восемнадцать раненых вместе с их оружием.

В очередной выезд на передовую он прибыл в сражавшийся полк и, вооруженный пистолетом и блокнотом, пошел в бой...

С щемящей болью перечитываю сохранившиеся строки траурного извещения, адресованного райвоенкому Санчурского района Кировской области:

«Настоящим извещаю, что работавший в редакции армейской газеты литературный сотрудник политрук Александр Степанович Пуртов погиб героической смертью во время атаки населенного пункта, занятого немецко-фашистскими войсками. За проявленный в бою героизм политрук А. С. Пуртов представлен к правительственной награде.

Прошу Вас оформить, в соответствии с Законом Правительства, назначение пенсии семье товарища А. С. Пуртова: жене Валентине Филипповне Филиновой и дочери Жанне, проживающим в деревне Шуля, Санчурского района, Кировской области.

Ответственный редактор (подпись)».

И еще один печальный документ — «Опись личных вещей А. С. Пуртова, оставшихся после его гибели и отправленных семье: чемодан — 1, коверкотовая гимнастерка — 1, хромовые сапоги — 1 пара, бритвенный прибор — 1, теплое белье — 1 пара, подворотнички — 8, носовые платки — 4, словарь немецко-русский — 1, набор карандашей — 1, квитанция о высылке аттестата семье — 1».

Вот все вещественное, предметное, что осталось от человека, журналиста, бойца. А не предметное? Это немеркнущая, неугасимая память о товарище из нашего журналистского племени, успевшем написать на войне всего две-три корреспонденции, не больше.

Лев Осипов

ФЛОТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ



1941 году под Ленинградом погиб Петр Иванович Звонков.

Тяжело писать о человеке, с которым рядом шел... Кто знает, быть может, он еще сделал бы очень многое... Ведь Петр, или просто Петя, как его все звали, был талантливым газетчиком, способным на большие дела.

К нам, в круг флотских журналистов, он пришел задолго до начала Великой Отечественной войны. Тогда редакция газеты «Красный Балтийский флот» находилась в Кронштадте.

Газеты тогда активно занимались организацией всесторонней интересной информации. Разумеется, мы тоже взялись за это дело. Звонков, имевший до этого опыт работы в отделе информации, появился в самое нужное время. «Нет хорошей информации — нет и самой газеты», — часто любил повторять Звонков.

Он писал военкорами письма, разъяснял, что от них требуется, использовал любую возможность для посещения частей, сам «забирался» в отдаленные точки, устанавливал связи с моряками подразделений, где редко бывали наши

товарищи,— словом, проникал всюду, где можно было что-нибудь почерпнуть или узнать. Быстро росло число активистов газеты, разнообразнее стала информация.

Кругом морские пути-дороги, в гаванях стоят корабли различных классов, транспорты, с вышки разговаривают языком семафора, протяжные гудки, рейдовая жизнь — все это надо понимать! А главное — люди! Вот они, офицеры и матросы.

Учеба только начиналась. Звонков учился у жизни, в общении с людьми, с балтийскими моряками.

Любую возможность он использовал для посещения кораблей, для выхода на широкие просторы. Корабль выходит в море — Звонков просится на выход. Идут учения — он настаивает, чтобы его послали корреспондентом. Все это обогащало его знания, а главное, он устанавливал тесные связи с офицерами и матросами. Он дорожил связью с ними и очень заботился о краснофлотской корреспонденции. Ведь это писали люди, которых он привлекал и которых учил писать.

Богатство материала о флоте в конце концов привело его к военно-морской истории. Вот где кладезь, открывающий огромные возможности для воспитания личного состава, для поучительных статей и подборок! Так он начал накапливать материал из истории Балтийского флота, а затем написал несколько брошюр.

Вот книжечка под названием «Киров и моряки», изданная в серии «Библиотечка краснофлотца». Он показал в ней революционные традиции моряков, их беззаветное служение нашей Родине и рассказал о С. М. Кирове, связанном с флотом крепкими узами. Не было ни одной флотской библиотеки, где бы не читали этой брошюры, ни одного руководителя политзанятий, который не использовал бы ее, проводя занятия с матросами.

Посещая корабли и форты, Звонков пришел к мысли, что необходима небольшая книжка, посвященная истории Балтийского флота. Молодые матросы слабо знали факты из истории, а ведь надо воспитывать людей на славных боевых и революционных традициях. Этому он посвящает очередную книжку — «Краснознаменная Балтика». В ней Звонков рассказывает, как балтийские моряки выполняли задания Ленина, как защищали молодую Советскую власть, а после гражданской войны восстанавливали и укрепляли наш советский военный флот.

Но брошюры были лишь попутным делом. Главным для него являлась газета. Именно в журналистике раскрывались его богатые возможности.

Вспоминается такой эпизод. Намечались большие маневры флота. На маневрах «болтать» в эфире не полагается. Средства радио используются по строгому плану командования. Но журналист, находящийся на борту корабля, все же хочет быть оперативным и вовремя доставить материал в редакцию. Звонков задумался: как быть?

И тут пришла мысль: почему бы не использовать голубей, натренированных для связи? Взяты на берегу голуби, взят матрос-голубевод, и с этим «вооружением» Звонков отправился в поход на линкоре.

А в удобное время с разрешения командования голуби-связисты были направлены на базу, неся маленькие пенальчики, в которых находились корреспонденции, написанные на папиросной бумаге. Ура Звонкову! Редакционные работники ликовали. Кстати, в то время голубятник службы связи размещался над самой редакцией. Через час корреспонденция Звонкова с корабля, находившегося в море, была уже в редакции.

С тех пор прошло уже много лет. Теперь, быть может, и не надо прибегать к такой связи, техника ушла значительно вперед, и редакции имеют большие возможности, чтобы связаться с корреспондентами. Но сам факт оперативности и находчивости молодого военного журналиста говорит за себя.

Эти замечательные качества хорошогодились Петру Звонкову в военные годы. Статьи, очерки, короткие сообщения, и под многими подписью — «П. Звонков». Вот сообщение об операции на островах, вот рассказ о десанте, в котором участвовал Звонков. А на другой день он уже рассказывал о боевых вылетах летчика Хроленко. Командиры, политработники, рядовые матросы и солдаты — вот герои его корреспонденций. Он показывал людей в ходе боя и в минуты передышки. И ему всегда это хорошо удавалось, ибо он сам видел и наблюдал, сам находился среди своих героев.

«Огонь ведет четвертое орудие» — так озаглавил Звонков одну корреспонденцию. Он рассказал об артиллеристах, их мастерстве, а в следующей корреспонденции — о сигнальщике Никите Иванове. Это очень важная служба — «глаза и уши корабля». Затем опять скачок, новая тема — «Неустрасимые подводники».

А вот полоса об «экипаже героев». Кто они? «Их трое — коммунист Григорий Пинчук, коммунист Василий Харламов и комсомолец Александр Белогуров — три храбрых сокола, три друга, экипаж боевой машины» — так начинается рассказ об экипаже самолета. Шаг за шагом автор раскрывает их подвиг, показывает истоки их героического поведения. Летчики попали в очень трудное положение, но они обязательно победят, они не могут не победить — славные советские воины! На шестой день после их подвига был опубликован Указ о присвоении трем членам экипажа звания Героев Советского Союза.

Рассказывая о людях, Звонков постоянно возвращался к тому, что их героическое поведение являлось результатом огромной воспитательной работы коммунистов, которые сами всегда и во всем были первыми. Своим личным примером они воодушевляли бойцов и помогали преодолевать боевые трудности. И если красной нитью во всех статьях и очерках проходила мысль о партийном руководстве, то так было еще и потому, что сам Петр Иванович являлся глубоко партийным человеком.

Да! Петр был коммунистом, осознавшим свою ответственность за дело, которым он жил. Однажды на Карельском фронте в районе Муурило, где действовал морской лыжный батальон, я встретился со Звонковым. Он коротко доложил, куда держит путь, что собирается делать. А через два дня в нашей газете уже была его корреспонденция с нового участка.

«Отряд Лосякова — отряд героев. Чтобы писать об отличившихся, надо писать о всех. Все храбро дрались. Иначе и не могло быть. Отряд создан из лучших моряков Балтики», — сообщал Звонков после того, как воочию увидел лыжников в ратном деле.

«Мы шли по льду, накануне разбитому вражеской артиллерией. Было раннее утро: белесая дымка окутывала острова. Издали ничего нельзя было рассмотреть, и это еще больше разжигало любопытство: хотелось как можно скорее достичь берега...» Он мог так писать, имел на это право!

А в следующий раз Звонков еще точнее передает место действия: «Сейчас мы лежим в цепи на передовой линии. Высокий сосновый бор. Сугробы снега. Впереди в 200 метрах — белофинны. Они засели в юго-восточной части города. Сквозь деревья видны дома. Свистят пули, рвутся

мины, снаряды. У наших бойцов небольшая передышка: прямо на позиции привезли горячий обед. Несколько минут урываем для беседы с бойцами. Смелый, храбрый народ».

Можно добавить, что сам Звонков показал себя смелым журналистом, хорошим солдатом Родины. Его работа была отмечена медалью «За боевые заслуги».

Вспоминаю вечера в редакции. В поздние часы, когда в помещении уже оставался только дежурный, в одной из комнат часто маячила фигура Петра Звонкова. Он садился за стол, загребал всей пятерней ниспадавший на лоб клочок волос и о чем-то думал. А в полночь из его комнаты раздавался громкий голос. Звонил он жене... Потом снова брался за рукопись.

Время шло. Я перешел на другую работу. Но на втором году Великой Отечественной войны мне вновь пришлось возвратиться в редакцию газеты «Красный Балтийский флот». Это было очень сложное время. В редакции, находившейся в осажденном Ленинграде, были новые люди. Многие сотрудники погибли на фронте — под Таллином и на дальних подступах к Ленинграду...

Именно в это время Звонков получил приказ перебраться на Ханко в качестве корреспондента газеты. Выполнив приказ, он весь ушел в работу. В те месяцы связи с редакцией обрывались быстро. Обстановка менялась. Но Звонков находил пути и возможности передавать в редакцию свои корреспонденции. Кроме того, он помогал многотиражной газете на Ханко, в которой работала небольшая группа творческих работников Ленинграда.

Бои шли уже под Ленинградом, а наши славные воины продолжали не только удерживать Ханко, но и проводить вылазки. Об их ратных подвигах писали журналисты, об этом писал и наш Звонков.

Но вот дан приказ оставить Ханко. Сложная операция по перевозке морем войск готовилась тщательно и секретно.

Петр Звонков был в первой группе моряков, прибывших на Ханко, когда там взвилось наше знамя. Он же был и среди солдат, которые до последнего часа держались на Ханко!

События снова привели Звонкова в Ленинград. И тут никакой передышки! Опять за корреспонденции, снова за боевое дело. А жизнь в городе все усложнялась...

В блокадную зиму Звонков решил рассказать на страницах газеты о мужестве наших летчиков. Прибыв в авиачасть, он узнал, что летчики вылетают на задание. Как же не использовать эту возможность? Ведь в полете, в боевой обстановке, лучше познаются люди и их дела.

И вот на старом МБР¹ вместе с летчиками летит и Звонков. Над Финским заливом произошла встреча с истребителями противника. Пули пробили бензобак самолета. Произошел взрыв. Самолет рухнул на лед. Погиб экипаж, а вместе с ним и Петр Иванович Звонков...

Так оборвалась жизнь этого человека, коммуниста, способного журналиста, нашего товарища. Ему едва перевалило за тридцать... Он мог бы многое, еще очень многое сделать.

¹ МБР — морской ближний разведчик.

Сергей Лоскутов,
Николай Ситников,
Эммануил Евзерихин

БОЕВОЙ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ



Мы фотокорреспонденты. Мы умеем снимать, но не умеем писать длинные очерки. А нам очень хочется, чтобы в книге о погибших на войне журналах было слово и о нашем боевом друге Коле Кубееве. Написали, как смогли, и надеемся, что наша заметка тоже войдет в книгу.

Война для Николая Кубеева, как и для многих, была неожиданностью... В последнюю мирную иконьскую субботу 1941 года он старательно готовился к воскресным спортивным съемкам, беседовал с редакторами, которые правильно считали, что лучше Николая в Фотохронике ТАСС спорт никто не знает, что в наставлениях по этому вопросу он не нуждается. И действительно это было так: мы все завидовали его мастерству. Спортивные снимки Николая отличались от наших своей динамичностью, эффектной композицией. Он как-то особенно хорошо подчеркивал силу, ловкость, красоту советского человека.

Делая спортивные снимки, Николай Кубеев вкладывал в работу свою душу спортсмена. Молодой фотожурналист

был здоровым, закаленным и жизнерадостным человеком. Его спортивная подготовка и закалка очень пригодились в тяжелые дни войны.

Николай Кубеев был среди первых добровольцев, вставших на защиту нашей Советской Родины. Вступив в части Московского ополчения, фотокорреспондент стал смелым бойцом. Он отважно сражался на Калининском фронте. Будучи рядовым, Николай Дмитриевич не раз отлично выполнял боевые задания командования, попутно производя репортажные съемки боевых действий. Он не расставался не только со своим автоматом, но и с фотокамерой, которая всегда висела у него на ремешке или была бережно спрятана на груди под шинелью. Свои снимки он регулярно посылал в Фотохронику ТАСС, где они пользовались неизменным успехом.

Николай Кубеев был активным помощником политработников части. Он снимал для армейской газеты, выпускал боевые фотолистики, фотографировал для партийных билетов бойцов и командиров, вступавших в дни боев в ряды Коммунистической партии. Он всегда находился на переднем крае. Это был настоящий боец.

В одном из боев с фашистскими оккупантами, накрытый минометным огнем противника, Николай был тяжело ранен в ногу. Он не хотел покидать часть и уезжать с фронта, но его пришлось отправить в московский госпиталь.

Отважный воин, страстный конькобежец и лыжник, великолепный спортсмен, Кубеев не представлял всей тяжести своего ранения и противился ампутации. Но ранение было слишком серьезным... Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь воину-журналисту, но это было выше их сил. И Коля скончался...

В лице Николая Дмитриевича Кубеева коллектив Фотохроники ТАСС потерял талантливого и энергичного фотокорреспондента.

Светлую память о своем отважном товарище и по сей день хранят корреспонденты и редакторы Фотохроники ТАСС.

**В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.**

**Константин Симонов
1942 г.**



Когда делалась эта книга и составители просили старых московских журналистов написать свои воспоминания о наших павших на войне товарищах, каждый, к кому мы обращались, говорил:

— Я хочу написать о Мише Розенфельде.

Уже одно это свидетельствует о том, как любили товарищи Михаила Розенфельда, какой популярностью он пользовался среди нас.

Из нескольких очерков, посвященных памяти Михаила Константиновича Розенфельда, мы выбрали два.

Юрий Корольков

ИСПАНСКИЙ РЕЙС



У старых сотрудников «Комсомольской правды», давно переставших работать в редакции, вот уж больше четверти века живет традиция — каждый год 1 апреля собираться на Пушечной улице в Москве в квартире нашей бывшей сотрудницы Веры М. В этот день здесь ждут нас гостеприимный, простой, почти студенческий стол и душевные разговоры до глубокой ночи.

Наша традиция родилась из первоапрельской шутки. Когда-то очень давно нас пригласили сюда «на гуся». В «Комсомолке» мы жили дружным коллективом и в тот день все вместе отправились в гости, не подозревая подвоха. Девчата колдовали на кухне, шушукались, суетились, на примусе почему-то варили гуся, которого никто не видел. А мы тем временем изнемогали от ожидания.

Наконец, когда терпение наше совсем истощилось, запахнулась дверь и в комнату внесли смешной плакат, нарисованный еще совсем тогда молодым редакционным художником Борисом Пророковым. С листа ватмана веселый гусь

показывал нам обидный кукиш. Внизу подпись: «Ишь ты, гуся захотели!!!»

С тех пор раз в год мы собираемся в кругу старых друзей на Пушечной улице. Здесь бывали многие, бывал и Михаил Розенфельд. Вспомнив о нем, я подумал: ведь прошли десятилетия с тех пор, как из жизни ушел Михаил Розенфельд. Тридцать лет! И до сих пор в это невозможно поверить! Для нас, его товарищей, он так и остается живым, неистовым, неугомонным, веселым и жизнерадостным человеком. Но Михаила нет, он погиб, когда ему было тридцать шесть лет, — в мае сорок второго года в харьковском окружении, и мы не знаем точно, как это произошло.

Порой кажется, что он и сейчас где-то в дальней командировке, как при жизни, которую он провел в пути, в корреспондентских поездках. Вот сейчас распахнется дверь, и на пороге появится Мишка — запыленный с дороги, с чемоданчиком и легким пальто, перекинутым через руку. Войдет веселый, сероглазый, с чуть иронической ухмылкой, которая всегда предшествовала веселой шутке. Войдет и скажет: «На чем мы, значит, остановились?..» И пойдут, цепляясь, один за другим умные, занимательные рассказы о его встречах, наблюдениях, новостях...

Таким и стоит перед моими глазами Михаил Розенфельд, вечно куда-то спешащий, откуда-то приезжающий, мечтающий о новых поездках...

У меня сохранился юбилейный номер «Комсомольской правды», посвященный десятой годовщине газеты. Там напечатана заметка «Те, о ком не пишут» — о работе корреспондентов газеты. На странице, теперь уже пожелтевшей от времени, есть несколько строк, посвященных Розенфельду:

«Есть люди, о которых обычно не пишут, о которых не принято писать. Это — люди, сами пишущие о других.

Михаил Розенфельд награжден орденом Трудового Красного Знамени за участие в спасении «Малыгина». Он описал всех героев экспедиции, их бесстрашие, мужество, их самоотверженную работу. Но кто напишет о Розенфельде, журналисте, отмеченном высокой наградой страны?..

Я еще не встречал летчика, который не спросил бы меня:

— Где сейчас Миша Розенфельд? Опять где-нибудь носится?

Ну конечно же Розенфельд «где-нибудь носится», ну конечно же он в очередной экспедиции. В песках Кара-Кумов или в Монголии, в кругосветном плавании или водолазной партии, на Шпицбергене или в долине Вахша, на дирижабле или в подводной лодке — иначе Розенфельда себе не представишь. Ибо он там, где его герои — смелые, суровые, мужественные и твердые люди».

Таким был Михаил Розенфельд, начавший свой трудовой путь сторожем на Ленинградской табачной фабрике, ставший мастером советского репортажа с острым, наблюдательным глазом и легким, не терпящим штампов журналистским пером.

Розенфельд был замечательным рассказчиком, умевшим подмечать, видеть в жизни то, мимо чего порой проходили другие, умел какими-то неведомыми путями узнавать самые последние новости — словом, он был настоящим газетчиком. Михаил гордился этими своими качествами, но однажды его непревзойденный авторитет знатока новостей чуть не потерпел фиаско.

В канун пятилетия «Комсомольской правды» Розенфельд ворвался в наш отдел информации, закрыл плотно дверь и с таинственным видом воскликнул:

— Ребята, новость!.. Только никому ни слова...

Он рассказал, что сегодня подписано постановление ЦИК о награждении «Комсомольской правды» орденом Ленина. Орден этот только что учрежден, и первым награждается наша газета. На торжественное заседание придет Михаил Иванович Калинин и сам объявит об этом, а завтра будет опубликовано постановление о награждении газеты.

Михаил еще раз предупредил: строжайшая тайна! Пока молчать.

Мы поклялись никому не рассказывать о новости и, конечно, не утерпели: через десять минут вся редакция знала о предстоящем награждении газеты орденом Ленина.

Понятно, с каким волнением сидели мы на торжественном заседании актива московской комсомольской организации, слушали выступление Михаила Ивановича Калинина. Он говорил о воспитании молодежи, потом пожелал газете новых успехов и... покинул трибуну. Ни слова о награждении!

Мы сидели ошеломленные, бросали свирепые взгляды на Розенфельда. Ведь надо же такое придумать! Ру-

шился авторитет короля репортажа. Михаил растерянно молчал.

А Михаил Иванович неторопливо возвращался с трибуны к столу президиума, собрался было сесть на пододвинутый ему стул и вдруг как-то очень по-стариковски хлопнул себя по лбу и снова быстро пошел к трибуне.

— Да,— сказал он,— совсем забыл. Правительство наградило сегодня вашу газету орденом Ленина... Поздравляю, товарищи!..

Зал взорвался аплодисментами. Теперь мы готовы были обнимать, качать Розенфельда... Поколебнувшийся авторитет его был восстановлен...

Наступил 1936 год. Вспыхнула гражданская война в Испании. В начале года, вернувшись из очередного дальнего плавания, я, как все мы, мечтал о новых поездках. В конце лета мы были на маневрах, и там я неожиданно прочитал в газете сообщение: теплоход «Нева» ушел в Аликанте с грузом продовольствия для детей сражающейся Испании. Значит, в Испанию идут корабли! А у меня есть мореходка — матросский заграничный паспорт, в последнем рейсе я получил профессию рулевого, можно попытаться пойти в Испанию. Иного пути не было. В те годы «Комсомолка» не имела иностранных корреспондентов.

Военные учения подходили к концу. Возвратившись в Москву, сразу пошел к редактору. Владимир Михайлович Бубекин молча выслушал меня и пробасил:

— Не выйдет!.. А впрочем, езжай, попробуй.

В тот же вечер скорый поезд уносил корреспондента в Одессу, в Управление Черноморского пароходства.

Сначала все шло как по маслу. В отделе кадров оформили палубным матросом на пароход «Курск». Я был на седьмом небе. Побывать в Испании, в стране, к которой приковано внимание всего мира, увидеть сражающийся народ, ощутить дух героической борьбы... Я ходил под тенью платанов по одесским улицам, в мечтах уже плыл к берегам Испании. О своей удаче, конечно, рассказал приятелям — одесским журналистам. Вот тут и произошла осечка, нарушившая все мои планы.

Впрочем, приведу отрывок из дневника, сохранившегося с тех лет:

«Кусаю локти и клянусь на чем свет стоит!.. Главное, сам виноват — разболтал, что плыву в Испанию. Узнал корреспондент «Водного транспорта» — захотел тоже. Пришел

в паромство, ему отказали. Заспорил: почему же разрешили «Комсомольской правде», грозил кому-то пожаловаться. Короче — отказали и ему и мне. Начальник паромства сказал: «Получите разрешение наркома, тогда пожалуйста...» Вот и гроыхаю поездом обратно в Москву без всякой надежды. Упустить такой рейс!»

А дальше произошло вот что.

На Киевском вокзале, вконец раздосадованный неудачей, взял такси и, не заезжая домой, отправился в редакцию. Первый, кого я увидел, был Розенфельд. Он спускался вниз по широкой лестнице — в одной руке чемодан, через плечо перекинут плащ. Я вытаскивал свой чемодан из машины.

— Откуда, старик?

Я неопределенно пожал плечами:

— Из Одессы...

— Что там? — Михаил подозрительно взглянул на меня.

Мы были друзьями, но в редакциях того времени существовал неписанный закон — думать о «фитиле». Каждый старался первым написать о каком-то интересном событии. Это и называлось «поставить фитиль». Поэтому я сказал то, что пришло на ум:

— Съёмки идут. Ездил на кинофабрику... А ты куда?

— В Одессу... Хочу побывать у эпроновцев.

Ответ не вызывал подозрений. ЭПРОН — Экспедиция подводных работ особого назначения была интереснейшей организацией, и мы часто ездили на подъем затонувших судов. Пожелав друг другу «ни пуха ни пера», мы расстались у подъезда редакции. Михаил в «моем» такси отправился на вокзал, а я поднялся в редакцию.

Мне посчастливилось. Редактор согласился написать письмо наркому, я сам отвез его на Кузнецкий мост, и помощник пообещал тотчас же доложить, как только нарком вернется с какого-то заседания.

В наркоматах в те годы работали допоздна. Чуть ли не в полночь позвонили в редакцию: нарком разрешил зачислить в команду парохода «Курск» корреспондента «Комсомольской правды».

Теперь успеть к отходу судна можно было только на самолете. Но, прилетев в Одессу, добравшись наконец на попутной машине до морского порта, я увидел, как, набирая скорость, «Курск» уходит в открытое море... Опоздал!!

Лил дождь, и я, промокший до нитки, уныло шагал к гостинице «Красная». И вдруг — бывает же такое! У входа в гостиницу столкнулся... с Розенфельдом. Михаил только что с поезда шел тоже в эту гостиницу. Мы подозрительно оглядели друг друга.

— Ты в Испанию? — спросил он.

— Да... А ты?

— Тоже... Послушай, старик, давай вместе.

Так мы заключили союз. Мы вместе ходили оформляться в пароходство, вместе добывали робу в Экспедиции подводных работ. Наученные горьким опытом, мы решили выдавать себя за демобилизованных эпроновцев и не появляться в городе до самого отхода судна, чтобы не встречаться со знакомыми журналистами. Это продолжалось несколько дней. Мы стойко выдерживали добровольный домашний арест, но к тому времени, когда закончился наш «карантин», одесские газетчики давно знали, что мы уходим в Испанию... Но для команды «Трансбалта», крупнейшего судна в тринадцать тысяч тонн водоизмещением, на котором нам предстояло идти в Испанию, в том числе и для боцмана, мы были только палубными матросами. Однако мне, уже бывавшему в плаваниях, оказалось несколько легче сохранять свое инкогнито, чем Розенфельду.

На корабль мы переселились за несколько дней до выхода в море. Обрядившись в брезентовые робы, в тельняшки, мы разгуливали с Михаилом по судну, но боцман не выносил людей, слонявшихся без дела. Мне он приказал красить борт, а Розенфельда взял с собой, чтобы тот помогал ему наводить порядок на палубе.

Перебравшись через планшир, сию в подвесной «беседке» и старательно крашу борт. К испанскому рейсу у меня уже накопился некоторый морской опыт, и я чувствовал себя увереннее, чем Михаил. Поэтому договорились: в случае чего работать вместе. Я неторопливо водил кистью, когда услышал сверху встревоженный голос Миши. В тельняшке, поверх которой была надета голландка, он выглядел заправским моряком, но глаза его комично округлились, и он трагическим шепотом произнес:

— Юрка, что такое: скойлать шкентель на баке?.. Это мне приказал боцман.

Я стал размышлять вслух: скойлать — это свернуть канат в бухту, бак — передняя часть судна, а что такое шкентель, мне непонятно.

— Пойдем посмотрим,— предложил я. Выбрался из «беседки», и мы побрели искать злополучный шкентель.

Продолжалось это довольно долго, пока нас не приметил боцман. Обычно он обращался к матросам на «ты», но, когда сердился, вежливо переходил на «вы», закладывая при этом виртуозные ругательства. Судя по тому, что он заговорил с нами на «вы», мы поняли, что боцман пришел в ярость от нашего безделья. Но мы честно хотели выполнить распоряжение боцмана.

— Миша,— воскликнул еще издали боцман,— что вы болтаетесь здесь, как...— Дальше следовало совершенно неповторимое.— И вы тоже.— Меня боцман почему-то называл по фамилии.

Розенфельд невозмутимо ответил:

— Мы ищем шкентель, товарищ боцман...

— Да вы что?— задохнулся боцман.— Шкентель над вами висит, а вы сачкуете...

Он указал на огромный железный крюк, висевший на толстом тросе, под которым мы расхаживали.

И все же, хотя порой и происходили с нами такие истории, палубная команда вскоре приняла нас к себе. Мы старались изо всех сил и не выделялись среди моряков.

Вот страничка из дневника, написанная вскоре после ухода из одесского порта:

«Мраморное море, октябрь 1936 года.

После длительных треволнений мы наконец вышли в море. Что говорить о том восторге, с которым мы идем с Михаилом в этот рейс! Ради такого можно перенести в десять раз большие невзгоды и огорчения.

Идем с Розенфельдом матросами второго класса. Кто мы — так никто и не знает, кроме капитана и замполита. С утра до пяти вечера моем судно, носим всякую всячину, койлаем, драим, рожкаем, выполняем десятки всевозможных работ и, конечно, выдаем себя за эпроновцев. Пока идет все хорошо...

Сегодня перешли на дозорные вахты — это значит: кроме обычной стоим еще четыре часа в дозорной вахте.

Бывает трудно, сетуем на это малость друг другу, и все же оба довольны. Ведь идем в Испанию!

В команде у нас 88 человек и плюс девять таинственных пассажиров. Среди них худенькая девушка, зовут ее Маша — единственно, что удалось узнать. Конечно, они едут в Испанию.

Какой у нас груз? О грузе потом, в Советском Союзе. Мало ли кому могут попасть в руки эти записки?»

«Средиземное море.

Сегодня получили радио из Одессы: Картахена, куда мы идем, подверглась бомбардировке. Атака отбита, уничтожено два бомбардировщика. А сколько их было? Какой причинили урон? Послезавтра узнаем все сами.

Идем вдоль тунисского берега. Навстречу нам прошли четыре судна кильватерной колонной. Усиленно морзили нам, запрашивали, кто мы. Не ответили. Мишка уверяет, что это военные корабли. Возможно, в темноте не разобрать».

«Итак — мы в испанских водах. Только что закончилось собрание экипажа. Капитан предупредил: нужно быть готовыми ко всему. Британское адмиралтейство сообщает: вокруг портов Испании установлены минные заграждения. Мины ставят и те и другие — мятежники и республиканцы.

Вечером команде раздали противогазы, спасательные пояса, приказано спать одетыми. Подготовили шлюпки. Ночью идем с приглашенными огнями. Днем над «Трансбалтом» прошел самолет. Чей он? Атмосфера напряжена, люди насторожены, все ждут боевой тревоги. А Мишка продолжает острить. Он верен себе».

«Картахена.

Голый, будто выжженный, скалистый берег. На вершинах холмов — батареи. В порту и на рейде стоят корабли. С берега пришла обшарпанная моторная лодка. По штурм-трапу поднялся беловолосый человек средних лет. Представился: наш морской атташе. Сразу прошел в каюту капитана. Через полчаса пригласили нас с Розенфельдом. Вместе завтракали. Атташе рассказал о сложившейся обстановке. В Картахене разгружаться не следует. Частые налеты. О подходе бомбардировщиков можно предупредить только за полчаса, не раньше, а «Трансбалту» надо часа полтора, чтобы покинуть порт. Советует идти в Аликанте.

Наши таинственные пассажиры покинули судно. Они уплыли на катере вместе с морским атташе. Оказывается, Розенфельд знает его. Это бывший командир крейсера «Червона Украина».

Идем в Аликанте, простояв четыре часа на рейде Картахены. Пользуемся темнотой ночи, чтобы проскочить незаметно».

«Аликанте.

В порт пришли ночью. Стояли дозорную вахту. Маяки все погашены — война. Только Аликанте сияет огнями вдоль побережья, как светящееся ожерелье. Почему так?

Капитан освободил нас от работы на все время стоянки. Ура! Мы снова корреспонденты! Мишка начинает фантазировать. А может быть, в самом деле удастся...»

Никогда не забыть того мгновения, когда мы сошли с Михаилом на испанскую землю! Розенфельд просто сиял. Мы расхаживали по набережной, притопывали ногами, словно проверяя прочность земли. И первое, что мы увидели, что слышали на берегу, были слова приветия: «Вива Руссия!», боевой клич антифашистов «Но пасаран!» — «Они не пройдут!..»

А дальше — десять незабываемых дней, полных волнующих впечатлений.

Журналистское счастье подвалило нам неожиданно. Сначала познакомились с Мирко-югославом, тайком приехавшим в Испанию сражаться на стороне республиканцев. Он немного знает русский язык, хуже испанский, и тем не менее его сделали переводчиком — он обслуживает советские корабли. Михаил осторожно, издали завел с ним разговор — хорошо бы выехать за Аликанте, хотя бы посмотреть кое-что вокруг. О Мадриде мы уже не мечтаем.

...Признались югославу, что мы корреспонденты, показали редакционные удостоверения. Это был единственный «дипломатический» документ, которым мы располагали.

Каково же было наше изумление, каков был восторг, когда на следующий день утром поднялся на корабль Мирко и сказал:

— Поедте...

— Куда?

— В Мадрид, вы же хотели...

В тот же день мы приехали в Альбасете, где формировалась Интернациональная бригада, познакомились с ее командиром, назвавшимся Клебером. Семья его живет в Москве, просил передать письмо... Почти до рассвета не могли заснуть — хотелось встретиться и с французами, и с гамбургскими докерами, и с итальянскими металлантами, приехавшими воевать с фашизмом на испанской земле. Я поражаюсь Розенфельду, его феноменальной памяти. Он почти не пользовался блокнотом. Впрочем, это не совсем

верно — он записывал впечатления, факты одному ему ведомыми значками, сокращениями слов, а потом, только бегло взглянув в записную книжку, восстанавливал все в своей памяти.

Для ночлега нам отвели ангароподобную спальню в особняке расстрелянного испанского фашиста. Здесь находился один из штабов Интернациональной бригады, где постоянно толпились люди. Но графские покои сохранились в полной неприкосновенности. До блеска натертые полы, вычищенные ковры, дорожки, даже японские безделушки стоят на камине, словно хозяин только что отлучился из дому. Никто не тронул здесь даже старинной пезеты, оставленной на туалетном столике.

— Видно, что антифашисты приехали в Испанию не за трофеями, — сказал Розенфельд, с наслаждением потягиваясь в графской постели.

Ранним утром мы снова были в дороге. Через несколько часов нас остановили у заставы селения Ла Мота Куэрбо — дальше ехать нельзя. За селом фашисты перерезали дорогу. Треск одиночных выстрелов, пулеметные очереди подтверждали слова вооруженного крестьянина. Прямой путь в Мадрид был отрезан. Что делать? Крестьянин советует:

— Подождите, может быть, скоро отобьют мятежников. Тогда проедете. Или, если торопитесь, езжайте в объезд через Таранкон по Валенсийскому тракту.

Мы торопились, поехали в объезд, и, конечно, не хватило бензина. В Таранконе бензин выдавали по разрешению военного секретаря анархистского комитета. Розенфельд надолго исчез вместе с Мирко и нашим неунывающим Антонио. Я остался караулить машину. Обратный Михаил вернулся с разрешением на полную заправку и огромным, с треском раскрывающимся ножом — навахой. Это был великолепный подарок, я пожалел, что не пошел добывать бензин.

Еще несколько часов пути, и по дороге, забитой машинами, мы въехали в Мадрид. Несколько дней назад мятежные войска генерала Франко вплотную подступили к столице.

Мы еще не знали точно, куда мы едем, и, конечно, отправились в наше посольство. Оно помещалось в отеле «Палас», где-то рядом с Пуэрто дель Соль. Здесь находилась почти вся советская колония.

На телефонный звонок к нам в вестибюль спустился элегантно одетый человек с военной выправкой, подозрительно спросил, кто мы такие. Показали редакционные удостоверения, это не произвело никакого впечатления.

— Зачем вы приехали?

Михаил начал что-то объяснять. Со стороны это выглядело неубедительно: поехали осматривать окрестности Аликанте и на минутку забрели в Мадрид...

— Кого вы здесь знаете? — перебил Розенфельда сотрудник с военной выправкой.

— Знаем Михаила Кольцова, кинооператоров Романа Кармена, Бориса Макасеева...

— Вот и отлично, я соединю вас с Михаилом Ефимовичем...

Все уладилось. Через несколько минут мы сидели в номере гостеприимного Кольцова, который с удивлением нас разглядывал.

— А машина-то у вас есть? — озабоченно спросил Михаил Ефимович. — Отпускать ее нельзя ни в коем случае...

Но у нас на этот счет было совершенно иное мнение: отпустив машину, может быть, удастся застрять в Мадриде. Это был наш тайный замысел. Впрочем, потеря машины произошла и без нашего активного вмешательства. Мирко и Антонио явились в гостиницу к вечеру и сказали, что бензина достать не удалось. Мирко объявил, что решил остаться в Мадриде, будет воевать, а Антонио сообщил, что ему приказано немедленно возвратиться в Альбасете — мятежники могут перерезать дорогу. Может быть, удастся добыть бензин в пути. Если нет — пустит автомобиль под откос, а сам пойдет в окопы. Его винтовка при нем. Не оставлять же машину генералу Франко...

Антонио не желал создавать проблемы из затруднительной ситуации. Но Кольцов задумался, начал нервно протирать свои роговые очки.

— Ладно, оставайтесь, — решил он, — у вас нет винтовок, чтобы идти в окопы вместе с Антонио...

И вот без документов, без машины мы очутились в осажденной испанской столице. Здесь провели мы несколько дней, доставив немало хлопот Михаилу Кольцову. Только через двадцать лет прочитал я страничку в дневнике Михаила Кольцова, посвященную нашему появлению в Мадриде:

«1 ноября 1936 года... В гостиницу вдруг свалились два москвича, корреспонденты «Комсомольской правды» Миша Розенфельд и Юрий Корольков. Они рассказали довольно сумбурную историю: прибыли в Аликанте с советским продовольственным пароходом, хотели посмотреть какие-то деревни в окрестностях города, но шофер из-за незнания ими испанского языка перепутал адрес и привез их в Мадрид. Хотя ошибка была в четыреста километров и на полтора суток, я не стал спорить. Ясно, что ребятам до смерти хотелось попасть в Мадрид, а разрешения не было и не могло быть: въезд сюда запрещен уже полторы недели. Вопрос был в том, как и на чем их отправить обратно.

К счастью, все устроилось. Аликантский шофер, навестив в Мадриде своих родственников, сразу заскучал и затопился обратно. Мы хорошо пообедали с комсомольскими журналистами, они рассказали кучу новостей. Затем повидали город и главную достопримечательность испанской столицы — ее воздушные бомбардировки. Налеты теперь происходят по три-четыре раз в день, жертвами переполнены все морги. Я перестал в телеграммах описывать и даже упоминать все бомбардировки. Слишком много, слишком страшно, и все одно и то же.

В машине комсомольцев удалось эвакуировать еще трех мадридских женщин.

Каждое место в автомобиле из Мадрида — это теперь человеческая судьба, это поворот жизненной стрелки».

Одной из женщин, которая ехала с нами в Валенсию, была Александра Григорьевна Родригес, дочь известного украинского писателя прошлого века, современника Пушкина — Григория Петровича Данилевского. Это было так поразительно! Михаил всю дорогу расспрашивал Александру Григорьевну, записывал что-то в блокнот. Розенфельду всегда везло на интересные встречи.

Возвращались мы через Валенсию — прямую дорогу на Альбасете перерезали мятежные войска генерала Франко. Михаил Ефимович Кольцов, прощаясь, передал удостоверение, которые он выписал нам в военном министерстве. В документах указывалось, что «дон Мигуэль Розенфельд» и «дон Юлио Корольков» направляются в Аликанте. Это уже был какой-то вид на жительство...

В аликантском порту «Трансбалт» заканчивал разгрузку, и мы снова приступили к исполнению своих матросских обязанностей.

Ничто не предвещало военной грозы, нависшей над этим далеким от фронта испанским портом. Здесь стояли три советских парохода: наш «Трансбалт», «Комсомол», потопленный вскоре мятежниками в открытом море, «Курск», успевший прийти новым рейсом с грузом для республиканской Испании. Все это привлекло внимание германской бомбардировочной авиации, сражавшейся на стороне испанских мятежников.

...Мы вскочили по сигналу воздушной тревоги. Была ночь, и в воздухе гудели самолеты, слышались глухие, тяжелые взрывы. В Мадриде мы уже испытали бомбежки, но там фашистские летчики били по площадям, а здесь они целили в советские пароходы. Так, за пять лет до большой войны, мы лицом к лицу столкнулись с вооруженным германским фашизмом.

Аргентинский крейсер, стоявший недалеко от нас, торопливо выбрал якоря и отошел в море. То же самое сделали и английский корабль, и «бельгиец». А куда могли уйти мы, прикованные к пирсу? После четырех заходов, растратив запас бомб, фашистские самолеты ушли на северо-запад.

Больших разрушений они не причинили: повредили испанский корабль, стоявший рядом с «Трансбалтом», разрушили несколько небольших домов, выворотили из земли несколько финиковых пальм на бульваре Мортирос.

На память об этой ночи Розенфельд подобрал на палубе нашего корабля большой, рваный, еще горячий осколок бомбы с тисненой надписью на немецком языке: «Сделано в Германии».

Утром разгрузка корабля продолжалась. Но теперь ночью мы выходили на рейд, а днем возвращались в порт и снова приступали к разгрузке. Через два дня трюмы нашего парохода были освобождены от груза. В ту же ночь мы ушли в открытое море. На вахте вперёдсмотрящим стоял Михаил Розенфельд. Таким и остался он в моей памяти в испанском рейсе — в полосатой тельняшке, пристально глядящий вперед — в предрассветную темноту. Лица его не было видно — только силуэт подавшегося вперед человека и руки, упиравшиеся в планшир.

Вперёдсмотрящий матрос и журналист...

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Этого неугомонного, шумного корреспондента друзья встречали в самых неожиданных местах: на далекой зимовке, в глухой сибирской тайге, на палубе ледокола, в долине Вахша, в экспедиции ЭПРОНа, в знойных Каракумских песках, в гондоле дирижабля, на скоростных автогонках, на борту подводной лодки, в Маньчжурии, Испании, Финляндии, на Шпицбергене, в Монголии, на пляже Калифорнии, на мысе Флора, у ледника, в атакующем танке, на борту бомбардировщика, в глубоком тылу у немцев — и бог знает, где только не встречали его друзья и знакомые.

Встречались — и тут начинался, как он сам любил говорить, «тот большой вальс»! Рассказам, шуткам и воспоминаниям не было конца. И как приятно было видеть его возбужденное лицо, чудесную мальчишескую улыбку, живые, с большим разрезом, выпуклые глаза и это нетерпеливое желание первым поразить друга необыкновенной, сногшибательной новостью!

* * *

Скоростной автопробег легковых машин отечественного производства Москва — Алма-Ата — Москва. Тринадцать тысяч восемьсот километров. Подготовка к пробегу в самом разгаре. И его серая кепка, конечно, уже тут, среди гонщиков. Михаил Розенфельд живо интересуется всеми подробностями этого необыкновенного путешествия и готовится участвовать в нем.

Старт в июле. Можно было бы начать и раньше, но в Западном Казахстане дожди, а в Кара-Кумах жара достигает семидесяти восьми градусов. Но, чем опаснее и сложнее предприятие, тем больше оно привлекало Розенфельда. Ему не страшны ни дожди, ни жара, ни дорожные лишения. Главное, чтобы читатель его газеты — обязательно раньше всех! — узнал о событиях, чтобы увидел мужество и стойкость советского человека, его волю, его упорство, благородное стремление к поставленной цели.

Михаил Розенфельд был просто влюблен в труд моряков, пилотов, машинистов, шоферов. В экспедициях он никогда не избегал самой тяжелой работы, выполняя обя-

занности механика, матроса, штурмана или водолаза, грузчика или каюра. И когда, качаясь от усталости, люди замертво падали на постель или на землю и тут же засыпали, он брался за перо и неумоимо заполнял страницу за страницей, спеша до рассвета закончить очередной «подвал» для газеты...

С каким заразительным юмором рассказывал он о различных злоключениях, случавшихся с ним в командировках, о путевых встречах и знакомствах!

Вспоминается жаркий вечер. Ворот рубахи у Розенфельда расстегнут. Жестикуюлируя, он ходит по комнате, его глаза то суживаются, то выразительно округляются, а мы восхищенно следим за ним и слушаем вдохновенный репортаж о первых шагах работы в молодежной газете.

...Ночью запыхавшийся курьер с конвертом в руках ворвался в комнату корреспондента:

— Бегите! Осталось двадцать минут!

Пять дней корреспондент ждал этого сигнала; схватив пиджак, в одной сетке, в сандалиях, без кепки он тут же выбежал на улицу.

Владелец прокатной машины, частник-шофер, угрюмо оглядел подозрительную фигуру, но, заметив в руках пассажира деньги, немедленно открыл дверцу своей «антилопы».

— На вокзал!

В конверте лежали восемьдесят рублей и записка:

«Только что получена телеграмма. Они выехали. Ваш поезд уходит в 11.30. Во что бы то ни стало успейте».

Желтый автомобиль — бензиновая черепаха или ползучий примус — прибыл к вокзалу за три минуты до отхода поезда, как раз к закрытию кассы. Отчаянная мольба юного газетчика могла растрогать скорее вершину Казбека, но не начальника станции. Оставалось полминуты, и корреспондент решился на последнее. Он кинулся на перрон и на ходу впрыгнул в вагон отбывающего поезда. Это был международный вагон прямого сообщения с табличкой «Москва — Себеж — Рига — Берлин».

Первое голубое купе оказалось свободным. В зеркале молодой человек увидел свою фигуру и, обнаружив отсутствие галстука, поднял воротник, застегнул английской булавкой, пригладил волосы и пришел к убеждению, что в таком виде вполне прилично встречать иностранных гостей.

В купе вошел высокий сухопарый англичанин. Нисколько не удивясь, он вынул из зубов трубку, вежливо поклонился, представился и тут же вышел.

В коридоре он недовольно произнес несколько фраз, и через секунду в купе влетел разъяренный проводник:

— Откуда тебя черт принес?

Скандал продолжался до станции Новый Иерусалим, где безбилетного пассажира сняли, оштрафовали, но посадили обратно в то же купе, так как в поезде оказалось единственное свободное место и именно в купе англичанина.

В Себеже хозяин гостиницы, похожей на корчму времен Тараса Бульбы, продал корреспонденту шляпу, уговорил его взять тросточку и, отойдя на три шага в сторону, радостно воскликнул:

— Вы похожи на министра! Еще бы манишку и визитные карточки, и вы утрете нос всем французам и немецким баронам!..

С границы в полдень прибыл поезд. Он привез первую делегацию австрийской рабочей молодежи. Из вагона выпали подростки в коротких штанах и зеленых застиранных рубашках. Со слезами восторга бросились они обнимать советских людей. Музыканты растерянно ударили в тарелки, все запели «Интернационал». Пели по-русски и по-немецки, целовались, кричали: «Да здравствует первая делегация!» Старые крестьяне, прибывшие на встречу, вытирали ладонями влажные глаза. Австрийцы рассказывали, как они переправились через границу, сколько преодолели препятствий, чтобы попасть в Советскую страну.

Потрясающую картину встречи специальный корреспондент передал в короткой (на последние деньги), но захватывающей телеграмме:

«Приехали тчк Старики плакали».

Долго в редакции не могли забыть этого замечательного творения. В поезде корреспондент записал интереснейшие рассказы делегатов и таким образом оправдал свою командировку.

* * *

Маньчжурия. Год 1929-й. На просторах Даурских степей бесснежная зима. Дует противный леденящий ветер. Издалека глухо доносятся артиллерийская канонада и разрывы авиационных бомб. Это советские самолеты бомбят укрепления белокитайцев под Чжалайнором.

На одном из многочисленных запасных путей Даурской станции небольшой железнодорожный состав — шесть пассажирских вагонов. Здесь редакция и типография корпусной газеты «Отпор».

Утро. В печатном цехе деловая суета: идет приправка очередного номера газеты. В клубах морозного пара в вагон входит неизвестный в кожаном пальто и кубанке.

Это Розенфельд.

Через несколько минут в головном вагоне, общежитии редакции, у жарко натопленной буржуйки, где греется толстопузый — на всю компанию — чайник, гость успевает рассказать с дюжину последних московских историй и попутно узнать о положении на Маньчжурском участке фронта. При этом выяснилось, что он об этом знает гораздо больше, чем кто-либо из всех военных корреспондентов, находящихся здесь, на границе. Приехав ночью, Розенфельд успел уже побывать у командующего, ознакомиться с обстановкой на фронте, встретился с комбригом 8-й Кубанской Рокоссовским...

Розенфельд исчезал из редакции так же внезапно, как и появлялся. Внутреннее чутье журналиста безошибочно наводило его на след интересных событий. В первый же день, опередив всех местных корреспондентов, он побывал у летчиков и даже слетал с ними на бомбежку Чжалайнорских укреплений, заглянул к танкистам, потом к конникам, заполнил здесь несколько блокнотов рассказами бойцов Бурятского кавдивизиона, участников смелого рейда, успел опросить первых пленных.

В редакцию он врывается как ветер и, рассказав на ходу последние фронтовые новости, немедленно садится за работу.

Вскоре его очерки о боях в Маньчжурии один за другим стали появляться на страницах «Комсомольской правды».

Розенфельд присутствовал при встрече командующего нашей армией с генералом Ляном, сдавшимся в плен, и первым успел взять у него интервью.

Генерал Лян отрицал мародерство белокитайских солдат, но советский журналист, успев уже где-то раздобыть снимки городского погрома, при всех уличил генерала во лжи.

Молодой журналист никогда никуда не опаздывал, всегда и везде был первым. Товарищи учились у него оперативности, подражали ему.

В эти дни исчез Сергей Диковский. От него перестали поступать корреспонденции, и уже давно истек срок возвращения его в редакцию. Начались поиски. Михаил принял в розысках самое живое участие. Обошли все госпитали, искали Диковского среди убитых, обшарили полуразрушенные укрепления Чжалайнора — все усилия были напрасны. Товарищи уже теряли надежду, лишь один Розенфельд был неутомим в поисках. Он даже спускался в шахты. В эти беспокойные дни еще глубже раскрылись его чудесные достоинства друга, он трогательно заботился о судьбе пропавшего собрата.

Лишь на пятый день найденный Диковский явился домой, грязный, обросший бородой, едва волочивший ноги.

Диковский вместе с командиром взвода Мутло, узнав, что в одной из шахт укрылась группа белокитайцев, спустился в шахту. Они пробирались в узких переходах на ощупь, долго блуждали в темноте и наконец потеряли выход. Под землей они захватили в плен девять китайских солдат и одного офицера.

Китайцы, опасаясь преследования, протянули во многих местах подземного коридора нити, привязанные к взрывателям китайских шимоз. Одно неосторожное движение — и человек мог тут же взлететь на воздух. Как проползли между этими ловушками Диковский и Мутло, объяснить трудно. Но пленный китайский солдат, ставивший эти ловушки, снимал их с большой опаской.

Тут, у выхода из шахты, и встретил их Розенфельд, уже собравшийся спуститься туда вторично. Он все-таки разыскал друга!

* * *

Стране нужен уголь — и Розенфельд уже спешит в Донбасс. В шахтерской спецовке дни и ночи проводит он под землей, стараясь вникнуть и разобраться в причинах отставания шахт по добыче угля.

На это потрачено несколько дней, но зато обследованы все забои и уклоны. В блокноте появляется запись: «Четвертый уклон дает 150 тонн, а может давать 500. Рабочая сила имеется, и даже с излишком... в триста человек!»

Он завязывает дружбу с передовым забойщиком Востриковым.

«Мы ползем на коленях,— рассказывает он в своем очерке,— согнувшись, как только можно, ползем в угольной

норе, нацепив лампы на шеи. Востриков увлекает всех за собой в уступ, все глубже и глубже. Наконец он ложится на спину (сидеть здесь невозможно) и тычет пальцем над собой.

— Разве это крепление? — негодует он.

Мы лежим, и над нами на расстоянии трех ладоней нависает срубленный пласт, его подпирают наспех втиснутые бревна.

— Надо планку провести, а уже в планку подбивать кол. А от такого крепления никакой пользы. Если надавит пласт, прощайтесь с жизнью. Братва, кто вас учил этому?»

Так, шаг за шагом, любознательный московский корреспондент постигал шахтерскую грамоту.

На страницах газеты появляются его первые очерки о социалистическом соревновании в Донбассе. Ночи проводит он за письменным столом, трудясь над книгой о новых методах работы в Донбассе. Вскоре книга появляется в руках шахтеров, на книжных полках библиотек.

А неугомонный автор уже мчится в экспрессе на юг, увлеченный новой идеей — осушения древних колхидских болот. Но, услышав по дороге о событиях, разыгравшихся на севере с группой затерявшихся полярников, тут же пересаживается на встречный поезд и через двое суток уже шагает по заснеженным улицам Архангельска.

* * *

...И вот он уже взбегаёт по трапу на борт ледокола, «Малыгин» отправляется к Земле Франца-Иосифа. Это любопытная экспедиция: по пути к бухте Тихая ледокол должен встретиться с дирижаблем. Необыкновенное событие привлекло на борт ледокола массу иностранных туристов. Здесь англичане, французы, американцы. Среди туристов и Умберто Нобиле, начальник экспедиции на погибшем при перелете через полюс дирижабле «Италия».

В тумане Баренцова моря Розенфельд жадно читал книги о полярных путешествиях, запоминая названия островов и имена исследователей Арктики, историю их отважных подвигов. В бухте Тихая состоялась встреча ледокола с дирижаблем «Граф Цеппелин». Шлюпка с почтой подъехала к гондоле, и дирижабль, не задерживаясь ни минуты, взял направление на Северную Землю.

А он, свидетель этого исключительного события, стоял на палубе ледокола, охваченный одной мыслью, одним страстным желанием:

— Даешь в Советскую Арктику советский дирижабль!.. Пусть у ворот полюса гудят ледоколы, летают самолеты, носятся моторные лодки. Но мы должны все силы отдать, все на НАШ, НАШ дирижабль!

Ему хочется кричать, звать, доказывать!

И свой очередной очерк он озаглавил зовущим лозунгом: «Он будет! Он полетит!»

С каким тонким юмором и чувством превосходства осмеивал Михаил «цивилизованных» туристов, приехавших из Америки, чтобы увидеть своими глазами «диких людей севера, питающихся сырым мясом и танцующих первобытные шаманские пляски»!

С задушевной теплотой рассказывал Розенфельд по возвращении в Москву о незаметных советских героях, зимующих на далеком севере.

* * *

Романтик по натуре, Розенфельд любил и в жизни все романтическое, смелое, дышащее отвагой. Писал ли он о моряках, летчиках или золотоискателях, все равно в каждой строке всегда была видна влюбленность в этих людей, в их героическую профессию. Но выше всего на свете он ценил чувство локтя, дружескую взаимовыручку.

Однажды два приятеля, работники двух московских газет, возвращались в поезде после встречи героев трансполярного воздушного перелета. С одним из них в пути случился приступ астмы, и он обратился к приятелю с просьбой:

— Я не могу выйти из вагона. Пошли, пожалуйста, в мою газету небольшое сообщение о встрече героев.

Но приятель ответил:

— Что не могу, то не могу. Я газетчик, и этим все сказано. О таких вещах не просят...

Розенфельд как раз направлялся на телеграф послать очередную корреспонденцию. Он слышал этот разговор. Выручая товарища, он тут же послал сообщение и в газету, где сотрудничал заболевший, который, не зная об этом, уже представлял, как его проклинают в редакции. С трудом выбрался больной журналист в Москве из вагона, и вдруг к нему навстречу бросаются товарищи по редакции, жмут руку, благодарят за оперативность...

Этот журналист давно умер. Он так и не узнал, кто выручил его.

Значительную часть жизни Розенфельд провел на различных фронтах. Маньчжурия, Испания, Монголия, Западная Украина, Финляндия... Он научился бесстрашно смотреть в глаза опасности. За участие в спасении затонувшего в Баренцовом море ледокола Розенфельд был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Водолазы ЭПРОНа полюбили смелого корреспондента, вместе с командой работавшего на тяжелых круглосуточных авралах и бог весть когда успевавшего писать и посылать в Москву подробные корреспонденции об их рабочих буднях.

Имя Розенфельда хорошо было известно бойцам Халхин-Гола. Одним из первых он вошел с нашими войсками в Вильно.

Война с фашистской Германией не застала его врасплох: Михаил был подготовлен к ней всей жизнью. Перечитывая его письма, видишь, сколько невзгод и лишений пришлось ему перенести там, на передовой, но никогда он не падал духом, постоянно ободрял товарищей.

«...В новогоднюю ночь я был на позициях. Выпили с друзьями, посидели, а на рассвете в санях, на вороных, поехали с генералом на передовые: в эти минуты началось наступление. И я принял участие в бою. Стреляли пулеметы, били пушки... Вот как встретил я Новый год. Как у нас говорят, «с концертом». Увидимся, расскажу подробнее. Но эту новогоднюю ночь и день мне не забыть во всю жизнь».

Последняя фотография. Она прислана из Воронежа в феврале 1942 года. Хмурое, безрадостное утро, голые ветви обнаженных деревьев, витрины магазинов разбиты; в летном меховом комбинезоне и собачьих унтах Розенфельд шагает по пустынной улице, направляясь, по всей видимости, на телеграф. Бледное, опухшее лицо. На обороте надпись: «Это я после полета в тыл противника».

Смелый воздушный рейд советских штурмовиков в немецкие тылы был выполнен с исключительным мастерством. На боевой машине, с грозным ревом промчавшейся над колоннами врага, специальный корреспондент «Красной звезды» выполнял обязанности воздушного стрелка. Шагая после атаки по улицам разбитого Воронежа, с еще не остывшим боевым возбуждением, он вновь переживал незабываемые моменты воздушного удара по врагу.

Все это теперь нужно в полчаса изложить на бумаге, передать в Москву, чуть-чуть вздремнуть на голых нарах — и снова в битву.

Воин и журналист, уже на фронте награжденный орденом Красной Звезды, Михаил Розенфельд шел в наступление вместе с передовыми частями Красной Армии.

И вот строки из последнего письма, присланного с фронта. Оно помечено 15 мая 1942 года. Торопливый почерк...

«Началось большое наступление на Харьковском направлении.

Все время разъезжаю, все время в степях под открытым небом. Вчера во время жестокого боя я отправился в самое горячее место и был от немцев в 120 метрах, не дальше и не ближе. Это в первый раз за все время войны.

Я был так близко, что мы им в рупор кричали:

— Эргиб дих — сдавайтесь, так вашу так!..

Настроение очень хорошее — ведь мы наступаем, а это для нас лучший праздник.

...Кончаю писать. В 4 часа утра выезжаю на передовые».

Последней видела Михаила военный фотокорреспондент Наталья Бодэ. Она встретилась с ним как раз накануне его отбытия на передовую.

«Было жарко, — рассказывает она, — помню, мы уже скачивали шинели и ходили в гимнастерках. Солнце припекало... Шли в наступление. Это было под Харьковом, у станции Лихачево. Настроение у всех боевое. Вдруг встречаю Михаила. Он, как всегда, веселый, возбужденный.

— Получен приказ из штаба армии отправить вас отсюда!

Мне это не улыбалось. Я заупрямилась. Но он мягко и настойчиво приказал:

— Немедленно... Сейчас же!

И заставил меня сесть в самолет.

Михаил стоял на аэродроме, полный сил и бодрости, со своей неизменной дружеской улыбкой — таким я его и запомнила.

А утром в Ахтырке я узнала, что немецкие танки провалили фронт и часть, в которой находился Розенфельд, попала в окружение...».



ПРОЩАЛЬНЫЙ СНИМОК

До войны в редакции газеты Московского военного округа «Красный воин» начальником отдела боевой подготовки работал капитан Сретенский. Это был самый подготовленный в военном отношении сотрудник редакции — он окончил Военную академию имени Фрунзе.

Началась война... Большая группа сотрудников «Красного воина» выехала на фронт. Многие из них получили назначение в редакцию газеты Брянского фронта «На разгром врага». Среди них был и Сергей Николаевич Сретенский — он стал начальником отдела фронтовой жизни, получил звание майора. Дела у него шли хорошо, но он все время просился в строевую часть — хотелось самому уничтожать гитлеровцев. Не один рапорт подал Сретенский, пока в сентябре 1942 года не добился своего: его назначили командиром полка в 74-ю стрелковую дивизию.

Наступил день отъезда... Друзья собрались, чтобы сфотографироваться на память. Вот он, этот прощальный снимок, сделанный на окраине Ефремова, где стояла тогда редакция. Слева — корреспондент газеты старший политрук Я. Д. Файншмидт, рядом с ним — заместитель начальника отдела фронтовой жизни старший политрук А. И. Байбиков. В центре — майор Сретенский. Рядом с ним — ответственный редактор газеты «На разгром врага», впоследствии погибший полковой комиссар А. М. Воловец. Крайний справа — его заместитель старший батальонный комиссар И. А. Березин. Во втором ряду — начальник отдела информации старший политрук Б. З. Новицкий и начальник отдела партийной жизни батальонный комиссар Г. И. Бурлаков.

Умелый журналист стал умелым командиром полка. Он хорошо воевал и не забывал родной газеты. Уже из полка Сретенский прислал несколько злободневных отлично написанных статей — ведь он хорошо знал, что нужно редакции!

Но недолго довелось командовать полком Сергею Николаевичу.

В феврале 1943 года осколком снаряда подполковник Сретенский был тяжело ранен и через день скончался.



Евгений Петров. Очень удачный снимок, который сделал С. Лоскутов

Май 1942 года. Евгений Петров и Константин Симонов на Карельском фронте



Герои отечественной войны
Майор Батюк

Старший политрук
Ивантер (справа) вместе
с героем одного из сво-
их очерков майором Ба-
тюком. Осень 1941 года.
Калининский фронт

— Вот яблоко дали.
еще не заслужил сегод-
ня яблока. Кушайте, пожа-
луй. Он разделил его и раз-
давал.

— Потери есть сегодня, — сказал он и покачал головой. — Ну, да мы еще не кончили бой. А день уже приходил к концу. Уже горело ярким оранжевым пламенем солнце на закате. И вот, там же, на берегу, в деревне...



Лев Иш в период работы в «Комсомольской правде»

В марте 1941 года, за три месяца до начала войны, оказавшись в Кишиневе, решили сфотографироваться на память три московских журналиста: Григорий Нилов (справа), Петр Белявский и Петр Сажин. Нилов погиб в 1942 году



Конец апреля 1942 года. Боевые газетчики Лев Иш (слева) и Майер Когут пришли на Приморский бульвар. Здесь, у Памятника затопленным кораблям, их и сфотографировал кто-то из севастопольских друзей. Оба погибли в Севастополе



Собираясь вместе, мы всегда вспоминаем о нем. Недавно его книга вышла в новом издании. Его приключенческие фильмы продолжают волновать сердца подростков. А в письменном столе остались черновики его недописанных книг, набросок сценария приключенческого фильма «Рыцари грозных ночей» — о подвигах войсковых разведчиков, их бесстрашии и преданности Родине.

Это была его мечта — создать романтический образ героя своего времени. Он старался быть им в жизни.

Над его письменным столом по-прежнему развёрнут морской флаг — символ зовущих океанских просторов, отваги и светлой надежды...

ИЗ ПИСЬМА МИХАИЛА РОЗЕНФЕЛЬДА

Архангельск, 16 февраля 1932 г.
Гостиница «Центральная»

Моя дорогая!

Полчаса назад я думал, что свалюсь с ног от усталости, истощения и волнения. Я уже распорядился, чтобы в случае разрыва сердца мой труп отвезли в Москву, на столичное кладбище.

Но вот только что передал в Москву свою «сенсацию» — материал передан, и я счастлив! Счастлив безмерно — давно не помню такого радостного состояния. И первым порывом было непреодолимое желание написать тебе.

...Чтобы описать тебе мои приключения, нужно три дня и три ночи. Но на секунду вообрази себе: несется вихрь, бушует ураган, представь этот тайфун в человеческом образе — и тогда ты увидишь меня!

15-го, в шесть часов утра, еще в ночной темноте, я приехал в Архангельск. Меня встретил Боря П., и мы через лед реки Двины поехали в гостиницу. В поезде полтора суток я не спал. Плохо ел... Приехали в гостиницу, но я не лег спать. Увидев летчиков Фариha, Козлова и Бабушкина, услышав, что они едут на аэродром, немедленно отправился туда же. Пришлось идти по реке по глубокому снегу километра два. Я без галош, но на севере простуда меня не берет, и, весело прыгая по сугробам, я добрался до аэропорта. Здесь собрал

нужный материал и с аэродрома отправился в город в край-исполком, где познакомился с председателем тройки по спасению Голубева. С этой минуты я закружился в делах,— такси здесь, конечно, нет, извозчика не достанешь, и вот я вихрем ношусь по городу. Хотел поесть, а в четыре заседание тройки. Когда сидел на заседании, я щипал себя, кусал пальцы, чтобы не уснуть. В шесть кончилось заседание, и я опять помчался собирать материал— и сел писать. Едва написал— уже вызывает Москва. Не успел сказать двух слов, как выключили. Я чуть не упал от разрыва сердца. Что делать?

В Архангельск прислан специальный корреспондент «Правды» Экслер, с ним работают еще два местных корреспондента «Правды». Их трое, я один, но, черт возьми, разве можно уступить! А тут проклятый телефон все срывает. О, дорогая моя, ты знаешь, что твой мучитель был в 14 экспедициях. Теперь он, вспоминая прошлое, приходит к выводу: ни аварии, ни катастрофы, ни смертельные опасности, лишения, голод, холод, жара и близкая смерть нисколько не повредили его здоровью. Но всю газетную жизнь его терзали телеграф, телефон и радио. Они высосали всю его молодую, горячую кровь, и сейчас, в Архангельске, объединившись, они окончательно его прикончат.

Я переделал очерк на телеграфный язык (зпт, тчк, двтч) и послал телеграфом. Пришел мрачный, разбитый, и только лег спать, как вдруг в час ночи снова вызывают к телефону— Москва. До половины второго я орал в трубку. (Можешь не сомневаться, на следующий день я не пел дон Хозе в опере «Кармен».) Спать лег радостный, что в день приезда дал большой материал.

Ночью П. уехал на ледоколе «Ленин» спасать двух человек со льдины. А утром я узнаю, что они спаслись сами. Как я узнал, как достал материал— это производственный секрет.

В редакции никогда не поймут, чего мне стоило добыть и сделать этот материал, но одна мысль, что «двое на льдине» будут в других газетах, сводила меня с ума, и я с бешеной скоростью делал материал.

А вот теперь рассказ спасенных сдан (должен получиться большой, я уверен, что больше, чем в «Правде» и «Известиях»), и я от всего сердца счастлив, счастлив! Будь свидетельницей (боюсь сглазить). Но ведь чутье! А! Вдруг срываюсь 13-го и сразу попадаю на настоящее дело! П. ушел

на «Ленине», и, если бы меня не было в Архангельске, «Комсомольская правда» не имела бы материала о спасенных. П. вернется только через три дня.

Дело с Голубевым безнадежное — еще 7—8 дней полетают летчики, и все кончится ничем. Одна надежда на лыжников...

Веду кипучий образ жизни — встаю в шесть, ложусь в час ночи и сразу засыпаю. Все время на морозном воздухе. Даже поесть некогда. Думал, что не удастся тебе написать, но вдруг почувствовал, что хочется, нужно.

Совершенная неожиданность: в гостинице встречаю Сашу Погосова. Он сегодня уехал на «Седове» на зверобой... Больше новостей нет, а то, что в Архангельске тебя помнят и любят, — это не сенсация.

Я вижу, что письмо получилось больше, чем очерк, но, как бы ни было, тебе придется прочесть.

Р. S. 17 февраля. 7 часов утра.

С утра сегодня радостный сюрприз. Встал я в шесть часов, пошел будить летчика Козлова, который сегодня улетает на остров Моржовец (я с ним сдружился — все пилоты очень хорошие ребята, и мы быстро сошлись).

Прихожу — они уже поднимаются. В номере у них радио, слушаем Москву, вдруг:

— Слушайте «Последние известия».

Слушаем, и... я слышу:

«Комсомольская правда» сегодня печатает рассказ двух спасенных с Вепринского маяка».

И пятнадцать минут по радио передавали мой материал! Я сидел и слушал, радуясь, что он напечатан, а кроме того, удивлялся, что они (радио) прочли его целиком. Раз так, значит, должно быть, интересно. Очень, очень рад!

Сейчас уже семь часов утра. Поздно. Бегу на аэродром. Хочу дать сегодня отлет Бабушкина и Козлова.

Сегодня, как и вчера, целует тебя твой Михаил».

Константин Симонов

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА



Это не статья и не воспоминания — это просто несколько страниц из дневника, касающихся человека, чудесного товарища и попутчика на фронтовых дорогах, — человека, с потерей которого я, как, наверно, и многие другие, никак не могу примириться.

Нигде так быстро не узнаёшь человека, как на фронте. И мало того, что узнаёшь близко, главное, узнаёшь, верно, таким, как он есть на самом деле. Мне пришлось пробыть бок о бок с Евгением Петровичем Петровым всю его предпоследнюю фронтовую поездку — поездку на север, из которой он вернулся. Мне хочется рассказать об этом месяце, проведенном с ним вместе, потому что хотя до этого я был знаком с ним несколько лет, но узнал его по-настоящему только здесь.

Поезд идет в Архангельск. Мы едем втроем и потому не скучаем. На одной из станций Евгений Петрович случайно встречает знакомого, также едущего на Карельский фронт. Через полчаса знакомый перетащен в наш вагон, еще через пять минут он уже сидит у нас в купе, ему весело и уютно,

и вдвоем с Петровым они, смеясь, принимаются за мелкое портняжество. Через сутки — станция, на которой сходить знакомому. Лес, маленький перрон и перспектива прождать сутки до пересадки. Мы едем дальше. Знакомому грустно расставаться с нами и не хочется вылезать на этой станции, где он не знает ни души. Мы прощаемся с ним в вагоне, но Петров выходит на платформу, стоит там с ним до самого отхода поезда, потом вскакивает на подножку и еще долго машет фуражкой. Мы едем дальше вместе, а знакомый остался один. Петрову не хочется, чтобы человеку было неуютно.

Архангельск. Мы задерживаемся на сутки в ожидании дальнейших средств передвижения. Вечером мы идем по городу. На улицах много грязи: они запущены. У пристаней свален мусор. Завтра нам, очевидно, предстоит уезжать на фронт, и, казалось бы, нам мало дела до архангельского коммунального хозяйства. Но Евгений Петрович не может говорить ни о чем другом. Он рассержен: ему очень нравится этот северный город, и поэтому его особенно раздражают неряшливость и грязь. Он говорит о том, как просто все убрать и привести пристани в приличный вид. Мы проходим целый квартал в молчании. Потом Евгений Петрович, оказывается, обдумавший, как следует привести город в порядок, добросовестно начинает развивать план этого мероприятия. И вдруг спрашивает:

— Как вы думаете, мы завтра уедем наверняка утром? Я говорю, что, может быть, вечером.

— Если вечером, — говорит Петров, — то я напишу фельетон в газету.

Он не говорит «обязательно напишу» или «непременно напишу», как обычно говорим мы, а просто — «напишу», это у него всегда значит — обязательно. Фельетон обдуман, и назначен час прихода в газету. Это не может быть выполнено только потому, что мы уезжаем на рассвете.

— Если будем возвращаться через Архангельск, — говорит Евгений Петрович, — все равно напишу.

Один участок пути мы едем в санитарном поезде, в кригерском вагоне для тяжелораненых. Сейчас вагон пуст. Петров просит проводника поднять подвесные койки и, примериваясь, ложится на одну из них.

— А им низко лежать, видимо. Голова низко.

Проводник показывает, как поднимается изголовье.

— Ну а выпасть они не могут?

Проводник прилаживает приспособление, предохраняющее от этого. Петров внимательно следит за ним и задает еще несколько вопросов, касающихся удобств, которыми обеспечены раненые в этом вагоне. Получив ответы, он присаживается к столику и, дружелюбным взглядом окинув вагон, говорит удовлетворенно:

— Хороший вагон, удобный.

И видно, что ему очень нравится этот вагон, в котором все приспособлено так благоразумно, что ни к чему не придешь.

На перепутье мы проводим несколько часов в редакции фронтовой газеты. Поэт Коваленков уже двенадцатый месяц безвыездно работает на этом отдаленном участке фронта. Петров, хотя Коваленков не говорит об этом, чувствует, что человек страдает оттого, что стихи его не доходят до Москвы, до товарищей по литературе, что некоторые из них написаны не для газеты и просто остаются лежать у него. Потребовав, чтобы Коваленков непременно тут же прочитал стихи, Петров, не откладывая в долгий ящик, договаривается об издании книжки в библиотечке «Огонька».

Мурманск. Переправившись через залив, мы едем по дороге, идущей к линии фронта. Метет мокрая весенняя метель. Из-за неисправности машины нам приходится просидеть час в крошечной землянке регулировщика. Телефонист, согнувшись над крохотным столиком, передает вперед и назад по линии сведения о количестве прошедших машин. Хитрый телефонист при помощи несложного приспособления так ловко устроился с телефонами, что при разговоре у него свободны обе руки, чтобы вести запись проезжающих машин. Регулирование движения тут, видимо, поставлено хорошо. Петров очень доволен.

— Вот и молодец,— говорит он, выходя из землянки.— Мелочь, а насколько удобнее работать. Ох как часто у нас не хватает именно вот такой пустяковой сообразительности!

С того места, где кончается автомобильная дорога, до штаба части нам приходится шесть или семь километров идти через скалы. Идти довольно трудно, особенно с непривычки. Мы с проводником налегке, в фуфайках, а Петров — в шинели. Кроме того, у него тяжеленная полевая сумка с обстоятельно упакованными предметами первой необходимости и фляга. На подъемах он задыхается — дает себя знать не особенно здоровое сердце. По праву молодости сначала я, а потом проводник уговариваем Петрова отдать нам хотя бы

сумку и фляжку. Но все уговоры напрасны. Пыхтя и отдуваясь, Петров все-таки сам «с полной выкладкой» добирается до штаба и там, освободившись от всей амуниции, еще с легкой отдышкой, но с заметным торжеством в голосе говорит:

— Вот и все в порядке: и дошел, и не отстал. И очень правильно. А то все на машинах да на машинах. А здесь и пешочком, а все-таки выходит.

В этих словах чувствуется удовольствие от того, что ни пятнадцать лет разницы, ни большое сердце, ни отсутствие такого рода тренировки не могут помешать ему ходить и лазать наравне с молодыми.

Петров был человеком точным и предельно увлеченным своими делами. И на фронте при самых разных обстоятельствах ему всегда особенно нравились люди точные, отвечающие за свои слова; наряду с этим ему нравился тот особенный азарт, который рождается у людей любовью к своей профессии, к своему роду оружия. Я помню, его привел в восторг начальник артиллерии — немолодой полковник, который вместе с нами карабкался на наблюдательный пункт, расположенный на гребне горы со странным названием Зубец. Полковник лез на свой собственный наблюдательный пункт так, словно он собирался явиться к командующему армией: шинель у него была застегнута на все пуговицы, сапоги начищены, ремни аккуратно натянуты. В левой руке он бережно нес большой канцелярского вида портфель, который ни на минуту не выпускал, даже когда приходилось карабкаться, цепляясь одной рукой за камни, хотя это было неудобно. Но зато, когда мы поднялись на вершину и полковник стал рассказывать обстановку, вынутые из портфеля карты были аккуратны, они, можно сказать, сияли свежестью, и все на них было нанесено точно и красиво, как будто на экзамене по черчению. Петров потом с удовольствием вспоминал этот портфель и, если не ошибаюсь, даже написал о нем в одной из своих корреспонденций в Америку.

Но особенно мне запомнился наш следующий приход на тот же наблюдательный пункт. На этот раз мы были здесь с моим старым знакомым — подполковником Рыкисом, человеком, влюбленным в артиллерию и известным тем, что он добился от своих артиллеристов прямо-таки снайперской стрельбы.

Подполковник корректировал огонь нескольких батарей. Время от времени он уступал нам свой восьмикратный

бинокль, в который были видны немецкие укрепления и передвижение немцев по дороге. Они были очень далеко, и в бинокль часто было трудно отличить серые пятна дзотов и дотов от серых валунов. Холодный ветер обжигал пальцы, и я, грешным делом, иногда не разобрав толком, говорил, что уже вижу укрепления, хотя и не был вполне уверен, дот я вижу или камень. Но Петров со свойственной ему добросовестностью подолгу смотрел и до тех пор упрямо говорил, что он не видит, пока и в самом деле не находил в поле бинокля того крохотного пятнышка, на которое обращал наше внимание подполковник. Вдруг посредине этого занятия одна из немецких батарей, очевидно обнаружившая наблюдательный пункт, начала вести по нас огонь.

Вершина горы, на которой мы находились, была гладка, как стол, а сам наблюдательный пункт представлял собой сверху ничем не закрытую круглую стенку, сложенную из камней до половины человеческого роста. В этих условиях, когда после первой пристрелки снаряды один за другим стали ложиться то впереди, то сзади — совсем близко от нас, дальнейшее пребывание на наблюдательном пункте представлялось не слишком приятным занятием. Подполковник дал несколько команд с целью подавить немецкую батарею, но она все еще продолжала стрелять. Тогда, повернувшись к нам, подполковник посоветовал спуститься вниз. Петров пожал плечами.

— А для чего же мы шли? — сказал он. — Мы же для этого и шли.

И в его глазах я увидел то же выражение азарта, какое было у подполковника. Я понял, что Петров почувствовал себя в эту минуту артиллеристом. Ему посчастливилось присутствовать при артиллерийской дуэли, и в таком наглядном виде, как сейчас, это, кажется, было с ним впервые. Он не мог уйти отсюда, потому что это было ему очень интересно. Подполковник, перестав обращать на нас внимание, всерьез занялся немецкой батареей. Он во что бы то ни стало решил подавить ее. Команды следовали одна за другой, потом пауза — и снова то спереди, то сзади, то слева, то справа от нас рвались немецкие снаряды.

В неприятные минуты опасности как-то всегда, желая себя правильно вести, наблюдаешь за тем, как ведут себя другие. Мне очень хорошо запомнился в эти минуты Петров. Он был совершенно увлечен дуэлью и, видимо, старался понять систему, по которой подполковник делал поправки

и корректировал стрельбу. Петров старался понять, как это все происходит, и я видел, как он, очевидно желая до конца войти в курс дела, несколько раз порывался спросить подполковника, но в последнюю секунду удерживался, не желая мешать работе.

Один снаряд упал совсем близко от нас, второй — еще ближе, впереди, и стереотруби́ст, флегматичный украинец, сказал ленивым голосом:

— Ну вот, теперь он нас, значит, в вилку взял. Тот сзади, этот впереди, теперь аккурат в нас будет.

В ответ на это малоутешительное заявление, несмотря на серьезность минуты, Петров рассмеялся и шепотом, наклонившись к моему уху, сказал:

— Как вам нравится этот наблюдатель? Как ни странно, такая форма пророчества успокаивающе действует на нервы, а?

И он снова засмеялся. Этот смех не был нервным смехом бодрящегося человека: Петрову действительно понравилось такое спокойствие украинца.

Дуэль продолжалась. Несколько раз после залпов наших батарей подполковник прислушивался и говорил:

— Ну, больше не будет.

Но немцы, к его негодованию, снова посылали очередной снаряд. В одну из таких пауз Петров опять рассмеялся.

— Чему вы смеетесь? — спросил я.

— Ничего, потом скажу.

Наконец немецкая батарея была подавлена, и мы спустились под гору, в палатку подполковника. Там, присев у железной печки на покрытые плащ-палаткой кучи хвороста, мы закурили.

— Знаете, почему я смеялся? — сказал Петров. — Только не обижайтесь, товарищ подполковник. Мне на секунду во время этих пауз вспомнилось, как мы, мальчишки, норовили ударить друг друга, ударить и крикнуть: «А я последний!» Было что-то такое в вашей артиллерийской дуэли от этих мальчишеских воспоминаний. Как по-вашему?

И подполковник, несмотря на абсолютную серьезность только что происходившего, почувствовал юмор этого сравнения и тоже рассмеялся.

Мы возвращались в отчаянную пургу, по силе небывалую в это время года — в мае. Из-за пурги два или три раза нам пришлось отсиживаться там, где мы совсем не предполагали задерживаться. И здесь я понял то свойство Петрова,

из-за которого с таким интересом читались многие его корреспонденции и из-за которого с таким интересом слушались его рассказы о виденном на фронте — слушались даже теми, кто сам много видел и сам бывал в местах, о которых говорил Петров. Любой час, проведенный на фронте, никогда не казался ему потерянным временем. Он не был прямолинеен в своих наблюдениях, его интересовало все, что он видел, все детали, все мелочи фронтовой жизни.

— Вы же не понимаете, как все это интересно, — часто говорил он. — Вы проходите иногда мимо самого любопытного. Можно сказать редакции, что я напишу то-то и то-то, но никогда нельзя сказать этого себе. Уезжая, вы никогда не можете знать, что вы увидите и о чем сможете написать. Иначе, если вы поедете с готовым подходом, с готовой меркой, с готовым кругом интересов, вы пропустите много чрезвычайно важного.

Он упорно повторял это и не на шутку сердился, когда с ним не соглашались. У него абсолютно отсутствовало то безразличие — послушают тебя люди или нет, — которое часто есть в нас. Если он что-либо считал правильным, то обязательно хотел убедить в этом своего собеседника, хотел добиться, чтобы его собеседник, убедившись сам в том, что это правильно, делал это так, как нужно делать. Его расстраивало, когда люди, даже далекие от него и, казалось бы, безразличные ему, делали что-то не так, неправильно жили и работали; расстраивало потому, что в конце концов ни один человек, с которым он сталкивался, не был для него безразличен.

На обратном пути в машине произошел шумный спор с ехавшим с нами фотокорреспондентом Олегом Кноррингом.

— Нет, вы скажите, почему вы на войне снимаете только войну и не хотите снимать жизнь? — кричал Петров. — Почему? Ведь люди же не только воюют, они и живут.

Кнорринг отвечал, что редакция неохотно печатает бытовые снимки с войны.

— А вы сами хотели бы снимать? — спросил Петров.

— Да.

— Так вы докажете, что это правильно, это ваш долг. А не напечатают в газетах, я напечатаю у себя в «Огоньке» полосу. Нет, целый разворот фотографий напечатаю о военном быте. Извольте мне их сделать. Я знаю, почему вы не хотите снимать быт, вы боитесь, что, если привезете много бытовых снимков, скажут, что вы сидели по тылам. А вам

должно быть наплевать, что о вас скажут, вы должны делать свое дело. Я вот приеду и напишу специально о быте, и пусть думают, что хотят: в тылу я сидел или не в тылу. А я напишу, раз я считаю это правильным.

На вынужденных из-за метели остановках Петров много и дотошно расспрашивал о самых разных вещах и потом, вспоминая об этих как будто внешне малоинтересных разговорах, делал из них неожиданные, острые и интересные выводы.

— Вот мы с вами полдня просидели из-за метели в штабе. Вы скучали, а я наблюдал за полковником, начальником штаба. Вы знаете, по-моему, он прекрасный человек и, наверное, хороший солдат. Было очень интересно наблюдать за ним. С утра он был один в штабе, а затем приехало высокое начальство, так. А потом оно уехало, он опять остался один. Но что интересно? Интересно то, что он весь день — и до приезда начальства, и во время его пребывания, и после его отъезда — вел себя совершенно одинаково: одинаково двигался, одинаково говорил, был одинаково спокоен. Он не волновался, ожидая, не суетился, принимая, и не вздыхал с облегчением, проводив. Это значит, что в нем есть большое чувство собственного достоинства, что он уверен в том, что правильно делает все, что делает, что ему не за что ни перед кем волноваться. Это хорошо, это не все умеют, и об этом нужно где-то написать. А вы вот сидели и скучали, ждали, когда же можно будет ехать дальше. Это неверно. Ну скажите, ведь неверно?

И он добивался того, чтобы его собеседник сказал, что действительно неверно.

На фронте мы все, за очень редкими исключениями, стали хорошими товарищами. Этому товариществу научила нас война. Но Петров был особенно чудесным товарищем и попутчиком. Он умел интересно говорить и внимательно, превосходно слушать; война занимала все его мысли, и он любил говорить о ней. Но о лично пережитом, о всяческих военных событиях и эпизодах, свидетелем которых он был, Петров говорил всегда с удивительным тактом. Он хорошо понимал, что все, с кем ему приходится разговаривать, тоже бывали в переделках, видели и кровь и опасности, и поэтому, рассказывая, никогда не останавливался на своих переживаниях, не говорил: «Я пошел» или: «В это время как ударит рядом мина», — нет, он говорил о виденном только то, что могло быть интересно всем, что казалось ему любопытным,

забавным, смешным. И когда один из наших попутчиков — человек очень храбрый и хороший, но имевший привычку злоупотреблять рассказами о том, как они лежали, как шли и как по ним стреляли, — начинал разговор на эти темы, Петров с комическим ужасом поднимал руки и со своей милой, лукавой улыбкой говорил:

— Опять боевые эпизоды!

Это было забавно, убедительно и нисколько не обидно, и рассказчик тотчас же смолкал.

Вообще же Петров был очень внимателен и чуток к людям.

Уже перед самым отъездом с севера мы были на базе подводного флота. Одна «малютка» только что вернулась из удачного, но тяжелого плавания. В непосредственной близости от нее разорвалось около трехсот глубинных бомб; в ее корпусе было несколько десятков вмятин и течей. По традиции подводников после прихода на базу они пригласили к себе командира бригады. Заодно пригласили и нас с Петровым. В тесноте, да не в обиде был устроен на скорую руку «банкет» из оставшихся после похода продуктов. Жестяные кружки с водкой и консервы передавались из рук в руки. Люди сидели буквально друг на друге, но было шумно и весело. В разгаре веселья кто-то уронил кружку, она с грохотом упала. Сидевшие за столом подводники — люди испытанной храбрости — вздрогнули. Это был рефлекс: только что двадцать четыре часа подряд они слышали грохот взрывов, они измучились до предела и едва держались на ногах от усталости.

Когда «банкет» был закончен, молодой моторист потащил Петрова в свой отсек и стал ему что-то показывать. После огромного напряжения и усталости, выпив всего сто граммов водки, моторист был уже не совсем трезв и со страшной тщательностью старался показать и дать пощупать Петрову непременно все до одной вмятины, которые были в его отсеке. Петров добросовестно ползал и лазил с ним в разные закоулки лодки, ударяясь о всякие приборы. Продолжалось это примерно полчаса. Наконец я не выдержал и постарался выручить Петрова.

— Подождите, — сказал он почти сердито. — Подождите, я еще не все посмотрел.

И он лазил с мотористом еще минут пятнадцать, пока тот не был полностью удовлетворен. Когда мы вышли на воздух, Петров сказал мне:

— Как вы не понимаете! Конечно, мне незачем было смотреть все эти вмятины. Но этому парню так хотелось показать их мне непременно все и рассказать, как они пережили эти последние кошмарные сутки. Разве я мог его торопить!?

Я понял, что по-человечески, конечно, был прав он, а не я.

Мы летели обратно в Москву белой северной ночью. Километров шестьсот самолет шел вдоль линии фронта. Евгений Петрович сначала дремал, а потом, удобно пристроившись в уголке, взял у меня томик Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никкльби» и с увлечением стал читать.

Полет окончился благополучно. А через две недели вечером в гостинице «Москва» Евгений Петрович зашел ко мне в номер, сказал, что, очевидно, завтра утром летит в Севастополь, и спросил, нет ли у меня плаща. Я достал ему плащ. Примерив его, он, улыбнувшись, сказал:

— Ну если вы гарантируете неприкосновенность мне, то я гарантирую неприкосновенность вашему плащу. В общем, или не ждите никого, или ждите нас обоих.

Это была последняя улыбка, осветившая его умное, лукавое лицо, последняя шутливая фраза, которую я от него услышал.

Уже возвращаясь из осажденного Севастополя, Евгений Петров погиб: транспортный самолет, летевший бреющим полетом (в воздухе находились вражеские истребители), врезался в землю. Это произошло около хутора Маньков-Калитинский Ростовской области в 1 час 20 минут дня 2 июля 1942 года.

Илья Эренбург

ОН МНОГО СДЕЛАЛ ДЛЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Мы понесли большую потерю: погиб большой писатель и чудесный человек Евгений Петров. Он принес в советскую литературу фантазию юга и глубоко человеческий, просветляющий душу юмор, который роднит его с традициями русских классиков. Он умел видеть: у него были не только

глаза художника, но и сердце художника. Он сразу подмечал те как бы незначительные детали, которые определяют характер человека или вещи. Он умел разбираться в сложности жизни. Он видел и нашу советскую стройку, и старый Париж, и энергию Нового Света. Нужно быть тонким наблюдателем, чтобы в стране небоскребов разглядеть одноэтажную Америку. Нужно быть настоящим художником, чтобы в шуме войны услышать лирические признания бойца-героя.

Евгений Петров был веселым человеком, влюбленным в жизнь. Его оптимизм был коренным: не программой, но природой. Ему хотелось, чтобы жизнь была лучше, чтобы людям жилось легче. Он об этом говорил страстно, весь загораясь. Он понимал, что мешают человеку косность, мешанство, чиновничий футляр. Он боролся с этими противниками человеческого. Он не был едким сатириком, он не бичевал, но в его ласковом юморе была сила, которая помогала людям крепче бороться и сильнее любить. Такому человеку жить бы да жить — создан он был для счастья. А погиб он на боевом посту, погиб потому, что любил жизнь, любил друзей, любил Родину.

С первого дня войны он знал одну страсть: победить врага! Он не отошел в сторону, не стал обдумывать и гадать. Он был всюду, где был наш народ. Его видели защитники Москвы в лихие дни ноября. Он был в освобожденном Волоколамске. Как-то зимой он поехал к Юхнову, вернулся контуженный, но, как всегда, бодрый, говорил: «Юхнов возьмем...» Недавно он побывал на далеком севере, у Мурманска. Я был с ним, когда его спросили: «Хотите в Севастополь?» Он весь засиял: «Конечно!» Это было две недели тому назад. Петров знал, что дни Севастополя сочтены, но он хотел донести до нашего народа, да и до всего мира, рассказ о беспримерном мужестве севастопольцев.

Он писал для «Правды», для «Красной звезды». Весь год войны он посылал свои очерки в Америку, они печатались в сотнях крупнейших газет. Они рассказывали американцам о доблести Красной Армии. Петров знал Америку и находил слова, которые доходили до самого сердца заатлантических читателей. Своими телеграфными очерками он подбодрял рабочих, которые изготавливали самолеты и танки, он придавал бодрости американским солдатам, которые готовились к дальнейшему плаванью и к трудному европейскому походу. Петров много сделал, чтобы открыть Америке

правду о нашей войне. Петров много сделал для нашей победы.

Евгений Петров писал романы вместе с Ильфом. Кто не знает «Двенадцати стульев», «Золотого тельца»? Теперь миллионы читателей романов Петрова и Ильфа сражаются за Родину. Они разделят горе советских писателей. С гордостью за нашу литературу они подумают: «Евгений Петров был с нами...»

Не случайно последней главой в жизни Петрова была героическая защита Севастополя. Огонь краснофлотцев как бы кидает свой отблеск на черную ночь, куда ушел от нас Петров. Свое имя он связал с Севастополем — для нас и для истории.

Мы узнали о смерти писателя в трудные дни, когда враг, чувствуя свою неминуемую гибель, страхась второго фронта, напрягает все силы, чтобы прорваться в глубь России. Читатели в гимнастерках, друзья-бойцы, вспомните веселые довоенные дни, когда вы смеялись, читая об Остапе Бендере и об автомобиле «антилопа-гну». Вспомните газетные листы с рассказами Петрова о героях нашего зимнего наступления. Ваша горечь за потерю любимого писателя придаст вам силы. За все мы оплатим немцам. И за Евгения Петрова.

Июль 1942 года

Ираклий Андроников

ЗАРУБКА НА СЕРДЦЕ



то был удивительный человек — Ивантер, бодрый, добрый, ясный. И необыкновенно талантливый, обладавший каким-то особым даром самым простым вещам сообщать увлекательность, умением интересно все повернуть и раскрыть с неожиданной стороны. После разговора с Ивантером хотелось поскорее узнать досконально обо всем, о чем он рассказывал, хотелось, в самом точном значении этого слова, учиться. Потому что и сам он был всегда увлечен стремлением узнать что-то новое, еще не бывалое. Да и увлеченность его была какая-то юношеская, свежая, нерастраченная. А новое, никогда еще не бывалое открывалось ему в нашей жизни на каждом шагу. И он замечательно умел показать эту новую жизнь в «Пионере» — журнале, который он создал и редактировал более десяти лет.

В 30-х годах «Пионер» пользовался необыкновенным успехом. Цветную его обложку нетерпеливо переворачивали и дети и взрослые. И, пробежав оглавление, принимались читать повести, рассказы и очерки — про школу, про события в Испании, про летчиков и танкистов, про большевиков

Сергей Галышев. Он был яхтсменом и очень любил море



Севастополь, 21 июня 1942 года. У землянки военных корреспондентов собрались (слева направо): М. Когут, П. Сажин — корреспонденты газеты «Красный Флот», Л. Иш — «Красная звезда» и С. Галышев — «Известия». Это последний снимок погибших друзей. В живых остался только Петр Сажин





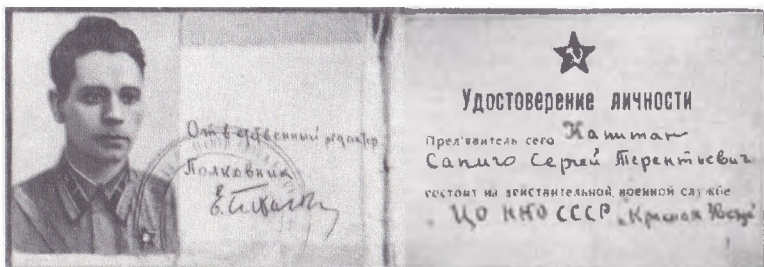
Декабрь 1941 года. Воронеж.
Поэты армейских газет Евгений Дол-
матовский (слева) и Джек Алтаузен
на совещании в полуправлении
фронта

Сергей Терентьевич Сапиго. Та-
ким он пришел в редакцию «Крас-
ной звезды»

Снимок С. Лоскутова



Удостоверение личности капитан
Сапиго хранил в фашистском плену
и в подполье...





22 февраля 1940 года. Свердловский зал Кремля. Михаил Иванович Калинин вручает Александру Полякову первый орден Красного Знамени

Снимок С. Лоскутова



Радиожурналист Александр Трофимович Фетисов. Это его последний снимок. Он сделан в мае 1942 года

Трудовая книжка
 Фамилия Воронов
 Имя Константиин
 Отчество Иванович
 Год рождения 1923
 Образование: начальное, среднее, в
 (подчеркнуть)
 Профессия наборщик

Подпись владельца Трудовой книжки
М.В. Воронов

Дата заполнения Трудовой книжки
25 января 1946



Не много документов о Косте Воронове удалось разыскать. Вот его трудовая книжка и дивизионная газета, где он работал... А фотографию нашли только групповую и очень ветхую. Художник В. Бретковский сделал с нее этот рисунок

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!



СОВЕТСКАЯ ГВАРДИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

№ 45

Суббота, 4 сентября 1942 года

ПУЛЕЙ, ГРАНАТОЙ. СНАРЯДОМ—КРОШИ НЕМЦА ГАДА!

Гвардеец! Действуй стремительно, дерзко, внезапными ударами ошеломляй врага!

Сквозь огонь

Бой разгорался. Фронт из огня...

ДЕЙСТВУЙ ПО УСТАВУ

Каждый боец должен стремиться и в ближней рукопашной, всегда по...

**Залп по
огневой точке**

Отступили враг повержен...

на Северном полюсе, про легендарные походы гражданской войны, про подвиги мифического Геракла, про путешествия вокруг света, про «университет неотложных дел», вплоть до задач, кроссвордов, фокусов и загадок. Было в этом журнале что-то заразительно интересное, масса выдумки, изобретательности, простых и умных решений, острое чувство времени, понимание величия совершающихся вокруг тебя дел.

Ивантер работал в «Пионере» с азартом.

В 1936 году я знал еще понаслышке только, что есть такой Бенъямин Абрамович Ивантер. И представлял его себе если не маститым, то уж, во всяком случае, солидным.

Вдруг в большую редакторскую комнату Детгиза с шумом и звонким заливистым смехом вошел человек лет тридцати трех, крепкий, сероглазый, белозубый, очень славный, очень открытый и... совершенно седой. На смех его сбежались детгизовцы из соседних редакций. Энергия, казалось, расpirала его, переполняла комнату.

Нас познакомили. Через пять минут Ивантер, вызнав, что в моем портфеле имеются репродукции пушкинских портретов, пушкинских рукописей, прижизненных изданий, памятных мест и принадлежавших Пушкину вещей, отобрал несколько фотографий и объяснил, как их надо будет подать в детском журнале. Я был удивлен. Музейные экспонаты ожили. Сто лет спустя их снова коснулась рука поэта. И этот поэт журнального дела заставил нас ощутить на секунду живое присутствие Пушкина. До тех пор мне казалось, что так преобразовать материал, ничего в нем не изменяя, может только С. Я. Маршак.

Ивантер очаровал меня.

После этого я часто стал бывать в «Пионере».

Друзья Ивантера (а их было много, и любили они его увлеченно!), друзья называли его в просторечии Боб. По неисповедимой страсти к переделкам имен я стал называть его Беном.

Летом тридцать седьмого года я поселил семью в Грузии, возле Сурами — в деревушке Квишхеты. Ивантер, его жена и двенадцатилетняя дочка решили ехать со мной. Дорогой Ивантер с пристрастием расспрашивал меня, что я делаю. Я в то время занимался Лермонтовым, написал свою первую статью и был уверен, что занятия мои не могут иметь к «Пионеру» ни малейшего отношения. Я рассказал, как мне пришлось возиться и мучиться, чтобы расшифровать инициалы московской красавицы Н. Ф. Ивановой, которую

Лермонтов скрыл в посвящениях своих стихов под буквами Н. Ф. И., как удалось мне отыскать в Москве внучку Ивановой, а у внучки — портрет Н. Ф. И., а потом напасть на след старинного семейного альбома, в котором оказались еще неизвестные лермонтовские стихи, посвященные той же самой Ивановой.

— Все эти подробности в научную статью, разумеется, не вошли,— с гордостью заявил я Ивантеру.— В ней сообщаются одни результаты поисков.

— Ты сошел с ума! — вскричал Ивантер.— Ты академическим стилем задурил себе голову! Из этого может получиться детективная повесть! Если ты не можешь ее написать, мы пригласим в редакцию стенографистку и посадим перед тобою ребят. А потом ты обработаешь запись, и мы дадим это в февральский номер.

Так он и сделал — заставил меня рассказать эту историю школьникам, а потом выковыривал из текста рассказа наукообразные рассуждения и обороты.

Так появился в печати мой первый рассказ, написанный (в отличие от устных рассказов, коих было у меня множество). Это печатное сочинение Ивантер посоветовал мне назвать «Загадкой Н. Ф. И.».

Когда в августе сорок первого года я увидел его в Московском клубе писателей в военной форме, необыкновенно серьезного, — война словно сделала новую зарубку на моем сердце. Судьба разлучила нас.

Он уехал на Северо-Западный фронт.

Незадолго до этого вышла в свет книжка его рассказов «Моя знакомая». Один рассказ мне особенно понравился в ней — «Мальчишка». Но она прошла почти незамеченной — не ко времени вышла. Между тем в ней чувствуется та же героическая романтика, которая бушует в рассказах друга Ивантера Аркадия Гайдара: оба они того славного комсомольского поколения, которое мужало в годы гражданской войны, и стремление к подвигу, чувство локтя, потребность поделиться всем — и духовным и материальным — были у Бена в крови.

Мы встретились в феврале сорок второго года на Калининском фронте, в редакции газеты 4-й ударной армии «Врага — на штык!». Ивантер выскочил из типографии на мороз в одной гимнастерке, был оживлен, звонко хохотал, говорил громко и бодро. Приятно было глядеть на его славное смуглое лицо, на седую курчавую голову, на всю его

складную, сильную фигуру, по-прежнему ощущать его шумную, неугомонную юность. Он состоял в газете писателем. В то время была такая должность.

В тот же вечер он показал мне вырезки — целый ворох веселых стихов, фельетонов, заметок и очерков.

Очерки меня удивили. В них не было и следа торопливой небрежности. Для малоформатной армейской газеты Ивантер умудрялся писать тонкие, поэтические, очень серьезные портреты бойцов и командиров, раскрывать внутренний мир этих людей. И люди все были разные — душевно богатые, спокойные, умные, делавшие на войне свое дело скромно и мужественно. Не было в этих очерках и тени газетной сенсации, на лету схваченных биографических сведений, которые долженствовали в очерках иных литераторов — и профессиональных и даровитых — объяснить природу советской стойкости и советского героизма.

И тут снова я увидел его озабоченным. Ему казалось, что он недостаточно хорошо пишет, недостаточно много сделал, что армия ждет от него куда большего. Он очень ценил похвальные отзывы тех, кто знал персонажей его рассказов и очерков, в этих отзывах находил поддержку. Долг журналиста на фронте Ивантер выполнял вдохновенно.

А потом, когда я с одним из работников нашей газеты возвращался обратно из партизанских отрядов смоленского Бати и снова заехал в редакцию армейской газеты к Ивантеру, я его не застал. Его вызвали в Политуправление фронта. Задумали издать сборник, посвященный бойцам, отличившимся на Калининском фронте. И тут вспомнили об Ивантере, о его умении организовывать увлекательный материал: на фронте воевали тысячи бывших читателей «Пионера», которые любили журнал и знали имя Ивантера.

Вот тогда-то, на фронте, мы и навидались с ним, не расставаясь целыми сутками. То он приезжал к нам в редакцию фронтовой газеты «Вперед на врага», стоявшую на хуторе Красная Поляна возле Кувшинова. То я отправлялся к нему в Политуправление фронта на хутор Север. Война обострила чувство любви ко всему, что было в мирной жизни хорошего, определила масштабы для оценки дурного, ничтожного, мелкого, преходящего. Ивантера я полюбил всей душой. Впрочем, его любили решительно все, кто ни встречал его. Открытость его подкупала, располагала людей, с Ивантером становились другими самые сухие, самые замкнутые.

Расстались в апреле. Задумали вместе летом пробраться в партизанский край к Бате. Решено было, что в июне я возьму командировку к нему, в 4-ю ударную армию, и к Бате — и поедem. Пришло от него несколько добрых открыток: он хвалил меня за какие-то очерки, хотел подбодрить — опыта у меня было мало, и в военной газете работать мне было трудно в ту пору.

А меня послали в июне, да не в ту армию. Отправили в 31-ю, стоявшую в то время за Старицей. Я написал открытку Ивантеру, сожалея, что не поеду с ним вместе и не побываю снова у Бати.

Вернулся из дивизии в редакцию армейской газеты.

— Ты слышал?

— О чем?

— Ивантер убит!

Сколько ни проживу, не смогу забыть этого часа!

В номере той армейской газеты, в которой Ивантер работал, рядом с портретом и некрологом был напечатан его последний рассказ — «Седой». И снова я поразился, какие непроторенные сюжетные ходы умел выбирать Ивантер, рассказывая воинам о войне.

...5 июля наши части атаковали немецкие укрепления под Велижем. В разгар боя вступили в действие наши танки. Ивантер отправился к ним в самую гущу сражения вместе с командиром-танкистом. Вокруг разрывались снаряды, шмякались мины, а Ивантер шел, рассказывая спутнику своему о «Войне и мире»... Осколок снаряда попал ему в голову. Он не успел этого даже почувствовать...

В конце сорок пятого года в «Знамени» были напечатаны письма Ивантера с фронта, адресованные жене и дочери. Мог ли он думать, что не вымышленный герой его ненаписанной книги об Отечественной войне, а подлинный герой Отечественной войны — сам он, Ивантер, будет жить для нас в страницах его личных писем, как герой, как воплощение лучших черт советского человека.

Эти письма прекрасны. В них раскрывается большой человек, кристальный коммунист, умный художник.

Время идет. Мы стареем. А Ивантер остался молодым в своих книгах и письмах, остался молодым в нашей памяти. Впрочем, он не мог постареть! Такой был характер! И, наверное, был бы сейчас таким же, каким мы знали его всегда и каким навсегда запомним!

Забыть его невозможно!

РАЗГОВОР С ОТЦОМ

Ее зовут Лена. Нет, не Елена — отец хотел, чтоб в ее имени была частица слова «Ленин»...

Инженер-электрик Лена Беняминовна Ивантер достает из книжного шкафа несколько пачек, перевязанных тесемочками.

— Вот письма моего отца, — говорит она. — Он писал их с Калининского фронта нам в эвакуацию. Мы жили тогда в Лаишеве, на Каме. Посмотрите и выберите те, которые подходят для сборника. Они интересны не только мне. Когда я перечитываю их, мне кажется, что снова разговариваю с отцом...

Вот некоторые выдержки из этих писем.

«28 сентября 1941 г.

...Ты знаешь, чем меня огорошил шеф¹, когда я только приехал: «А, писатель! Хорошо, а можете ли вы, если я вам дам факт в четыре строчки, сделать из него очерк? Вот что нам нужно».

— Могу, сказал я. — Я все могу, но делать этого не буду».

«30 сентября.

Ах, как тут здорово работает наша артиллерия, особенно один вид огня, которого немцы страшно боятся! Так что вы не поддавайтесь особенно грусти по поводу Киева. Кажется, все-таки мы их скоро остановим...».

«7 октября.

Я иду раз из дивизии с парнишкой одним, Гришей Долиным. А сзади нас пушки стреляют по немцам, и я поразился: снаряд пролетает над головой и шелестит, знаешь, как серебряная бумага от шоколада, если ее разгладить и потрясти. Я вернулся и написал в очерке. Меня на смех подняли —

¹ Редактор армейской газеты «Врага — на штык!» Н. С. Кассин.

снаряд должен видишь ли, выть и скрежетать. Я призвал в свидетели Гришу, приводил слова артиллеристов, которые подтверждали, что так именно шумит и шелестит снаряд от гаубицы. Ничего не помогло. Потом читаю в «Правде»: Ставский написал. Тогда замолчали. Вот — будь наблюдателен...»

«17 ноября.

...Шамет¹ в зенитной артиллерии.

Если бы ты знала, сколько тут, на фронте, замечательных людей! И куда только деваются их житейские, бытовые недостатки? Чистые, смелые, ясные и, увы, порой беспечные люди...»

«21 ноября.

Я стараюсь работать как можно лучше, иногда не получается, несмотря на все усилия. Есть прекрасный человек, красноармеец-связист Кабанов, и я понял его, а написать не удалось, как этого ни заслуживает. Иногда, впрочем, удается.

Очень смешно, что я, такой военный среди штатских, здесь считаю не очень военным человеком. Так считают некоторые люди, которые за все время войны не выезжали из редакции. В дивизии — иначе».

«27 ноября.

Эти идиоты (я про Гитлера) действительно берлинские дурачки, думают, что если они заберут Москву, то конец Советской власти. И даже треплются, что если они заберут Москву, то конец войне. Но, во-первых, я думаю (именно теперь), что Москвы им не взять. Помнишь, Ленин писал, что в случае необходимости мы столицу в Кузнецк перенесем, лишь бы существовала Советская власть. Но ведь это было в 1918 году, когда мы стояли еще на ножках младенца. А сейчас армия крепка и с каждым днем становится крепче. А внутри все монолитно. Этого Гитлер не понимает — ведь он хоть и взбесившийся, а все же в самом лучшем случае

¹ Николай Шамет, сотрудник редакции журнала «Пионер».

ограниченный немецкий бурш. Выше этого интеллектуального и морального уровня ему не подняться, какая бы техника у него ни была».

«7 декабря.

...Последняя моя поездка была очень интересна. Я видел механику большого боя с великолепной работой артиллерии. О ней, кстати, я написал. Вообще в редакции мне стало несколько лучше после крупного разговора с шефом. Он от меня отступился, почти перестал править, и я его редко вижу. А отношения с товарищами у меня очень хорошие.

В дивизии обо мне слава большая, чем я заслуживаю. Она доходит и до редакции, и до высокого начальства, хотя я ничего особенного не делаю, работаю только добросовестно и дотошно, то есть изучаю то, о чем пишу, вплотную и езжу в одно и то же место. В одном полку у меня около 100 личных знакомых, в другом — человек 60, их я наблюдаю на протяжении вот уже трех месяцев».

«7 декабря.

Милая моя доченька!..

Так ты уже взрослая и совершеннолетняя, моя умная дурочка Люшенька. И деньги зарабатываешь — 200 рублей, и расписываешься «Л. Ивантер». А по сути дела, ты поступила в школу, в первую школу серьезной жизни.

Тут бы надо по-настоящему написать какие-нибудь мудрые наставления убеленного сединами отца, но так как он сам сейчас проходит школу жизни, правда не первую, то воздержимся от наставлений. Живи, моя родненькая, хорошо, работай по-настоящему. А работать по-настоящему — значит работать так, чтобы было трудно. Трудно и труд — это ведь слова одного корня. Целую тебя крепко, очень крепко и поздравляю. А подарок после, я думаю, ты подождешь...»

«15 декабря.

...И вот я был в одном полку, куда должен был приехать инструктор политотдела, чтобы поговорить в рупор с немцами. А я знаю этого инструктора и по-немецки говорю

лучше, чем он. Он что-то не приехал, и я предложил комиссару, что сам поговорю и без рупора — там между нашими и немецкими окопами метров 120. Ночь была тихая, и я загнул речь: «Achtung, deutsche Soldaten!»¹ Я им и про Ростов, и про то, как они далеко от дома, и что здесь они могут рассчитывать только на два метра земли для могилы, и чтобы переходили к нам. В общем, старался, как мог. Я знал, какая там рота, и обращался прямо так: солдаты такой-то роты...

Тишина стояла мертвая. Голос был слышен далеко. Немцы не стреляли. Только уж потом, минут через 20 после того, как я кончил, положили там штук шесть снарядов, но никого не тронуло. Таковы были аплодисменты».

«15 январь 1942 г.

В прошлом письме я ничего не мог тебе написать, потому что наступление готовилось. Теперь оно началось и на нашем участке... Мы три с лишним месяца были в обороне. Это значит — сидели в окопах и дзотах, время от времени тормоза и изматывая немцев неожиданными атаками... Теперь дело другое. Наступление пошло. Ах, какое это счастье войти в первую деревню, из которой выбиты немцы! Они белье оставили недосушенное на заборе. Но наступление — это вещь трудная. Это тяжелые марши, это непрерывный скрип полозьев обоза, это ночное движение. Одна наша часть, где я был утром, брала сильно укрепленную деревню, следующую за уже взятой. Я ушел в штаб дивизии написать и отослать корреспонденцию. А полк, пока я писал, ушел, не беря эту деревню в лоб, а обходом, на другое направление, и сразу километров на двадцать. Это клещи, и уже наши клещи. И хотя было досадно, что я не могу догнать полк, который ушел так неожиданно (я перся за ним километров 25, а он опять ушел дальше), я все же был доволен, потому что увидел ту тактику, которая немца добьет...

Я прервал письмо, потому что у нас с Иорданским был гость, секретарь редакции Титов, которого мы угощали четвертинкой водки и экзотикой — шумящим самоваром».

¹ «Внимание, немецкие солдаты!»

«16 января.

...Теперь нам вообще работать и радостней, и трудней. Радостней потому, что у нас каждый день новые деревни, отбитые у немцев. Труднее потому, что наступление — это сложная вещь по сравнению с тихой и стабильной обороной. Раньше мы уезжали дней на семь, на десять, потом долго сидели в редакции. Теперь события бегут быстро. Нам дают два дня на выезд и два дня на работу в редакции. И ездить приходится порой километров за 50—100. Ведь фронт-то уходит вперед. И связь трудней.

...Тут у нас гонят СС-овскую бригаду. Это самая отчаянная сволочь из всех немецких войск. Так сказать, «проверенная» с фашистской точки зрения. Я сегодня говорил с одним пленным СС-овцем, он утверждает, что сдался, не стреляя».

«31 января.

Что же тебе, дочурка моя, рассказать? Последние две-три недели были очень напряженными... Наступление — это совсем иной род жизни не только для бойцов и командиров, но и для нас, корреспондентов. Это далекие поездки по военным дорогам, это и ночи без сна, и торопливое где-нибудь в штабе писание срочной корреспонденции, а потом вдруг, как сейчас, несколько дней, когда приезжаешь обратно в редакцию, — спокойная жизнь за самоваром...

Мне мама подробно пишет о многом и о том, как ты живешь, моя трудовая пчелка. Немножко не ладится с учебой? Что же поделаешь, война. Это ты все успеешь наверстать. Важно только делать хорошо ту работу, которую ты сейчас делаешь. И помни, больше инициативы, больше смелости, она ведь не только на войне нужна, а вообще в жизни. Смелее браться, смелее делать. Ты знаешь, здесь у нас есть такие бойцы, которые ротой командуют. Вот я сегодня про одного такого написал. Так что дуй, девочка, чтобы командовать ротой.

Сейчас ночь. На дворе молочный свет от луны, которая туманно светится из-за облаков. Дует ветер и метет. Снега тут глубокие, сыпучие, и наши идут в наступление по снежной целине, иногда по грудь в снегу. Это герои, Люшенька, каждый из этих бойцов и командиров. Это нечеловечески трудная вещь».

«6 февраля.

Мне нужно писать очерк про одного генерала, дивизия которого, очевидно, получит звание гвардейской. Молодой генерал, тридцати пяти лет. Я с ним провел сутки под Торопцом, про него же мне поручили писать для «Красной звезды», и я очень рад буду, если там про него появится. «Красную звезду» ведь читает вся армия. Там преимущественно пишет Эренбург. Эта газета сейчас лучшая в стране, она читается, как роман.

Кстати, о романах. Мне попались здесь «Севастопольские рассказы» Толстого. Возьми их, Вирунечка¹, и перечитай. Многое очень похоже, а ведь 80 лет прошло с тех пор, если не больше. И переживания похожи, и раненые, и герои, и люди военных будней».

«25 февраля.

Я рискую очень мало по сравнению с людьми, которые каждый час отдают свои жизни. Правда, долг мой иной, и работа начнется за письменным столом после войны. Объективно я это великолепно знаю. Но я тебе говорю: я слишком много вижу героев и еще раз убеждаюсь, что человек нашего времени и нашей страны — это чудо, которому я не перестаю удивляться. Хотя и нельзя было предполагать иное раньше, но тут это виднее...

У нас понемногу заметна весна. Пока это еще прищвинская весна света. Днем тепло, ночами очень холодно. Метели. Но по-зимнему немцев можно будет бить месяца полтора. А потом, думаю, начнем их бить по-весеннему».

«4 апреля.

Вчера у меня было два часа, в течение которых я пытался подытожить все впечатления войны. Их очень много, они очень яркие и, думаю, не похожи на впечатления других людей. И уж можно бы писать. Людей много, масса героев и тема, может быть, даже — рост человеческого мужества...

Сегодня у меня ночевал Ираклий Андроников. Вернее, он и сейчас ночует, хотя уже одиннадцать часов утра. Дрыхнет за перегородкой. Здесь ему трудно, он не умеет быть журна-

¹ Виргиния Густавовна, жена Б. А. Ивантера.

листом, как я и предполагал раньше. И может быть, он здесь кое-что и получит и станет из камерного народным. Потому что это будет первая его встреча с народом. До сих пор он ведь сталкивался только с очень узким кругом людей искусства».

«4 мая.

На днях был у Ираклия. Он организовал из нас вокальный ансамбль. Я — первый голос, Гарин — второй голос, Ираклий — третий. Иногда бывает редактор фронтовой газеты, обладающий слухом, но и страшным хриплым басом, лишенным какой бы то ни было мелодичности. Ираклий, конечно, дирижирует...

Я очень собой недоволен. Главным образом своей бездарностью и бездельем. И, понимаешь, никак не сварганю сюжет для маленького рассказика. Как будто ключ пропал от шкатулки, где сюжеты лежат. Некоторые вещи я, правда, сознательно откладываю для романа. Неохота разменивать сейчас и нужно в свежести сохранить. Надо работать, работать, работать, а вот голова, как бревно, тупая. Ужасно обидно... Просто дни даром уходят».

«30 мая.

Я тебе уже писал в сумбуре и спешке из Москвы, что она перевернула многие мои представления и, в частности, я увидел, что мне совершенно нет надобности заботиться о том, чтобы печататься в центральной печати. Настоящая литературная работа для меня начнется только после войны, а теперь только видеть, видеть, видеть, побольше видеть, а где работать — все равно.

Москва, конечно, чудесна. Она зеленая, и стволы деревьев на Гоголевском бульваре черны, как они бывают только раз в году, весной. Помнишь, мы всегда замечали это».

«13 июня.

У нас в редакции так тихо, как, пожалуй, у вас в Лаишеве. Изредка пролетит Ю-88, но мы в стороне от дороги, а он сейчас даже и дороги бомбит лениво, не то, что зимой. Очень зелено здесь кругом, речка маленькая вьется. Один раз я купался».

«22 июня.

Сегодня вот уже год войны, быстро очень пролетел этот год, и вместе с тем далеко уже 22 июня 1941 года, просто в другом каком-то мирном мире...»

«3 июля.

Знаешь, я сегодня подвел итоги месяца работы в редакции. Вроде по количеству даже ничего. Вопрос, конечно, о качестве. Вот посылаю тебе сегодня еще один рассказик. У нас он будет сокращен почти вдвое, конечно, за счет пейзажа, хотя, по-моему, в пейзаже все его настроение. Я очень рад, что какие бы ни были, а пошли рассказы. У меня сейчас как будто источник раскрылся: на что ни посмотрю, о том могу писать. Раньше этого не было...

Я очень рад, что нашел возможность сейчас для настоящей работы, литературной, с напряжением. Конечно, в этих маленьких рассказах может быть много брака, да и чертовски трудно втискивать их в чудовищно крохотный объем. Ей-богу, я не знаю, кто из писателей писал так коротко. Но я все-таки рад...

За меня, пожалуйста, не беспокойся. Я вполне в форме, и внешне и внутренне. Работа стала напряженной, а это, конечно, почти все...»

* *
*

Это было последнее письмо Ивантера семье. 5 июля 1942 года батальонный комиссар Ивантер пал в бою.

Николай Потапов

«ГОВОРIT РУССКИЙ ФРОНТ!»



Ранным августовским утром сорок первого года двое наших бойцов-разведчиков захватили в плен фашистского офицера. На допросе он держался нагло и самоуверенно.

— Я не обязан отвечать на ваши вопросы,— заявил он советскому капитану.— В конце концов я — король... Да, датский король. Прошу это учесть...

Капитан невольно усмехнулся:

— И давно вы занимаете этот высокий пост?

— Фюрер соблаговолил назначить меня на это почетное место два месяца назад. Здесь я — инкогнито... прохожу боевую практику в 6-й армии.

После допроса пригласили опытного врача-психиатра, который установил, что уроженец Лейпцига Фриц Рабо принадлежит к числу умалишенных.

Этот эпизод, оказывается, был не единичным. Гитлер, пополняя свою уже потрепанную армию, не пренебрегал и сумасшедшими, главным образом тихопомешанными. Этот факт подтвердился при допросах военнопленных и на других участках Западного фронта...»

Над торопливыми строчками, занесенными в дневник, пометка синим карандашом: «К теме вернуться».

«...Группа наших разведчиков, проникнув в тыл врага, «сняла» часовых и захватила полковое знамя. Гитлеровцы, растерявшиеся от неожиданного и смелого налета, решили, что против них действуют крупные силы. Установив батареи и расставив через каждые 50 метров часовых, они бросили два батальона в сторону леса. Советских разведчиков давно и след простыл.

Но в лесу немцев ожидал новый «сюрприз» — они попали в засаду, устроенную партизанами. Половина батальона была уничтожена. Остальные в панике разбежались куда глаза глядят.

Так, не сговариваясь, красноармейцы и партизаны провели «согласованную» операцию».

Я прочел эти записи в маленьких фронтовых дневниках-блокнотах Александра Трофимовича Фетисова, военного корреспондента радио, бывшего дальневосточника, человека на редкость смелого, горячего и энергичного.

Александр приехал в Москву с Дальнего Востока примерно за год до войны. Я знал его еще по Владивостоку и Хабаровску — городам, в которых он работал как очеркист, неутомимый корреспондент, вечно спешивший в очередную командировку. Это был газетчик в самом прямом и самом лучшем смысле этого слова. Его всегда одолевала жажда видеть новое, неизведанное, видеть и быстрее поведать обо всем читателям.

Впервые я встретил Фетисова во Владивостоке, в редакции газеты «Красное знамя». Шел год 1933-й... На границах Дальневосточного края было неспокойно. Японские самураи устраивали одну провокацию за другой, действуя то с территории Маньчжурии, то с корейской границы. ОКДВА — Особая Краснознаменная Дальневосточная армия, которой командовал в ту пору Блюхер, была всегда на чеку, в состоянии боевой готовности. И жители края, и воины, отлично понимая сложность обстановки, непрерывно совершенствовались одни — трудовое, другие — военное мастерство. Дальний Восток, богатый углем и нефтью, лесом и железом, рыбой и пушным зверем, строился, обзаводился новыми предприятиями, с каждым месяцем и годом все более обживался.

Саша Фетисов зашел к нам в редакцию после поездки по Приморью. В темно-кумачовой рубаше, в начищенных

сапогах он напоминал заводского парня, одного из персонажей горьковского романа «Мать». Уже с первого знакомства Саша показался мне человеком ершистым, энергичным и любознательным. Он возвращался в Хабаровск после большой командировки: побывал у шахтеров в Артеме, на рыбных промыслах, успел заглянуть в семью знаменитых тигроловов Богачевых. Обо всем, что видел и слышал, Фетисов рассказывал с увлечением и вместе с тем с некоторой сдержанностью. Ведь он был корреспондентом краевой газеты «Тихоокеанская звезда» и не хотел выдавать творческие «секреты» журналистам Приморья. Полушутя, полусерьезно он заметил:

— Я считал своим долгом кое-что вам рассказать, а вообще-то мы в некотором роде соперники. Мне не положено раскрывать тематические тайны.

Право на «свою тему» есть у каждого журналиста. Нам же, газетчикам области, были интересны впечатления свежего человека, к тому же острого и наблюдательного.

Через семь-восемь месяцев, оказавшись в коллективе «Тихоокеанской звезды», я ближе познакомился с Александром Фетисовым и утвердился во мнении, что человек он творческий, талантливый, вечно любопытствующий и необычайно подвижный. Уже в то время — в тридцатые годы — он увлекался военной тематикой: ездил на погранзаставы, в отдаленные гарнизоны, быстро находя общий язык с бойцами и командирами. Этому, очевидно, способствовало и то, что сам он уже отслужил в армии, где показал себя отличным артиллеристом.

Оказавшись в Москве, в одном строю с работниками радио, Александр на первых порах испытывал некоторую неудовлетворенность: ему приходилось больше редактировать, нежели писать — у него же вынашивались не только журналистские, но и литературные замыслы. Думается, что он был первым, кто ввел в литературу образы советских китобоев, людей мужественных и суровых, посвятив им свою первую книгу очерков. Из-под его пера вышли сочные зарисовки и корреспонденции, рассказавшие читателю о дальневосточных пограничниках, в том числе об известном в те годы бойце Никите Карацупе. Весной 1963 года Карацупа был гостем «Комсомольской правды» и в канун юбилея погранохраны делился своими воспоминаниями о боевых буднях часовых наших границ.

* * *

В тот тревожный день, когда разразилась война, Александр Фетисов, не колеблясь, принял решение: я должен быть там, в действующей армии. Спустя несколько дней военный корреспондент капитан Фетисов уезжал на Юго-Западный фронт.

Помнится, перед отъездом мы долго беседовали, строя, как водится, всякие предположения и догадки, делая прогнозы. Трудное начало войны, первые боевые неудачи не вызвали у него ни малейшей паники или растерянности. Он стал только более озабоченным, более подтянутым, но природный оптимизм не покидал его.

— Как человек немножечко военный,— заметил Александр,— я понимаю всю трудность, может быть, даже отчаянность нашего положения... Но, не прибегая к громким фразам, скажу: в конечном счете наша возьмет! Страница-то вон какая!

В коллективе «Последних известий», перешедшем на казарменное положение, с тревогой и нетерпением ждали первые телеграммы и корреспонденции с фронтов. Советские воины сражались мужественно и самозабвенно, но враг наступал. Александр Фетисов, передав по телефону несколько «горячих» заметок о подвигах красноармейцев, отражающих натиск гитлеровских орд, вскоре прислал свою творческую заявку на ближайшие недели. Я нашел спустя двадцать лет этот боевой журналистский план, в каждой строке которого ощущается биение сердца и мысли журналиста. Он стремился передать радиослушателям и читателям дыхание гигантской битвы, отобразить величие духа советских людей — героических бойцов за честь и независимость Родины. Вот эти строки-темы, злободневные и оперативные:

1. Полет на пикирующем бомбардировщике.
2. Полк идет в наступление.
3. Партизанский лагерь в лесу.
4. На наблюдательном пункте артбатареи.
5. Наши танки — в атаке.
6. Деревня, освобожденная от фашистов.
7. Женщины на фронте.
8. На допросе пленных...

Жизнь, разумеется, внесла поправки в этот план, ибо каждый день приносил новые события и факты, обогащая блокнот новыми, наскоро сделанными записями.

«...27 июня... Первая неделя войны. Летчику-истребителю Федору Лященко вручили секретный пакет, чтобы он лично доставил его командиру корпуса. Корпус был на марше. На бреющем полете пилот долго высматривал и наконец опознал своих. Сесть было негде — ни одной подходящей площадки. Пакет был сверхважный, и летчик пошел на смелый шаг: убрав шасси, он посадил машину на кустарник, перемежавшийся молодыми деревьями. «Приземление» оказалось удачным. Пакет был незамедлительно вручен.

Дальнейшие события развернулись, однако, более драматично. Одна из частей корпуса, перешедшая в наступление и занявшая крупный населенный пункт, попала в окружение. Было решено разбиться на две группы и замаскироваться в лесу. Командиры советовались, как действовать дальше. Продукты — на исходе, воды — нет, если не считать соседнего болота. Всю ночь шли через болота, по пояс в воде и грязи. К рассвету вышли к речке, которую «с ходу» переплыли, не снимая одежды, и укрылись в соседнем лесу. Вскоре зажгли костры, высушили одежду, немного отдохнули. Заняли оборону. На шоссе, проходившем рядом с опушкой леса, показались две вражеские автомашины со снарядами и продуктами. Бойцы устроили засаду: немецких офицеров и солдат перебили, захватили две противотанковые пушки, боеприпасы и продовольствие.

Продуктов хватило всего на два дня. Следующие три дня были мучительно-тяжелыми: люди остались без хлеба, без соли, без воды. Питались черникой, земляникой, всякими кореньями. На четвертый день вышли на шоссе и, обнаружив новые вражеские автомашины, пошли в атаку. Снова появился провиант и новые запасы оружия и боеприпасов. За 25 дней похода наши воины уничтожили 30 фашистских автомашин, около батальона гитлеровцев и на 26-й день вышли к своим, оказавшись в укрепрайоне.

Это были первые недели войны, первые испытания, которые многому научили и бойцов, и командиров».

Александр Фетисов, будучи человеком скромным, умолчал тогда о себе. Мы с ним встретились снова осенью 1941 года в Подмосковье, когда он был переброшен на Западный фронт. В тот день мы беседовали до поздней ночи, но о нем, о его героическом поступке я узнал позже от других товарищей. А дело было так...

В июле 1941 года Александр Фетисов находился в одном из батальонов, который внезапно был атакован противником.

Весь наличный состав батальона был в рядах сражающихся. Первая атака гитлеровцев захлебнулась, но они не успокоились и с еще большим остервенением вновь ринулись к нашим позициям. Падали бойцы, падали командиры, сраженные в неравном бою вражескими пулями. Положение становилось критическим. Спрятав в карман блокнот, Фетисов бросился в санчасть, к походной кухне, собрал бойцов и увлек их за собой в окопы передней линии обороны. В этот день отражали атаку врага и повара, и легкораненые, и врачи, и санитары... Батальон удержал свои позиции.

Товарищ Александра по фронту Павел Мануйлов, рассказывая об этом эпизоде, не мог привести всех деталей. Но было ясно одно: военный корреспондент радио, защищая родную землю, вел себя в бою как настоящий воин.

* *

*

В те дни, когда фашистские полчища неистово рвались к Москве и столица находилась на осадном положении, была сформирована радиоредакция «Говорит Западный фронт». Александр Фетисов одним из первых вошел в новый коллектив. На подступах к Москве шли ожесточенные бои, в которых отличались и пехотинцы, и танкисты, и летчики, и артиллеристы. Капитан Фетисов, «старый» артиллерист, добился разрешения отправиться на один из самых боевых участков фронта. Фронт был рядом, «под рукой», и Александр два-три раза в неделю заезжал в редакцию, обязательно прихватив с собой готовую корреспонденцию и кучу заметок рядовых бойцов — участников подмосковной битвы. Я перелистываю записи 1941—1942 годов, сделанные им наскоро карандашом или самопиской, и читаю имена людей — участников этой исторической эпопеи.

...Младший лейтенант Михаил Лабузов, бывший тренер наших бегунов, стал автоматчиком. Про него бойцы шутя говорили:

— Ну, от него-то ни один фашист не убежит.

Лейтенант Балабанов, прозванный в батальоне «лихим парнем»... Под огнем противника он бесстрашно восстанавливал связь, доставал «языка», ходил на разведку во вражеский тыл. Вот младший сержант Боярышников, прославившийся тем, что он без промаха бил по фашистским танкам и сам вышел из всех схваток целым и невредимым.

Десятками, сотнями фамилий испещрены страницы блокнотов и записных книжек военного корреспондента. Здесь и

беседы с жителями освобожденных городов и сел, и заметки о встречах с партизанами, и записи показаний военнопленных, и документальные сведения о зверствах гитлеровцев. В одном из блокнотов Александр приводит такой факт:

«Русская женщина, преподавательница немецкого языка, устроила в оккупированном врагом городе показное прослушивание фашистской передачи, которая шла на немецком языке. Гитлеровцы одобрили ее «инициативу». Родители учеников, собравшись в школе, якобы слушали эту передачу. А смелая учительница под видом перевода излагала им статью из «Правды», рисующую действительное положение на фронте и призывающую жителей временно оккупированных районов не падать духом, всеми силами бороться против фашистов».

В начале февраля 1942 года, когда под ударами советских войск гитлеровская армия продолжала откатываться на запад, Фетисов отпросился в одну из частей, чтобы сделать звуковой репортаж о нашем артиллерийском наступлении. Будучи достаточно сведущим в военном деле и настоящим журналистом, Александр сумел дать документальную запись, яркую и убедительную. Текст этой передачи, к сожалению, не сохранился. При всем несовершенстве тогдашней радиотехники запись произвела подлинный фурор. Агентство Рейтер 6 февраля 1942 года передало по этому поводу специальное сообщение, в котором говорилось:

«Радиослушатели Лондона и других городов Великобритании с глубоким волнением слушали вчера у репродукторов и радиоприемников трансляцию с передовых позиций Западного сектора Восточного фронта, передававшуюся через Московскую радиостанцию. Передача производилась непосредственно с театра боевых действий... Лондонцы могли отчетливо слышать непрерывные залпы мощной русской артиллерии, треск пулеметов и автоматических винтовок, раскатистое «ура», когда одно из подразделений шло в атаку на немецкие укрепления...»

Вся трансляция продолжалась менее получаса, но уже через несколько минут после начала на многих площадях и перекрестках улиц собрались огромные толпы народа, напоминавшие импровизированные митинги. Каждый прохожий спрашивал: «Что транслируют?» — и, получив ответ: «Говорит русский фронт», как бы он ни спешил по своим делам, оставался у репродуктора...»

Лондонская печать отмечает это событие на видных местах, подчеркивая, что «радиопередача с фронта нашего союзника явилась триумфальной демонстрацией единства наступательного порыва Красной Армии с симпатиями английского народа к русской армии и к Советской России в целом».

Александр вернулся из арtpолка в хорошем настроении. Ему уже успели сообщить, что передача-репортаж получила отклик не только у нас, но и за рубежом.

После разгрома гитлеровских войск под Москвой у журналистов, как и у всех москвичей, как у всех советских людей, настроение было радостное, приподнятое. Оно омрачалось лишь тем, что в освобожденных нашими воинами городах и селах Подмосковья фашистское нашествие оставило страшные следы. В те дни мне довелось вместе с Фетисовым и группой газетных корреспондентов побывать в Юхнове и Волоколамске, в некоторых селах Смоленской области... Мы видели всюду развалины, одиноко торчащие трубы сожженных изб, обгорелые кирпичи взорванных зданий и по обочинам дорог трупы расстрелянных крестьян... Где-то возле Юхнова наш шофер, бывалый малый и балагур, обернувшись к нам, пробормотал:

— А командировка-то кончается, товарищи: бензин на исходе.

— Что же ты не позаботился, мужик вроде хозяйственный?..

— Зачем же лишний груз брать — за счет фрицев заправимся. — Он махнул рукой в сторону перелеска, где, распластавшись на снегу, лежал подбитый «юнкерс». В баке оказалось много бензина, и наш водитель быстро перекачал его в машину, прихватив еще запасную канистру.

Над дорогой, над полями быстро сгущались зимние сумерки. Временами высоко над нами пролетали снаряды и глухо рвались где-то в стороне.

— Чем это немцы нас потчуют?

Фетисов прислушался и ответил:

— Бризантными шпарят.

Вблизи передовой вечернее небо прорезали огненные шпалы — «катюши» накрывали и подгоняли отступающих гитлеровцев.

Александр вспоминал свою недавнюю поездку по Минскому шоссе, встречи с орловцами — солдатами части, которой командовал полковник Орлов.

— Великое дело — наступление, — сказал Фетисов. — Орловцев долго держали в резерве, в то время как другие части уже заняли Малоярославец, Калугу, Волоколамск... Люди истосковались по «настоящему делу». Вы посмотрели бы, с какими восторженными лицами они ринулись вперед. Я встретил одного лейтенанта, недавнего преподавателя литературы. Он первым со своей ротой ворвался в Дорохово и настолько был захвачен боевым азартом, что не стал даже со мной разговаривать. И я на него не обиделся: люди прошли первые сто километров по Минскому шоссе! У всех укрепились вера в победу — а это самое главное...

Через несколько дней корреспонденты возвращались в Москву, а Фетисов улетел на Смоленщину, в партизанский отряд «дяди Алеши», действовавший в тылу врага. Вскоре мы получили «письмо из леса» — корреспонденцию, которую Александр назвал «Партизанская академия». В письме приводились многочисленные эпизоды. Неожиданными и дерзкими налетами партизаны дезорганизовывали тылы врага: взрывали мосты и эшелоны с боеприпасами, уничтожали живую силу противника. В конце этого письма-очерка Фетисов рассказывает о беседе у лесного костра седого командира «дяди Алеши» со своими бойцами:

— Помните, друзья, сила наша партизанская — в дерзости, во внезапности. Ты лег в засаду, ждешь немцев. Вот они появились, а ты струсил, допустим, и побежал. Фигура твоя маячит между деревьями, спина у тебя широкая, а пуля спину любит... Трусу наверняка уготована смерть. А будешь действовать внезапно и драться смело — совсем другое дело. Но нажимай курок только тогда, когда фашисты у тебя под носом. Они не успеют за оружие схватиться, и ты всех их, как куропаток, перестреляешь.

Вот в такой «лесной академии» «дядя Алеша» учил партизан, воспитывая в них бесстрашие и мужество, веру в свои силы.

24 мая 1942 года Саша Фетисов снова улетел из Москвы в дальний партизанский край. Рано утром я провожал его на подмосковный аэродром, откуда в воздух поднялся боевой самолет и взял курс на запад. Это была наша последняя встреча. Александр погиб в партизанском отряде. Он погиб смертью героя, как гибли, но не отступали бойцы, стоявшие в грозный час опасности на подступах к Москве. Он прожил короткую, но красивую и чистую жизнь, которую всегда освещала неугасимая вера в торжество нашего дела.

Илья Эренбург

ОДНОПОЛЧАНЕ¹



Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной: приходилось писать наспех, между двумя бомбежками, часто при свете коптилки, потом «проталкивать» статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, зачастую информация устаревала, и Вадимов или Карпов² швыряли телеграмму в корзину.

Корнейчук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. (На беду, в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться.) Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо С. Борзенко: «Одновременно с этой

¹ Из пятой книги «Люди, годы, жизнь».

² Вадимов — редактор, Карпов — секретарь редакции «Красной звезды».

запиской я послал в редакцию «Красной звезды» очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его и, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает — сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов». С. Борзенко стал Героем Советского Союза, об его героизме узнали все.

Но кто помнит тишайшего Льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью 1941 года, он сидел над корреспонденцией с Западного фронта и вдруг вскрикнул — в статье рассказывалось, что в Ельне немцы зверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осажденного Севастополя: «...Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день...» (Лев Иш много раз ходил в разведку.) Настала развязка: на мысу сражались последние защитники Севастополя; среди них был Лев Иш, и погиб он в бою.

Я читал в редакции статьи полковника Донского. Осенью 1943 года в Слободке, напротив все еще занятого немцами Киева, я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер¹. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций, он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне — о жизни, об искусстве. Петр Олендер декламировал Блока, Багрицкого. Потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер походил на романтического юношу, и я ему сказал: «Будь я моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим, мы бы сидели с вами в какой-нибудь «Ротонде» и говорили бы не о рокадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом, вот как сегодня...» Мы расстались будто старые друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб, как солдат, — от пули...

¹ Петр Олендер был капитаном. Полковник Донской — псевдоним.

СТРОКИ ИЗ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ ЗАПИСЕЙ ЛЬВА ИША

«ПОНАЧАЛУ БЫЛО ТРУДНО...»

...Дорога идет ложиной, выбегает на сопку и опять вьется извилистой лентой по заснеженному косогору.

Облачившись в белые халаты, мы держим путь на позиции энского боевого участка. Ноги вязнут в липком снегу, цепляются за какие-то полусгнившие сучья. Не доходя бугра, сопровождающий нас лейтенант в петлицах пограничника предлагает залечь. Оказывается, немцы пристрелялись по этому месту и, чуть что, открывают огонь из автоматов. Ползком, не поднимая головы, выдвигаемся к окопам. Они представляют собой большей частью естественные выемки, обложенные камнем. Земля здесь твердая: лопата против нее бессильна. Нужно долбить киркой, а еще лучше взрывать. Но гребень высоты занят противником, всё вокруг на виду, и волей-неволей приходится довольствоваться малым. Впрочем, кого ни спроси, слышишь один ответ:

— Поначалу было трудно, теперь привыкли...

«БУДЕМ БЕССТРАШНЫМИ»

14 декабря, ДКАФ. Вручение орденов защитникам Севастополя.

Ответные речи:

Политрук Н. И. И впредь будем бесстрашными!

Лейтенант Симонюк. Буду выполнять, пока не останется ни одного гада.

Красноармеец Файнеров. ...Количество мертвых зверей.

Кулаков. Нам не пришлось наступать, но что придется — в этом никто не сомневается.

ПАВЛИЧЕНКО ЛЮДА

«...Попали в окружение. Двое суток не ели, губы черные. Не пили. Подсчитали патроны — по 25 на брата. Один снайпер, Гарбузенко Семен:

— Сделай одолжение, Люда.

— Не могу.

Не могу переступить через два трупа. Не могу... Сняли пулеметные расчеты. 5 метров от хода сообщения до посадки — вот тут и смерть твоя. По горбу пуля ездит. На мне четыре винтовки. Запуталась. Раненому — ползи. А сама в рост.

— Идем, друг.

— Нет, Люда, иди одна.

— Нет, я не брошу.

На плече тащила винтовки и раненого. А мины, мины...
...С 13 чел. заняли село, вели там бой. Лесные посадки метров на 300 в румынскую оборону. Ночью пошла, заняла позицию, окопалась. Наблюдаем. Что стрельбу сразу открывать! Вижу, мл. офицер вытащил портсигар. Закурил. Пусть затаится. Смотрит в бинокль. Наслаждается.

Хватит!

Готов.

...И я уничтожила 45 врагов...»

ПОЕЗДКА В КЕРЧЬ

29 декабря. Вышли из Севастополя на крейсере — новый, еще комиссия плавает гарантийная. Вечер в бухте. Стрельба орудия главного калибра. Все летит, гремит. 3-го — Новороссийск. 2 января на эсминце «Способный». Надо бы в ремонт, но некогда.

Вестовой: «Идем по компасу и градуснику».

Простояли перед Феодосией в тумане весь день 3 января. Корабль обледенел. Утром 4-го снялись с якоря, но в порт не вошли. Потом немцы бомбили «Красный Кавказ». И мы пошли с ним. Вместо Новороссийска — в Туапсе. Пришли утром 5 января. Сошли на госпитальное судно «Абхазия», а эсминец ушел.

7 января 1942-го. Керчь. Горком. Женщина изможденная докладывает о похоронах жертв немецкой оккупации. Братские могилы.

8 января. За аэродромом — противотанковый ров. Расстрелянные женщины, дети. Плач. Откапывают. Дороги.

11 января. Выехали из Керчи в Семисотку. Грязь... Идем пешком. Тащим на себе немецкий аккумулятор (пуда три). Грязь, грязь, грязь. Повозки в грязи, машины, лошади. Липкая. Колеи глубокие.

...Наперебой рассказывают о событиях в Керчи. «Их наехало — земле тяжело». Румыны: «Немец думает, что он разумный, а румын — дурак. Шлют в огонь. Будь ты проклят!»

15 января. На кляче из Семисотки через Ак-Монай, Харцызск, Шабаль, Камыши — вдоль англо-индийского телеграфа в Феодосию. Всю дорогу «мессершмитты». Низко, даже знаки видны. Над Феодосией — бомбардировщики. Набережная разбита. «Астория» — стены. Зенитки прямо на улицах. Один самолет падает в море. Пламя. Трое на парашютах. Вечерний разговор с Первушиным. Тревожно. Бьют орудия. Где-то отозвались автоматчики.

Лошадь оставил у крестьянина Шмыгленко. Сам на цистерну...

НОЧЬ В ОКОПЕ

27 февраля. Вечером — в полк. Ночью, после беседы в штабе, попали в Инкерман, в госпиталь. Привезли раненых. На полу. Были умершие. Глухие раскаты орудий. На санитарном автобусе в 54-й полк. По грязи. Утром в батарее — по просеке с Тараном и Матусевичем. Шутят. Мины ложатся. Еле вырвался, воронки. Убитые в разных позах. Добрались через ложбину на гору, в немецкий окоп — длинный, низкий. Собачья конура. Противогазы, бутылки, мазь. Тут рация наша, телефон. Автоматчики со всех сторон. Все веселы, не обращают внимания.

По проводу, мимо убитых немцев и наших, — в полк Матусевича.

Ночь в окопе. Стрельба, звонки.

Днем — со связным Зубковым через ложбину, путаясь в проводах. Стрельба. Еле живой...

В БАТАЛЬОНЕ

12.III. 345-я дивизия, 1167-й с. п.

Снаряды рвутся в расположении НП. Сыплется земля в нашей землянке. Пришел лейтенант:

— Товарищ командир, троих засыпало. Один руку вынул.

Пульрота, первый батальон. Боец Гридин погиб смертью героя, другой расстрелян, как трус.

Национальный вопрос: «У нас герои не перевелись»; 19-летний Шапиро и комотделения Воробьев — друзья.

Беседы после боя.

Сочевков. Беречь оружие. Это есть рука рабочего класса.

— Беречь патроны.

Все носовые платки пошли на изоляцию.

Вопрос: «В кого послать более последнюю пулю — в фашиста или в себя?»

Полковник Г. Я Советскую власть завоевал, я ее строил, теперь ее защищаю. Противник на моем участке уже не ходит, а ползает. Но хочу, чтоб и не ползал.

«...ЗА РОДИНУ УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»

23/V—42. Делегатское собрание.

Командующий ген.-м. Иван Петров. Кто оборонял Одессу? Кто дрался на Ишуни? Кто с первого дня в Севастополе?

Вопросы, вопросы. Шутки, смех.

Красноармеец Танызин, ком. орудия. Пушай пехота не боится, враги запляшут под нашу артиллерийскую музыку. Били, будем бить. Товарищ генерал! Без промаха бью.

Высоцкий. Я с 15 патронами защищал Черный Яр в 1919 году. Не будем с ним нюнькаться. Разобьем.

Котов (2-й Перекопской). Севастополь уже не просто город, а герой. Девушки в Париже это о нас говорят. Я, как моряк, не позволю, чтобы фашисты прошли в столицу моряков.

Малый (99 гп.). Смотрю: идет варвар. Кричу: «Стой, гадина!» Вин же худой, сукин сын. Он в куст, я как хвачу за хому — пошел. Я иду. Вин оглядается на штык... Я тогда клаялся. Сейчас тем более — я стал коммунистом.

Пулеметчица Зоя Медведева (воспитанница детского дома). Была санинструктором, а теперь забросила медицину — стала пулеметчицей. Если придется умереть, за Родину умирать не страшно...

Петров. Пусть враги умирают...

Петр Сажин

ЖУРНАЛИСТ ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ



Ко мне обратились с просьбой написать о журналисте Григории Нилове, погибшем весной 1942 года на Черном море. Я с готовностью согласился — Нилов был одним из самых близких моих друзей. Но когда взял перо, вдруг пришло раздумье: а что же я напишу о нем? Всю жизнь я писал о людях разных профессий — летчиках, педагогах, китобоях, водолазах, рыбаках, а о журналистах не приходилось. Хотя читать читал и порой испытывал чувство обиды: иные авторы бог знает что говорят о газетчиках! А ведь без присутствия журналистов в наше время международные ассамблеи не начинают свою работу, морские глубины не исследуются, не уходят в небо космические корабли...

Итак, с чего же начать? Наверное, с разговора о том, что Нилов был стопроцентным журналистом и любовь к своей профессии делил лишь с любовью к матери. Но лучше, кажется, рассказать о блокнотах и карандашах Нилова.

Нилов писал преимущественно карандашом, и притом не цельным, а огрызком с сильно выпущенным и тонко очищенным сердечком. Почерк его — крупный, энергичный и ясный. Блокноты Нилов не коллекционировал, может быть,

поэтому и был равнодушен к их внешнему виду: тут и пухлые, карманные, формата книжки, в переплетах, и крохотные — «отрывнички», и обыкновенные школьные тетради, сложенные вдоль, как у стенографисток. Записи скорые, порой условные — они никогда не «залеживались» в блокнотах. И использованные блокноты Нилов не выкидывал — берег для будущей работы. Он мечтал о книге, в которой сошлись бы все его пути, значительные факты и наблюдения.

До войны Нилов работал в редакции «Последних известий» на радио. Может быть, не всем известно, что радиожурналистика требует исключительной оперативности. Материал — очерк, телеграмма, корреспонденция, передающиеся по радио, — считается ценным лишь тогда, когда он начинается со слова: «Сегодня». «Сегодня наш корреспондент побывал там-то, беседовал с тем-то, узнал то-то».

Высокий, статный, с тонкими чертами лица и умными, живыми, серыми с голубизной глазами, Григорий Нилов был необычайно подвижен. Он терпеть не мог письменного стола, если за этим столом не нужно было писать очередную корреспонденцию. Нелюбовь к сидячей жизни, к спокойной работе видна была даже в том, что у Нилова и дома не было «вдохновляющей» и «располагающей» обстановки. Зато в шкафу всегда наготове шинель, полевая сумка, рулоны географических карт и болотные сапоги.

Нилов был прирожденным журналистом. Он любил и умел работать быстро, или, как говорят журналисты, оперативно. К этому следует еще добавить, что он умел работать красиво. Хотя у него в карманах всегда было несколько карандашных огрызков, свои корреспонденции он мог и не писать: Нилов настолько владел словом, что мог диктовать прямо на линотип. Отлично вел репортажи и в радиомикрофон. Журналист передовых линий, он все видел «сегодня», писал «сегодня», и радио передавало его материал тоже «сегодня». Днем, ночью, в любую погоду, когда угодно редакции, Нилов всегда, как говорят моряки, находился в готовности номер один.

Пробег советских газогенераторных машин из Москвы в Архангельск — Нилов в одной из кабин рядом с шофером.

Подъем стратостата за облака — он на стратодроме.

С каждым годом работы на радио его оперативность все больше становилась примером для других: через час после вступления наших войск во Львов он уже говорит по телефону из гостиницы «Жорж», диктуя стенографистке очерк

о Львове. За два часа до вступления наших войск в Кишинев он выходит из самолета на Кишиневском аэродроме и немедленно связывается с Москвой по телефонному проводу.

Он писал быстро, темпераментно и писать мог на чем угодно — на седле, на броне танка, на собственном колене.

В 1941 году Нилов стал военным журналистом — его призывали в военно-морской флот.

Октябрь сорок первого года он провел в осажденном Ленинграде. Бернулся оттуда и дал ряд блестящих корреспонденций. Особенно запомнились «Главный калибр» — об огневых налетах артиллерии линкора «Октябрьская революция» и «Ханко стоит, как скала» — о героическом гарнизоне Гангута. Очерки были написаны по пути из Ленинграда в Москву, довольно сложному в то время.

Ноябрь, декабрь, январь и часть февраля (1942 г.), до отъезда на Крымский участок фронта — в Севастополь, Нилов провел под Можайском, в Калуге, Истре, Волоколамске, в Рузе, под Тулой, в Клину, на Дмитровском шоссе.

7 декабря 1941 года, на второй день наступления наших войск под Москвой, мы вместе выехали в Марфино (Дмитровское шоссе). Здесь сражались дальневосточные моряки под командованием полковника Чистякова. В Марфино моряков мы не застали — они дрались за селенье Белый Раст. А Марфино было забито ранеными — они лежали не только на койках, носилках и волокушах, но и на полу. Бывшая вотчина графини Паниной, Марфино славилось своим прудом, знаменитым мостом с арками по бокам и въездными воротами. На пруду — лед, дворец обожжен пожарищем. В комнатах холодно и стелется дым от времянок. Мне казалось, что задерживаться тут нет смысла: скорее к морякам. Но Нилов быстро обходил раненых и пытливо расспрашивал, нет ли среди них кого из части полковника Чистякова; раненые, объяснил мне он потом, первые участники боев и очевидцы событий.

...Белый Раст был окутан дымом пожарища. Мы не без риска проскочили в село: наша черная эмка была приметной на белом снегу.

Село наполовину разбито. На улицах валялись трупы немцев, ящики со снарядами, винтовки, каски. Стояли подбитые танки и бронемашины противника.

В штабе бригады морской пехоты при свете коптилки, в дыму, который без ограничений «поставляла» наспех сложенная и непромазанная печка, мы сели работать.

Дым ел глаза, и я, доведенный до отчаяния, сказал:
— К черту! Не могу больше! Вернусь в Москву и там напишу.

Нилов улыбнулся и тихо ответил:

— Привыкать надо. Потом будет еще хуже: чем дальше мы будем гнать немцев от Москвы, тем ожесточеннее они будут жечь наши села. Пиши, пиши! Да поживее...

И, вытирая слезившиеся глаза, он увлеченно писал. И я понял его: иначе в те дни и нельзя было. Ведь это были корреспонденции о первых наступательных боях, о боях, которые давно ждала вся страна.

Уже после гибели Нилова Государственное военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР выпустило в 1942 году небольшую книжечку «По военным дорогам Подмосковья», где собраны (к сожалению, не все) ниловские очерки 1941—1942 годов.

Сейчас эту маленькую книжечку ни за какие деньги не достать.

Она написана простым, удивительно сочным и умным языком.

Вот как писал Нилов в очерке «Ночь перед наступлением»:

«Глухой цокот копыт по снежному насту Ленинградского шоссе. Высокие сильные кони с гривами, заиндеветыми от мороза. Молчаливые всадники в широких черных крылатых бурках, прикрытых белыми капюшонами. У седла приторочены автоматы и стальные шлемы.

У околицы села горят две избы, две русские подмосковные избы с резными наличниками и тесовыми воротами. Их зажгли немецкие «юнкеры» в свой последний вечерний заход, перед тем, как декабрьская ночь легла на окрестные поля.

Жаркое пламя пожара, багровые отсветы на снегу. И в этих отсветах, растянувшись, рассредоточившись на несколько километров, эскадрон за эскадроном, сотня за сотней, тачанка за тачанкой... Гвардейская конница идет на сближение с врагом».

Со дня гибели Нилова прошло уже тридцать лет. Его поглотила пучина Черного моря вместе с кораблем, на котором он шел в осажденный Севастополь. Немецкая торпеда отняла у нас опытного журналиста и прекрасного человека: он погиб, отдав свой спасательный пояс другому журналисту, находившемуся на том же судне.

Леонид Кудреватых

КОНВЕРТ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ



Как-то в редакцию журнала «Огонек», где я тогда работал, вошел Семен Ляндрес, бывший в свое время заместителем директора издательства «Известия». Он раскрыл папку и протянул мне конверт.

В левом углу конверта — рисунок: на опушке леса мужчина в кепке досылает патрон в патронник винтовки. Под рисунком надпись: «Слава партизанам!»

Вверху, в правом углу конверта: «Германские фашисты стремятся превратить русский народ в рабов немецких капиталистов и помещиков. Им это не удастся! Русский народ никогда не будет рабом пса Гитлера!»

По синему конверту фиолетовыми чернилами размашисто написано: «Москва, «Известия», Б. Л. Белогорскому. Севастополь. 24. VI. 42 г.»

На обратной стороне тем же почерком и так же размашисто и торопливо: «Особый поклон моим коллегам: Жене, Пете, Паше, Ленке Кудреватых, Семену Ляндресу и другим моим друзьям. Сергей».

Рядом, наискосок, другим почерком: «Привет Илюше Бачелису. Л. Иш... Севастополь, 24. VI».

Пока я рассматривал конверт с надписями (тогда семнадцатилетней давности) и мысленно расшифровывал: Женя — это Кригер, Петя — Белявский, Паша — Трошкин — все военные корреспонденты «Известий», Семен Ляндрес стал объяснять:

— Это последняя весточка от Сережи Галышева. Возьми, сохрани ее. Может быть, найдешь повод и случай когда-нибудь написать о Сереже...

Сергей Галышев был удивительно жизнерадостным, веселым в работе и в часы отдыха. Больше всего в жизни он любил свою профессию журналиста и газете отдавал себя целиком, без остатка. А письмо это, вернее, конверт, в котором была послана боевая корреспонденция из героически защищавшегося, осажденного Севастополя, было последней весточкой от Сергея. И принял я ее как прощальное объятие друга. Искреннего, смелого, порывистого.

До войны Сергей Гаврилович Галышев заведовал отделом корреспондентской сети в редакции газеты «Известия». Лучшего руководителя и товарища собственных корреспондентов центральной газеты, работавших в республиканских, краевых и областных центрах, трудно себе представить. С марта 1939 года до первых дней Великой Отечественной войны я был корреспондентом «Известий» по Горьковской области. Сергея Галышева я знал как прямого своего начальника и наставника.

— Чаще советуйтесь с Галышевым. И не столько потому, что он заведует корреспондентской сетью, сколько потому, что он боевой журналист, чувствует пульс газеты и знает жизнь. Он по национальности карел, а по душе матрос. Словом, боевой товарищ. И вас, собкоров, в обиду не дает. Зайдите к нему.

Так закончил двухчасовую беседу со мной тогдашний редактор «Известий» Я. Г. Селих, благословивший меня на работу в газете.

Я сразу же пошел к Галышеву. Русоволосый, голубоглазый крепыш посмотрел на меня веселыми глазами, как бы смерил всего и предложил папиросу. Он не задал ни одного вопроса и, как будто мы уже много лет знакомы, начал на «ты»:

— Главное — не теряйся! Будут в отделах затирать твои корреспонденции и репортажи, звони мне или Марии Александровне (М. А. Смирнова долгие годы была бессменным заместителем заведующего отделом корреспондентской сети

«Известий»). И второе: не ленись! Дает отдел поручение, неважно какое,— выполняй. Нужно взять разбег с ходу и заявить о себе настоящими заметками и корреспонденциями. У нас есть корреспонденты на местах, которые сидят в тени, которых отделы заданиями не обременяют. Почему? Потому что пишут они неохотно и плохо, небрежно. А ребята и рады: жить вольготнее. Но разве это журналисты? Писаря! Чиновники! Поставили себя так, что отделы им заданий не дают, а они сами с предложениями не навязываются. Проходит полгода — у парня напечатано всего двенадцать информационных заметок. Звоню ему: «Дружище, тебе не наскучило? Писать не разучился?» А он на дыбы: «Вы меня не обвиняйте! Я все задания выполнил. У меня еще шесть заметок не прошло в газету!» Вот и возьми такого за жабры. Хуже налива. Формально у него все правильно. А пользы — никакой! Так что давай, разбег бери сразу. Глуши редакцию интересными вещами — большими и малыми. В тебя отделы поверят и загрузят разнообразными поручениями. Только успевай поворачиваться! И страницы «Известий» откроются для заметок, репортажей, для твоих очерков. Понятно?

И, не дав мне вымолвить ни слова, Сергей встал, подошел ко мне, хлопнул по плечу:

— Пойдем по отделам. Будем представляться и нагружаться заданиями до отказа.

На следующий день, когда я перед отъездом в Горький пришел прощаться, Гальпшев вместо напутствия сказал:

— Бумажек разных от нашего отдела не жди. Их просто не будет! Есть телефон. Звони в любое время. Через полгода вызовем для отчета.

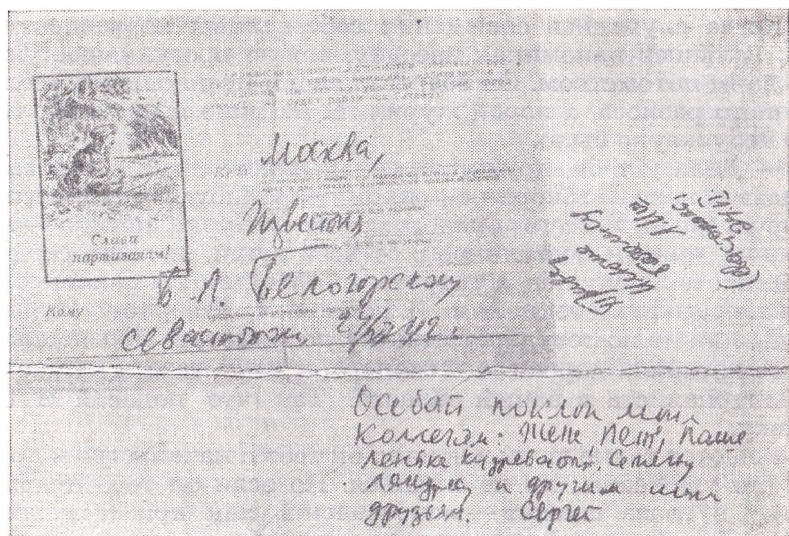
Прошло дней пять, как я вернулся из Москвы и начинал налаживать связи. Вдруг в полночь телефонный звонок. Из Москвы. Чуть хрипловатый веселый голос:

— Ты что, дружище, молчишь? В писаря подался?

Я попытался что-то сказать в оправдание, но Гальпшев и слушать не хочет.

— Объективные причины изложи на домашнем совете. Хоть сейчас, хоть через год. А на моем столе чтобы завтра же лежали переданные тобою корреспонденции и заметки. Ну, привет, дружище! Спи спокойно. Утро вечера мудренее!

Так и завертелось, закружилось — с веселым подхлестыванием, с легким укором, с подбадривающим одобрением. Прошло уже много-много лет, а то время — оно продолжа-



Вот он — конверт из Севастополя, последняя весточка от Сергея Галышева и Льва Иша

лось вплоть до самой войны — вспоминается как одно из самых интересных в моей журналистской практике.

Передашь по телефону заметку, а через час или два звонок Галышева:

— Получили. Отдел планирует в номер. Проталкиваем. Или:

— В отделе культуры запарились. Мы твою вещь проталкиваем прямо через секретариат. Позвони и сам в секретариат, не стесняйся.

Бывало и такое:

— Дружище! — кричит в трубку Галышев. — Ты что, утром в тяжелом похмелье был? Какую интересную тему поднимашь, а у тебя скороговорка, все походя, не развернуто. А написано как?! Сплошные канцеляризм, избитые слова, шаблон! Ах, не с похмелья? Но признаешь, написано плохо? Тогда договорились: в отдел не сдаем. Перепиши. Не поправь, а напиши заново! И завтра передай. Договорились?!

А если вдруг материал похвалили на летучке, Галышев порадует новостью, поприветствует и заключит так:

— Особенно-то свой курносый нос не задирай!

Когда случались совещания собственных корреспондентов, Галышев напоминал наседку, важно прогуливающуюся со своим потомством. Он оберегал своих птенцов от незаслуженного разноса, а порой журил их наедине и при всех так, что небу жарко было.

— Дела у тебя, дружище, складываются так: в отставку подавать надо, — говорил он одному товарищу, за три месяца напечатавшему всего семь заметок. — Журналистика — это горение, притом постоянное и от всей души, от всего сердца. Пойми, это не служба, а творчество! Говорят, ты раньше был инженером-теплотехником. И неплохим, наверное? Ну, видишь, как не по-государственному получается! Промышленность потеряла хорошего инженера, а наша газета мыкается без журналиста в вашей области. Так что подавай в отставку...

Удаются такие люди в жизни: он тебе и начальство и друг. Ты его уважаешь, но не боишься. Но если он тебе правду-матку в глаза скажет — покраснеешь, как красна девица. Таким был Сергей Галышев. Он свое доброе сердце и широкую натуру умел распределять между всеми так, чтобы обогреть и приласкать каждого.

В предвоенный, сороковой год вместе с группой корреспондентов «Известий» Галышев отдыхал в Адлере. Его энергии и изобретательности, казалось, могло хватить на пять санаториев. Плыть в море — так группой и обязательно далеко, дальше всех! Идти в горы — опять группой и выше всех, а по дороге чтобы был костер, шашлык, были песни дотемна! Он, Галышев, везде был закоперщик.

И вот грянула война. Разве бывший матрос мог высидеть в редакции хоть одни сутки? Конечно, на флот. Вначале в Одессу. Потом в Севастополь. Специальным военным корреспондентом «Известий».

Только тогда мы по-настоящему узнали Сергея Галышева — журналиста. На страницах газеты печатались его зарисовки, корреспонденции, очерки. Они доносили дыхание боя с самых напряженных участков.

Миллионы читателей «Известий» по скупым на слова, но полным волнующих событий и эпизодов корреспонденциям Сергея Галышева следили за обороной городов-героев Одессы и Севастополя, читали и восторгались подвигами бесстрашных и твердых как гранит защитников их. Мы знали, что Сергей Галышев среди тех, кто бился за каждый бугорок,

за каждый камень приморской земли, и, если нужно, перо журналиста менял на автомат.

Только один раз за несколько месяцев войны мне пришлось повидать и послушать Сергея Галышева. Встретились мы в Москве вечером 30 сентября 1941 года. Он был в матросском бушлате, в тельняшке. На загоревшем, опаленном в боях лице весело горели голубые, полные искрящейся жизни глаза. Мы провели вместе вечер, вместе ночевали, утром пошли в баню, чтобы смыть с себя многодневный фронтовой пот, и тут, в «Сандунах», узнали, что немцы начали наступление на Западном фронте, нацеленное прямо на Москву. Вечером в редакции мы выслушали приказ: Галышеву — снова на Черное море, в Севастополь, мне — к озеру Ильмень, на Северо-Западный фронт. По-солдатски обнялись, похлопали друг друга по спине:

— До скорой встречи!

Но встреча не состоялась.

Сергей Галышев не уходил из Севастополя, пока Севастополь боролся. Рассказывают, что, когда из города на Большую землю улетал последний самолет, Галышев должен был сесть в него. Он уже шел к самолету, когда вражеская мина упала ему в ноги...

Теперь лежит у меня среди дорогих реликвий конверт из Севастополя с последним поклоном от друга, от боевого журналиста Сергея Галышева, человека неиссякаемой энергии, чистой совести, широкой души.

Кенджабай Юсупов

АБДУШУКУР ПИРМУХАММАД-ЗОДА



Абдушукур Пирмухаммад-зода погиб в январе 1942 года под Москвой, так и не свершив всего отпущенного его щедрому и богатому таланту.

Он был талантливым журналистом и даровитым лингвистом, пробовал не без успеха свои силы в драматургии, выступал с переводами произведений писателей братских республик, участвовал в подготовке школьных учебников и хрестоматий...

Родился Абдушукур в 1914 году в Самарканде в бедной семье ремесленника. Великий Октябрь распахнул перед бедной дверью школ. В 16 лет, сразу же после окончания учебы, Абдушукур стал работать в Самаркандском отделении Таджикского государственного издательства. Он был наборщиком и корректором, редактором и метранпажем... Его заметил основоположник советской таджикской литературы Садриддин Айни. Он привлек Абдушукура к работе над первым двухтомным русско-таджикским словарем.

«Устод Айни,— вспоминает драматург Гани Абдулло,— очень любил Абдушукура. Он восхищался им, говорил, что

юноша очень талантлив и надо помочь ему преодолеть естественную робость, надо активнее вовлекать его в творческую работу».

Да, Абдушукур был робок, когда садился за письменный стол. Но эта робость шла не от сомнения в собственных силах. Эта робость шла от сознания высокой ответственности работника пера перед читателем.

В 1936 году вместе с Гани Абдулло Абдушукур Пирмухаммад-зода написал трагедию «Рустам и Сухроб». Это была первая трагедия в молодой, делавшей только первые шаги таджикской драматургии. Рукопись опубликовали. Но Абдушукур не торопился с постановкой. Он возвращался к своей работе вновь и вновь и только в 1940 году осмелился предложить ее Таджикскому академическому театру драмы. Трагедия «Рустам и Сухроб» шла с успехом несколько лет. В апреле 1941 года она была показана в Москве на первой декаде таджикской литературы и искусства.

Так взыскательно Абдушукур относился ко всему, что выходило из-под его пера. В любой газетной статье, не говоря уже о литературных произведениях, он стремился найти свои, единственные, неповторимые, точные и ясные слова.

Работая ответственным секретарем газеты «Тоджикистони Совети», Абдушукур боролся за то, чтобы любые материалы подавались живо и ярко. Примером служили статьи самого Абдушукура, посвященные В. Маяковскому, Т. Шевченко, Шота Руставели... До сих пор не потеряла своего актуального значения его статья о задачах детской литературы.

В нем жила неиссякаемая жажда знаний. Абдушукур говорил, что работа в газете — это школа, без которой нельзя стать настоящим писателем. Он не делил свою творческую работу на «черную», журналистскую, и «чистую», литературную. И то, и другое было для него одним делом. Нужным. Большим. Его внимание привлекал жанр кинодраматургии. В 1939 году он поступает во ВГИК. Но вот пришел 1941 год. В первые же дни Великой Отечественной войны Абдушукур уходит на фронт. «...Любовь к Отчизне, любовь к Москве так согревает нас, что не страшен любой мороз», — писал он в суровые ноябрьские дни 1941 года из-под Москвы. Недолго пришлось воевать Абдушукуру. Защищая родную столицу, он пал смертью храбрых на поле боя.

Доброе имя молодого журналиста, талантливого писателя-драматурга, верного сына Родины Абдушукура Пирмухаммад-зода будет вечно жить в памяти народной.

Хорошо сказал о нем писатель П. Толис:

«Под Москвой сложил свою голову таджикский писатель-драматург Абдушукур Пирмухаммад-зода. Я не имел счастья встречаться с Абдушукуром Пирмухаммад-зода и Лутфуло Бузург-зода, но для меня они живее всех живых. Они и сегодня участвуют своим словом в нашем труде, борются за наше общее дело, они в одном строю с нами!»

Перевел с таджикского Л. Кандинов

Евгений Долматовский

РЯДОВОЙ ГАЗЕТНОГО ПОЛКА



Н а третий день войны мы выехали на поезде Москва — Киев втроем — Джек Алтаузен, Александр Твардовский и я. В карманах наших гимнастеров лежали предписания: такой-то направляется для выполнения специального задания... Джеку предписывалось явиться в редакцию газеты 12-й армии. Адреса указано не было не потому, что он являлся секретным, а потому, что армия находилась в движении. Из Киева к фронту мы ехали на грузовике, уже с винтовками в руках. Несколько раз пикирующие самолеты противника заставляли всех пассажиров грузовика выпрыгивать и ложиться на землю. Для Твардовского и для меня это было уже не в новинку, но все другие наши спутники, в том числе Джек, под обстрел и бомбежку попадали впервые. Мы очень удивились, когда Джек, лежа на земле, стал стрелять из винтовки по самолету. Потом он с улыбкой сказал мне:

— Это я еще отстреливаю ту обойму, что не успел выпустить на Карельском! (Джек приехал на фронт борьбы с белофиннами в день окончания военных действий.)

Полевое управление штаба фронта находилось в Тернополе. Твардовский оставался во фронтовой редакции, нам предстояло двигаться дальше — в армейские газеты. Где находятся наши редакции, никто не знал: уже началось отступление, связь была плохая. Нам предложили остаться при Политуправлении фронта до выяснения положения. Но Джек очень нервничал, спешил. Мы выехали на полуторке с грузом газет и, как это ни странно, на пылающих дорогах Западной Украины довольно быстро нашли свои редакции. Они двигались на машинах в общем потоке отступления по одному шоссе. Вот и получилось, что первый месяц войны мы все время встречались с Джеком: то я «заскакивал» в его редакцию, то он в мою.

Алтаузен печатался в каждом номере своей газеты. Не только стихи, но статьи, заметки, фельетоны — все, что было нужно, писал он, называя себя рядовым газетного полка. В редакции это прозвище привилось: рядовой газетного полка старший политрук Джек...

Читая некоторые недавно написанные повести о войне, люди молодого поколения могут представить себе трагический июль 1941 года как месяц бегства. Но на самом деле это был месяц жестоких боев. Много позднее стало известно о героической защите Бреста. Но таких — малых и больших — Брестов было много на путях отступления. О героях этих боев ничего неизвестно часто потому, что все участники боев погибли в неравных схватках. Но они дорого отдали свою жизнь... Однажды при встрече на каком-то хуторе Джек прочитал мне свои записи о пограничниках Перемышля, о погибшей в боевом строю заставе. Он собирался написать поэму, но тогда на поэму не было времени.

Военные журналисты находились в сражающихся и отступающих частях, а автоколонна редакции, как я уже упоминал, — в движении. Поэтому приходилось пользоваться типографиями в городах и районных центрах, где только возможно было выпустить газету или листовку под маркой армейской газеты. Был такой момент, когда две армейские газеты печатались одновременно в городе Виннице. До нас здесь побывала редакция Южного фронта — среди бумаг на столе мы нашли статью, написанную знакомым «муравьиным» почерком Бориса Горбатова.

Джек делал в редакции все, даже перетаскивал доски с набором. Обстановка была тяжелая, веселый человек был просто спасением для многих потерявших бодрость товари-

щей. Джек был олицетворением энергии, за это его очень любили военные газетчики.

Когда наши газеты были отпечатаны и пачки свежего тиража выносили из типографии, чтобы тут же на улице раздать проходящим бойцам, в типографию пришли минеры. Мы уезжали из города по простреливаемому мосту.

— Не оглядывайся, — сказал Джек, — сейчас взорвут типографию, лучше этого не видеть.

Запомнилась еще одна встреча — в Умани, в парке Софиевка. Уже замкнулось кольцо окружения 6-й и 12-й армий. Где-то оставался еще узкий выход, и согласно приказу, часть нашей редакции и весь состав того коллектива, где служил Алтаузен, должны были попытаться вырваться из кольца в направлении Днепропетровска.

Джек появился в Софиевке в довольно странном виде — в глухо застегнутой шинели (это был конец июля или первый день августа). Оказалось, что в Монастырищах на редакцию наскочили немецкие танки. Вот где проявилась «штатскость» Джека — он надел шинель прямо на майку, а гимнастерку оставил на спинке кровати. Конечно, нескольким журналистам не под силу было справиться с танковым батальоном. Они ретировались, и правильно сделали. Блокнот со стихами и записями оттопыривал карман шинели моего товарища.

— Стихи здесь, но вот гимнастерка в Монастырищах, — огорчился Джек. Ему надо было явиться по начальству. У меня в запасе была зимняя гимнастерка, еще с финской войны. Я отдал ее Алтаузену.

Приладив зеркальце на дубовую ветку, Джек стал бриться.



Эта книжечка с фронтовой поэмой Джека Алтаузена «Политбоек Порфирий Бабий» была издана редакцией газеты «Боевая красноармейская» 20 октября 1941 года

— Выскочите из окружения, тогда уж побреетесь, а помереть можно и небритым,— невесело пошутил кто-то из газетной братии.

— Безусый энтузиаст должен всегда соответствовать своей кличке,— ответил Алтаузен.

Наше расставание в Умани было очень печальным. Один уходил в огонь, другой оставался в огне. Джек считал, что его положение лучше (на этот раз он оказался прав), не хотел оставлять меня в заслоне. Но каждый должен был идти своей дорогой. Мы обнялись, Джек пошел на восток.

Я перешел линию фронта, когда уже лед застеклил лужи на дорогах. Добравшись до Воронежа, я узнал, что Джеку в те августовские дни удалось вырваться из кольца вместе с группой товарищей из моей редакции. Теперь Джек работал в «моей» редакции и на моей должности. Он примчался в Воронеж, нашел меня и вручил мне зимнюю гимнастерку, которая оказалась очень кстати.

— Мне и дырочка пригодилась,— весело сообщил Джек. Он только что получил орден Красного Знамени — это был не только его орден, но и первый орден, полученный писателем на Великой Отечественной войне. Беззаветная работа поэта в газете была высоко оценена командармом Р. Малиновским, Военным советом.

Вскоре я оказался в армии, где работал Джек. Его там буквально все знали. Солдаты называли его Жеком, было в этом что-то очень ласковое. Была в той армии дивизия из Татарии — генерал Кутлин, комиссар Рахманинов. Дивизия отличилась в наступательных операциях на рубеже 1942 года. Была взята Лозовая, отбито Барвенково. Алтаузен был все время боев в дивизии, написал поэму «Кутлинцы». Она заняла целую полосу армейской газеты и по приказу командования зачитывалась во всех частях вслух. Но ее знали наизусть — это уже не по приказу!

По-разному работали поэты на войне и во время войны. Джек писал для сегодняшнего номера армейской газеты. В Москву он стихов не посылал, был целиком занят своей газетой, нуждами армии. Это может показаться удивительным, но в конце сорок первого или в начале сорок второго года Военный совет армии специально заседал «по заслушиванию стихов Джека Алтаузена». Вот как было.

Я думаю, что не обижу прославленных военачальников, если предположу, что они слушали Джека, чтобы подзанять

у него бодрости, зарядиться его волнением — время было очень тяжелое.

Джек был известен как замечательный оратор. Он по нескольку раз в день выступал перед бойцами, где это только было возможно.

Весна 1942 года была полна надежд. В тех же местах — Изюм, Барвенково, Лозовая — началось наступление. Конечно, Алтаузен был в наступающих частях. Здесь его подстерегло окружение. Лишь один редакционный самолет У-2, возивший газеты, выскочил из той мясорубки. Спасшийся журналист рассказывал, что улететь предлагали и Джеку, но он отказался:

— Я в своей части, мне надлежит разделить судьбу всех.

По свидетельству товарищей, Джек Алтаузен был раздавлен немецким танком 25 мая 1942 года.

Григорий Кияшко

ПИСЬМО В ВЕЧНОСТЬ



Думается, что небезынтересна история этого письма...

2-й Украинский фронт наступал.

Война бушевала у седого Днепра.

Будучи редактором фронтовой газеты «Суворовский натиск», я поехал по делам в одну из сражавшихся дивизий.

Зашел в политотдел. Кто-то из работников спросил:

— Вы не знали военного корреспондента капитана Сапиго?..

Выражаясь военным языком, в одном «населенном пункте» — то ли в городе, то ли в селе — неизвестный старик принес в политотдел объемистое письмо. (Теперь-то известно, кто был этот старик!) Письмо написал попавший в окружение корреспондент «Красной звезды» капитан Сергей Сапиго.

Далеко позади остались бескрайние степи, многие города и села, через которые неудержимо шла боевая дивизия.

И случилось так, что работники политотдела, встречавшие и солнечное утро, и зарю вечернюю в атакующих пол-

ках, не успели отправить письмо адресату в Москву. Недосуг, что поделаешь...

Так оно очутилось в моих руках.

Вернувшись с передовой, первым делом дал машинистке снять копию, а рукописный оригинал вручил корреспонденту «Красной звезды» по нашему фронту майору Ивану Васильевичу Агибалову. Он отправил письмо в Москву, но, как выяснилось впоследствии, оно бесследно затерялось. И вот прошло двадцать лет... Готовится к изданию книга о журналистах-фронтовиках.

— Нет ли у тебя чего для этой книги? — спросили у меня.

Сразу возникло в памяти письмо капитана Сергея Самого. Я разыскал его.

* * *

«...Здравствуйте, дорогой редактор, боевые друзья и товарищи славного коллектива редакции «Красная звезда»! Как бы я хотел вас видеть и каждому пожать крепко руку. Увы, меня отделяют от вас сотни километров вражеского кольца, разорвать которое я не в силах. Находясь в «подземной» Украине, я всей душой, сердцем и кровью, до последнего моего дыхания был, есть и буду с вами.

А теперь опишу, что случилось со мной и моими друзьями. Не исключена возможность, что кому-нибудь из них удалось прорваться через окружение. Однако считаю своим долгом сообщить хотя бы вкратце о действиях корреспондентов и о себе.

Корреспонденты «Красной звезды» Александр Шуэр, Борис Абрамов, Яков Сиславский, Борис Лапин, Захар Хацревин, Алексей Лавров, я, а также Иосиф Осипов, Михаил Сувинский («Известия»), Яков Цветов («Правда») и ряд других попали в так называемый «киевский мешок». Мы были окружены и узнали об этом накануне отступления наших войск из Киева.

Правду сказать, не обошлось без паники и бестолковщины. Начальник одного политотдела приказал мне организовать отряд и направиться в обоз для охраны тыловых учреждений. Нарушение приказа грозило расстрелом. Как я ни бился, чтобы попасть в действующие части, ничего не вышло. Видя такое дело, я связался с членом Военного совета, получил разрешение покинуть обоз и примкнуть к боевой части...

По нашему расположению — Дарницкий лес — враг открыл минометный и артиллерийский огонь. Мне удалось вывести всех корреспондентов из-под обстрела и километров на 50 прорваться в сторону своих. Здесь, под Борисполем, встретив сопротивление немцев, наш отряд, насчитывавший более 30 человек, разбился на группы, которые пошли по разным направлениям, чтобы, соединившись с отступающими частями, пробиваться вперед.

Со мной остались: мой неизменный друг и товарищ Саша Шуэр, боевые соратники Абрамов, Лавров, а из «Известий» Осипов и Сувинский. После всяких эпизодов и приключений мы продвинулись еще на 50 километров. 21.IX.41 г. нам удалось соединиться с действующими частями 33-й стрелковой дивизии. Бойцы этой дивизии дрались как львы. Командир дивизии полковник Соколов умело руководил боем, пядь за пядью теснил немцев и продвигался вперед.

22.IX появился генерал (фамилия выпала из головы), который сообщил, что он будет возглавлять все части для прорыва в Баршевской операции.

Однако, не зная, кто действует слева, справа и кто кого поддерживает на тех или иных рубежах, каждый батальон вынужден был осуществлять боевую задачу по своему усмотрению. Получилось как в поговорке: кто в лес, кто по дрова. Немцы воспользовались этим, быстро сделали перегруппировку и начали теснить нас к болоту. Тут же, на глазах бойцов, героически погиб командир 33-й дивизии, ранен был комиссар. Боевые порядки остались без руководства.

Саша Шуэр, Борис Абрамов, Иосиф Осипов и я быстро организуем из тыловиков два отряда и бросаем их в бой. Это позволило на левом фланге задержать противника. Но дрогнул правый фланг, и немцы просочились к нам в тыл. Артиллерийский полк, с которым мы наступали, снялся с занимаемых позиций, и мы двинулись за ним. Несмотря на бешеный пулеметный, минометный и артиллерийский огонь, нам удалось прорвать вражеское кольцо и направиться к месту переправы.

Немцы вели огонь из всех видов оружия. С водонапорной башни били два вражеских пулемета, преграждая нам путь к переправе. Полковник Воронов, авиатор, приказал мне с группой бойцов уничтожить огневые точки. Когда я выполнял эту задачу, Шуэр, Абрамов, Осипов и Сувинский с криком «ура!» бросились в переулоч, где засели немцы, и давай

их там колотить. Лавров, художник, тоже не дремал: залег за башню и вел огонь по немцам, делавшим перебежки.

Уничтожив вражеских пулеметчиков и доложив об этом полковнику, я решил примкнуть к Шуэру и другим товарищам, но на том месте, где, как я предполагал, они находятся, их не оказалось. Они далеко уже продвинулись вперед, а я с группой бойцов остался как бы у них в тылу. Видя новую опасность, я обошел правый фланг немцев и проскочил в лес, где сосредоточивались наши уцелевшие подразделения.

Здесь встретил Абрамова и Осипова. Они были бледны и едва не в слезах. Я сразу догадался, что случилось страшное. «Сергей,— еле промолвил Абрамов,— твой друг погиб».

У меня затряслись ноги и руки, к горлу подкатил комок... Понимал, конечно, что война без жертв не бывает, однако не мог примириться с мыслью о гибели моего учителя и душевного друга, с которым два года работал рука об руку, делил радости и печали, с кем жил, как брат с братом.

Горестно переживали смерть Саши Шуэра и Абрамов, и Осипов, и Сувинский, и Лавров, который как раз в эту минуту подошел к нам. Борис Абрамов рассказал о героической смерти Шуэра. В тот момент, когда я расправлялся с вражескими пулеметчиками, Саша вместе с Абрамовым, Осиповым и Сувинским бросились на врага, засевшего в переулке. Опрокинув немцев, они побежали по огородам дальше. Уже на краю села их встретил огонь автоматчиков, засевших на чердаках и в клунях. Бойцы залегли.

Саша спросил: «Кто здесь командир?» Ответа не последовало. Тогда, поднявшись во весь рост, он громко скомандовал: «За мной, вперед! Ура!» В этот момент вражеская пуля и оборвала жизнь патриота, бесстрашного бойца, общего любимца редакции «Красной звезды» Александра Михайловича Шуэра...

Утром 23.IX бойцы, находившиеся в лесу, оставшись почти без командиров, стали продвигаться дальше. Борис Абрамов, Осипов и Сувинский пошли с левого фланга, а я — с правого, где неподалеку стояла батарея врага. Расчет был такой: подойти через лощину к позициям батареи, уничтожить огневые точки.

Нас было человек 100. Как только вышла левая группа, немцы открыли артиллерийский и пулеметный огонь. По нашему же отряду, двигавшемуся в лощине, не стреляли.

Нам уже оставалось каких-нибудь 500 метров до цели. И как только мы показались на бугре, поблизости раздался сильный взрыв, меня отбросило в сторону, и больше я уже ничего не помнил. Только на десятый день пришел в сознание. Оглянувшись: вокруг меня лежат раненые. Стараюсь осмыслить, что со мной произошло, но сознание теряется, в глазах темно. Почти ничего не слышу.

На пятнадцатый день, когда я стал кое-что соображать и начал едва шевелить руками, мне рассказали следующее: как только взрывной волной меня отбросило в сторону, ко мне подползли лейтенант госбезопасности из Киевского отделения НКВД Василий Сопин и лейтенант-танкист уроженец Ленинграда Петр Ефимов. Зная, что я капитан, — а немцы были от нас уже в 500 метрах — они быстро сняли с меня знаки различия, орден, забрали документы и все это спрятали в траве. Так немцы приняли меня за красноармейца и, как контуженного, отправили в сарай к раненым. Тут уже лежали и лейтенант Сопин с перебитой рукой, и лейтенант Ефимов, раненный в плечо.

Не стану описывать чудовищные издевательства над пленными. Об этом достаточно знает весь мир. Скажу только, что ежедневно от голода, холода, заражений умирали тысячи человек. К этому следует добавить еще сотни тысяч людей, которые погибали от рук фашистских злодеев. Малейшее нарушение правил, малейшее подозрение влекло за собой смерть.

Когда сознание мое более или менее прояснилось, передо мной встал вопрос: что делать? Покончить жизнь самоубийством или пересилить все отвращение к фашистским извергам, подлечиться, встать на ноги и нанести врагу удар в тылу? Судите меня сами — правильно ли я поступил? Мне кажется, да.

Мои товарищи, лейтенанты Сопин и Ефимов, вместе с несколькими бойцами, как только малость окрепли и стали ходить, убежали из лагеря. Мы условились о встрече, поскольку в день их побега я едва поднимался с постели. Они должны были меня ожидать в Ново-Басанском лесу.

15.X ночью младший лейтенант Дмитрий Курочкин, уроженец г. Каменец-Подольского, младший командир 10-й танковой дивизии Николай Пашенный, командир зенитной батареи Киевской дивизии ПВО Петр Шварцман, я и группа красноармейцев бежали из лагеря. Двигаясь только ночью, а днем ориентируясь и прячась в снопах на скошенных по-

лях, нам удалось пройти более 60 километров. Ново-Басанский лес был уже близок.

Но в этот момент произошло такое событие. Наши товарищи совместно с партизанами взорвали в Ново-Басане штаб немецкой части. Немцы в панике стали разбегаться кто куда. И тут около десятка фашистов наскочили на нас. Завязалась перестрелка. Шесть солдат мы уложили на месте, двух тяжело ранили. В этом бою отличились младший лейтенант Курочкин и красноармеец Павлов.

Командир батареи Шварцман был ранен, был и я ранен в ногу — пробило насквозь левую ступню. Сбравшись с силами, мы с помощью товарищей направились в сторону населенного пункта, чтобы спрятаться в хлебах или в траве. Так одолели 7 километров...

С моей раненой ногой делалось что-то невероятное, она распухла до неузнаваемости. Бинта не было. Его заменила нательная рубаша, которая по цвету мало чем отличалась от чернозема. Поднялся, чтобы идти с товарищами, но тут же упал. Помощи ждать не приходилось: товарищи сами едва двигались.

Видя безвыходность положения, я попросил красноармейца из 187-й стрелковой дивизии Стражко пристрелить меня, а самому пробиваться вперед, к фронту, и во что бы то ни стало доставить в редакцию «Красной звезды» мою предсмертную записку.

Стражко согласился. Я написал записку, простился с товарищами и закрыл глаза. Несмотря на значительную потерю слуха, я отчетливо слышал, как Стражко послал патрон в патронник, как щелкнул затвор. Проходит десять секунд, двадцать, минута, я не открываю глаз, наконец не выдержал и любопытствовал, почему так долго нет выстрела.

Оглянулся — возле меня никого нет. Видимо, сердце молодого красноармейца дрогнуло, ему оказалось не под силу выполнить свое обещание. Я же пристрелить себя не мог. Не знаю, где теперь Стражко, не знаю, что случилось с моими товарищами. Доставил ли кто-либо из них записку в редакцию или нет? Знает ли редакция о моей судьбе и о моих товарищах по фронту? Маловероятно...

Оставшись один, я решил двигаться на четвереньках, сколько смогу. План был таков: доползти до крайней хаты и попроситься на несколько дней... Крестьянин Петр Константинович Шевченко из деревни Малые Круполи был

честным человеком. Я не скрыл от него ничего. Он дал слово, что поможет моему горю. Дело шло как будто на лад.

Но однажды заходят два немца. Увидев меня, спросили, что я за человек. Петр Константинович объяснил им, что меня бросили красные при отступлении, что я красноармеец и он меня подобрал в огороде (там-таки действительно был бой). Немцы сказали, что держать пленных в домах запрещено — меня надо отвезти в лагерь. Пришлось примириться.

Утром я попадаю в колхозный сарай в деревне Большие Круполи. Здесь встречаюсь со Шварцманом и другими, которые меня и Шуэра хорошо знали, поскольку мы бывали в их частях. Здесь же я узнал подробности о взрыве немецкого штаба в Ново-Басане и про вторичное ранение лейтенанта Сопина.

...Немцы боятся партизан, которых поддерживает местное население. Какие только не предпринимали фашисты меры: сжигали целые села лишь за то, что крестьяне снабжали партизан продуктами. От Киева до Полтавы немцы сожгли и уничтожили много деревень, причастных к партизанам. Но, несмотря на зверскую расправу, движение народных мстителей растет с каждым днем...

И так началось мое скитание из одного сарая в другой. Я видел тысячи раненых без перевязок, голодных, босых... Рана моя от грязи стала настолько серьезной, что стали поговаривать об ампутации левой ступни. Я решил рассказать о себе главврачу хирургу Белканию и его помощнику Субботину (бывший начсандив 28-й стрелковой дивизии), показал им мое удостоверение личности, которое храню и по сей день. Врачи дали слово оказать мне помощь не только медицинскую. Они посоветовали мне переменить фамилию, что я и сделал. Начал усиленно изучать украинский язык. Благодаря этим врачам я попал в киевский лазарет. Через два с половиной месяца рана моя малость зажила и с помощью тех же врачей мне удалось получить пропуск до Полтавы...

Должен вам сказать, друзья мои, в плену я видел тысячи людей, и не только видел, а изучал. Заявляю честно, от всего сердца, что они были, есть и будут нашими, советскими людьми, всей душой любящими свою Родину. Невзирая на свирепые немецкие репрессии, расстрелы, многие наши бойцы вслух проклинали германских паразитов. Взять хотя бы тех же врачей Белкания и Субботина. Они хорошо знали не только меня, но и других командиров. И, невзирая ни на

какие опасности, они старались всячески вызволить нас из беды. Правда, встречались отдельные предатели, провокаторы, но мы, заранее предупрежденные, избегали общения с подлецами. Это были те, кто добровольно перешел на службу врагам лишь из-за того, чтобы их кормили три раза в день из немецкого котла, отвели для них отдельные помещения, возили на автомашинах. А нас, бойцов и командиров, скрывавшихся под красноармейскими званиями, кормили баландой два раза в пять дней да иногда бросали, как собакам, по небольшому кусочку сырого бурака. И мы терпели, переносили неимоверные лишения и издевательства, но зато были и остались чистые душою перед своим народом, перед партией, перед Отечеством...

С поврежденной ногой, передвигаясь через населенные пункты по 10—15 километров в сутки, я добрался 15 декабря до Полтавы, где проживает мой старик отец. По дороге собрал много богатейшего материала о героических делах советских людей в тылу врага. И если каким-либо чудом мне удастся уцелеть и возвратиться в родной коллектив, мы создадим великолепную летопись «о подземной Украине», которая не покладая рук ведет борьбу против озверелого фашизма.

Прибыв в Полтаву под чужой фамилией, я решил пробираться дальше, на Харьков. Но не тут-то было. На каждом шагу немцы проверяли документы. Малейшее подозрение — расстрел на месте, особенно военнопленных. Однажды вместе с отцом мне удалось, переодевшись в крестьянскую одежду, добраться до станции Коломака. Здесь я был свидетелем, как наша авиация налетела на германскую колонну, двигавшуюся к Харькову, и разбомбила ее... Я хотел остаться в Коломаке у одного знакомого отцу крестьянина, но тут мы узнали, что немцы издали приказ, согласно которому лица, не проживающие в данном селе постоянно, обязаны покинуть его в течение 24 часов, в противном случае подлежат расстрелу.

Пришлось возвратиться в Полтаву. Но и здесь мне проживать опасно: многие знают меня, и какая-нибудь сволочь, фашистский подлабузник, может выдать. Да и документы у меня поддельные. Но я решил исполнить свой партийный долг. Связавшись с коммунистами, работавшими в подполье, стал оказывать им помощь, чем только мог.

К счастью, у одного из товарищей, бывшего работника горсовета тов. Маркина, есть радиоприемник (у него на квартире

германский офицер); воспользовавшись моментом, мы включаем Москву, слушаем последние известия, затем размножаем их от руки, передаем своим товарищам, а те — народу. Вообще о моей подпольной деятельности вам может рассказать отец, и если я погибну, то прошу обратиться к нему. Он назовет вам фамилии коммунистов, расскажет, что нами сделано.

План у меня таков: если не сцапает гестапо, то с приближением фронта покину Полтаву и перейду к нашим...

Дорогие друзья и товарищи! Все, что я описал, правда. За каждое слово отвечаю головой. У меня, человека, которого вскормила и воспитала Советская власть, партия, иной дороги быть не могло. Вся моя семья до мозга костей верна родному Отечеству. Два моих брата сражаются с фашистами, я десятки раз участвовал в боях, и никогда рука моя не дрогнула, посылая пули в заклётого врага.

Знайте, товарищи: где бы я ни находился, что бы я ни делал, всегда был и останусь коммунистом. Знайте и то, что, находясь в тылу врага, никогда не очерню славный коллектив «Красной звезды», воспитанником которого являюсь.

Итак, если нет Абрамова, Лаврова, Сиславского, Лапина, Хацревина, Осипова, Сувинского, Цветова, знайте, что они героически дрались с врагом и вели себя в боях достойно, как и подобает военным журналистам. Не забывайте кристальной души человека, отважного бойца фронта и печати Саши Шуэра.

Я не сомневаюсь, что Красная Армия наголову разобьет фашистских людоедов. И если доведется погибнуть, то кровь свою отдам за любимую Родину — СССР.

Жму всем руку и целую крепко.

Прощайте!

Ваш воспитанник Сергей Сапиго...»

* *
*

Выдержки из этого письма были опубликованы в «Красной звезде» 13 февраля 1963 года. И первым откликом на него явился звонок студентки пятого курса Московского авиационного института Тамары Сапиго — она попросила ознакомить ее с полным текстом письма отца, которого она зримо не представляет себе: ей был всего один год, когда отец ушел на Великую Отечественную войну...

Затем последовали звонки и письма — Алексею Лаврову, художнику, с которым мы пять лет работали вместе под крышей «Красной звезды», Борису Абрамову, Якову Цветову, Иосифу Осипову.

Пришло письмо из Киева от сестры Александра Шуэра Евгении. Вот что она пишет: «Когда Сергей Сапиго был вместе с моим братом в гостях, то настоятельно рекомендовал своему учителю и другу (у того не было детей) взять на воспитание ребенка из детдома: дескать, жизнь твоя, учитель, станет куда веселей!..»

Из Запорожья пишет пенсионер Е. Полищук: «Восемь лет собираю материалы о полтавском подполье; прошу сообщить, нет ли в полном тексте письма Сергея Сапиго имен других подпольщиков, помимо бывшего работника горсовета тов. Маркина, умершего в 1948 году».

Откликнулся врач Белкания, грузин, проживающий в Виннице, лечивший Сергея Сапигу в плену, посовествовавший ему укрыться под вымышленной фамилией, помогавший ему добыть у немцев пропуск в Полтаву.

Трогательное послание из Полтавы от отца Сергея Сапигу Терентия Ивановича, которому перевалило за восемьдесят. Цитирую дословно: «Прежде всего приношу великую и сердечную благодарность за то, что вы — единственный человек, который избавил меня, да и всю нашу семью, от наших слез, горестей и печалей. Соседи слушали радиопередачу из Москвы и немедленно передали мне, что через 20 лет найдено письмо моего сына. Как я был взволнован, когда услышал эти слова! Не знаю, что со мной творилось. Здесь было все: и горе, и печаль, и радость, и гордость за то, что воскресло все о сыне. После его смерти и как я передал его письмо, двадцать лет я утешал себя, авось оно найдется...»

Историк из Полтавского института повышения квалификации учителей И. Легенький сообщает: «Как историку, мне известно следующее (пропускаю многое из того, о чем речь впереди): «За участие в войне с белофиннами и проявленный героизм Сергей Сапигу был награжден орденом Красной Звезды... Приказом начальника Украинского штаба партизанского движения от 8 мая 1947 г. № 127 С. Т. Сапигу посмертно награжден медалью «Партизан Отечественной войны 1-й степени»...»

Теперь коротко о том, что произошло с Сергеем Сапигу в Полтаве, когда он добрался до отчего дома. Отец описывает

это так: «В конце ноября, поздно вечером, пришел сын Сережа с костылем, больной, еле переставляет ноги — без боли и сострадания нельзя было смотреть на него. Помылся, переоделся, лег в кровать. В час или два ночи он сделался почти мертвый. Я припал на колени, и он показался мне мертвый. Я начал плакать... А утром пошел до врача тов. Мороза; он, спасибо, пришел и начал его лечить... Прошло время около месяца, Сережа оправился. У него был документ по фамилии Бураченко Даниил Иванович — это наш дальний сродственник. Как выздоровел — только ходить ему было еще трудно, — меня спросил: «Ты, папа, работаешь у немцев?» Я ответил: «Нет». — «Ну и хорошо ты делаешь. А мне нужно до них поступить на работу». И сейчас же спросил, найдется ли у нас такая одежда, чтоб одеться ему так, чтобы выглядеть учителем. И когда оделся, то сказал: «Ну, теперь я буду как сельский учитель». Как только поступил работать, так спросил меня, не знаю ли я преданных людей, членов партии; я познакомил его с одним товарищем, а тот познакомил с другими».

С этого, собственно, и начинается подпольный период жизни Сергея Сапиго — военного корреспондента, большевика. Поступив на работу в комитет Украинского Красного Креста, он сразу, так сказать с ходу, почувствовал, что Полтава не покорилась, что здесь живут, действуют, борются пока что неведомые ему, Сергею Сапигу, «подземные» силы, что он в родном городе не одинок, — разве не об этом свидетельствовали листовки, которые кто-то в глухую ночную пору вывешивал на улицах?..

И он начал искать эти «подземные» силы, к которым влекло его сердце. И конечно, нашел. Мы уже знаем о связях Сергея Сапигу с товарищем Маркиным.

Ну а дальше оказалось проще: Сергей Сапигу установил связь с подпольной комсомольско-молодежной организацией. В этой организации работали дочь врача студентка-астроном Ляля Убийвовк, молодой художник и поэт Сергей Ильевский, бывший танкист Леонид Пузанов, бывший радист Валентин Сорока... С этими людьми судьба и связала навечно Сергея Сапигу — у каждого были в жизни свои пути-дороги, свои профессии, свои радости и огорчения, но нет сильнее силы человеческого духа, объединяющего и военного корреспондента, и астронома, и танкиста, и поэта!

Сергей Сапигу установил радиоприемник на квартире

у Валентина Сороки. Все чаще и чаще стали появляться на стенах домов рукописные листовки, звавшие людей к борьбе против фашистов. Потом появились воззвания гитлеровцев с обещанием награды тем, кто сообщит им о подпольщиках. Тем временем Сергей Сапиго разрабатывал планы диверсий, налаживал связи с военнопленными, работал над созданием широкой сети подпольных групп в ближайших селах возле Полтавы...

Начались облавы и аресты. И начальник штаба подпольной группы Сергей Сапиго предложил подпольщикам уходить в леса, где, по слухам, действует партизанский отряд под руководством секретаря подпольного обкома партии. Срок выхода в лес — в ночь с 6 на 7 мая 1942 года. Перед этим Сергей Сапиго отправил связного — молоденькую девушку Валентину Терентьеву: иди навстречу наступающим советским войскам и вручи командованию пакет: жива Полтава!

Терентьева дошла почти до линии фронта, и, когда ее задержали гестаповцы, она постаралась незаметно выбросить пакет в канаву — заметили! Ее, не знавшую побоев, истязали, выбили все зубы. И она не выдержала...

Вечером 6 мая Сапиго собирался с работы домой, радуясь предстоящей ночи, ночи ухода в леса. Но на пороге его встретил гестаповец с автоматом...

Сразу после ареста полевой жандармерией — на допрос. В комнате он увидел толстого гестаповца, на столе у него — резиновую нагайку, а неподалеку от стола — Валентину, которую посылал к линии фронта. Боль и муки, и страх, и стыд — все это было запечатлено на ее лице.

— Он посылал?

— Да.

— И письмо от него?

— Да.

Мысль Сапиго работала с лихорадочной быстротой: «Она знает лишь немногих — меня, Лялю и еще двух-трех человек... Все возьму на себя и спасу кого удастся...» Так он и сказал на первом допросе:

— Я был один...

В тюрьме он увидел Лялю Убийвовк, Сергея Ильевского, Леонида Пузанова. Вскоре туда же попали Борис Серга, Валентин Сорока и Максим Страшко. Когда вели на очередной допрос, Сергей Сапиго шепнул Максиму: «Ни в чем не сознавайся — я все взял на себя».

Но самопожертвование Сергея спасло только одного — Максима Страшко. Остальных спасти не удалось. Да, им обещали пощаду, если они отрекутся от своих взглядов, от партии и комсомола, если они публично расскажут в своих «прегрешениях».

Они отвергли это предложение!

И вот в вечерние сумерки 26 мая из ворот тюрьмы выехала черная машина и направилась в поле, туда, где раньше был тир. Она остановилась возле самого рва, который прежде вел к мишеням.

Пять молодых парней и одна девушка встали у рва, молча пожали друг другу руки, молча расцеловались...

Так оборвалась жизнь военного корреспондента большевика Сергея Сапиго и его молодых товарищей. Все в этой жизни было светло!..

Письмо Сергея Сапиго, военного корреспондента «Красной звезды», — это письмо в Вечность, ибо оно повествует о грозной эпохе войны, о безмерном величии духа советского человека, проявленном в беспощадных битвах за родную советскую землю, о непоколебимой его вере в нашу победу, в исторически проверенную истину, выраженную словами: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»

Этой безграничной верой и дышит письмо военного корреспондента Сергея Сапиго.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. А. СТРАШКО

«Во время встреч в доме Сапиго Сергей часто говорил: «Нельзя сидеть сложа руки, надо помогать Красной Армии, надо укреплять веру людей в нашу победу».

Я познакомил Сапиго с Борисом Сергой, а он — с другими членами подпольной молодежной организации. Сапиго собирал деньги на радиоприемник. Его установили на квартире Валентина Сороки. Сергей часто выезжал в села. Однажды он послал меня подыскать человека, который провел бы группу военнопленных в лес к партизанам. По его словам, готовился побег пятисот военнопленных.

В конце марта 1942 года Сапиго сказал, что собирается послать через линию фронта связную, что члены организации намерены уйти в лес, в партизаны. Меня он послал в село Марьивку договориться с человеком, который должен был укрыть наших людей. Я возвратился утром 6 мая, сооб-

шил Сапигу, что все готово. Ночью собирались выходить, а днем его арестовали.

Меня арестовали последним, 13 мая. Перед допросом мы встретились с Сапигу в туалете. «Ни в чем не сознавайся,— сказал он.— Я все взял на себя. Если спросят, давал ли деньги на приемник, скажи, что просто одалживал, а о приемнике ничего не знал». На допросах Сапигу вел себя мужественно. Во время нашей с ним очной ставки он все отрицал, и меня освободили».

**ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРГЕЯ САПИГО,
НАПИСАННОЙ СЕКРЕТАРЕМ ПОЛТАВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
В. ТАТАРКО ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА**

«...С ноября 1941 года Сергей Сапигу работал в подпольной комсомольско-молодежной организации. Мужественный, опытный воин, он вносит много изменений в работу организации: разрабатывает планы диверсий, укрепляет связи с военнопленными, организует широкую сеть подпольных групп в селах Абазивка, Шкурупии, Овсии.

Сапигу — пламенный агитатор, умелый подпольщик. Работая начальником штаба, он хорошо знал всех членов организации, правильно распределял обязанности среди них, требовал их выполнения. Вместе с Леонидом Пузановым Сапигу достал несколько винтовок и боеприпасы к ним. Он был примером для других членов организации во время ареста».

**ИЗ ПИСЕМ ЛЯЛИ УБИЙВОВК К РОДНЫМ
ИЗ ГЕСТАПОВСКОЙ ТЮРЬМЫ**

«...Друзьям передай: я уверена, что моя смерть будет отомщена. Валя — предательница, она наговорила на меня и Сергея. Сергей — молодец, и все это не забудь передать».

«Помните, Сергей ни в чем, ни в чем передо мной не виноват — он сделал все и еще больше, чем все, чтобы спасти меня...»

Анатолий Малухин

С ПЕРОМ И АВТОМАТОМ



Единственный, у кого еще оставался не проверенным полуавтомат, был красноармеец Чугунов, стоявший часовым у склада боеприпасов, — медлительный, ленивый в движениях человек, о каких говорят: «медведь», «увалень».

— Может быть, это его очередь и была? — осторожно предположил комендант.

Но все знающие Чугунова отвергли эту мысль.

— Чугунов самолеты сбивать будет? Что вы! Да он и головы-то повернуть не успел.

Караульный начальник повел к Чугунову смену.

— Происшествий никаких? — нетерпеливо и на что-то надеясь спросил он, подходя к посту и вглядываясь в загорелое, широкоскулое лицо Чугунова.

— Никаких. Самолет только надо мной пролетел, — ответил Чугунов

— Ну и что?

— А ничего. Бомбу бросил, не попал.

— А ты в него не стрелял? — спросил Васильев.

— Как же так не стрелять, стрелял,— степенно ответил Чугунов.

— Ну и попал?

— Вроде как попал. Семь бронебойных запустил ему в брюхо.

...Бойца привели к Жигареву, и тот поздравил его с успехом. Смутившись, а может быть, еще не веря своему торжеству, Чугунов не знал сначала, что и ответить, но потом пришел в себя и сказал:

— А что ж такого, товарищ майор, обыкновенное дело. Чай, из Сибири, охотники мы! — Он сказал это так, словно всю жизнь ТОЛЬКО и делал, что сбивал самолеты.

...Прощай, полк! Бойцы майора Жигарева — это только маленький отряд могучей советской артиллерии. Но мы видели, какая это грозная сила в боях с врагом...»

Так за несколько часов до своей трагической смерти закончил серию очерков «Под Ржевом» Александр Филатович Поляков. Так, невзначай, простился он своими последними строчками с армией, в которой находился на разных фронтах с первого дня войны.

Давно написана эта книга, а откроешь ее — и словно все было только вчера: жизнь, фронтовая, трудная жизнь встает с ее страниц перед глазами.

И снова видишь наших прекрасных советских людей, которые борются за Родину и, обливаясь кровью, преодолевают врага.

Эпизоды, запечатленные острым пером Полякова, тонко подмеченные характеры составляют галерею незабываемых образов.

Работа А. Ф. Полякова на войне — превосходный образец самоотверженности и храбрости журналиста, храбрости во имя своего читателя — народа. Уже за одно это имя Саши Полякова не будет предано забвению.

Но он был не только смелым человеком с авторучкой репортера. Навечно вошло его имя в каталоги библиотек. Его фронтовые очерки, написанные для «Красной звезды», давно уже стали книгами и заняли определенное место в военной беллетристике. Недаром «Литературная газета» в передовой статье поставила А. Полякова в ряд замечательных военных писателей.

...Шло жестокое ратное лето 1941 года. Враг стремительно наступал. Над нашей Родиной нависла смертельная угроза. В сводках Советского информбюро чуть ли не каждый день упоминались все новые и новые, еще недавно бывшие глубоким тылом районы. Чувство тревожного беспокойства не покидало людей. По утрам все мы с жадной надеждой раскрывали газеты:

— Что происходит на фронте?

— Как сражается наша армия?

Именно в такое тревожное время, 3 августа, на четвертой полосе «Красной звезды» началась серия очерков А. Полякова «В тылу врага» — дневник корреспондента. На протяжении месяца газета напечатала 20 подвалов.

Это было очень нужное, наглядно убеждающее, полное непреклонного оптимизма и веры в победу произведение о начавшейся войне. Его ценность состояла в том, что оно было написано прямо на месте событий, на одном из самых тяжелых участков фронта.

Актуальность очерков «В тылу врага» была столь велика, что редакция буквально выдергивала их из-под пера. Когда случались перерывы на день-два, многие звонили в «Красную звезду», торопили.

Позвонил и Михаил Иванович Калинин:

— Почему нет продолжения?

— Автор писать не успевает, — отвечают в редакции.

— Хорошие очерки, очень нужные для нашего народа, — сказал Калинин и поинтересовался автором.

А ему было весьма нелегко! После ранения, голода и других испытаний, перенесенных в окружении, где он находился вместе с бойцами с 27 июня по 22 июля, надо было сразу писать...

Его жена Валентина Михайловна вспоминает:

— После выхода из окружения он прилетел в тот же день из Гомеля, черный, тощий, с бородой, оборванный, в обмотках, с костылем. Он почти не мог передвигаться. Весь август болел. Обычно живого, веселого нрава, на этот раз муж был молчалив и мрачен. Не мог спать. Забывшись, вскакивал в кровати: «А?.. Что?!. Фашисты? Товарищ Колычев, гранату!..»

Во время болезни, так же как в боях, при выходе из окружения, Поляков не выпускал из рук корреспондентский блокнот. Истреблять врагов и вести записи о войне — при любых условиях! — он равно считал своим долгом.

Бывший редактор «Красной звезды» Д. Вадимов на встрече в пресс-клубе редакции журнала «Советская печать» в декабре 1962 года делился воспоминаниями о том, как Поляков немедленно позвонил из Гомеля, доложив, что им собран большой материал о боях советских воинов в немецком тылу. «Ни словом, однако, Поляков не обмолвился, что он ранен, еле двигается. Это мы увидели только тогда, когда его привезли в Москву самолетом. Ни просьб, ни жалоб, все мысли о том, чтобы скорее дать материал в газету».

Поляков относился к числу журналистов, рассматривавших задание редакции как боевой приказ и выполнявших его не щадя своей жизни.

А задание, которое выполнял тогда рядовой корреспондент «Красной звезды» старший политрук Поляков, было таким.

14 июня 1941 года Полякова послали в Западный особый военный округ для репортажа о тактических учениях в районе Витебска. Здесь его и застала война. Приказ — отправиться на запад с Железной Самаро-Ульяновской дивизией генерала Галицкого навстречу гитлеровским полчищам. 25—27 июня близ города Лида произошло сражение, и тогда же военный корреспондент сделал свои первые дневниковые записи на линии огня.

Находясь в одном из отрядов, попавших в окружение, Поляков с оружием в руках дрался с гитлеровцами, перенес все тяготы беспримерной борьбы советских воинов. Дневник «В тылу врага» — это волнующий документ о силе духа советского человека

«Мы в тылу у врага... Я повторяю про себя эти слова, стараясь освоиться с неожиданной новостью. Светлая ночь. Я вглядываюсь в лица... Постепенно проникаюсь спокойствием и уверенностью в благополучном исходе... С такими людьми не страшно никакое окружение».

В записках тепло описаны жители Советской Белоруссии, с которыми встречался военный корреспондент на протяжении нескольких сот километров тернистого пути. В любой деревне, в любом населенном пункте находились друзья и помощники. 20 подвалов А. Полякова в «Красной звезде» в тот грозный период жизни Советского государства рассказали читателям о нравственном превосходстве советского человека над врагом.

Фронтовой дневник А. Полякова сразу перепечатали многие армейские и областные газеты. Он немедленно появился и в многочисленных книжных изданиях.

Вслед за рядом изданий массовыми тиражами в СССР дневник А. Полякова увидел свет во многих государствах — он был издан на 14 языках. В 1942 году его с отличными иллюстрациями опубликовало издательство «Даттон» в Нью-Йорке под названием «Русские не сдаются». Тогда же его прочитали английские читатели под названием «С советской воинской частью через линии нацистов». 1 мая 1942 года издательство прогрессивного журнала «Шидай» («Эпоха») выпустило массовым тиражом эту книгу в Шанхае. Китайские революционеры и партизаны, боровшиеся с японскими оккупантами, черпали силы в книге А. Полякова.

Вот некоторые из восторженных отзывов об этой книге американских критиков и публицистов того времени:

«Еще не было книги, которая доводила бы до сознания читателя образ русских солдат в нынешнем сражении детальнее и драматичнее, чем эта» (Орвилл Прескотт, «Нью-Йорк таймс»).

«Вот выражение фантастического духа борьбы русских» (Луис Ганнет, «Нью-Йорк геральд трибюн»).

«Сильная книга. Неслыханное событие» (Джон Скотт, «Нэйшн»).

«Волнующий рассказ об эпической битве не на жизнь, а на смерть, отражающей абсолютную решимость, громадные способности и доблестные усилия русских во имя борьбы с нацистами до полной победы. Воодушевляющая хроника» (Линтон Уэллс, «Бук оф Мансклаб ньюс»).

«Одна из наиболее волнующих книг об этой войне, написанная очевидцем и явившая нам замечательную картину величия духа у наших русских союзников» (Давид Аппель, «Кливленд ньюс»).

Так отдавали должное новому писателю-бойцу иностранцы. Не будет преувеличением сказать: фронтовая работа журналиста Александра Полякова была ценным вкладом в дело борьбы с фашистской чумой.

В его натуре сочетались два качества: он был кадровым военным по профессии и литератором по призванию. Это была натура богатая и щедрая.

А. Ф. Поляков родился 3 октября 1908 года в селе Александровка Пензенской области. Отец его работал печником-трубочистом на железной дороге. С семилетним образованием по комсомольской путевке, будучи инструктором укома комсомола, Александр в 1927 году приехал в Московское артиллерийское училище имени Красина. Уже в

1932 году он командир батареи артполка Пролетарской дивизии, которым тогда командовал Н. Н. Воронов, ныне главный маршал артиллерии. Он очень сочувствовал молодому артиллеристу, вынужденному из-за контузии, полученной при взрыве орудия, вскоре демобилизоваться по болезни.

Поляков — заведующий клубом «Дома правительства» в Москве на Берсеневской набережной. Его не устраивала эта деятельность. Он жаловался жене:

— Не могу, Валюша... Вот не стал военным и не имею другой специальности. Я должен учиться.

Несмотря на занятость работой в клубе, он в 1936 году заканчивает заочный факультет Коммунистического университета имени Свердлова — журналистское отделение. Это и есть желанная профессия.

После учебы молодой журналист был направлен в агитэскадрилью имени Максима Горького в качестве начальника агитмассового отдела. Во главе эскадрильи стоит Михаил Кольцов. Время у Полякова проходит в агитполетах. За два года облетал почти все союзные республики, выступая на массовых митингах. В марте 1937 года вышла в свет его первая брошюра — «Подруги крылатых». Объем — 1,5 листа. Сам же и редактор. В книжке рассказано об общественниках — женах работников агитэскадрильи.

Однако молодой журналист почувствовал себя на месте, лишь когда перешел, уже в тридцатилетнем возрасте, в «Красную звезду», на самую низовую газетную работу.

Старые журналисты-краснозвездовцы помнят, как он появился в синей летной форме ГВФ. Скромный, тихий, незаметный. Стал репортером в отделе информации.

Саша Поляков начинал с азов, с репортерских заметок. Он делал их с чрезвычайной серьезностью — писал и переписывал и так и этак, обнаруживая при этом полное отсутствие всякого тщеславия. Охотно слушал советы опытных газетчиков.

Р. Моран, в то время работавший в отделе информации, учил его. Моран не правил заметок Полякова, а просто читал их и говорил:

— Нет, не то!

И Поляков по несколько раз переделывал 30-строчные заметки, пока не получалось «то».

У него было ценное качество — необычайная свежесть восприятия. Какая-то детская ясность взора. Старшие его

товарищи, «газетные волки», могли пройти мимо, не заметив того, что Поляков сразу же замечал.

Наступил сентябрь 1939 года. В квартире раздается телефонный звонок:

— Валюша, я срочно уезжаю...

И вот Поляков уже в наших частях, освобождающих Западную Белоруссию. Он все время в авангарде освободителей — с разведчиками.

Через некоторое время корреспонденции поступают уже с границ Литвы. Потом началась война с белофиннами, и военный репортер — на Ухтинском направлении.

Жестокий мороз. Идут бои... 135-й километр. Стрелковый батальон, далеко вырвавшийся вперед, остался без старших командиров. Командование батальона отрезано от основных его сил. Когда это обнаружилось, то оказалось, что некому заменить командира. Поляков находится с батальоном. Его там уже хорошо знают.

Он принимает смелое решение. Вот как об этом рассказывал он сам одному из своих друзей:

«Дело было ночью. Организовал оборону, принял на себя командование батальоном. Собрал имевшихся командиров.

Первым проявил инициативу лейтенант Шелест. Подполз ко мне, выставил пулеметы, открыл огонь.

Стучу танкистам, они не открывают. Мотор работает, ничего не слышно. Вскочил на танк и наконец продвинул его на 50 метров вперед, указал цели и приказал открыть огонь. Танк стал на опушку, открыл огонь.

Организовал залповый огонь из винтовок. Отбил атаку белофиннов. Бой длился два с половиной часа. Сделали бросок вперед, заняли поселок. Противник бежал. Поселок был захвачен быстро. Финны не успели его сжечь.

Приказал Шелесту остаться за меня и пошел докладывать.

Противник понес большие потери — до 60 человек, а у нас убитых было 8 человек».

За этот подвиг он был награжден орденом Красного Знамени.

Вскоре боевой корреспондент был ранен.

«Коротко, как меня ранило, — сообщает он жене в конце письма из ленинградского госпиталя. — Чуть не забыл. Никуда я не совался, как хотелось бы тебе думать. Я был на командном наблюдательном пункте к-ра полка. Нас нащупала артиллерия противника и обстреляла. Я лежал на

боку за каменным пригорком — голова и туловище были скрыты и таким образом оказались спасены, а вот в колено угодило. Меня сразу унесли командиры прямо на перевязочный пункт. Осколочек совсем маленький, с пуговицу от рубашки. Врачи здесь на оперстоле мне прямо заявили: «Вы родились в счастливой сорочке»».

Госпиталь. Вот где скромный и незаметный Поляков внезапно почувствовал себя в шумном сердечном окружении любящих его друзей и сослуживцев! Поток телеграмм, открыток, писем по адресу: «Советский проспект, 63. Отделение № 13, палата № 88». Другой поток — поздравления с Новым годом, а потом был еще один — с наградой. В соседней палате — раненый Владимир Ставский. Между ними идет душевная переписка на цветных обертках от шоколада и на листках из блокнотов.

С фронта поступают вести и поздравления от соратников по «Красной звезде» — Вистинецкого, Марасанова, Милецкого, Хирена, Боровского и других.

«Гордимся твоим поведением на фронте. Молодец! Ты показал себя как настоящий сын нашей Родины», — пишут из редакции с Малой Дмитровки сотрудники газеты Король, Ризин, Милованов, Коломийцев, Головин и другие.

Как не радоваться такому обилию друзей! Поляков крепко спаян с коллективом «Красной звезды», в нем он черпает силы для новой работы. Он уже не просто репортер, а специальный корреспондент на учениях в Уральском военном округе. Идет 1941 год. Будущий автор очерков «В тылу врага» пишет статьи о тактических учениях и подготовке бойцов.

Когда А. Ф. Поляков оказался в немецком тылу, он уже был опытным солдатом. Непосредственное участие в боевых операциях было для него делом не новым. Он опять был ранен — осколком от немецкой авиабомбы на переправе в один из самых тяжелых дней окружения. «Вот черти, думаю, — записывает А. Поляков 29 июня, — с белофиннами, что ли, сговорились, угодили опять в правую ногу, в которую был ранен в Финляндии... Какой же из меня теперь вояка с одной ногой! Вот я все жаловался, что записи делать некогда, а теперь пиши сколько угодно».

В ноябре 1941 года, едва оправившись от последствий ранения и получив второй орден Красного Знамени за героическое поведение в тылу врага, в новом звании батальонного комиссара А. Поляков едет в Челябинск на эвакуированный

Кировский завод, где готовятся мощные танки-крепости типа КВ. Задумана и сразу же одобрена редакцией тема рождения и фронтовой жизни советской боевой техники, тема героического труда в тылу и ратных дел героев фронта.

Журналиста зачислили в танковый экипаж. Он живет общей жизнью с танкистами, прибывшими в Челябинск за боевыми машинами и участвующими в их создании на заводе. И вот танки-колоссы созданы, испытаны на полигоне. Экспресс с Урала мчится под Старую Руссу.

За телеграфными столбами, скользящими назад, словно покрытая белой маскировочной плащ-палаткой, вся в снегу, тревожно насторожилась родимая Пензенская область.

Станция Пачелма. Вызванные на перрон телеграммой, стоят Филат Григорьевич, отец, и Наталья Федоровна, с детства заменившая Саше родную мать. В густых черных усах отца не то седина, не то иней. Они холодные на крепком морозе. Мать силится глядеть бодро. А экспресс с невиданными танками задерживается лишь ровно на столько, чтобы пополнить паровозный тендер водой. Свисток. Поехали! Уплыли родные лица...

Вот и фронт. Лютый мороз. Встреча нового, 1942 года в ельнике, перед ледовым маршем через скованное озеро Ильмень. Поляков воюет, пристраиваясь вместе с автоматчиками на броне танков, атакующих врага. Толстая тетрадка всегда с ним. В ней день за днем воссоздаются картины наступления советской танковой части, великолепные образы воинов. Какая точность наблюдений! Как много успевает узнать корреспондент за один день и даже час! Он спешит везде побывать сам.

Танкисты, с которыми журналист приехал на фронт из Челябинска, стали ему родными. Он восхищается их подвигами и безутешно оплакивает их гибель. Все — правда: и чувство превосходства в борьбе, и жертвы.

Так была создана серия очерков «От Урала до Старой Руссы (История пяти КВ)», напечатанная в «Красной звезде» между 27 февраля и 12 марта 1942 г.

В длинные ночи первой военной зимы здание комбината «Правды», в которое переехала и редакция «Красной звезды», выглядело с улицы необитаемым, мертвым. Но за тщательно замаскированными окнами в холодных кабинетах всю ночь напролет кипела газетная работа. «Красная звезда» тогда привлекла к себе многих литераторов. В нее писали М. Шолохов, А. Толстой, Н. Тихонов. С начала войны ее ра-

ботниками стали И. Эренбург, П. Павленко, В. Гроссман, Б. Галин, В. Ильенков, К. Симонов, Б. Лапин, З. Хацревин и еще ряд известных прозаиков и поэтов.

А. Ф. Поляков постоянно общался с опытными сотрудниками газеты, когда приезжал в Москву, чтобы «отписаться» после фронтовых заготовок. Он слушал их замечания, советовался с ними. Для него, как для формирующегося художника, это был плодотворный и важный период жизни. Он лихорадочно спешил пройти эту школу, стремился точнее, лучше, убедительнее отражать свои наблюдения. Его усилия не пропали даром.

Книга «Белые мамонты», в которую вошла история пяти КВ, встретила горячее признание не только у советского, но и у зарубежного читателя.

Поляков по-прежнему далек от тщеславия. Он не считает себя писателем. Он военный корреспондент. Оперативность — первейший принцип его работы. Из своих фронтовых заготовок он берет самое нужное для публикации в газете. Остальное — потом.

Наступает лето 1942 года. Тяжелые бои на Дону, враг рвется к Волге. Вместе с другими сотрудниками «Красной звезды» он шлет в редакцию корреспонденции о танковых сражениях на Дону. Много фронтовых дорог исколесил А. Поляков вместе с фотокорреспондентом Сергеем Лоскутовым.

Очередной прилет в Москву с фронта.

Позвонил семье в Куйбышев:

— Выздоровел ли сын?.. Чувствую себя отлично.. Заехать не могу...

Ему в редакцию позвонил старый начальник Н. Н. Воронов. Сказал, что с большим интересом читал его очерки и корреспонденции с фронта. Но почему Поляков, «природный артиллерист», пишет в основном о танках? У него ведь такая богатая возможность показать работу советских артиллеристов во всей красоте и величии! Воронов уговорил Полякова. Родился новый план поездки на участок ближайшего артиллерийского наступления. Таким участком явился Ржевский плацдарм.

После 1941 года Ржев оставался ближайшим к Москве опорным пунктом гитлеровцев. Они укрепляли этот район в течение зимы и весны. Немецко-фашистское командование подбрасывало туда все новые и новые части. Требовался хороший удар по Ржевскому укрепленному району, чтобы

избавиться от опасности на дальнем подступе к Москве и ослабить усилия врага на Дону и Волге.

Удар по Ржевскому плацдарму гитлеровцев был нанесен сразу с двух сторон. Главную роль играла советская артиллерия. Поляков — там, на Западном и Калининском фронтах. Жаркая работа командиров-артиллеристов — его стихия. Отважный журналист в центре кровопролитных боев. Противники нащупывают друг друга. Происходит дуэль целых артиллерийских соединений. Бьет немецкая «большая Берта».

Поляков находится вместе с командирами на наблюдательных пунктах батарей, ползет вместе с разведчиками-артиллеристами к переднему краю вражеской обороны.

Чтобы скорее решить задачу уничтожения вражеских дальнобойных батарей, в ближайший немецкий тыл летит наш самолет-корректировщик. Место штурмана на нем занимает автор будущих очерков «Под Ржевом». Это заправский штурман. На нем парашют, шлемофон, ларингофон, а оружие — боевое перо, разящее врага на любом расстоянии. С корректировщика была отчетливо видна картина разгрома вражеской дальнобойной артиллерии.

Содержательные, яркие очерки «Под Ржевом» пришлось как нельзя кстати. В Ставке придавалось большое значение артиллерии. А говорили, что печать о ней пишет мало.

«Как мало? — возразил М. И. Калинин, прочитавший в газете эти очерки. — В «Красной звезде» пять-шесть подвалов было».

Принесли подшивку «Красной звезды». Тут же было предложено перепечатать очерки А. Ф. Полякова «Под Ржевом» в газете «Правда». Эти очерки «Правда» перепечатала, когда их автор был уже мертв; его фамилию обвели траурной рамкой.

Смерть настигла Полякова внезапно, в кабинете редакции на улице «Правды», у рабочего стола. В результате перенапряжения нервов и всего организма. А ведь он никогда не жаловался. Его считали крепким, выносливым.

Под некрологом в «Красной звезде» сорок четыре подписи — советские писатели, журналисты.

Оплакивая безвременную потерю, они писали: «Все, кто сталкивался с Поляковым в трудную пору фронтовых будней, знали его как бывалого воина, сердечного и надежного товарища. Поляков знал и любил военное дело, много читал и стремился совершенствовать свои знания. В его библио-

течке, которую он всегда возил с собой, вместе со складным ножом, котелком и заваркой чая были томики Фрунзе, томики Драгомирова. Поляков любил беседы на фронте с опытными людьми, у которых он, не переставая, учился, чьи меткие фразы он записывал в свою объемистую походную тетрадь. Можно с уверенностью сказать, что, если бы в военной биографии этого журналиста-воина не было всего того, что зовется истинно солдатской жизнью, его очерки никогда не встретили бы такого единодушного признания».

Поляков умер в расцвете своих творческих сил и таланта, полный неосуществленных замыслов. Очерки «Под Ржевом» были только эскизами к книге «Залпы гнева», которую мечтал он написать. Он намеревался побывать на донорском пункте и проследить путь ампул с кровью до полевого госпиталя, чтобы затем описать «кровное единство» фронта и тыла. Его волновала эта патриотическая и общественно-психологическая тема. Смерть оборвала творческие планы.

Многочисленные читатели и друзья Полякова, близко знавшие этого талантливого человека, сохраняют в памяти его живой облик. Он остался в их глазах олицетворением советского воина-журналиста, всегда готового к бою и работе, крепко сжимающего в руках свое боевое оружие — перо и автомат.

Василий Скоробогатов

«БЕЗ ГАЗЕТЫ ЖИТЬ НЕ МОГУ...»



ы не пытался подбить «раму»?

Ефрейтор Агабабян понимал, что этот вопрос задан ему. Но он минуту-другую медлил с ответом, продолжая деловито протирать оптический прибор снайперской винтовки. Потом повернулся к заговорившему с ним офицеру и, прищулив глаза, отрицательно покачал головой:

— В муху стрелял, а в «раму» — нет. Не люблю напрасно тратить патроны, товарищ корреспондент. Пригодятся.

Ефрейтор отложил винтовку и поправил черные взъерошенные кудри. По тону беседы чувствовалось, что офицер и боец знают друг друга давно и теперь продолжают ранее начатую беседу.

Разговор этот происходил июльским утром 1942 года. Низкую, слегка заболоченную пойму Дона окутывал туман. Сквозь его легкую пелену можно было различить неподалеку переправу через реку и окраину станицы Трехостровской со следами жестокой бомбардировки.

Пока было темно, бойцы располагались под деревьями, отдыхая после длительного перехода. Теперь же, когда взо-

шло солнце, оставаться дальше без тщательной маскировки было опасно. Даже по-настоящему не обстрелянные воины, недавно пришедшие с новым пополнением, старательно подчищали отрытые накануне щели, из веток и сучьев соорудили укрытия для пушек, лошадей.

Предосторожность оказалась не лишней. Вначале послышался рокот мотора, а вскоре в синем и глубоком небе, подсвеченном лучами утреннего солнца, уже можно было отчетливо различить контуры вражеского самолета. Раздалась команда: «Воздух!» Бойцов как ветром сдуло. Проклинавая мерзопакостную «раму», одни спрятались в щелях, другие залегли в ложбинке.

Несколько автоматчиков и снайперов, среди которых был и лейтенант, разместились в воронке, оставленной пятисоткилограммовой бомбой. Уверенные в том, что в одну воронку две бомбы не попадут, бойцы спокойно перебрасывались шутками.

— Может быть, попытаешь счастья? — снова улыбнулся лейтенант, обращаясь к своему юному соседу-армянину.

— Давайте лучше вместе попытаем счастья на «охоте».

— Когда?

— Приказано этой ночью.

И Агабабян, и другие бойцы не раз встречали этого офицера и знали, что он работал в дивизионной газете и что фамилия его Воронов. Где-то под Ржевом его ранили, в госпитале он лежал в Москве, а в дивизию прибыл весной, когда она формировалась. Свои заметки, стихи, фельетоны, басни он подписывал псевдонимом «Сержант Сибиряк». Бойцы с удовольствием читали остроты Сибиряка, находя их в сатирическом уголке «По зубам!».

«В самом деле, почему бы не пойти на охоту со снайперами? — подумал офицер. — Вот это будет материал в газету!» Другие снайперы тоже стали приглашать корреспондента «поработать напару». Тем временем «рама» улетела за горизонт, оставив за собой хвост из листовок и газет. Одна листовка упала в воронку. Конечно, ее следовало, как обычно, подавляя брезгливость, уничтожить. Агабабян как раз и собирался сделать это, но вдруг лицо его сделалось строгим и внимательным.

— Товарищ лейтенант, подойдите сюда, — произнес он встревоженно.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что упавшая газета — фальшивка. В геббельсовском ведомстве ее подде-

лали под советскую газету «Труд». Под шапкой «Разгромим немецких оккупантов!» была напечатана сводка Совинформбюро, внизу в траурной рамке стояло имя... «Евгений Петров».

«В Севастополе, павшей большевистской цитадели, убит корреспондент «Правды» Евгений Петров. Это был последний советский журналист, которому все еще доверяли в Кремле», — так говорилось вначале. И дальше шел бред, типичный для стряпни гитлеровских пропагандистов.

«Неужели?» — эта мысль обожгла сознание Воронова. Опечалились и бойцы. Он хотел им что-то сказать, но сердце громко застучало в груди. Евгений Петров! Один из любимых писателей, умный, благородный, смелый.

Простившись с бойцами, он отправился во второй эшелон дивизии, где находились редакция и типография. Как во сне Воронов слышал отдаленные залпы орудий. Лейтенант машинально пересчитывал залпы...

* * *

Воронов не вел дневника, он любил писать письма. На Дальнем Востоке служил его друг, пограничник Иван Казанцев. До войны работали они вместе в районной газете в Булаево — живописном поселке на севере Казахстана. Когда их призвали в армию, они обещали писать друг другу. И теперь Воронов день за днем описывал события, в которых ему довелось участвовать.

«Как это ни странно,— писал он,— но о смерти Евгения Петрова я узнал от тех, кто его загубил, от его убийц — гитлеровцев. Попросил Агабабяна, признанного истребителя гитлеровцев: возьми меня! Он спросил:

— А стреляешь хорошо?

— Хвастаться не буду...

Тогда он мне устроил маленький экзамен. Дал в руки карабин и говорит: «Видишь на вербе сороку?» — «Вижу». — «Когда она взлетит — стреляй». Выстрелил и перебил птице шею. Пригодился опыт: ты помнишь, как мы охотились на косачей в приишимских березовых колках. Затем он проверил меня еще раз. Но намеченную цель поразить не смог, промахнулся три раза кряду.

— Стрелок что надо,— со злостью буравя меня черными глазами, сказал ефрейтор. — Ваше место у нас...

— Без газеты жить не могу,— объяснил я бойцу, стыдясь своих невиданно скверных выстрелов,— но сутки эти буду с вами.

Сказано — сделано. Только мой снайперский пыл не понравился «бате», то есть редактору. Он оказался не столь оптимистичным, как Агабабян. Во-первых, он не знал, какой я стрелок, во-вторых, в тот день просто некому было делать газету. Чтобы ускорить выпуск газеты, надо было самому стать с верстаткой к кассе, выполнять обязанности корректора, курьера.

Но я не отступал. Хлопотал за меня и политотдел. Еще бы! Я там пообещал развернуть движение снайперов в дивизии. В виде исключения мне разрешили за передним краем, на нейтральной полосе, «окупиться в жизнь». Какая там жизнь! Вернее сказать о дыхании смерти.

И я почувствовал такое дыхание. Это было необыкновенное время. Оно запомнится мне до конца дней моих. В снайперской команде меня экипировали по всем правилам, вручили книжку: в нее будет записан мой первый счет.

В половине третьего начали гаснуть звезды, мы добрались до окопов переднего края. Эффектный в своей просторной пятнистой накидке с нашитыми на ней пучками зеленой рогожи, я плелся сзади. По паролю охранение пропустило нас вперед. Ползли заминированным полем и сквозь кустарник лесозащитной полосы. С востока тянул свежий ветерок, но, даже когда остановились, пот катился с меня градом. Агабабян, взявший надо мной шефство, устроил мне тайник, замаскировал, дал последние советы. Не успел я опомниться, как он мягко, по-кошачьи, удалился, растворившись в темноте.

Я стал ждать. Наступал рассвет, но долго еще в темноте невозможно было различить прорезь и мушку на винтовке. Невдалеке раздавались одиночные выстрелы, изредка с тихим шелестом над головой проносились мины, горели осветительные ракеты. Дневной свет дал начало полному затишью, но приоткрыл просвет в кустарнике, поле, дорогу, бугор, на пологом склоне которого виднелись признаки земляных работ. Там и следовало искать цели. Гитлеровцы накапливали силы для прыжка на Дон и первое время были не слишком осторожны.

Не стану описывать симфонию наступающего утра — я был особенно восприимчивым, допуская возможность, что это последний мой рассвет. Наверняка на этом поле

находились и вражеские снайперы. Не стану описывать свои переживания в часы палящего, все иссушающего июльского дня, когда все внутри горело. Меня мучила жажда, шея и плечи налились тяжестью, я боялся пошевелиться и выдать себя. Но было тихо: видно, фашисты забрались в окопы и отдыхали в холодке.

Наконец уже в полдень примерно в пятистах шагах от меня между свеженасыпанными холмиками показалась каска. Я попытался прицелиться, но мне вдруг почудилось, что кто-то наблюдает за мной. Пальцы ослабли, а тем временем каска исчезла.

Шли часы, я ругал себя за то, что прозевал мишень, нервничал. Трижды, то справа, то слева, я различал треск, похожий на отдаленный выстрел. Меня это успокаивало: «Агабабян!» «Терпенье и выдержка, — вспомнил я его совет. — Наступит подходящий момент — бейте насмерть». На исходе дня я вновь заметил, как зашевелились вдаль кусты, и различил кончик антенны полевой радиации. Соблюдая крайнюю осторожность, стал зорко следить. Мелькнуло безбровое костистое лицо — и я выстрелил. Продырявил ли я его? Не знаю, антенна больше не показывалась. Потом я... уснул.

Я вернулся к своим ночью, пролежав в тайнике подряд двадцать часов. Агабабян очень тревожился за меня. «Не попадались? — участливо спросил он. — А мне сами лезли под пулю...» Славный он парень!».

На этом письмо заканчивалось. В конверте лежала вырезка из газеты — очерк об Агабабяне и его друзьях. Очерк лейтенанта Воронова. Яркий, правдивый рассказ нельзя было читать без волнения...

* *
*

Следующее письмо было написано Вороновым из-под Клетской. На пяти страничках убористым почерком он описывал некоторые эпизоды сражения на дальних подступах к Волге:

«Дорогой друг!

Последнее время в сводках Совинформбюро сообщается о боях на Клетском направлении. Станица эта где-то рядом, но она закрыта от нас холмами и перелесками, и ее мы видим только на карте. Путь к станице перерезан врагом, мы ведем бои на подступах к ней, близ хутора Теплого.

...О чем пишут сегодня наши военкоры в газете? Фашисты не пройдут, если в дивизии каждый солдат будет избав-

лен от танкобоязни, самолетобоязни и прочих «боязней». Главное — быть уверенным в том, что врага нужно и можно одолеть.

А примеров, показывающих, что гитлеровцы не так уж сильны, бесчисленное множество. В одной заметке мы проанализировали плоды атак, после которых был взят хутор. Совершив прорыв, наш полк захватил у немцев много пушек, на второй линии обороны мы взяли еще несколько десятков вражеских орудий. Дальше открылся так называемый оперативный простор. И если бы у нас было силенок больше — можно было бы гнать врага за Северный Донец.

Такие заметки с большим вниманием читают бойцы, особенно новички. Стойкость их усиливается. Среди немцев распространился даже слух о «стальной стене» на Волге. А эта стальная стена, остановившая злобные силы, — мужество воинов, сражающихся

За Родину. За Клетскую,
За власть Советскую!

В то же время газета стремится оберегать бойцов от безрассудства, от лихачества, учит беречь свою жизнь...

Надо быть храбрым, но осмотрительным...

* * *

Лейтенант Воронов сидел на ящике и простым карандашом дописывал на полосках бумаги срочную корреспонденцию в номер, когда вдруг запищал зуммер. Лейтенант взял трубку:

— Воронов слушает...

С КП дивизии звонил редактор. Он сообщил, что в район вокзала просочились эсэсовцы и туда брошены наши пулеметчики. «Возьмите оттуда материал. Напечатаем на самом видном месте».

И Воронов, кивнув наборщикам: «Счастливого оставаться!» — отправился на задание, в огонь...

...В октябре 1942 года почтальон вручил Ивану Казанцеву письмо из действующей армии. Адрес на конверте был написан незнакомой рукой. Вскрыв конверт, он нашел листки, подписанные политруком Грищенко. Политрук сообщал о том, что Воронов пал в бою смертью храбрых. Вот как это произошло:

«...Взвод Васюты, где находился также и военный корреспондент Воронов, оказался в окружении. Четверо суток,

укрывшись в обломках разрушенного дома, пулеметчики сдерживали бешеный натиск немцев. Фашисты стремились сломить их сопротивление, прорваться к Волге.

В течение дня несколько раз стервятники с крестами на крыльях сбрасывали бомбы на позиции взвода. Кругом щелкали пули. Многие воины ранены, они в бинтах, некоторые уже не могли передвигаться, но не оставляли оружия. Они отбивались огнем, гранатами.

Без сна, без воды и пищи они дрались, как львы. Они образовали вокруг своих позиций зону смерти для фашистов. Воронов не знал усталости, помогал командиру взвода, бил без промаха по атакующим гитлеровцам, следил за тем, чтобы в обороне не образовалась брешь.

Только на пятый день я с группой бойцов пробился к осажденным. Среди руин мы застали в живых лишь командира взвода Васюту. Он был ранен в голову и руку. Здесь же нашли убитого Воронова. Он лежал у пулемета, припав головой к окровавленной земле. Часы на его руке еще шли. На подступах к позициям горсточки храбрецов застыли груды уничтоженной техники врага, валялись трупы гитлеровцев. Их сразил шквал смертоносного огня обороняющихся.

Из левого кармана гимнастерки Воронова мы взяли пробитый осколком и залитый кровью комсомольский билет. В планшете вместе с другими бумагами лежал блокнот, ваш адрес, товарищ Казанцев, неотправленная корреспонденция о подвигах бойцов взвода...

Политрук Грищенко».

* *
*

Спустя год пограничник Иван Казанцев отправил всю эту переписку в булаевскую районную газету «Путь Ильича», где она и была напечатана.

Газета, в которой работал журналист Воронов, писала о нем: «Настанет время, когда о таких людях, как Константин Воронов, будут слагать песни, напишут книги. Отважный воин, человек с неповторимо красивой душой, не пожалел своей крови и самой жизни для защиты любимой Родины. Пусть расцветает Советская земля, пусть восторжествует Победа! Народ всегда будет с гордостью произносить имена своих славных сыновей, людей великих и простых».

ПЕСНЯ О ВЕСЕЛОМ РЕПОРТЕРЕ



Оружием обвешан,
Подкиравшись по тропе,
Неукротим и бешен
Он штурмом взял ка-пе.
Был комиссарский ужин
Им съеден до конца.
Полковник был разбужен
И побледнел с лица.
 Но вышли без задержки
 Наутро, как всегда,
 «Известия», и «Правда»,
 И «Красная звезда».
О взятии плацдарма,
Что только в полдень пал,
Он раньше командарма
Еще с утра узнал.
Во избежанье спора
Напоен был пилот,
У генерал-майора
Был угнан самолет.

Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная звезда».
В блокноте есть три факта,
Что потрясут весь свет,
Но у «бодо» контакта
Всю ночь с Москвою нет;
Он, чтобы в путь неблизкий
Отправить этот факт,
Всю ночь с телеграфисткой
Налаживал контакт.

Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная звезда».
Под Куплянском, в июле,
В полынь, в степной простор
Упал, сраженный пулей,
Веселый репортер.
Блокнот и «лейку» друга
В Москву, давась от слез,
Его товарищ с юга
Редактору привез.

Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная звезда».

1942 год

Эта песня написана Константином Симоновым вместе с Алексеем Сурковым. Пелась она на мотив «Шестнадцать негритят...».

**Умираем? Нет, не умираем —
порохом идем в тебя, земля!**

Николай Асеев



Константин Лапин

ЗЕМЛЯ, ЧАСТИЦЕЙ КОТОРОЙ ТЫ СТАЛ...



Определить точное место падения самолета удастся не сразу: с той поры минуло двадцать лет. Но определить его необходимо и потому, что останки погибших решили захоронить в поселковом сквере, и потому, что это нужно вдове и сыну военного корреспондента «Комсомольской правды» писателя Ивана Меньшикова.

Евгения Дмитриевна Игнатовская, учительница Лельчицкой средней школы, пригласившая родственников погибшего и меня, друга и коллегу Меньшикова, на митинг, посвященный траурной дате, то и дело высматривает из быстро мчащегося по проселку газика. Она высматривает две сосны, запомнившиеся ей когда-то. Между ними и вспыхнул огненный костер 28 апреля 1943 года.

Идем напрямик по мягкой пахоте, обрастая провожатыми. У края поля перед маленьким озерком седой колхозник уверенно говорит: «Здесь!» И другие, более молодые подтверждают: «Да, да, именно здесь!» Еще года три назад при пахоте земля на этом месте казалась рыжей, словно выгоревшей.

Опустила припухшие глаза невысокая, лет пятидесяти с небольшим Полина Михайловна Меньшикова, библиотекарь издательства «Советский писатель». Внимательно оглядывает все вокруг ее 23-летний сын, автоматчик 2-го Московского часового завода, молодой коммунист Михаил Меньшиков. На синеватом фоне леса видны крыши трех деревень — какая из них названа именем его отца? Вон та, дальняя. Бывшие Чияны.

Колхозники, перебивая друг друга, вспоминают подробности катастрофы. Те, что постарше, сами были партизанами, те, что помоложе, — детьми, но все они, жители партизанского Полесья, знали, зачем в поле в условный час разжигают сигнальные костры. В тот апрельский вечер с Большой земли летел тяжелый самолет. «Дуглас» вынырнул из-за леса неожиданно, на небольшой высоте. Мотор тянул натужно. Быть может, машина была подбита при переходе линии фронта или неполадка произошла при снижении, только над местом посадки самолет снова взмыл вверх, затем, пылая, рухнул на землю. Люди бежали к нему с баграми, но нельзя было подойти близко: горели баки с горючим, рвалась взрывчатка...

В школьном уголке памяти Ивана Николаевича Меньшикова заботливо собраны фотографии писателя и членов его семьи, фотокопии рукописей, воспоминания и книги его друзей-литераторов. Но ни одной частицы погибшего самолета там нет. Двадцать лет — срок немалый, но неужели совсем ничего не осталось?

— Осталось! — говорит молчавший доселе пожилой колхозник из деревни Залесье. — У меня дома есть кусок не то крыла, не то хвоста того летака.

Минут через двадцать наш газик останавливается у крайней избы. Фома Трофимович Бутько, искагавший в годы первой мировой войны Сахару в составе Иностранного легиона, воевавший в дни Великой Отечественной, не постариковски бойко забирается по стремянке на чердак. И вот мы разглядываем алюминиевые закрылки самолета, на котором летел Ваня Меньшиков с товарищами. Самолета, на который не взяли меня...

— Двух корреспондентов сразу не возьму, возьму того, который весит меньше, — шутил руководитель группы, летевший в тыл врага, заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВЛКСМ Иван Артемьевич Задорожный. — У меня есть и другой груз.

Напрасно мы с Меньшиковым доказывали, что подружился еще в довоенном литобъединении при журнале «Смена», где печатались первые наши рассказы, что мы надумали вместе писать пьесу о партизанах. Задорожный знал: нужно взять радистку, опытного наборщика и других специалистов, погрузить типографское оборудование для выпуска партизанской «Комсомолки», бумагу, спецгруз...

Мне пришлось впервые проехать по этим белорусским лесам несколько позже, летом того же года, когда части нашего славного Брянского фронта, прорвав оборону врага на реке Зуше, освободили Орел, Брянск, Новозыбков, Почеп, Унечу... И вот я ехал здесь снова, через двадцать лет. Ночью за окнами поезда мелькали знакомые еще по войне названия станций. От Гомеля было проще и быстрее, всего за какой-нибудь час, долететь до Лельчиц рейсовым самолетом. Но, честное слово, стоило снова трястись на райкомовском газике по лесным дорогам (несравнимым с теми, военными, выматывающими душу!), вспоминать прошедшие годы, разглядывать проносившийся по сторонам знакомый и в то же время незнакомый пейзаж.

Каменные здания на месте былых развалин. Распаханные пашни там, где тянулись вековые полесские болота. Антенны телевизоров на крышах домов рядом с таким традиционным для Белоруссии гнездом аиста... Как же выглядят Лельчицы, небольшой районный поселок, бывший в годы войны грозной базой партизан Полесья?

Нет решительно ни одной книги о партизанах Отечественной войны, в которой бы не встретились Лельчицы. Перед самой поездкой я листал книгу воспоминаний своего друга военного корреспондента «Правды» Л. Коробова и сразу наткнулся на знакомое название. Прибывший с Большой земли журналист спросил у генерала Ковпака, который крутил свою знаменитую сигарку, кто снабжает партизан такой отменной махоркой?

— Мы армия без интендантства, — не без гордости ответил тот, — берем у Гитлера. Что навоевал, тем и живи. Вот эта махорка из Лельчиц.

И, улыбнувшись приятным воспоминаниям, «дед» рассказал, как организованным наступлением, с минометами и артиллерией, партизаны разгромили вражеский гарнизон в Лельчицах. Пятьсот оккупантов нашли здесь свой бесславный конец, победителям достались богатые трофеи, военная техника, склады провианта и амуниции...

Ночью въезжаем на ярко освещенную улицу поселка, возродившегося буквально из пепла: при отступлении гитлеровцы сожгли и разрушили его дотла, в отместку за партизанские налеты. На главной улице двухэтажные каменные здания, две школы, большой клуб, гостиница, столовая-автомат, которая отличается от иной городской разве лишь тем, что здесь готовят по-домашнему вкусно да приветливей улыбки персонала.

Директор Лельчицкой школы Семен Игнатьевич Мелешко, большой энтузиаст своего дела, гордится тем, что в Гомельской области их школа единственная, где занятия идут в одну смену. А ведь у них около 700 учащихся, ребята приходят учиться из 17 окрестных сел и деревень.

Уголкем памяти И. Н. Меньшикова директор не совсем доволен. Если бы было большее помещение — сделали бы настоящий музей. Есть ценные экспонаты, например бюст писателя, любовно изваянный белорусским скульптором Евгением Санько, серия зарисовок, посвященных памяти Меньшикова, работы Дмитрия Маслова — основателя уголка, ныне студента художественного училища в Минске. Воспоминания о Меньшикове написали для музея К. Симонов, Ю. Нагибин, Л. Жариков и другие писатели. Некоторые литераторы прислали и свои книжки с автографами. В школьной библиотеке уже собралось более 5 тысяч томов, число их все время растет.

Торжественный траурный кортеж к памятнику погибших товарищей, возложение венков на могилу от Союза писателей СССР, от коллектива «Комсомольской правды», от школьников Лельчиц, от родных погибшего писателя — все это глубоко запало в душу. Но, может быть, больше всего тронул меня, да и не только меня, торжественный вечер, посвященный памяти Ивана Меньшикова. Он состоялся субботним вечером в поселковом клубе, том самом, чей каменный остов — единственный — уцелел после войны.

Школьницы-старшеклассницы исполняли народные песни, девушка-комсомолка прочла рассказ Меньшикова «Наш собственный корреспондент». Паренек из далекого ненецкого стойбища Тэбко мечтает об учебе, как птица о полете. Он приходит в редакцию, где работают русские товарищи, сначала вертит колесо печатной машины, а затем, научившись грамоте, пишет первую в жизни разоблачительную заметку о своем бывшем хозяине, кулаке-оленоводе.

Я помню, как Ваня Меньшиков еще до войны мечтал на-

писать пьесу, но, всегда занятый работой, казавшейся более срочной, газетными заданиями, отодвигал ее на «потом». И вот в лельчицком клубе я впервые вижу эту пьесу, вернее, инсценировку, сделанную по повести «Друзья из далекого стойбища» преподавателем литературы Григорием Федоровичем Кустовым и сыгранную педагогами школы. Вместе со зрителями мы, гости, хохочем, когда бородатый шаман начинает выделявать замысловатые коленца, совершая «танец духов» над больной женщиной, аплодируем, когда русская «учителька» поднимает пистолет на убийцу-шамана.

Ваня Меньшиков не дожил даже до 30 лет, а сколько успел объездить, узнать, сделать!

Меньше десяти лет работал Меньшиков в большевистской печати, но как работал! Уралец родом, влюбленный в север, он заинтересовался жизнью маленького ненецкого народа и поехал в тундру — не в творческую командировку, а на постоянную работу, по путевке комсомола. Тысячи километров проделал он на легких нартах вместе с каюрами, голодал и мерз, болел цингой. И «открыл» для читателей целый новый народ, о котором до Меньшикова никто по-настоящему не писал.

Перед самой войной на первый солидный гонорар за свою первую книжку он купил избу в деревне Вертошино Московской области. Не для того чтобы зажить здесь с семьей дачником, а чтобы лучше, ближе узнать современную деревню, написать правдивую книгу о колхозе. А для этого он хотел стать «своим» человеком в деревне, посещать колхозные сходы, жить одними заботами с народом.

Помнится, перед вылетом к партизанам Ваня жаловался мне: не успел вскопать огород. Дело не только в том, чтобы обеспечить семью картофелем, — ему хотелось испробовать новый сорт, «скороспелку».

— Ты не представляешь, старина, что там за земля, в Вертошине, — говорил он мне с восторгом. — Как писал Чехов: воткнешь оглоблю — вырастет тарантас...

Меньшиков написал несколько военных очерков и рассказов для «Комсомольской правды» и был недоволен ими. И вот теперь он летит к партизанам, будет жить и бороться вместе со своими героями. Он ведь летит по зову партии, кандидатом в члены которой только что стал, летит по зову беспокойного сердца журналиста

Мы простились — простились навсегда! — по дороге из комбината «Правда» на станцию метро.

— До встречи на Большой земле! — весело сказал Ваня, протянув мне руку, а ногой по неистребимой мальчишеской привычке незаметно поддал мне сзади. Так мы «прощались» когда-то, возвращаясь с шумных литвечеров в «Смене». Таким молодым, восторженным, верящим в жизнь запомнился он мне весной 1943 года.

В далеком селе под Челябинском Ваню Меньшикова считают своим, здесь он родился, здесь живут его старики родители.

В северной тундре до сих пор рассказывают легенды о русском Ване-журналисте, «нашем Ване».

Своим считаем Ивана Николаевича Меньшикова мы, московские литераторы и журналисты. Его имя вычеканено на мраморных досках в Союзе писателей и в Союзе журналистов, в длинных списках павших на войне корреспондентов.

Но, быть может, больше, чем где-либо, он «свой» в Полесье, ибо вместе с товарищами по оружию он навечно стал частицей свободной белорусской земли.

1963 год.

Григорий Тертышник

ТРОПА ДО БЕРЛИНА



Все дальше и дальше уходят в прошлое суровые годы войны. Земля, обласканная щедрым солнцем, вновь радуется глаз буйным цветением. Время, как терпеливый врач-исцелитель, зарубцевало кровавые раны, смягчило боль, притупило остроту трагических переживаний. И все же у нас, участников войны, навсегда останутся в сердце метки, стереть которые не дано никакой силе. Время беспомощно перед памятью людской, запечатлевшей все, что было на войне.

А было там всякое: победы и поражения, горечь и радость, храбрость и трусость, верность и предательство, слабость души и потрясающая сила духа. Но, пожалуй, самым обыденным и всегда неожиданным было одно: смерть. Она вырывала свои жертвы из рядов живых без разбора, без спроса: ударил снаряд, упала бомба, прострочила воздух пулеметная очередь — и нет человека, товарища, друга...

Только тот, кто был на фронте, знает, что такое потеря близких, с которыми ел солдатскую кашу из одного котелка и хлебал горе из одной чаши.

Рядом, локоть к локтю, прошли мы, куйбышевские журналисты, самый трудный путь первых лет войны, оставив на нем наши первые жертвы — Александра Макарова, Леонида Кацнельсона. Не героев штыковых схваток, а скромных тружеников пера.

Нам их не забыть.

Словно живые, стоят они и сейчас перед глазами, и кажется — не было той страшной, роковой минуты, когда их вдруг не стало среди нас, когда война навсегда сделала две кровоточащие насечки на наших сердцах.

Вот Саша Макаров... Коренастый, среднего роста, немного скуластый, смуглый, с узкой прорезью живых калмыцких глаз, то печальных и задумчивых, то сверкающих и неудержимо озорных. Добрая, по-детски чистая, искренняя улыбка, порой на мгновение озарявшая его лицо, тут же сменялась глубокой, какой-то «есенинской грустью», и все мы догадывались, знали: клокочет, мечется, обливается кровью мятежная душа Саши, потрясенная неизмеримым горем, обрушившимся на нашу Родину, на «Русь святую», как любил он с сыновней преданностью называть этими архаичными словами новую, Советскую Россию.

Пожалуй, никто из нас так остро, так мучительно не воспринял войну, как воспринял ее впечатлительный Макаров. Трагедия Отечества сразу стала его личной трагедией. А длительное, тяжелое отступление минутами чудилось ему кошмаром, «последним днем Помпеи».

— Невероятно!..

— Немыслимо!..

— Не может этого быть!..

В подобные минуты трудно было узнать в нем того добровольца Макарова, который, собираясь на фронт, в кругу товарищей, в здании окружной военной газеты «Красноармеец», торжественно, как клятву, произнес вдохновенные строки Рылеева:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан...

Но проходили минуты душевной слабости, и наш Саша как бы перерождался: он становился солдатом, мужество брало в нем верх, надежды побеждали сомнения.

Его ранило на маленькой речушке Проне, когда мы, небольшой коллектив армейской газеты «Боевой натиск», поспешно выгрузившись на станции Орша, на редакционных

машинах добирались до фронта. Едва успела выкатиться наша колонна на земляную дамбу, перегородившую Проню, как над нами невесть откуда появились брюхатые «юнкерсы». Цель для тяжелых бомбовозов, казалось, была прямо-таки пустяковая, тем не менее они медленно развернулись и, снизившись, сбросили свой груз. Бомбы разных калибров, с нарастающим воем просверлив воздух, накрыли левый берег чуть пониже дамбы. На их громовые разрывы тяжким стоном отозвалась земля. Лихорадочно вздрогнула дремавшая речушка, к небу взметнулись столбы пыли и дыма. Потянуло едким запахом сгоревшего тротила.

Вначале мы разбежались кто куда, подальше от машин, от дамбы, а когда кончилась бомбежка — собрались на дороге и, как ошалелые, с неестественными улыбками, молча смотрели друг на друга, не зная, что говорить. Наконец, опомнившись, кто-то из нас промолвил:

— Итак, фрицы представились. Знакомство началось. Но ввиду отсутствия идентичности взглядов стороны прервали встречу на неопределенное время...

Уместная или неуместная, эта шутливая тирада в стиле Остапа Бендера сняла оторопь. Мы несколько пришли в себя.

— Меня, знаете, как щепку, подбросило взрывной волной, — начал было делиться своими ощущениями оптимист Саша Астафьев, искусный газетный репортер, но тут же осекся.

К нам подошел редактор — Петр Прокофьевич Яхлаков. Бледный, взволнованный, он озабоченно спросил, все ли живы, нет ли потерь.

— Команда словобобов, товарищ батальонный комиссар, осталась невредимой, — браво отрапортовал писатель Иван Григорьевич Горюнов, воспользовавшись правом старшего по возрасту среди нас.

Яхлаков скупно улыбнулся:

— Что ж, можете считать этот эпизод началом нашего боевого крещения. Но это еще только цветики, ягодки — впереди...

Никто из нас не подозревал, что молча стоявший рядом с нами Макаров ранен. Он не жаловался, не говорил об этом. И только когда мы увидели, что у него на пояснице сквозь гимнастерку просачивается кровь, он сказал:

— Не обращайтесь внимания, друзья. Сущий пустяк — чуть царапнуло.

Между тем, как оказалось, рана была серьезная и коварная: осколок бомбы засел в опасном соседстве с позвоночником.

— Вам, Макаров, надо в госпиталь,— не приказал, а дружески посоветовал редактор.— И немедленно. Этим шутить нельзя.

Макаров тревожно взглянул на Яхлакова:

— Нет, Петр Прокофьевич, не нужен он мне, ваш госпиталь. Война только начинается, я еще ничего не сделал, даже пороку как следует не понюхал — и вдруг госпиталь! К тому же ранение ерундовое. Хожу, дышу, вижу, сердце бьется — чего же больше? Воевать надо!..

Ни советы редактора, ни уговоры друзей не помогли: Макаров остался с нами, хотя уже и прихрамывал.

Позже, когда мы попадали в опасные переpleты, когда выходили из окружения, он, счастливый тем, что находился среди своих, куйбышевцев, чистосердечно и горячо признавался:

— Без вас, побратимы, меня бы тоска заела. А вот так, с вами, и умереть не страшно. Но прежде чем умру, я должен отквитать фашистской сволочи. Не за себя — за Русь.

Слово «Россия» не сходило с его уст. Он часто декламировал:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать:
В Россию можно только верить.

Один из первых своих очерков, посвященных кровопролитным оборонительным боям, уже на подступах к Днепру, он назвал так: «И смертью смерть поправ...» Работал над ним самозабвенно, вкладывая в него всю страсть, всю силу своей души, и, когда закончил, дал нам прочитать в рукописи.

Очерк, действительно, был написан кровью сердца. В нем чувствовался накал испепеляющей ненависти к врагу, подло и вероломно напавшему на нашу страну. Герои очерка выглядели такими, какими были на самом деле в те дни наиболее храбрые воины,— подвижниками. И все же мы посоветовали другу не давать его в газету.

— Почему? — удивился Макаров.

Постарались объяснить ему, что при всей достоверности художественных деталей, при всей правдивости описанного

эпизода — бойцы, израсходовав патроны, взрывают себя гранатами, чтобы не попасть живыми в руки фашистов, — очерк «Смертью смерть поправ...» содержит нежелательный психологический заряд: он вызовет в душе читателей не порыв к подвигу, а страх перед силой врага.

— Видишь ли, Саша, в чем твой главный авторский промах, — резюмировал наши замечания Борис Мясников. — Ты дал очерку не ту эмоциональную окраску. Обреченностью веет от него. Трагизм трагизмом, но ведь нам вера нужна... Вера в то, что, как бы ни было трудно и горько сейчас, народ наш не падет на колени перед Гитлером, сломает ему хребтину. Подумай, пошевели мозгами...

Не сказав ни слова, Макаров взял рукопись и с яростью разорвал ее на клочки. А на другой день он сдал новый вариант очерка — блестящий, написанный той же опытной рукой, с той же страстью, но проникнутый совершенно иным духом — духом беззаветного мужества и героизма, подымавшим на великую битву за землю родную. Этот вариант и был опубликован в газете как «гвоздь номера», под названием, кажется, «Пока бьется сердце», точно не припомню.

На фронте некогда было «вынашивать», «шлифовать» материалы. Вихревой темп войны требовал от нас, газетчиков, прежде всего необыкновенной оперативности. Саша Макаров не обладал этим качеством — у него выработалась другая привычка: медленно и тщательно пропускать через густое решето целые вороха слов, чтобы отобрать из них самые нужные, сильные, точные, «кондиционные», как он говорил. Жалуясь на то, что он никак не может изменить своей привычке, переключиться на «пулеметный стиль», Макаров тем не менее писал сравнительно быстро, хотя и был «посажен» на такие жанры, как очерк, рассказ, зарисовка, которые требовали значительно больше времени и творческих усилий, чем, скажем, информационная заметка, корреспонденция, статья. В его задачу входило украшать газету художественным словом.

— Бойких журналистов у нас полно, а вот настоящих очеркистов кот наплакал: ты да Горюнов, — говорил редактор Макарову. — Вот и давайте мне только солидные вещи, от «мелочи» освобождаю вас. В стихах недостатка нет — Леня Кацнельсон превратил свою музу в настоящий «поэтический конвейер». Молодец он! Покрепче нажимайте и вы, газетные прозаики.

Говорилось это так, для порядка, ибо Макарова нечего было понукать. Саша ездил в сражающиеся части и, возвращаясь оттуда, из огненного пекла, с «горячими» фактами и непосредственными впечатлениями, создавал волнующие очерки, рассказы-были.

Всем нам запомнился превосходный рассказ Макарова «Первый» — гимн мужеству простой русской женщины-патриотки, своими руками убившей первого гитлеровца, попавшегося ей на глаза. Нет надобности подробно пересказывать содержание этого рассказа. Отмечу лишь, что образ героини, вдохновенно выписанный автором, воспринимался как символ бесстрашия и беззаветной любви к Советской Родине.

— Заметили вы, — спрашивал редактор, — как написан рассказ Макарова? Ни одной напыщенной фразы, ни одного кудрявого словечка! Все в нем необычайно просто, как проста разговорная русская речь. В этом — сила и прелесть рассказа. Учитесь, любители звонкой риторики и оглушающего пафоса!

Это было лучшей похвалой Макарову.

Когда мы очутились в окружении — а это было, пожалуй, самое трудное испытание за всю войну, — Макаров вел себя как настоящий солдат, готовый в любую минуту вступить в неравную схватку с врагом.

Мы шли на восток ночами, ориентируясь по звездам. Шли с оружием. У каждого — винтовка, наган, а у некоторых еще и гранаты. Макаров нес ручной пулемет. Голодный, изможденный, он еле двигался. Горюнов предложил нести пулемет поочередно. Мы согласились, но Макаров отказался наотрез.

— Всякому — свое, — обиделся он. — Чего пристали? Я же сказал: первая пулеметная очередь по фашистам — за мной.

Подошли к дороге, по которой двигались танки Гудериана. Темень — хоть глаз выколи. Залегли в бурьяне. Шагах в пятидесяти от нас — немецкий регулировщик. Световыми сигналами карманного фонарика он то и дело указывает громыхающим мимо него танкам направление движения.

— Полоснуть? — тихо спрашивает Макаров товарищей.

— Не дури, — спокойно одергивает его Горюнов. — Танки в порошок нас сотрут. Скажи спасибо, что темно. Не нашей братии с ними тягаться.

Макаров тяжело вздохнул. Бронированная армада с оглушительным ревом проносилась мимо.

На несколько минут дорога опустела, и мы по команде Горюнова, получившего боевую закалку еще в годы гражданской войны, начали перебежку. А к рассвету укрылись в лесах...

Каким-то чудом коллектив нашей редакции вышел невредимым из огненного кольца. Мы не потеряли ни одного человека. Даже работники штаба армии, разгромленной и рассеянной, диву давались, как это, мол, газетчики, люди штатские, избежали гибели.

В редакции армейской газеты Макаров продолжал работать и после выхода из окружения. Писал он дни и ночи, в любых условиях. Но его физические силы заметно таяли: рана, полученная на Проне, исподволь подтачивала здоровье, все настойчивее напоминала о себе. Макаров сильно похудел, лицо стало восковым, глаза поблекли. Но о госпитале он и слышать не хотел. Его упорство было поразительным.

Однако всякое упорство имеет предел. Когда Александр Дмитриевич Макаров, сгорбленный, поникший, не мог уже ходить без помощи палки, он понял: госпитальной койки не миновать! И сдался.

Уезжая от нас, сказал на прощание:

— Ждите, друзья. Я вернусь. Обязательно вернусь! До Берлина и я должен проложить свою тропу...

Мы не дождались его. Он скончался в одном из госпиталей Астрахани.



А вот другая невосполнимая потеря — Леонид Кацнельсон, или просто Ленька Кацо, как мы добродушно называли его на фронте. Говорить о нем и легче и вместе с тем труднее, чем о Макарове. Легче потому, что он был ясен и прост, без той душевной усложненности, которой отличался Макаров. Труднее потому, что его творческий диапазон был несравненно шире: он писал стихи и очерки, фельетоны и памфлеты, зарисовки и статьи, информационные заметки и корреспонденции. Словом, он поистине был кладом для газеты.

Человек завидной трудоспособности, многообещающего дарования и доброго, отзывчивого сердца, Леонид Михайлович Кацнельсон работал как вол, никогда не уставая и никогда ни на что не жалуясь. Его маленькие, испещренные бисерным почерком самодельные карманные блокноты,

которые он так часто менял, обычно содержали уйму бесценного материала. Там было все: события и люди, эпизоды и факты, яркие детали и меткие словечки, лаконичные диалоги и «заготовки» рифм.

Нередко случалось так. Секретарь редакции уже смакетировал очередной номер газеты, подал редактору на утверждение, а тот, просмотрев, начинает молча почесывать затылок, что означало: чего-то не хватает, что-то надо заменить. Секретарь, тоже молча, кладет перед ним папку «загона» с надеждой, что Яхлаков отыщет в ней желаемое, до зарезу нужное. Но вот папка тщательно «процежена», и редактор морщится, а рука его снова машинально тянется к затылку.

— Больше ничего нет, Петр Прокофьевич,— вздыхает секретарь.

— Вижу, что нет,— соглашается Яхлаков и тут же, повеселев, приказывает: — Кацнельсона ко мне, живо!

Через несколько минут появляется наш Ленька Кацо, готовый, как всегда, заткнуть любую «брешь» в макете.

— Вот что, дорогой, садись и пиши,— велит редактор.— Стихи, Швейка или сатиру на Геббельса... В номер нужно добавить толику поэзии, юмора или перчику.

— Ясно,— отвечает Кацнельсон и уходит куда-нибудь в сторонку «эксплуатировать» свое вдохновение, чтобы через два-три часа принести редактору «стихи, Швейка или сатиру на Геббельса».

Кстати, о Швейке. С этим неумирающим литературным героем Ярослава Гашека, появившимся на страницах «Боевого натиска» в новом обличье с легкой руки Кацнельсона, связано много презабавных воспоминаний. Однако было и злоключение, которое едва не завершилось отнюдь не смешным концом.

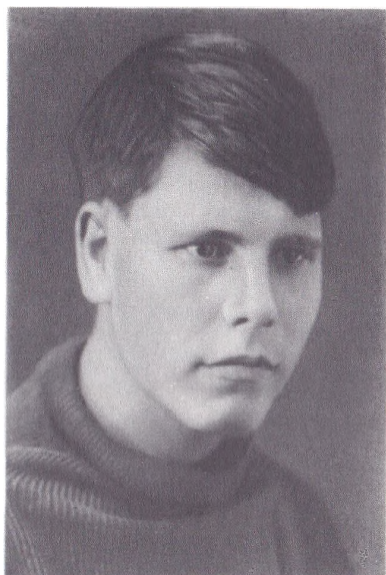
Как была дана «вторая жизнь» bravому солдату Швейку?

Однажды получили мы из Главпура «прессовку», предназначенную для перепечатки в красноармейских газетах,— «Новые похождения braveго солдата Швейка». Обрадовались, но, прочитав, приуныли. Никто не засмеялся. Скучно было написано. Даже жалко стало обедненного Швейка.

— Это не Швейк, а какой-то дурак,— заметил редактор.— Нам бы настоящего Швейка,— добавил он с улыбкой,— такого, чтобы, черт возьми, гомерический хохот вызывал у солдат.

Желание редактора всем нам было понятно. В то невероятно тяжелое время мучительные раздумья и тревожения

**Иван Меньшиков... Он обла-
дал острым, пытливым взглядом**



**Хорошей фотографии Але-
ксандра Макарова у нас нет. Но
сохранился рисунок, сделанный
художником Е. Альбокриновым**





В первом издании этой книги не было фотографии Леонида Кацнельсона, а был помещен рисунок, сделанный с очень маленького группового снимка. Теперь мы располагаем хорошим снимком. Вот каким был Леонид



Александр Мацевич. Он погиб на подводной лодке



**Капитан Николай Маркевич. 16 февраля 1943 года ему
была вручена медаль «За отвагу»**



Погиб корреспондент...
Товарищи развязали веще-
вой мешок Маркевича и
среди немудрящего поход-
ного имущества нашли вот
это: Ириша. Снимок делал
сам папа. Тогда еще не
было войны

Самое дорогое письмо на фронт

А теперь Ириша — уже Ирина
Николаевна. И ее дочь Оля очень
любит рассматривать фотографию
мамы, «когда она была маленькой».
Ведь эту карточку сделал Олин де-
душка — Николай Маркевич!

ДОРОГОЙ МОЙ ПАП
ОУКА ШАМ ТЕБЕ
БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ
ПРИВЕТ ТВОИМ
ТОВАРИЩАМ
И ТВОЯ ИРИ
ША
17/142 Г.

не покидали бойцов. Что могло вселить бодрость в их души, изменить их подавленное настроение? Только крутые перемены на фронте в пользу нашей армии. Но, увы, таких перемен тогда еще не было. Ожесточенно обороняясь, истекая кровью, наши войска отступали. Нужно ли говорить, что значили в то время для солдата остроумная шутка, веселая побаска, уничтожающая ирония, метко сказанное слово?

— Солдату смех нужен, как патроны, хлеб и махорка, — заметил Яхлаков.

Кацнельсон сидел молча и, почесывая огрызком карандаша висок, о чем-то думал. Потом вдруг оживился и, обращаясь к редактору, сказал:

— Петр Прокофьевич, есть у меня идея: выпустить на страницы нашей газеты своего Швейка — Швейка этой войны. Попытка — не пытка, провал — не беда. Заранее извинимся перед покойным Ярославом Гашеком за то, что мы продолжим похождения его героя...

— Что ж, отважьтесь, — не совсем уверенно согласился редактор. — Было бы здорово, но хватит ли у вас пороху?

Оказалось, что пороху у Леонида хватило. Прошло два дня, и на второй странице «Боевого натиска» появилось начало не то повести, не то романа под названием «Швейк на Восточном фронте». Художник В. Ключев нарисовал хороший заголовок, вмонтировав в него презабавную, смешную физиономию бравого солдата, с хитроватым прищуром глаз и добродушно-иронической ухмылкой.

Читая эту первую главу, мы смеялись от всей души. Швейк нам понравился. Редактор побрякивал, удовлетворенно потирая руки.

— Это то, что надо, — похвалил он Кацнельсона и Федора Ведина, в творческом содружестве с которым работал Леонид.

В ротах и батальонах воскрешенного Швейка встретили с живейшим интересом: как неутомимого балагура-весельчака, умного чеха, насильно мобилизованного Гитлером и отправленного на Восточный фронт. Ловко прикидываясь простачком, Швейк обводил вокруг пальца фашистских офицеров, втайне стараясь попасть в плен к русским.

«Боевой натиск» читался солдатами нарасхват. В каждом номере или через номер они находили все новые и новые проказы и похождения Швейка, а когда случались по каким-либо причинам длительные перерывы, спрашивали:

— А почему про Швейка ничего нет?

Авторы — Кацнельсон и Ведин — чувствовали себя на седьмом небе. Они рады были, что своим творчеством приносят пользу воинам, сражавшимся на передовой линии огня.

После Швейка Леонид снова впряг свою музу в нелегкий воз армейской газеты, таща его вместе с товарищами по трудным дорогам войны. Ни одного лишнего дня не засиживался он в редакции. Придет из частей, сдаст материал и опять, получив задание, уезжает на передовую — туда, где решалась судьба войны, судьба Родины.

Смертельно уставший (на передовую и оттуда чаще всего приходилось не ездить, а ходить пешком), обросший щетиной, но всегда неутомимый и веселый, возвращался он в редакцию, обогащенный новыми впечатлениями, переживаниями, мыслями. Леонид привозил и сырой и уже готовый материал, особенно стихи о героях войны, которые сочинял на ходу. Эти стихи, тоже с ходу, шли в газету, украшая первую или вторую страничку. А на другой день сдавал очерк или зарисовку, статью с подробным разбором боя или целую полосу из солдатских заметок. Тут же успевал он писать и острые стихотворные текстовки под карикатурами художника В. Клюжева.

Украинский писатель Алексей Полторацкий, некоторое время работавший в «Боевом натиске», и Алексей Сурков, с месяц находившийся в нашей армии, не только высоко оценивали боевую поэзию Леонида Кацнельсона, но и поражались его плодовитости:

— Это удивительная находка для редакции.

Что верно, то верно: Леонид был именно находкой, редкой и неоценимой.

Без него трудно было представить и наш коллектив, и нашу газету.

Припоминается такой случай — не исключительный, а из множества обыкновенных, будничных.

Июль 1942 года. Части нашей вновь пополненной 21-й армии (позже 6-й гвардейской) после длительного отступления остановились на берегах Дона. Они заняли оборону между городом Серафимовичем и станицей Клетской. Здесь надо было или умереть, или выстоять. Отходить больше некуда: позади Волга.

Почти все мы, за исключением редактора и секретаря, разъехались по частям. Обстановка на фронте сложилась критическая, и мы, попав в пекло сражений, не могли к на-

значенному сроку возвратиться в редакцию, расположившуюся в станице Арчадинской. Газета буквально задыхалась без материала. И вдруг, словно спаситель, первым появляется Леонид Кацнельсон. На кого он был похож — не стоит описывать.

— Выручай, газета в цейтноте! — умоляющим тоном встретил его секретарь. — Докладывай, брат, что привез, и немедленно пиши.

— В сегодняшний номер? — уточнил ко всему привыкший Леонид.

— Да, да, вот именно в сегодняшний! К пяти часам я должен сдать в набор.

Кацнельсону это было не в диковинку. Он умел писать. А к указанному часу принес секретарю две или три авторские статьи, несколько информационных заметок и свое стихотворение.

21 июля 1942 года «Боевой натиск» вышел в свет с содержательными авторскими материалами, привезенными Кацнельсоном, и большим стихотворением, которое было помещено на первой полосе. В нем поэт-журналист страстно призывал воинов отстаивать тихий Дон до последней капли крови, до последнего удара сердца:

Товарищ, мы стали у тихого Дона
Живой человеческой стеной.
Кубанские степи за нашим кордоном,
Сады молодые в убранстве зеленом
И Волга за нашей спиной...
Товарищ, настала минута такая:
Умри, но не дрогни и стой!

Кто знает, может быть, этот пламенный призыв дошел и до тех шестнадцати героев-гвардейцев, которые через два дня во главе с нашим земляком-куйбышевцем младшим лейтенантом Кочетковым совершили на берегах Дона свой бессмертный подвиг: обороняя высоту, они погибли все до единого в неравной схватке с фашистскими танками, но с занимаемого рубежа не отступили ни на шаг. Об этом подвиге узнала потом вся страна, о нем сообщалось в сводке Совинформбюро, о нем писала «Правда».

Кацнельсон мог гордиться: в кармане у Кочеткова вместе с комсомольским билетом была обнаружена и вырезка с его стихотворением. Кочетков поступил так, как сказано в последней строке стихотворения: «Умри, но не дрогни и стой!»

И сам Кацнельсон погиб так же геройски, как погиб Кочетков: назначенный редактором дивизионной газеты, он пал в бою. Это произошло в дни нашего наступления. Как всегда, Леонид был в самом пекле — он все хотел видеть своими глазами.

Ни Саша Макаров, ни Леня Кацнельсон не дошли до фашистской столицы.

Но свою тропу до Берлина проложили и они.

По ней дошли другие. Дошли те, кто остался в живых.

Павел Григорьев

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ВОЙНЫ



В Центральном Доме журналиста на белой мраморной доске золотом высечены имена советских журналистов, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Среди этих славных имен — имя Александра Борисовича Мацевича, корреспондента «Красного флота». Кто из военных журналистов, работавших в годы войны на флоте, не помнит политрука Сашу Мацевича! Это был бесстрашный, исключительно сердечный человек, необычайно оперативный корреспондент.

Мацевич работал корреспондентом на самом правом фланге войны. Он писал горячо, с вдохновением. Саша всегда был там, где особенно трудно, опасно. Под обстрелом и бомбежкой врага он высаживался вместе с десантниками-североморцами у Западной Лицы. Его видели на эскадренном миноносце «Гремящий», который выходил на обстрел берега, занятого фашистами. А сколько раз он летал на самолетах, бомбивших вражеский передний край и далекий тыл!

Вспоминается такой случай. Во время напряженных боев на севере летом 1942 года много было работы у наших летчиков-торпедоносцев. Они уходили в открытое море и там, на караванных путях, настигали вражеские конвои и топили фашистские транспорты. Мацевич не раз писал о летчиках в газету. Но то были небольшие корреспонденции со слов летчиков. А у него созрела мысль написать о торпедоносцах хороший очерк. И Мацевич решил сам испытать, увидеть своими глазами, как наши торпедоносцы топят вражеские корабли.

Договорившись с командиром эскадрильи капитаном Гарбузом, Саша настойчиво стал осваивать специальность стрелка. И вот при очередном вылете большой группы наших торпедоносцев для удара по конвою противника на одном из самолетов у турели пулемета находился журналист Саша Мацевич. Девять часов длился этот трудный полет. В открытом море торпедоносцы настигли вражеский конвой и, прорвавшись сквозь стену огня кораблей охранения, отбиваясь от атак фашистских истребителей, потопили несколько транспортов. А вскоре в газете был напечатан запомнившийся многим читателям очерк Саши Мацевича «Сквозь огонь».

В те трудные дни корреспондент-фронтовик старался в своих статьях и очерках не только пропагандировать, прославлять подвиги североморцев, но и стремился описать военный опыт, боевое мастерство моряков-летчиков, найти что-то новое, интересное. Он писал о летчике-истребителе Борисе Сафонове, впоследствии дважды Герое Советского Союза, о его оригинальных тактических приемах, ставших школой для целого поколения летчиков.

Мацевич был отличным организатором. Это он организовал и помогал готовить статьи о боевом опыте Борису Сафонову, Ивану Колышкину, Сергею Курзенкову, Петру Сгибневу и многим другим героям.

Саша Мацевич всегда находился в гуще жизни, знал многих людей, писал о них. Читателям нравилось его правдивое боевое слово. Его знали многие североморцы, у него было много друзей. В блокнотах с записями военных лет у меня и поныне хранится корреспонденция Петра Сгибнева, прославленного летчика, Героя Советского Союза, двадцатидвухлетнего командира авиационного истребительного полка. Эта корреспонденция называлась «Почему была потеряна инициатива боя». Сгибнев написал ее сразу же после

неудачного боя наших летчиков с фашистскими истребителями, в котором мы потеряли три машины. О доверии и дружеском расположении к корреспонденту говорит небольшая приписка к этому материалу: «Дорогой Саша! Написал все, что мог,—обращать придется тебе. Крепко жму твою руку. Петя».

Подготовив эту корреспонденцию для газеты, Саша Мациевич не смог сам передать ее в редакцию по телефону. Он попросил меня отнести статью на узел связи — в этот вечер он очень спешил на лодку, которой командовал известный на Севере подводник Котельников. Саша уходил в очередной боевой поход. Из этого похода лодка не вернулась. Саша Мациевич погиб, защищая Родину.

Славные традиции корреспондентов-фронтовиков, всегда горевших творческим огнем, должны жить. Пусть их опыт остается на вооружении молодого поколения военных журналистов.

Юрий Жуков
ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо...
В. Маяковский



Жестокая, колючая строка:

При выполнении боевого задания погиб военный корреспондент «Комсомольской правды» капитан Николай Маркевич.

Где-то, у безымянной деревушки, близ Великих Лук, прибавился еще один солдатский могильный холм,— это уже далеко не первая по счету утрата нашего коллектива за двадцать два месяца войны.

Военные корреспонденты пишут о войне и ее героях. Они ежедневно рассказывают десятки поразительных историй, которые очищают душу и питают мозг. Но всегда остаются в тени у своих героев. Может быть, поэтому мы часто забываем спрашивать себя: какой ценой приобрел военный репортер вот эту драгоценную деталь своих наблюдений, чего ему стоило узнать вот этот факт.

Существует старинное классическое правило, которое любил повторять адмирал Макаров: «Пишем, что наблюдаем, чего не наблюдаем, того не пишем». Если бы у корпуса военных корреспондентов был герб, на нем следовало бы

высечь эти слова. Возможно, что и сегодня кое-где, по вторым эшелонам, бродят тени Крикуна, но подлинного военного корреспондента надо искать не в прихожей у командующего, а на командном пункте батальона, в блиндаже, у походного костра.

Передо мною потертая папка. В ней — дневник и записи капитана Маркевича, отнюдь не предназначавшиеся для печатания. Фронтовикам знакома эта печальная ирония судьбы: на войне слишком часто вещи оказываются долговечнее их владельцев. Я перелистываю эти записи, и предо мной раскрывается мир, который обычно остается неизвестным читателю, — большой, трудный и очень неблагоустроенный творческий мир солдата, у которого штык заменен пером.

Читатель помнит, наверное, фотоснимки Николая Маркевича и его лаконичные, но убедительные телеграммы, которыми он шаг за шагом показывал тяжелый путь частей Волховского фронта, пробивавшихся в январе на соединение с ленинградцами. Забыть ли вот этот снимок: у развалин Пятого поселка, на утоптанном снегу, среди разбитых танков и пушек, сжимают друг друга в объятиях ладные, крепкие богатыри в полушубках — волховцы приветствуют ленинградцев.

Это праздник, это пир победы. Но для того чтобы вовремя поспеть на этот праздник, чтобы беспристрастный глазок объектива успел мигнуть вовремя, военному корреспонденту надо было самому пройти через тяжелые будни боя, хотя читателю знать об этом вовсе не обязательно. В дневнике, о котором сам автор мимоходом с печальной усмешкой записал: «Все, что здесь пишу, нужно, пожалуй, только мне», — этот день описан с документальной точностью:

«Свой наблюдательный пункт капитан Поляков устроил впереди полка, в дзоте у дороги. Дорога отходила вправо к роще, из которой поднимались две мачты электролинии, — к рубежу атаки.

Артиллерийская подготовка еще не кончилась, когда танки двумя эшелонами отправились по дороге. Здесь я потерял из виду Полякова. Капитан Пехтерев, заместитель Полякова по политической части, вышел из дзота, поднял лыжную палку и пошел по дороге. Я присоединился к нему.

Очнувшиеся после артобстрела немцы в свою очередь открыли огонь. Мы успели добежать до окопчика, в котором укрылась полковая пушка. Впереди были танки. Они двигались и останавливались.

Мы перебежали в траншею. Огонь приблизился. Мы лежали на дне траншеи. Через несколько минут появилась возможность двигаться. В лощинке мы увидели первый подбитый танк. Вокруг него работал экипаж.

Дуся тащила раненого. Ей трудно было справиться с грузным мужчиной. Я стал помогать ей. Одна мина разорвалась совсем рядом. И я невольно выругался. Дуся сказала: «Ничего, капитан. Ничего! Я сама сегодня четыре раза ругнулась. Это помогает». Когда стал помогать Дусе, сразу сделалось хорошо: занятость в бою — великое дело.

Страшно было на командном пункте полка, куда немцы направили артиллерийский огонь.

Под вечер вернулась Людмила Исаченко. Перчатки, шуба ее были в крови. (Замерзшая кровь не теряет своего алого цвета.)

Позже Людмила была убита: она пошла к поврежденному танку и попала под пулю снайпера.

Дусю ранило осколком в щеку...»

«Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем...»

Военный корреспондент хотел описать бой глазами солдата. Для этого мало поговорить с участником боя. Для этого надо самому быть на его месте, самому хлебнуть горького воздуха атаки,— только тогда на кончик пера придут настоящие слова, искренние чувства и верные образы.

Военный корреспондент живет одной жизнью с бойцами. Он делит с ними все тяготы войны и принимает это как должное: ведь он военнослужащий и на плечах его — погоны. «Трудно. У меня нет даже угла в землянке. Сплю на полу у двери. Пишу урывками при коптилке. Это не жалоба, а информация» — так сообщал он в одном из писем к товарищу в редакцию.

Военный корреспондент стал военным человеком только в дни войны. Как и многие люди нашего поколения, он до 1941 года больше интересовался техникой, искусством, литературой, чем секторами обстрела и хождением по азимуту. Он путешествовал по Средней Азии, карабкался вслед за смелыми такелажниками на Спасскую башню Кремля, чтобы сфотографировать установку рубиновых звезд, бродил по берегу Тихого океана, летал над Уралом. Каким чудесным, веселым, неистощимо изобретательным было неунывающее племя советских репортеров!

22 июня 1941 года все мы почувствовали себя военными. То, что еще месяц назад иной раз представлялось чем-то простым и даже занятым, вроде большой игры, на деле оказалось во сто крат более угрюмым, тяжелым, зловещим. Я помню лагерь в Кубинке, в котором за две недели до войны заканчивала учебу группа советских писателей. Это были курсы военных корреспондентов. Мог ли предполагать кто-либо из нас в те не по времени холодные июньские дни, что через каких-нибудь четыре месяца вот эти самые подмосковные высоты, леса, деревушки, отстоящие за многие сотни километров от границы, станут всамделишным полем битвы?

Стать настоящими военными оказалось не так просто. Было много горечи, волнений, утрат. «Ехал трудно. Сегодня первый раз за двое суток разулся. Эти дни — оттепель, а сапоги у меня текут. Но жил эти дни хорошо. Ощущение, что вот — приходит эта спокойная зрелость, уверенность в себе. Ощущение, что стал богаче на чувства к людям... Приятно сознание, что копится теперь не только «впрок». Виденное, пережитое обдумывается, устанавливается на свои места» — так подытожил свое внутреннее мироощущение Николай Маркевич, вернувшись 13 декабря 1942 года на командный пункт армии после длительной поездки в передовые части.

Два месяца спустя он получил медаль «За отвагу» и офицерские погоны. Он стал капитаном и званием этим по-настоящему гордился: оно было куплено им дорогой ценой. Позади осталось боевое крещение в Вязьме, когда он, еще не имея пропуска, пытался кустарным образом пробраться поближе к фронту, чтобы понюхать запах пороха, и сразу попал под бешеную бомбежку. Позади остались трудные зимние ночи Ленинграда 1941 года, когда он со своими друзьями, такими же военными репортерами, дежурил на крышах, ловил «зажигалки», бродил по блиндажам и при свете коптилки в обледенелом номере «Астории» вел долгие беседы об искусстве с усталыми, изможденными композиторами и музыкантами, аккуратно разрезая большим охотничьим ножом свой фронтовой хлебный пай на мелкие дольки по числу присутствующих. Позади остались суровые битвы под Синявино, жизнь в торфяниках, надоедливый звон комаров и писк пуль немецких снайперов.

Когда шли бои за Синявино, в его руки попал дневник погибшего на фронте комсомольца. Он коротко, но с чувством отметил в своих записях: «Два дня сидел над дневником

убитого бронебойщика Бориса Губанова. Временами читал точно собственную биографию». Плодом раздумья военного корреспондента над дневником солдата явился взволнованный очерк «Записная книжка комсомольца Губанова», опубликованный в «Комсомольской правде» 4 октября 1942 года. Он с большой любовью и уважением к памяти погибшего юноши выбрал из дневника Бориса Губанова мысли, созвучные своей душе:

«Надо помнить — всякий подъем всегда медленный и трудный. Чтобы быть человеком, хоть чуточку похожим на героев, рожденных Отечественной войной, нужно быть правдивым и честным до мелочей, последовательным и настойчивым. Послабление — страшный враг, это я знаю по себе. Сейчас я чувствую подъем и вспоминаю слова Толстого: «...как хорошо и отрадно взять себя в руки...»

Точно — это прекрасно».

И еще:

«Настала пора больших дел, простых слов и чувств... Мы узнали теперь смысл жизни, он глубок и прост. Жизнь — в умении отдавать себя для общего дела, быть частью общего, а не посторонним наблюдателем... Так-то, Борис, смотри смелее вперед. Мы знаем, за что воюем — за право дышать. Мы знаем, за что стоим — за Россию, за Родину. Так будем же носить в себе прекрасный призыв Багратиона: «Отдайте жизнь, но родины и чести не отдавайте никому»».

В дневнике Николая Маркевича мы нашли аккуратно вырезанную из газеты «Записную книжку комсомольца Губанова». Вырезка была истрепана по краям, потерта на сгибах, видно, автор не раз перечитывал свой очерк в блиндажах и палатках. Целомудренная солдатская мораль одушевляла творчество военного корреспондента и обогащала его.

«Думаю о том, что показ внутреннего состояния души человека неизмеримо важнее, чем скороговорка о количестве уничтоженных дзотов», — утверждал он в одном из писем, полемизируя с корреспондентами, искусственно сужающими круг своих творческих задач оперативной информацией. И сам работал над картинами военного быта с подлинной творческой яростью, каким-то исступлением и придирчивой требовательностью к самому себе. Писал и переписывал много раз, браковал, возвращался к теме снова и снова, пока не добивался успеха.

«Еще вчера днем я не был уверен, что одолею тему «Пядь земли», — писал он 3 ноября 1942 года в дневнике. —

А вот сейчас, оторвавшись от работы, уже вижу конец ее. И такое редкое состояние озноба, холода в сердце, знакомое по старым удачам. Если даже не напечатают, как предполагается, в октябрьском номере, буду считать написанное удачей. Вот это и есть счастье — ощущение победы, удачи, выполненного долга...

Война есть война, и корпус военных корреспондентов несет такие же закономерные потери, как стрелковый или танковый. Когда на поле боя погибает воин, вооруженный пером, суровая солдатская слава принимает его под сень боевого знамени вровень со стрелком или танкистом. Но горько думать, что не вернутся больше в наш коллектив ни Сергей Диковский, мужественно встретивший свой конец в снегах Финляндии, ни Аркадий Гайдар, принявший смерть от немецкой пули в степях Украины, ни Яков Гринберг, погибший в пучине Балтики, ни Иван Меньшиков, сгоревший в самолете, ни Николай Маркевич, разбившийся на бомбардировщике, ни многие, многие другие.

На предпоследнем листке оборванного на полуслове дневника капитана Маркевича мы прочли такую честную и открытую запись:

«Мне сказали:

— Есть возможность отправиться с воздушным десантом в тыл врага.

Первое мгновенное ощущение — страх.

Но сразу же — опасение, что задание может быть передано другому, и гордость — это предложено мне. И я равнодушно говорю:

— Очень хорошо!»

Жизнь военного корреспондента, как и всякого воина, трудна. Многие выходят из строя навечно, но смыкается ряд, и оставшиеся в шеренге продолжают шагать вперед. У одних сияют на груди ордена и медали, другие носят на гимнастерках золотые и красные нашивки — память о ранениях. Двадцать два месяца войны — долгий путь, и многое приходится встречать на этом пути.

И когда ты будешь, читатель, просматривать весточки с фронта с лаконичной пометкой «От нашего военного корреспондента», вспомни о нем, вспомни о нашем военном корреспонденте, несущем вот уже скоро два года боевую службу рядом со стрелком, летчиком, артиллеристом. Вспомни и помяни его добрым и теплым словом.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК НИКОЛАЯ МАРКЕВИЧА

Боец в «килогрейке».

Дворничиха сказала: «Бьют звенитки».

Звезды дрожат в лужах. И от этого простые лужи кажутся глубокими и таинственными.

Заросли «оживики».

Иришка говорит: «неуспелая ягода».

Возникал и пропадал, чтобы вновь возникнуть, вой вражеских бомбардировщиков:

— Эу... Эу... Эу...

Бомбежка. Вспомнил Женю Кригера, который заметил: человек при опасности всегда хочет переменить место.

Снег падает на сухую землю. Земля лежит, точно крупно посыпанная.

Тишина. Нетронутость снега. Перекличка синиц.

Иришка говорит:

«В трамвае меня совсем затолпили».

«Каша какая невкусная, наверное, по-немецкому сварена».

Иришка возмущена: «Почему такая отличная собака называется немецкой овчаркой, а не советской».

У Ириши спрашивали:

— Как живешь?

Она говорила:

— Хорошо себе!

Трассирующие пули, точно угольки, ложились рядом.

Утиными стаями было прострочено небо.

Тянет на парадоксы:

Фотографировать нужно не генерала, а начпрода.

На развалинах домов много книг — любили книги в нашей стране.

Звуковая дуга пронесшегося снаряда.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА...

Фронтовой дневник Николая Михайловича Маркевича — несколько толстых общих тетрадей — это целая, берущая за сердце книга, ценнейшее свидетельство очевидца многих событий Великой Отечественной войны. Маркевич вел дневник повседневно, в любых условиях. Дневниковые заметки часто перемежаются почти стенографической скорописью — беседами, наблюдениями, записями боевых эпизодов, которые корреспондент «Комсомольской правды» делал при

посещения сражавшихся частей. Опуская все такие рабочие записи, мы приводим здесь только некоторые странички дневника, относящиеся к защите Ленинграда. Позже Маркевич был на многих других участках фронта, преимущественно Волховского. В 1943 году, освещая боевую деятельность воздушнодесантных войск, Маркевич несколько раз летал в тыл противника.

Фронтовой дневник Николая Маркевича заканчивается следующей записью:

«29 марта 1943 г. Москва.

Рубен Симонов, выступавший на очередном редакционном четверге, удивительно читал Пушкина. Тогда меня поразила строка:

— Я мнил, что нет грядущего!

Вот сейчас я живу, думая, что нет грядущего.

А следовало бы отрешиться от всего и доделать книжку».

Это последние строчки, написанные рукою Коли Маркевича, дошедшие до нас. Когда он писал их — жить ему оставалось меньше месяца...

27 апреля 1943 года, возвращаясь из ночного боевого вылета, капитан Маркевич погиб. Это произошло около населенного пункта Подол, недалеко от Великих Лук.

А книжка его так и не вышла... До сих пор.

24.10.41 г. Ленинград.

Прекратили топить — холодно. Чтобы не мерзли руки, забираюсь писать в телефонную будку. Сейчас был звонок. Телефонистка сказала:

— Вызывает Москва.

Но пока ничего нет.

В «Ленинградской правде» есть заметка, готовый сюжет для хорошей новеллы «Самому храброму». Группа герсев получает фотографию девушки с надписью: «Самому храброму». Нужно додумать, что в дальнейшем происходит.

26.10.41 г. Ленинград.

По-прежнему тревога за Москву. Атаки. Налеты авиации. Продвижение там как будто приостановлено.

Завтра корреспондент «Правды» эвакуирует жену. Пользуюсь okazji и посылаю с ней письмо Соне.

31.10.41 г. Ленинград.

Вчера ночью и сегодня с утра часто и близко рвутся снаряды. Почти продумал очерк «Гранит». Завтра буду на репетиции Девятой симфонии Бетховена. Дирижер Карл Ильич Элиасберг очень любезный человек.

Для написания «Гранита» нуждаюсь в консультациях по Девятой симфонии (получаю ее завтра у Элиасберга), по сопромату и справочной литературе о Ленинграде.

1.11.41 г. Ленинград.

Элиасберг подобен птице.

— Скажите это мягчайшим голосом, — приказал он.

Он обижается на скрипачей, неистовствует, восторгается. Ноты Девятой симфонии напечатаны в Лейпциге.

Карл Ильич говорил плачуце:

— Деревянные! Уголки не формально! Взволнованность! Литавры, литавры! Слышите, как бьется сердце?

13.11.41 г. Усть-Ижора.

С третьего ноября идут бои за небольшую речку Тосно.

Переноса нечеловеческие лишения, преодолевая трудности, даже умирая — люди совершают все с необычайной простотой, будничностью.

Только вышли из боя. Лежали на морозе несколько суток. Руки и лица черны. Кухня привезла обед. Простые, обычные разговоры.

Остатки полка, с которым провел я несколько дней, отвели в тыл. Шли морозной ночью.

Для отдыха полку отвели зал клуба — большой и холодный. Немногие легли, составив ряды стульев. Некоторые стали чиститься, мыться. Многие взялись за еду: грызли мороженый хлеб, мыли кружки, котелки. В ведрах дымился кипяток.

Говорили:

— Польешь, дай кружечки!

— Водки не осталось?

— Обед должны скоро привезти.

Обедом здесь называют горячую пищу, когда бы ее ни доставила кухня.

21.11.41 г. Ленинград.

Главное, вернее, единственное мерило ценностей сейчас — это хлеб. Со вчерашнего дня служащие стали получать 125 граммов, рабочие — 250.

Ночью говорил с Москвой.

В ночь на 23 ноября. Корчино.

Наслушался свиста пуль. Насмотрелся фейерверков.

Певучий воздух. Пули: тонко и продолжительно, расщепленно, коротко и сердито. Снаряды и мины.



Ноябрь 1941 года. Волоколамское направление... Корреспондент «Правды» бригадный комиссар В. П. Ставский (слева) вместе с членом Военного совета 16-й армии дивизионным комиссаром А. А. Лобачевым и начальником штаба армии генерал-майором М. С. Малининым

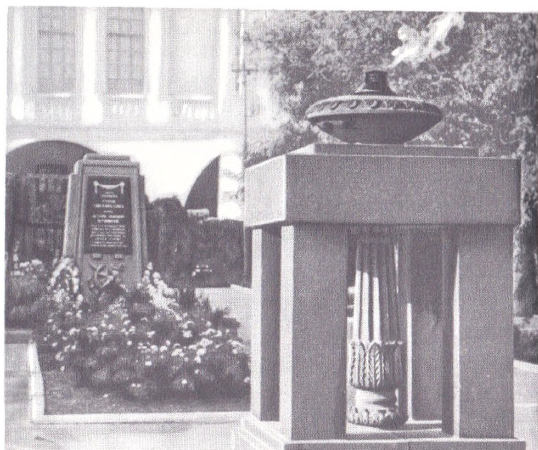


Иван Денисенко, сотрудник чериковской районной газеты. 1941 год

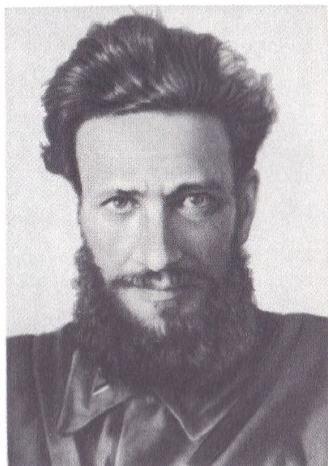


Командир батальона морской пехоты майор Цезарь Львович Куников, в прошлом ответственный редактор газеты «Машиностроение»

Обелиск на могиле Героя Советского Союза Ц. Л. Куникова у Огня вечной славы на площади Героев Великой Отечественной войны в Новороссийске



**Добрый взгляд Бориса Дубаха
помнят все, кто работал с ним**



**Николай Шуть в бытность ответ-
ственным секретарем редакции пав-
лоградской районной газеты «Со-
ціалістичний наступ»**

**Партизанский газетчик А. А. Юш-
кевич. Этот рисунок выполнен ху-
дожником Шкляром, который вместе
с Юшкевичем выпускал могилевскую
подпольную областную газету «За
Родину»**





Таким был Петр Лидов, создатель бессмертного образа «Тани» — героини нашего народа Зои Космодемьянской

Снимок С. Лоскутова



Фотокорреспондент «Правды» Сергей Николаевич Струнников. Он погиб вместе с Лидовым под Полтавой, во время бомбежки «челночного» аэродрома

Михаил Калашников за работой



24.11.41 г. Херсонская, 12. (Там было ленинградское отделение «Правды». — Сост.)

Вчера ночевал один в двух этажах. Сегодня несчастье: крысы добыли мешочек с моими запасами и уничтожили два ломтика хлеба. Был у меня «загон» в 400 граммов и нет его...

Сейчас взял хлеб на завтра.

Город голодает. Очень терпеливо, мужественно, скрытно. Вызывала Москва. Говорить не стал. Материал не готов, да и слышимость была плохой.

28.11.41 г. Ленинград.

Командир тральщика с горечью говорит:

— Комиссар! Не говори плакатами! Скажи, комиссар, от сердца, от души говори!

Справедливость и остроту этого я почувствовал с неожиданной силой. Действительно, нельзя комиссару говорить плакатами и лозунгами, словами знакомыми и гладкими. И как часто это бывает!

11.12.41 г. Тихвин.

Многие кадры, снятые в Тихвине, будут для меня как записи.

21.12.41 г. Москва.

Два дня назад, на закате солнца, самолет доставил меня на Центральный аэродром. С волнением осматривал давно невиденную Москву.

Ночью панорама из моих снимков вылетела, уступив место фотографиям Шагина.

Редакционный коридор пуст. Здесь остались только семь человек. Остальные в Куйбышеве. Сегодня-завтра возвращаются (к огорчению здесь работающих).

Сходил в секретариат, взял газеты и воодушевился: «Правда» на второй полосе дала мои фотографии из Тихвина.

25.12.41 г. Москва.

Провел вечер и ночь в «Известиях» у товарищей. (Маркевич прежде работал в редакции «Известий». — Сост.) Очень понравилась обстановка. Живет какое-то «подразделение» журналистов со своим солдатским уютом, грубоватой

нежностью. Нашел Женю Кригера очень изменившимся. Кажется, он стал проще, свалилась с него та, чуть рафинированная, интеллигентность, которую он носил очень изящно. Сам Кригер сказал:

— Стал грубее. Товарищи — помягче. Как-то сравнялись. Позавидовал их быту, изобилию пищи.

Что-то, против своей воли, по-прежнему жадничаю — хлеб уже съеден за завтрашний день.

Окончательно решен вопрос о моем возвращении в Ленинград.

2.1.42 г. Москва.

Предполагалось, что в последний день года лететь мне на Ленинград. Сидел, ожидал самолета. В середине дня сказали: рейс отменяется. Новый год встречал среди редакционных товарищей. Сам еще не веря в успех своего предложения, высказался о поездке в Ленинград на автомобиле. Поддержали. Сейчас занят реализацией. Вот приехал на улицу Горького, 20, буду беседовать с генерал-майором Миловским. (Там находился Штаб тыла.— Сост.) Спутником моим будет Борис Фишман.

Формируются две темы. В «Огоньке» отнесли одобрительно к выпуску книжечкой моих очерков о Ленинграде.

13.1.42 г. Кончанское.

Кажется, оформляется вторая тема из дорожных писем... Работу здесь заканчиваем. Сегодня двигаемся на Хвойную, дальше — Тихвин, Новая Ладога. Недалек и Ленинград.

20.1.42 г. Тихвин.

Ночевали в лесу у деревни Падолга. Путь наш приближается к концу. Вчера говорил со многими людьми, вернувшимися из Ленинграда. По их рассказам — город мертвый. Воды нет. Электричества нет. Городской транспорт не работает. Много покойников. Само существование в этом городе — героизм. Если удастся сделать задуманные портреты, обязательно нужно включить девушку, актрису, кроме сцены занимающуюся и общественной (старомодное, местное слово) работой. Буду писать о трех: актрисе, кондукторше трамвая, работнице...

24.1.42 г. Ленинград.

Два дня назад ночью мы въехали в город.

Обогнув Ладожский канал, машина свернула на лед озера. Через небольшие промежутки на льду стояли регулировщики в белых халатах. Мигали маячки... Вверх поднимали свои глотки зенитные орудия. Лед испещрен трещинами — в старых укладывается на покой снег, в новых темнеет вода. Через озеро перебирались больше часа. Мы встречали и обгоняли непрерывный поток автомашин. Дорога через Ладожское озеро пока единственный путь снабжения города.

Живем у Филатовой¹. В отделении на Херсонской мрак и холод.

Наутро после приезда я вышел к воротам. Женщина спросила:

— Где здесь справиться насчет похорон?

С того часа, непрерывно, в разных положениях, я вижу смерть.

Город мертвый. Электричества нет. Теплая комната — редкость. Трамваи не ходят. Воды нет. Почти единственный вид транспорта — санки, на которых везут обломки дерева, чаще всего — остатки разрушенных домов, некоторый скраб; больше всего везут на санках покойников; в простых гробах, завернутых в тряпки и просто полураздетых. Шли с Фишманом по Аничкову мосту — упала женщина, наступившая смертью...

Ежедневно умирает от 6 до 8 тысяч человек.

Эти два дня разносил по домам привезенные посылки и видел страшное. Люди из всей квартиры сбиваются в одну комнату. Лежат в кроватях, одетые во все, что только можно одеть, и укрытые, чем только можно. Нет воды, в комнатах горят коптилки. Много невымытых, замазанных копотью лиц. Но грязь и копоть не могут скрыть предсмертной синевы на лицах, тусклости глаз. Народу на улицах много. Двигается народ медленно-медленно.

Мы переходили Неву. По льду струился снег — жесткий, колючий. На набережной обогнали группу бойцов. Один упал и остался лежать. Подошли товарищи упавшего, стали поднимать. Задача для них оказалась непосильной. Подошли мы с Фишманом. Подняли. Человек висел на на-

¹ Корреспондент «Комсомольской правды» в Ленинграде.

ших руках. Почти в упор с истощенного, грязного лица смотрели глаза, взгляд был отсутствующий. Боец нашел какое-то заученное положение, точку равновесия и, качаясь, побрел дальше.

На домах много объявлений. Это вопли отчаяния. «Меняю на продукты». В перечислении предметов все, начиная от уникальных роялей, мебели, ковров, до мелочей.

Я написал, что это вопли отчаяния, подумал и решил — неверно! Это забота о жизни!

Город умирает, как и жил последние полгода, стиснув зубы. Улыбка здесь — редкость. Но и слез, отчаяния я тоже не видел. Жалоб нет. Много надежд...

Хотел поработать, но в лампе кончается керосин.

Ленинград. 26.1.42 г.

У города была своя музыка, собрание обычных шумов, которые по привычке и не замечались горожанами. Сейчас тишина нарушена шорохом, точнее, шуршанием: шаги по утопанному снегу, часто санки, иногда и гроб, который тянут просто за веревочку.

Дом, в котором я живу, частично разрушен бомбой; остались только стены и дыры, раньше служившие окнами. Вчера вышел ночью на двор. Луна освещала развалины изнутри, и они светились, как чудовищный фонарь. Это было страшное зрелище...

Вчера я видел массовое паломничество на Неву с ведрами, чайниками, кастрюлями. Люди плетутся обессиленные, часто падают.

Среди множества объявлений встретил такие:

«Доски для гроба меняю на хлеб. Чехова, 33».

«Куплю небольшую лодку».

«Мужской и детский парикмахер. Хожу на дом».

27.1.42 г. Ленинград.

Страдаю за машинкой.

Сам не веря в возможность разговора, поднял телефонную трубку, нажал кнопку, и вдруг ответила телефонистка. Телефон возобновил свою деятельность. По-прежнему плохо с водой.

Вчера днем был обстрел города.

Вчера перебрались в гостиницу, где проведены счастливые дни в прошлом.

Гостиница мертва. Как и во всем городе, здесь нет воды и света. По темным коридорам изредка проследует фигура, освещающая себе путь «летучей мышью», жужжащей ручной динамкой или просто спичкой. В комнате холод, температура не поднимается выше 5°.

Вчера рассказаны мне два эпизода:

1. Умер от истощения профессор. Интеллигент. Немножко идеалист. Честный, старомодный. Оставил письмо примерно такого содержания: «Пишу это в постели, уже не в силах подняться. Знаю о неизбежности конца. Вас я не виню (письмо адресовано А. А. Ж.)¹. Я виню тех, кого мне не пришлось увидеть, кто никогда не увидит мой любимый город. Я, бессильный, шлю им проклятья. Будьте счастливы, остающиеся! Давайте руку, идущие за мной!»

2. На занятия приходили истощенные до крайности всеобучники. Удар штыком требует напряжения. Были случаи, когда такое напряжение вызывало смерть. (Раненый командир. Уволен из армии. Не может бездействовать. Война сделалась его жизнью. Устраивают на Всеобуч. Здесь и гибнет. Тема: «Смерть в бою».)

Написал эту страничку, а руки замерзли страшно.

«Астория», 36. 31.1.42 г.

Сегодня ночью вдруг вспыхнул свет. Это было столь неожиданно, что я даже проснулся. Горел свет до утра. Сейчас опять мрак. Пишу при коптилке, стоящей на патефоне. Горит керосинка, греет кирпич и сушит валенки. Это в бельэтаже «Астории»...

Тверд в написании подвала «Смерть в бою». Формируется тема о квартире, о взаимопомощи в быту, о том, как в город вошла смерть, заставила людей забыть о мелочах, а поступать великодушно. Одна теплая комната в квартире. Получаемые письма — редкость. Читают вслух. Говорят:

— Там и без того трудно. Напишем что-нибудь хорошее!
Видю много ужасного. В городе есть склады трупов.

¹ Видимо, А. А. Жданову.

Ленинград. «Астория», 36. 1.2.42 г.

...Сегодня кончились талоны в столовую. Пошли получать еще на пару дней. В интендантском управлении была обычная толкотня. К писарю, который и в военной форме остался штатским, пришли жена и ребенок (по одежде и росту очень напомнивший мне Иришку). Борис наклонился к ребенку:

— Ты что такой скучный?

Мать сказала:

— Он ничего сегодня не ел. Почему-то не выдали детских карточек.

Четырехлетний страдалец, бледный, грустный, вялый, ходил среди командиров, заглядывал в углы, чего-то искал. Так мне захотелось помочь. Вспомнил, что у Ардаматского остался кусочек хлеба. Когда ребенок худенькими ручонками вцепился в хлеб, мне стало плохо. Я отвернулся к стене, чтобы не разреветься.

Днем была сильная артиллерийская стрельба.

Ленинград. «Астория», 137. 5.2.42 г.

Ардаматский улетел в Москву. Я перебрался в его номер — потеплее, да и телефон.

Стараюсь вставать пораньше. Иду вниз мыться. В котелке приношу кипяток и ставлю его на керосинку.

Стараюсь работать; пока получается не особенно успешно. Написал две корреспонденции (из пяти).

Лгрд. «Астория», 137. 6.2.42 г.

Вернее, уже седьмое февраля. Сейчас 3 часа утра...

После долгого перерыва сегодня была Москва. Совместная жизнь с Борей Фишманом заканчивается. Ему приказано отбыть в Москву, мне — остаться здесь... С невероятным трудом выстукиваю свои пять дорожных писем...

Вечером пришел старый, точно оплывший Радлов. Положил на стол потушенную свечу. У нас на керосинке варилась каша, и поэтому разговор о Шекспире вышел комканный.

Ленинград. «Астория», 137. 7.2.42 г.

Остаюсь один. Завтра Борис уезжает на своем «пикапе» в Москву.

...Трамваи не ходят, автомобили — редкость, неторопливая, движется толпа, которой тесно на тротуаре, и она заняла дорогу. Но это не гуляющие; поддерживая друг друга, бредут голодные. Ритм жизни города замедлен, точнее, жизнь теплится едва-едва. Дежурная с телефонной станции отвечает слабым голосом...

Темная, холодная «Астория» населена призраками. Часто заходит С. Радлов. Сегодня он сказал:

— Ходит летучая фраза: хоронят в порядке живой очереди.

Ленинград. «Астория», 137. 9.2.42 г.

Остался один.

С. Э. Радлов пришел со свечой. Говорит:

— Когда играли — был подъем, ощущение нужности. Бригады выезжали на фронт, дано свыше 200 концертов. В октябре 220 процентов промфинплана. После 20-летнего перерыва стал сам играть. 4 января — «Дама с камелиями». Аплодировали в рукавицах. Думаю о «Макбете» и «Антонии и Клеопатре».

Ленинград. «Астория», 137. 11.2.42 г.

Числа устанавливаю по талонам хлебной карточки.

Вчера кончил наконец четыре дорожных письма. Теперь проблема: быстро доставить их в Москву. Хочу в общем пакете послать письмо для Сони...

Сейчас позвонил Володя Пронин и подтвердил новость, слышанную вчера в столовой: с сегодняшнего дня нам будут давать 600 гр. хлеба.

В воскресенье был у Сониного отца. Б. М. слегла... Опасаюсь, что не выдержат старики.

Ленинград. 13.2.42 г.

Гроб — редкость; покойников не стало меньше, их теперь, за отсутствием досок, обшивают в материю и везут как мумии. Вчера заметил необычное: очень тщательно зашитый в синее труп. На груди аккуратненько пришит белый квадрат с обозначением: «Файна Петровна Райхенберг, скончалась 10.2.42 г. в гор. Ленинграде». Наивное стремление увековечить память.

Накануне был у меня администратор «Астории» Василий Ильич. Рассказывал, как в номере умирал от голода командированный сюда инженер Орлов, представитель НКПС. Чисто русский случай. Равнодушие и некая деловитость.

Вчера день потерял на путешествие в отделение «Правды».

Вожусь с полосой.

Не забыть! Ветер и снег... Трамвайные провода порваны, линии прочно занесены снегом. Кто-то, настойчивый, очищает на углу стрелки.

Ленинград. «Астория», 137. 15.2.42 г.

Все время, пока шел от Гостиного двора до «Астории», в воздухе через короткие, неправильные интервалы раздавался несколько растянутый свист гигантского прута. На конце этой звуковой дуги каждый раз был взрыв.

Два дня подряд очень шумные. Вчера грохот был многоголосым; центры перемещались, точно над городом бродила грозная туча...

Марвич сказал, что осколки снарядов сегодня попали в пятый этаж «Астории» и расположенный по соседству Марининский дворец.

Был у Сониных стариков — неважны дела.

Завтра кончу полосу, кажется.

«Астория», 137. 16.2.42 г.

Перед тем как сесть за машинку добивать полосу, запишу сегодняшний день.

Вышел рано. Ясное, морозное утро дало ощущение бодрости. Присматривал точку для съемки загримированного памятника Николаю I...

Потом сидел в тесной комнатке на Лештуковом переулке. Топилась буржуйка. Наталья Сергеевна Кудрявцева по-бабьи, жалостливо, руссказывала, как умер ее муж, плотник с «Большевика», как умирала ее приятельница и оставила ей трех ребят.

На рынке купил банку соли за 10 рублей.

В Александринском театре узнал, что Б. В. Асафьев действительно переехал в бывший Zubовский дом, расположенный почти напротив «Астории».

Как обычно, обедал в комендантской столовой...

Уже в сумерках добрался я до квартиры, где поместили Асафьева. Мой стук был бесплодным; я вошел только потому, что из квартиры вышел какой-то человек.

Я жег драгоценные спички, блуждая по холодной пустой кухне и коридорам. По отдаленным голосам набрел на дверь. Мне открыла низенькая, толстененькая старушка в каракулевом саке. Я спросил Бориса Владимировича.

— Пожалуйте, вот он,— как-то радостно сказала толстуха (как оказалось впоследствии — жена Б. В.).

На кровати лежал истощенный до крайности старик. И тем удивительнее была живость, которую он проявил в последующей беседе.

История его жизни за последние полгода страшновата.

В одну из первых бомбежек его квартира пострадала. Его переселили в артистическую уборную Александринского театра. Драма уехала, вселилась Музыкальная комедия. Его, как «чужака», не хотели признавать, волюнили дело с карточками.

И все это время он работал. Написал книгу и несколько произведений. Шевеля сухими, белыми руками, Асафьев говорил возбужденно:

— Это было какое-то прояснение. Я поймал тему, которая не давалась мне 10 лет. Я был счастлив. А положение все ухудшалось. Перестал действовать водопровод. Сначала сократились, а потом и прекратились выдачи по карточкам. И что самое страшное — погас свет... Я в темноте доставал записную книжку и записывал афористические фразы, шедшие одна за другой. Я ликовал, видя их последовательность и логичность.

Наша беседа была многотемной. Б. В. говорил о себе, о Лермонтове, о том, как встретился с академиком Марром и раскритиковал его теорию, упрекая в пробеле раздел интонации; рассказывал о работе над оперой «Семь красавиц».

— Рад свету,— говорил он, показывая на окно.— Работать, работать!

И снова жаловался на издательство, потерявшее его книги; опасался за библиотеку:

— Вся моя жизнь с 12 лет!

Завтра буду у него днем и попытаюсь рассмотреть по-лучше.

Все... встречи сегодняшние имеют общее: никто не жалуется на невыносимо тяжелое положение; все хотят жить и работать.

— Убивала темнота,—признавался Асафьев.— Я потерял представление о смене дня и ночи. Началась бессонница. Сдало сердце. А мысль продолжала работать, абсолютно чистая.

Лгрд. 17.2.42 г.

Я уже засыпал, когда все здание содрогнулось от взрыва. Последующие взрывы были слабее. Упала серия тяжелых снарядов. Шел второй час ночи.

Отправил полосу и чувствую какую-то пустоту.

Асафьев поднялся, ходит по холодной комнате в драном пальто, обмотанный тряпками. Играл мне свой «Дифирамб», переписал ноты.

Ленинград. 18.2.42 г.

Единственным событием сегодняшнего дня было приобретение одного коробка спичек (по сходной цене — 10 рублей).

Шел с обеда домой. Женщина, чистившая снег, беседовала с товаркой:

— Она его хотела хоронить еще вчера.

— Ничего, холодно, пусть лежит...

— А сегодня ночью и сама умерла.

Со дня на день нужно ждать прибытия Июльского и Кудоярова, которые выехали из Москвы, кажется, девятого.

Лгрд. «Астория», 137. 22.2.42 г.

Легкие признаки весны: с утра морозно, днем на солнышке тает. Доски «бастионов», прикрывающих витрины, чернеют. Город пережил страшную зиму. Идет неизвестно какая весна. Из последних сил город старается жить. В булочной, где я беру хлеб, мокрой тряпкой с кафельных стен и потолка сняли копоть. Опухшие от голода люди, во множестве облепив сани, вывозят снег. Кое-где даже очищают тротуары.

Приехали москвичи.

Данилов и Финогенов не работают; редактором — Бурков. Это очень хорошо.

Ленинград. «Астория», 137. 25.2. 42 г.

Лег поздно, встал рано. Готовлюсь к отъезду, который назначен на 12 часов дня.

Получил от Сони три письма, помеченные разными датами.

...Покидаю «Асторию» надолго. Здесь с пятого марта будет лазарет.

Малая Вишера. 2.3.42 г.

Приехал из Ленинграда на автомобиле сюда. Снова пересек по льду Ладожское озеро.

Убит сын Багрицкого.

Константин Лапин

ПОЕЗДКА В НЕВЕЛЬ



Мы должны были встретиться двадцать лет назад. Не состоялась эта встреча по причинам, как говорится, от нас не зависящим. Лишь в октябре 1963 года, побывав в старинном русском городке Невеле, праздновавшем 20-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, я добрался до места несостоявшейся встречи

Как каждого фронтовика, меня неодолимо влекли поля былых сражений, могилы павших товарищей. Да и живое дело звало: боевое «крещение» женской снайперской роты, героинь моей повести, над которой я в ту пору работал, происходило именно здесь, на древней псковской земле.

Домики деревни Турки-Перевоз, находящейся километрах в восемнадцати северо-западнее Невеля, разбросаны по берегу заболоченной речушки Уща. Во время войны все здесь было выжжено. Лишь вернувшись из лесов, из вражеской неволи, жители заново отстроились.

За деревней, справа от дороги, на крутом песчаном бугре высится каменный обелиск со звездой, видный далеко окрест. Пирамиду сложили еще в войну саперы 3-й Ударной

армии в память о погибших однополчанах. Между гранитными глыбами вцементированы стволы разбитых минометов, снарядные гильзы, целое вражеское орудие; еще и сейчас, через столько лет, оно не потеряло своей пятнистой защитной окраски. На латунных досках, прикрепленных с четырех сторон обелиска, выгравированы надписи:

«Ст. сержант Соколов, 13 дней вел бой в подбитом танке. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза...»

«Командир артиллерийского взвода л-т Шиманович. Огнем пушек истребил до 100 гитлеровцев, подбил 2 танка...»

«Ефрейтор Клавдия Иванова, снайпер, уничтожила 42 фашиста...»

«Депутат Верховного Совета СССР, писатель В. П. Ставский, пал на поле боя 14.XI.1943 г.»

С Владимиром Петровичем, которого я немножко знал до войны, я и должен был встретиться тогда, двадцать лет назад. Узнав, что писатель находится у танкистов, освобождавших Невель, редактор нашей фронтовой газеты поручил мне разыскать его. Без статьи писателя о героях освобождения города я не смел возвращаться в редакцию.

...С самого начала Великой Отечественной войны в центральной печати стали появляться яркие фронтовые корреспонденции, подписанные В. Ставским. На наш фронт он прибыл военным корреспондентом «Правды». Думаю, не только журналисту понятно, как могло украсить страницы нашей красноармейской газеты живое писательское слово.

Я узнал, что по прибытии Ставский прочно «прописался» в 59-м стрелковом полку, которым командовал гвардии подполковник Чеботарев. Этот 32-летний brave командир полка ворвался в Невель на рассвете ясного октябряского дня, причем с той стороны, откуда меньше всего ждал враг. За четыремя нашими танками мчались шесть грузовиков с автоматчиками. Немецкий регулировщик, приняв забрызганные грязью «тридцатьчетверки» за свои танки, дал отмашку флажками: путь свободен.

В центре города на двухэтажном здании комендатуры развевался флаг со свастикой. Развернув орудия, танкисты ударили в упор бронебойно-зажигательными снарядами. В одном белье фашисты выскакивали из окон, пытались огородами выбраться к реке. Но и здесь их настигали автоматные очереди.

Влетев на железнодорожную станцию, где под парами стояли два длинных товарных эшелона, танкисты вывели

из строя локомотивы. Белый пар окутал станцию, в клубах его были видны охранники, они разбегались кто куда. Из вагонов выскакивали люди. 1600 невольчан были спасены тогда от отправки в неволю.

Девять дней боев прожил Ставский в землянке НП полка. Обстановка на переднем крае сложилась тяжелая. Наши части продолжали теснить врага. Гитлеровцы изо всех сил пытались вернуть важный узел обороны.

В «Истории Великой Отечественной войны» эти упорные бои нашли свое отражение. Вот что здесь говорится:

«Освобождение Невеля завершило сокрушение треугольника вражеской обороны, построенного на мощных узлах сопротивления Новосокольники, Великие Луки, Невель, который служил своеобразным щитом, прикрывавшим единственную рокадную железную дорогу Дно — Новосокольники — Невель. Эта дорога связывала немецкие группы армий «Север» и «Центр» и давала гитлеровскому командованию свободу маневра силами вдоль всего левого крыла советско-германского фронта».

О событиях тех дней с тревогой извещала гитлеровская ставка. В ее официальном сообщении говорилось: «Все бои на Восточном фронте отступают на задний план по сравнению с тяжелым сражением в районе Невеля».

Вот почему, подгоняемые своими офицерами, гитлеровцы по 14 раз в сутки ходили в контратаки. Подполковник Чеботарев вместе со Ставским не раз бывали в батарее 45-миллиметровых пушек, когда артиллеристы прямой наводкой встречали танки с крестами. Гвардейцы стояли насмерть, враг на этот раз не прошел к Невелю.

Неподалеку от НП наши пушкарки подбили вражеский «тигр» — новинку на этом участке фронта. Ставского заинтересовал подбитый танк. На рассвете 14 ноября, когда Чеботарев уехал в штаб армии, писатель решил осмотреть «тигра» вблизи. Его сопровождал капитан Н. Круглов. Во время начавшейся перестрелки писатель был убит, офицер тяжело ранен...

Все это я слышал еще в те дни, когда не состоялась наша встреча со Ставским. Теперь, стоя на высоком бугре, я старался представить себе, как все выглядело двадцать лет назад. Но давно собран с полей и переплавлен в доменных печах военный металлолом, перепаханы тракторами, заросли травой окопы и землянки. Лишь юные следопыты местной Ловецкой 8-летней школы, совершая летние туристские по-

ходы, находят в лесах и болотах то поржавевшую каску, то обломки разбившегося самолета.

На торжественном собрании трудящихся Невеля в просторном районном Доме культуры, куда съехались армейские ветераны, бывшие партизанские командиры, гости из области, я вспоминал свое довоенное знакомство со Ставским. В ту пору я работал техником-строителем в Москве, начинал писать. Первую свою весьма незрелую повесть о любви я решил отнести в редакцию самого «толстого» журнала — в «Новый мир», который редактировал В. П. Ставский.

Я не верил своим ушам, когда спустя всего неделю он сам позвонил мне домой и вызвал в редакцию для разговора. Грузный, загорелый, в рубашке-косоворотке, расшитой по вороту крестиками, опоясанный шелковым крученым пояском, он походил на райкомовского работника из своего «Разбега». Мне он показался старым (сейчас-то я знаю: Ставский прожил всего 43 года!). Владимир Петрович долго расспрашивал меня о стройке, где я работал, о моих родителях, о литературных симпатиях.

Перейдя к разбору рукописи, редактор удивился: почему герои моей повести, молодые строители, живут так беспечно, не думают о грядущей войне, не готовятся к ней? Воевать придется в основном молодому поколению! Именно в этом направлении и следует «доводить» вещь, если я хочу видеть ее напечатанной...

Я не очень понимал, чего он от меня хочет. Неужели что-то изменится, если я, к примеру, покажу, как герои повести после работы занимаются в стрелковом кружке или прыгают с парашютом?

Владимир Петрович недовольно поморщился:

— Я говорю о внутренней мобилизованности советской молодежи, о ее духовной готовности защищать завоевания Октября. Мировой фашизм набрал силу, страшную силу. Надо противопоставить ему еще большую силу — силу наших идей, нашей правды, которая все равно победит в решающих боях.

Заговорив о «месте поэта в рабочем строю», он вспомнил Испанию, откуда вернулся незадолго перед этим. Владимир Петрович был одним из организаторов и участником Всемирного конгресса защиты мира.

Тепло и душевно, как о близких людях, Ставский рассказывал о виноградарях Валенсии, горняках Басконии,

крестьянках Арагона. Загорелые морщинистые лица испанских старух, их мозолистые, похожие на лесные корни руки напомнили ему колхозниц родной Кубани. Тот же тяжелый труд, то же жаркое солнце, та же неистребимая любовь к свободе.

Первый этап борьбы с фашизмом, так сказать, «разведка боем», закончился поражением испанских республиканцев. Но в наступающем решительном сражении фашизм должен быть разгромлен, утверждал Ставский. Вот почему, о чем бы ни писал литератор — профессионал или начинающий, — он не имеет права забывать о войне, он обязан идейно вооружить читателя.

Мы засиделись допоздна, из редакции вышли вместе. Разговаривая, дошли до Белорусского вокзала. Владимир Петрович обратил мое внимание на дом на углу Лесной улицы и новое десятиэтажное здание, поднявшееся по ту сторону моста, у железной дороги.

— Вот вы, строитель, скажите: почему эти высокие здания построены возле вокзала?

Я залепетал что-то об архитектурном ансамбле привокзальной площади.

— Правильно. Но это не все, дело не только в ансамбле. Присмотритесь-ка получше, как удачно с трех сторон вокзал взят в кольцо, как бы прикрыт высокими домами. В случае воздушного налета на крышах можно поставить зенитки, вокзал будет окружен сплошной завесой огня. Еще по Мадриду я помню, как это важно...

Ошеломленный, я переводил взгляд со зданий на говорящего. Одно дело Мадрид, а совсем другое — Москва. Можно ли допустить, даже в мыслях, чтобы вражеские самолеты появились над нашей мирной столицей?!

Кое-как переделав повесть, я снова пришел в редакцию; редактор был в дальней командировке. Позже я узнал пункт назначения: Халхин-Гол.

Об участии Ставского в финской кампании можно было узнать из газет, писатель-воин был ранен и награжден очередным боевым орденом. Нести ему свою повесть я уже не решился. Что стоили мои «переделки» в сравнении с новыми требованиями времени?

Но особенно я понял правоту Ставского поздней осенью сорок первого года, в госпитале, разместившемся в толсто-стенных корпусах Второй градской больницы. В Нескучном саду, который мы видели из окон больницы, по ночам над-

рывались зенитки. Подвальный этаж превратился в бомбоубежище, туда санитары с вечера относили тяжелораненых.

Изменилась, по-военному посуровела Москва. Окна первых этажей в зданиях, выходящих на окраины, превратились в бойницы, заделанные мешками с песком. Обочины пригородного шоссе оцетинились стальными ежами. Москвичи узнали теперь не только из справочников, что такое надолбы и эскарпы. Зенитки стояли на крышах тех самых зданий, о которых говорил Владимир Петрович.

Писатель-боец оказался прав в главном: на наш народ пришла основная тяжесть войны с фашизмом. В первых рядах, показывая пример новобранцам, шли обстрелянные воины гражданской, герои Испании, участники боев на сопках Дальнего Востока и в лесах Финляндии. И первым среди первых был ветеран четырех войн Владимир Петрович Ставский. Все его общественные и партийные должности и нагрузки — Ставский был секретарем Союза советских писателей, депутатом Верховного Совета СССР, был введен в состав КПК при ЦК КПСС — отступали перед военным званием бригадного комиссара, которым он гордился и которое с честью носил...

Имя писателя я слышу снова и снова на торжественных вечерах в клубах Невеля, в сельских школах и в детских домах. Организатор, «закоперщик» этих встреч с ветеранами боев — молодежавый, по своей кипучей энергии напоминающий комсомольского работника, райвоенком Невеля гвардии подполковник Аркадий Петрович Фролов.

После выступлений бывших воинов и партизан собравшиеся могут посмотреть любительский короткометражный фильм «Наш город», снятый десятиклассником Костей Фроловым (этот одаренный юноша — сын военкома; в данном случае трудно что-либо возразить против такой «семейственности»).

В киноленту, показывающую сегодняшний мирный труд невеличан, улицы и предприятия города, парк отдыха и братское кладбище, начинающий режиссер-оператор умело вмонтировал военные кадры: разрывы снарядов, наступающие танки со звездами, удирающих фрицев...

За час с небольшим комфортабельный дизельный автобус доставляет вас по прекрасному асфальтированному шоссе из Невеля в Великие Луки (а тогда, двадцать лет назад, понадобилось много месяцев упорных боев, чтобы

преодолеть это расстояние!). Великие Луки поражают приезжего широкими и чистыми улицами-проспектами, новыми зданиями, по классу ничуть не хуже московских, обилием библиотек и клубов, замечательными памятниками (в том числе памятником Александру Матросову, совершившему свой бессмертный подвиг в этих местах), тремя институтами, десятками школ, техникумов, училищ. А тогда, двадцать лет назад, в городе уцелели лишь вокзальная водочка, коробка элеватора да отдельные деревянные домишки на окраинах!

Как и в Невеле, одна из лучших улиц города носит имя В. П. Ставского. Как и в Невеле, братское кладбище героев войны содержится в идеальном порядке — красивые, строгие надгробия, много зелени. Именно здесь, рядом с боевым генералом В. Д. Сибирцевым, захоронен прах писателя-воина — большевика.

В городском музее краеведения героям Отечественной войны отведен целый зал. Отдельный стенд занимают материалы о В. П. Ставском. Вот один из последних снимков: писатель среди девушек-снайперов 3-й Ударной армии... Тетрадка его фронтового дневника в плотном переплете... Командировочное удостоверение, подписанное тогдашним начальником Главного управления всеобщего военного обучения генерал-майором Прониным: «Предъявитель сего писатель тов. Ставский В. П. следует на Калининский фронт для изучения практики боевых действий снайперов-женщин, прошедших курсы снайперской подготовки в Центральной женской школе Главвсевобуча НКО СССР».

Фронтовой дневник писателя хранится под стеклом, его не полистаешь, но я уже сделал кое-какие выписки в Невеле. В дни, предшествовавшие годовщине освобождения города, невелинская газета «Красное знамя» (половина сотрудников которой, кстати, бывшие фронтовики) дала серию статей «О чем рассказал дневник». Автор публикации Н. Сахно, в прошлом военный летчик, ныне преподаватель сельской школы на родине Ставского, хранит копии фронтовых дневников писателя у себя. В них и скупые точные пейзажи войны, и боевые характеристики героев, и просто фамилии чем-то поразивших писателя людей.

«3.XI.1943 г. Невель. Северная окраина. Вестовой Градобоев. Пасмурно...»

«...Утро за Невелем. Блиндаж на НП 59-го полка подполковника Чеботарева. Холодно. Ясно. Низкое розовое солнце».

«...Ветер. Черные ели на буграх. На дальних вершинах — фрицы. Чеботарев усталый и очень энергичный...»

«...Танки взяли две деревни. Иванов у Святой горы просидел в щели трое суток, корректировал огонь, наблюдал... 1922 года рождения, из Харькова».

«...Мл. сержант Мазница Иван Васильевич из Казахстана, Семипалатинской области, 1915 г.

Два человека экипажа и нас трое — Логачев и Николаев. Выскочили вправо на высоту — выстрел. Гусеница забуксовала, поправили и доехали. На большаке дали ходу. В 10 километрах от Невеля догнали и встали. Немцы бежали на Витебский большак. У Невеля склад взорвали. В кустах. Пожар. Взрывы. Били из амбразур. В Невеле — бегут. Из этажей выпрыгивали. На другой улице сзади машины немецкие удирают. Ранен за Невелем в левую руку — никуда не уходил. Прошло. Уж зимой мы ему дадим жизни. Зимой он будет босиком бегать».

«Узбек Джураев — герой! Связист. Убил из автомата до 20 немцев.

Санинструктор Шепеленко. Бой идет, а он ползает и перевязывает. Раненых — 5, убитых — 2...»

«Люди, люди-то какие! Трое подбили 12 немецких танков при контратаке».

Этот гордый рефрен («Люди, люди-то какие!») повторяется на многих страницах дневника. А их успел исписать Ставский за дни, пока был на фронте, немало — свыше 240 страниц. Можно представить себе, как писатель «расшифровал» бы свои записи, если бы ему довелось писать книгу о войне. О будущей этой книге тоже есть запись в дневнике:

«Я об этом обязательно напишу в книге. Она не будет надуманной».

Увы, не успел написать эту книгу, быть может главную книгу своей жизни, писатель. Но то, что он создал, его произведения «Разбег» и «Станица», всегда на руках у читателей. Об этом мне рассказывали библиотекари Невеля и Великих Лук.

14 ноября 1963 года исполнилось двадцать лет со дня гибели Ставского. Учащиеся Ловецкой 8-летней школы, не забывающие приносить цветы к обелиску у Турки-Перевоза, колхозники расположенного рядом колхоза «Новая деревня», воспитанники Невельского детского дома почти одновременно, не сговариваясь между собой, подали ходатай-

ство о том, чтобы школа, колхоз и детский дом носили имя В. П. Ставского.

Есть и у меня теперь одно заветное личное желание. Если моя повесть «Девушка с винтовкой» выйдет такой, как я задумал, то хочу посвятить ее светлой памяти Владимира Петровича Ставского, писателя-воина, который еще до войны не уставал повторять: «Пока существуют на свете враги Родины — учись воевать, воспитывай в себе силу, мужество и стойкость», который всей своей жизнью и самой смертью своей показал, каким должен быть советский литератор.

1963 г.

Алексей Лобачев

БРИГАДНЫЙ КОМИССАР

В начале войны я встретил Ставского на фронте во время отхода наших войск из Белоруссии. Через несколько дней мы увиделись близ Смоленска. Пережив всю горечь отступления, Ставский никогда не терял веры в нашу победу.

Присутствуя на допросе пленного фашистского летчика, Ставский спросил его:

— Зачем вы бомбили поезд с женщинами и детьми? Вы летели на высоте 400—500 метров и ясно видели, что, кроме женщин и детей, в поезде никого не было.

Фашист, нагло выкатив белесоватые глаза, нахально ответил: «Те женщины и дети имели неосторожность быть в местах, куда мы бросали бомбы». Ставский писал об этом с величайшим возмущением.

Летом 1941 года Владимир Петрович, как, впрочем, и остальные журналисты, работал очень напряженно. Он писал о ночных истребителях, о Николае Гастелло, о летчике Константине Коккинаки, об артиллерийском наводчике Кавуне и многих других, кто прославился на полях сражений Великой Отечественной войны.

Как член Военного совета 16-й армии, которой в тяжелые месяцы боев за Москву командовал К. К. Рокоссовский, могу засвидетельствовать, что не было в нашей армии ни одного соединения, где не побывал бы Ставский. Воины

видели его в боевых порядках дивизии И. В. Панфилова, на митингах, на партийных собраниях, куда прямо в белых халатах приходили разведчики. Он бывал у конников Доватора, в 78-й дивизии сибиряков и дальневосточников, которой командовал тогда полковник, а ныне генерал армии А. П. Белобородов, в 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района Москвы.

У него была очень ценная черта, присущая настоящему политработнику, — стремление научить молодых и менее опытных политработников, газетчиков, военкоров, как лучше работать. Он, как говорится, умело выращивал актив. Его любили писатели, молодые, да и опытные, журналисты; они любили с ним ездить по боевым порядкам, прислушивались к вопросам, которые Ставский задавал бойцам и командирам.

В октябре и ноябре 1941 года на страницах «Правды» напечатано 18 оперативных корреспонденций Ставского с фронта. Тогда фронт проходил всего в 40—50 километрах от Москвы, и Ставский с утра приезжал то в одну дивизию, то в другую, часто попадал под артиллерийский и пулеметный обстрел, присутствовал при отражении атак вражеских танков, а вечером возвращался в Москву, чтобы уже в следующем номере «Правды» сообщить читателям очередную весть с фронта.

Читатели «Правды» хорошо запомнили вдохновенный очерк Ставского «Генерал Панфилов и его гвардейцы». Рассказывая об одном тяжелом бое, Ставский пишет: «...под огнем врага, потрясенные потерей командиров, красноармейцы стали отходить в лес, в сторону деревни Игнатково... В поле перед Игнатковым отходившие красноармейцы были остановлены. Их встретили член Военного совета Лобачев и начальник артиллерии генерал-майор Казаков.

— Куда это вы, товарищи?

— Танки прорвались! Там танки.

— А бутылки? А гранаты? Куда же отходить! И так уже Москва рядом! А ну, командиры, политработники, бегом сюда! Остальные — на месте, стой!»

Вспоминаю этот трагический момент... Есть в нем только одна неточность: верно — Лобачев и Казаков останавливали отходивших красноармейцев. Но был там еще один политработник, и они вместе задержали бойцов страстным, взволнованным словом. Этим политработником был бригадный комиссар Владимир Ставский.

...Бои шли у Крюкова. Это был последний пункт отхода. «Дальше отступать нельзя», — призывал Военный совет Западного фронта. В эти дни в 16-ю армию снова приехал Ставский. Он сказал, что собирается писать для «Правды» очерк об авангардной роли коммунистов в боях.

— Хороший замысел, — сказал я. — Покажи, как в эти тяжелые дни люди вступают в партию, навсегда связывают с ней свою судьбу...

Приехав на передний край, мы подошли к одному из дзотов. В пулеметном расчете бойцов было меньше, чем полагалось по штату.

— Сколько у вас коммунистов? — спросил Ставский.

— Да почти все. Четверо из пяти, кроме меня, — ответил немолодой боец.

— А вы что же? — спросил я.

— Да как-то неловко в мои годы вступать. Скажут, на заводе работал и не вступал, а сейчас вздумал... Раньше, мол, силушки не хватило...

— Сейчас силушка в бою проверяется, — заметил Ставский.

— Это верно, — согласился пулеметчик.

— Вы в пулеметном расчете каким номером? — спросил Владимир Петрович.

— Я наводчик...

Разговор шел под аккомпанемент непрерывной оружейной и пулеметной перестрелки. Неожиданно заела лента. Я подошел к пулемету, устранил задержку.

Прощаясь, Ставский спросил наводчика:

— Ну как, товарищ наводчик?

— Это вы насчет чего?

— Насчет вашего вступления в партию.

Тот ответил:

— Почетно вступить в партию в бою под Москвой. Тогда и защищать нашу столицу увереннее будешь...

— Это вы прекрасно сказали, товарищ! — взволнованно произнес Ставский. — Вы очень хорошо поняли, почему именно сейчас надо связать себя с партией. Как ваша фамилия?

— А вам зачем? — простодушно заметил наводчик. — Нефедов моя фамилия, Сергеем Петровичем зовут.

— Желаю вам, Сергей Петрович, честно служить делу партии, — сказал бригадный комиссар.

— Вот тебе, Владимир Петрович,— сказал я, обращаясь к Ставскому,— материал для очерка...

— Это не только для очерка, это для собственной души...— ответил Ставский.

Очень любопытна цифровая сводка опубликованных в «Правде» корреспонденций Владимира Ставского. В июле 1941 года было напечатано 6 корреспонденций, в августе — 5, в сентябре — 3, в октябре — 11, в ноябре — 7, в декабре — 6. Каждая корреспонденция, по существу, являлась очерком в 200—250 строк, а иногда и в целый подвал. Эти корреспонденции были не просто информационными, а очень страстными, взволнованными.

Ставский советовал командирам и политработникам почаще писать в «Правду». В частности, в грозные дни обороны Москвы по инициативе Ставского в «Правде» появились наши с К. К. Рокоссовским совместные статьи об обороне столицы.

В апреле 1942 года, приехав в 16-ю армию, Ставский узнал, что редакция армейской газеты «Боевая тревога» созвала совещание редакторов боевых листков. Он заинтересовался, приехал в редакцию и внимательно слушал все выступления людей, прибывших с передовой. Потом он стал делиться опытом своей газетной работы. Владимир Петрович призывал показывать в первую очередь героев боевых дел в ротах и батареях.

Узнав, что в эти дни в армейской газете появилась статья «Противотанковое ружье», он сказал, что и в боевых листках надо пропагандировать новое оружие и тех, кто умеет им хорошо пользоваться.

Вскоре мы увидели Ставского в новой роли — фотокорреспондента. В одном из номеров «Правды» был напечатан сделанный им снимок, показывающий применение противотанкового ружья. На снимке мы увидели людей нашей 31-й гвардейской дивизии.

В 1942 году Ставский приехал в 20-ю армию; я был переведен в эту армию членом Военного совета. Приехал Владимир Петрович вместе с писательницей Лидией Сейфуллиной. И в эту поездку, как обычно, Ставский много раз бывал на переднем крае, в боевых порядках дивизий, интересовался снайперским движением, рассказывал о задуманной им повести о снайперах, встречался с командующим 20-й армией генералом Н. Э. Берзариным.

Однажды в моей землянке собрались Ставский, Сейфуллина, редактор армейской газеты М. Г. Семенов. Ставский подробно рассказывал о своей повести, которая была задумана как первая в серии книг о снайперах.

— Они — люди высокого патриотизма, — говорил Владимир Петрович. — Замечательные люди! Подумать только: один на переднем крае. Кругом никого нет... Они обладают безошибочным глазом. Но что еще важнее — у них безошибочное сердце. Верное! Преданное партии и Советской власти. Когда находишься один на один с врагом, твоя совесть держит экзамен. И задача литераторов — описать душу советского человека, который уничтожает изощренного врага, олицетворяющего собою весь мир фашизма.

Через несколько дней Ставский снова приехал в нашу армию. Владимир Петрович разыскал нескольких знатных снайперов, которые ежедневно выслеживали гитлеровцев и меткими выстрелами уничтожали их.

Он увлеченно рассказывал про снайпера Павла Безрукова, который уже уничтожил 113 гитлеровцев, и про Тимофея Шиянова, на счету у которого было 55 фашистов.

В течение 1943 года Ставский много раз печатался в «Правде», выпустил книгу очерков о войне «Фронтовые записки», бывал на многих фронтах, стремясь собрать побольше материалов о снайперском движении. В один из ноябрьских дней 1943 года на большаке Ржев — Великие Луки я снова встретил Владимира Петровича. Он ехал в 3-ю Ударную армию. Мы вдоволь поговорили. Ставский продолжал работать над темой о снайперах.

Он рассказывал увлеченно:

— За годы войны я видел очень много снайперов. Все это были люди с яркими биографиями и сильными характерами. Но не хватает одного — сам не был в роли снайпера...

Ставский обещал заехать к нам, в 20-ю армию, на обратном пути. Увы! Встретиться нам больше не пришлось. Он был убит на подступах к деревне Турки-Перевоз. Как я потом узнал, Владимир Петрович дважды ходил на снайперскую охоту. На третье утро он погиб на ничейной полосе под пулеметным огнем.

Он до конца остался верен своему девизу: все видеть самому...

ПИСЬМА ДРУГУ

В архиве генерал-майора в отставке А. А. Лобачева хранились письма В. П. Ставского, написанные в первые годы Великой Отечественной войны.

Вот выдержки из этих писем.

«26 ноября 1941 года.

Дорогой Алексей Андреевич!

Привет тебе, тов. Рокоссовскому, всем товарищам. Собираюсь к вам завтра. Слежу за вашими делами и волнуюсь.

Крепко жму руку! Твой Вл. Ставский.

Прошу оказать содействие тов. Суркову А. А.»

«2 июля 1942 г.

Дорогой Алексей Андреевич!

Шлю сердечный привет тебе, Рокоссовскому, Малинину, Казакову и всем товарищам. Каждый день думаю о вас, вспоминаю, радуюсь каждой весточке от вас. Застрял пока в Москве. Сказано: «Сиди пиши книгу; успеете, еще поездите». Ну, вот и сижу, обдумываю материал, приступил к работе над повестью. Я душой и всем сердцем с вами: я на фронте, с вами, фронтовиками! Ну, раз подана команда — надо выполнять. Думаю, все-таки побываю у вас. Я также помню о вашем «задании»: нужен сборник исторических произведений, написанных русскими поэтами XIX, а также и XX веков. Такой сборник в конце июля будет выпущен в свет Гослитиздатом, — я его немедленно пришлю, как только он выйдет.

На днях также выйдет сборник «Великая Отечественная война». Я его также пришлю.

В литературе — страшная утрата: гибель Янки Купалы.

Писатели готовят новые произведения. Много будет интересного. На заседании Верховного Совета я виделся с Шолоховым, А. Толстым, Корнейчуком и Вандой Василевской. У Ванды почти готов роман. А Толстой переделывает пьесу

о Грозном... Всеволод Вишневский по-прежнему в Ленинграде. Ставит фильм — продолжение «Мы из Кронштадта».

Вот это — главные наши новости в области литературы...

Ваш Владимир Ставский».

«Дорогой Алексей Андреевич!

Сердечный привет и поздравления с Новым годом! Также пожелания доброго здоровья, успехов и поздравления генералу!

Съездил я в Закавказье здорово. Был у своих избирателей. Был там во Владикавказе — Орджоникидзе в самое горячее время боев. Поработал всласть. Поработал бы еще, да простудился. Вернулся больной. Пришлось лежать в Кремлевской больнице. Это первый раз в жизни я попал в больницу. Сейчас чувствую слабость. С замиранием сердца слежу за обстановкой на фронтах. Соскучился я по тебе крепко. О многом следовало бы поговорить. К вам собираюсь между 5 и 10 января. Крепко жму руку, обнимаю.

Вл. Ставский».

«22 февраля 1943 г.

Дорогой Алексей Андреевич!

Сердечный привет и поздравления с праздником 25-летия РККА. Поздравляю также с победами, и с полной победой, которая маячит впереди. Не теряю надежды скоро увидеться. Привет всем товарищам.

Вл. Ставский».

«8 марта 1943 года.

Дорогой Алексей Андреевич!

Сердечный привет, поздравление с успехом. Был в Главпуре. Была долгая и содержательная беседа. Основное: «Тебе, Ставскому, надо писать. И писать хорошо. А не размениваться! И не заниматься только корреспондированием!»

Ну, вот я и сделал из этого все выводы. Надо работать, сражаться и пером за письменным столом. Время не ждет!

Дорогой Алексей Андреевич, я, видимо, скоро сумею приехать к вам как писатель. Ну и тогда обо всем поговорим.

Крепко жму руку.

Твой Вл. Ставский».

Ходжи Садык

ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ



Война бушевала уже несколько дней, быстро входила в жизнь и быт людей. Тогда еще никто, наверное, не представлял, как надолго все это затянется. Люди спешили на фронт, чтобы успеть с оружием в руках выступить против врага. Именно спешили. Рвались в бой всей душой. И уходили. Многие ушли и не вернулись... Среди них был и Хаким Карим — таджикский журналист и писатель.

Помню, в тот день взволнованный метранпаж прибежал из типографии в редакцию.

— Все полосы сверстал, а читать некому, — сказал он. — Корреспондента нет, дежурного нет.... Газета должна выйти завтра или нет?

— Успокойтесь, газета выйдет. Придется вычитывать мне и вам. Вы же знаете, сколько наших работников ушло на фронт.

— Да, уходят люди, — задумчиво ответил он. — Война...

Вместе мы прочитали полосы, метранпаж понес их править.

— Здравствуй! О чем это ты задумался?

Поднимаю голову, передо мною Хаким Карим. Он хоть и не состоял в штате редакции, но помогал нам каждый день. Я объяснил ему создавшееся положение.

— Ну что ж, акаджон¹, давай помогу,— сказал Хаким Карим.— Давай побуду сегодня за тебя редактором. А то, может, скоро придется отвыкать от запаха типографской краски и мокрых полос...

Не обратив внимания на его последнюю фразу, я поблагодарил Хакима за готовность помочь.

— ...Но с одним условием,— продолжал он уже весело и не слушая меня.— Подпишешь полосы — и пойдем на реку. Время дорого, акаджон, когда еще увидимся... Ну, давай, давай, уступай свое редакторское кресло.

— Куда вы собрались?

— На фронт, акаджон, на фронт.

— Фронт без вас не обойдется?

— Не обойдется, никак не обойдется. Ведь я — командир запаса, понял? Теперь обращай ко мне не иначе как «товарищ лейтенант»!

И он весело рассмеялся. Смеялся Хаким всегда заразительно. Он мог, как говорится, растормошить и мертвого. Но мне тогда было грустно. Ведь я знал, что Хаким Карим работал в газете со дня ее основания, что сегодняшние кадры — его воспитанники, его ученики. В редакции газеты Хаким мог принести пользы неизмеримо больше любого из нас. Так мне тогда казалось, и я высказал ему все это. А он как будто и не слышал ничего.

— Ходил два-три раза в военкомат, не берут,— ответил Хаким Карим.— Поэтому и решил ехать в Душанбе. Там у меня друзья. Уговорю их, своего добыю. Я должен ехать на фронт. Понимаешь, должен!..

— Нет, не понимаю... Нужно будет — призовут. Так сказали мне. Сказали, что мы нужны в тылу. Вы нужнее, конечно. Обо мне еще можно спорить — и буду спорить, — а вы должны, это ваш долг — остаться в тылу.

Хаким Карим усмехнулся:

— Значит, сам рвешься, а я должен сидеть сложа руки. Война идет народная, и грош нам цена как журналистам и писателям, если будем отсиживаться в тылу.

¹ Акаджон — ласковое обращение, соответствующее «братишка, дорогой».

Вскоре Хаким Карим ушел на фронт, ушел добровольцем. В боях против немецко-фашистских захватчиков сын солнечного Таджикистана Хаким Карим доказал, что слова «родина», «партия», «коммунизм» были для него главными в жизни.

Я познакомился и подружился с ним более 30 лет назад. Он работал в газете «Пролетари Ходжент» («Ходжентский пролетарий»). Не было для него большей радости, чем радость общения с людьми. Он не жалел ни сил, ни времени, работая с рабкорами и селькорами, со всеми читателями.

30 лет назад из кишлака Ява я принес в газету первую свою небольшую заметку, в которой писал о том, что надо помогать сельским корреспондентам.

— А у вас в кишлаке много людей, желающих писать? — спросил Хаким Карим.

— Да, много. Но не знаем как. У нас нет руководителя.

— Акаджон, собери завтра вечером их всех в правление вашего колхоза. Я приеду. Организуем кружок селькоров.

Хаким Карим приехал в точно назначенный срок. Занятия нашего кружка стали проводиться раз в неделю. Впоследствии этот кружок селькоров стал литературным кружком. Многие журналисты республики вышли из этого кружка.

Перед войной Хаким Карим работал над большим романом, который так и не успел окончить... Помешала война.

Помню, в канун отъезда на фронт он сказал:

— В идущего вперед попадает одна пуля, а в бегущего назад — две. Хочешь выйти победителем в бою — иди вперед, только вперед, акаджон.

Он любил повторять эти слова и в письмах с фронта.

У меня сохранилось два его письма.

Но прежде хочется рассказать о том, что я услышал о нем однажды на фронте. Дело было так. В столовой при штабе армии за одним столом со мною сидел незнакомый лейтенант. Пообедав, мы достали кисеты, свернули сигарки.

— Огня у тебя нет, приятель? — спросил лейтенант.

— «Катюша» есть, — ответил я и высек огонь. Закурили.

— Ты из Таджикистана? — спросил лейтенант. — У нас в части таджиков много. Великолепный человек один есть, литератор таджикский. Каримов его фамилия.

Я подскочил.

— Хаким Карим?!

— Да, да. Каримов Хаким. Среднего роста, смуглый такой... Веселый, жизнерадостный очень...

— Это же мой учитель. У него десятки учеников. У нас его называют таджикским Чеховым.

— Он командир и агитатор. Выпускает «Боевой листок»... Храбрый человек. Кипучая кровь,— добавил лейтенант.

Лейтенанта, если не ошибаюсь, звали Николаем Ивановичем. Времени у нас было мало. Я набросал короткую записку, попросил передать ее вместе с приветом и добрыми пожеланиями Хакиму Кариму.

Примерно через неделю пришло письмо от Хакима Карима. Несколько позже пришло и второе. Обыкновенные солдатские треугольники.

«Акаджон Ходжи, здравствуй, дорогой! Я жив. Умирать не собираюсь. Имею несколько благодарностей от командования. Представили к награде... Теперь совесть моя чиста. Свое я доказал, братишка».

Хаким Карим погиб на фронте, защищая нашу Советскую Родину.

Таджикский народ чтит память верного сына Отчизны.

Перевел с таджикского Л. Кандинов

Константин Симонов

КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ



От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.

П р и п е в:

Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты передать
И чтоб, между прочим,
Был фитиль всем прочим,
А на остальное наплевать!

Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,
Так давай по маленькой хлебнем!
Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем.

П р и п е в.

Есть, чтоб выпить, повод —
За военный провод,
За У-2, за «эмку», за успех...
Как пешком шагали,
Как плечом толкали,
Как мы попевали раньше всех.

П р и п е в.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:
— С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте третий год.

П р и п е в.

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не беда.
Но на «эмке» драной
И с одним наганом
Мы первыми въезжали в города.

П р и п е в.

Помянуть нам впору
Мертвых репортеров.
Стал могилой Киев им и Крым.
Хоть они порою
Были и герои,
Не поставят памятника им.

П р и п е в.

Так выпьем за победу,
За свою газету,
А не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой.

П р и п е в.

Евгений Каменецкий
ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ



Недавно в Тихоокеанском порту я увидел судно «Цезарь Куников».

Так вот где еще раз мы встретились с тобой, дорогой Цезарь! Твое имя увековечено не только в мраморе, но и стало силой действенной, воспитывающей, зовущей вперед. И тут, на сопке, продуваемой ветрами всех направлений, вспомнилась первая встреча с человеком, имя которого огромными белыми буквами выведено на корпусе судна. Как будто между этими встречами не лежала дорога в десятки лет...

* *
*

Июнь 1942 года. Небольшой приморский городок. Редакция газеты «Красный Флот» командировала сюда в одну из частей Черноморского флота Ивана Мирошниченко и меня. Когда мы прибыли в штаб, спросили: куда податься? Нам ответили: «А поезжайте-ка к майору Куникову. Ведь он ваш брат, газетчик».

Сборы были недолги. «Виллис» вырвался на пыльный большак. Вспомнилось, что до войны центральную газету «Машиностроение» действительно подписывал Куников. Но тот ли это Куников? Неужели он теперь не только военный моряк, но и командир одного из лучших боевых подразделений?

Плотный человек, с загорелым обветренным лицом, с ладно посаженной бритой головой встретил нас тепло, радушно.

— А, коллеги, милости прошу к нашему шалашу, — говорил майор, приглашая в рыбацкий домик, превращенный в командный пункт.

Да, наш новый знакомый, командир отряда водного заграждения, и был до войны ответственным редактором газеты «Машиностроение». После первых расспросов, восклицаний, воспоминаний о совсем, казалось, недавних мирных днях Куников целиком завладел нашим вниманием. Нет, не редактор сейчас сидел за небольшим скрипучим столом, возле полевого телефона. Он свободно разбирается в обстановке. И хотя отвечает за маленький кусочек фронта, вот здесь, на этом участке побережья, он говорит о том, как тяжело сложилась обстановка на юге, как далеко в глубь страны зашел враг. Лишь типичные остроты да записные книжки, которые сложены аккуратной стопочкой на небольшой тумбочке, выдают газетчика. Мы задаем ему один вопрос за другим...

Весь первый год войны я провел на Краснознаменном Балтийском флоте, на юге был новичком — хотелось побольше узнать, услышать о делах на этом направлении...

— Нет, пока вы не расскажете о ленинградцах, — говорит Цезарь Львович, — и слова не пророню о наших делах. Ведь в Ленинграде я начинал военную карьеру, впрочем, не совсем удачно.

И незаметно для себя, увлекшись воспоминаниями о не столь далеком прошлом, еще овеянном юношеской романтикой, Куников рассказывает, как он стал курсантом Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. «Полюбил я флотскую службу. Ну, думаю, быть мне до скончания века моряком. Но, увы, благим порывам не дано было свершиться. Через пять месяцев после поступления в училище тяжело заболел. Сделали операцию. Как ни старался убедить врачей, что уже выздоровел, что чувствую себя превосходно, ничего не вышло. Уволили подчистую. Пришлось

распростаться с морем». А секундой позже озорно, весело: «А ведь я был прав на все сто процентов. Все-таки вернулся на флот, сам напросился. Уже год воюю, и ничего, здоровье, как говорят, дай боже не хуже».

Цезарь Львович, оказывается, не забыл и о своей просьбе. «Нет, нет, обязательно посвятите меня в ленинградские дела». Я охотно рассказал Куникову о газетчиках-балтийцах, о писательской «группе Вишневского», которая стала, по сути, одним из боевых подразделений флота, о героическом переходе кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года, о мужественном поведении в эти трагические дни советских журналистов.

— Молодцы ребята, ах какие молодцы наши газетчики. Замечательно держатся! Партийность помогает. Это самое главное для нашего брата.

После беседы Цезарь Львович предложил подышать свежим воздухом... В июньском штиле покоилось море... Не верилось, что вон там, на невидимой, но не такой уж далекой северо-западной стороне,— чужеземцы. В эти минуты я задал Куникову вопрос, который невольно возник у меня еще в штабе:

— Цезарь Львович, почему вы оказались не на своем месте, ведь вы же газетчик, редактор?..

Как-то очень по-своему, вполоборота, Куников повернулся ко мне, и я увидел еле уловимую ироническую улыбку. Вопрос словно прошел мимо. Мы продолжали разговор. Лишь во взгляде моего друга Ивана Мирошниченко я прочитал немой укор: «Зачем только ты задал такой нелепый вопрос?»

И уже после, когда прогулка по берегу моря заканчивалась, Цезарь Львович сказал:

— Нет, други, не на чужом, а на своем я месте... Мысль о том, где мне быть, возникла сразу, как только началась война. Об этом я просил и в Центральном Комитете партии... Да, да, именно на фронт, в строй...

И после секундной паузы тот же знакомый полуоборот головы, та же и не та улыбка на лице.

— ...А газету я очень люблю. И что газетчик — не забываю ни на одну минуту. Если хотите знать, редактор Куников совсем не в обиде на командира Куникова. Больше того, один с другим в тесном взаимодействии.

Много лет спустя я узнал, что начало боевой жизни Куникова было нелегким. Острота положения на том участке

фронта, где он оказался в первых тяжелых боях, властно диктовала необходимость того, чтобы были приняты смелые командирские решения, а он увидел растерянность, безволие. Сердце коммуниста не могло мириться...

На фронт Куников пришел сугубо штатским человеком, с медалью «За трудовое отличие», заслуженной на газетном поприще. А через год он стал одним из лучших офицеров морской пехоты. Тактическое мастерство Куникова уже скоро было отмечено орденом Александра Невского. Но кто знает, как нелегко это далось. Сколько ночей прошло без сна, как урезывал он свой скудный солдатский отдых. У его койки рядом с томиками Пушкина и Батюшкова, сборником пьес Ромашова — военные работы Энгельса и Ленина, статьи по тактике, какие-то заметки, выписки.

Мы вернулись на КП. Беседа продолжалась... Куникову часто приходилось отвлекаться. К нему то и дело входили люди, звонил телефон. Каждого приходилось выслушивать, каждому отвечать. Начальник штаба доложил проект решения по важному вопросу. Куников внимательно смотрит схему, просит пояснить то одно, то другое. Читает еще раз... Вновь пододвинул к себе расчерченный большой лист. Сейчас, думалось, в углу появится одно только слово: утверждаю. Но у командира возник еще вопрос, второй, третий. В схеме обнаружили уязвимые места. Куников доказывает свою мысль: «А может быть, решить эту задачу так?..» И Куников лаконично, четко изложил свой взгляд. «Еще раз продумайте, взвесьте, выскажите нашу точку зрения фланговым специалистам, соседу артиллеристу...»

Дня через два, прощаясь с начальником штаба, мы невзначай спросили о недавнем разговоре. «Комбат был целиком прав. Очень, очень умный ход был подсказан, ошибка предотвращена».

Не берусь анализировать командирскую деятельность Куникова. Она многогранна, богата и достойна стать предметом особого исследования. Вспоминаются лишь эпизоды из жизни Куникова — газетчика, коммуниста, свидетелем которых довелось стать мне, моим товарищам по газете. И невольно думаю об одном обстоятельстве. Оно пришло на память давно, весной сорок третьего года, у свежей могилы в Геленджике, где был похоронен Цезарь Львович Куников. Корреспондентам «Красного Флота» не раз приходилось бывать в его батальоне, встречаться с ним. Но никто из нас при его жизни не брался за перо, чтобы рассказать о нем.

Казалось, что вот-вот Куников сам вернется в редакцию, сядет за стол и напишет обо всем так, как он умел говорить — сочно, метко, точно.

Газетчиком неистовым, умным, наблюдательным остался Куников в нашей памяти.

В предгрозовой тишине жил в ту пору отряд. Эх, тишина, тишина! Какой желанной, но и обманчивой, зловещей бывает она на фронте. В такой вот удивительно спокойный, даже без шелеста листвы, вечерний час командир слышал «Каховку», оставил все свои заботы в комнате и пошел на песню, как путник на манящий огонек. «А чем хуже «Мы кузнецы, и дух наш молод...» или «Орленок, орленок, взлети выше солнца»? Все это песни нашей юности, нашей молодости». И вдруг словно из угасавшей песни вспыхнула мелодия скрипки. Брамс, «Колыбельная». Куников неслышно приблизился к людскому кругу, присел. А когда вновь взметнулась песня — лихая, задорная «Іхав козак на війноньку», его приглушенный голос влился в общий хор.

И если бы не забавный, смешливый паренек с чуть раскосыми черными глазами, которого в батальоне любовно звали цыганенком, может быть, до самого отбоя еще звучала песня.

— Товарищ майор, — сказал он, — рассудите нас, спор получился. Я из Енакиево, работал на заводе учеником фрезеровщика. По душе мне пришлось работать. Вот и вспоминаю часто. А дружок мой курсы счетоводов окончил, бухгалтером собирался стать. Вот мы и говорим: кончится война, непременно вернемся к делу своему. А наш агитатор нас все осекает: вы, мол, поменьше праздные разговоры ведите, забудьте ваши профессии. Ну, мы и заспорили: «Нет, дружок, ты неправ, не мешает это нам воевать!»

Куников не проронил ни слова, серьезно слушал рассказ, вызвавший вокруг смех.

— А что, может быть, и в самом деле рассудим наших спорщиков? — сказал командир.

Бойцы согласились. Говорили разведчики, минеры, автоматчики, пулеметчики. Вчерашние слесари, трактористы, фрезеровщики, студенты. «Да, мы любим наши мирные профессии. Мы вернемся к ним после победы. Думая о них, воевать будем еще лучше».

— За свой век, — сказал Куников, — я приобрел немало профессий. Был и учеником сапожника, хотел стать худож-

ником, работал мастером, получил образование инженера. Инженером был и мой отец. На фронт пришел из газеты. Считаю себя журналистом. Горжусь этой профессией. Ведь журналистом считал себя Ленин...

И вправду, журналистом Куников остался настоящим, будучи и настоящим командиром прославленного батальона. Поражала в нем необычайная широта взгляда, заинтересованность во всем, что касалось судеб людей, с которыми ему довелось встретиться.

Когда на вопрос Цезаря Львовича я ответил, что в первые дни пребывания на юге не успел еще осмотреться, определить темы, он, только что показавший себя тонким тактиком, предстал сейчас вдруг вдумчивым редактором — у такого про запас всегда есть добрый десяток тем.

— Поезжайте вот сюда,— он подвел нас к карте, отыскал нужную точку, ткнул в нее огрызком карандаша.— Тут батарея береговой артиллерии. Боевые хлопцы. Командует ими Петр Желудько. Умный, смелый человек. Замечательно «сыгранная» батарея: уж если трахнет— можно с уверенностью на цели поставить крест. Военные моряки в степях юга! Ведь это же готовая тема! Обязательно расскажите о Желудько, его людях...

Куников достал записную книжечку, очень маленькую, аккуратненькую,— их в карманах у него всегда было несколько, нашел нужную страничку, назвал фамилии артиллеристов, словно сам собирался о них написать.

Оказывается, подразделение Куникова однажды взаимодействовало с морскими артиллеристами. Куников провел на батарее два дня, но— удивительное дело!— в его блокаде оказались такие заметки о людях, их характерах, такие детали, которые нужны, конечно, газетчику, а не взаимодействующему командиру. Он рассказал затем об асах Азовского моря, как называли экипажи бронекатеров военной флотилии, совершавших дерзкие налеты на вражеские базы. О них также посоветовал написать.

— И уж конечно побывайте у моряков на полуглиссах. Только, друзья,— предупреждал Цезарь Львович,— поменьше барабанной дроби. Ведь и так нынче много шуму. Ну хоть чуточку поубавьте краски, где о взрывах, о выстрелах. Ох, как хорошо я вижу сейчас слабости нашего брата! Читаешь иногда о нашем отряде и диву даешься: неужели это так на самом деле? Ни тебе переживаний че-

ловека, ни его раздумий. А какой ведь он умный, мыслящий, наш человек! И на войне, и в труде...

Вскоре мне пришлось оказаться на батарее Петра Желудько. Шел тяжелый бой. Какгодились мне характеристики Куникова, именно он помог лучше узнать людей героической батареи. И первая моя корреспонденция с юга, действительно, была о комендорах в степях Дона, преграждавших дорогу гитлеровским войскам, рвавшимся на Кавказ. Позднее довелось воспользоваться и другими его советами.

Потом, когда мы поближе познакомились с Куниковым, с чувством неловкости вспоминали — он никогда об этом не говорил — наш вопрос: на своем ли он месте? Дай бог, думалось, побольше таких журналистов, хоть и не на «своем месте». Его статьи появлялись во флотской и центральной печати, но своего командира считали в батальоне и активным военкором стенгазет. Он писал листовки, помогал выпускать «боевые листки», «молнии». Он знал и ценил силу печатного слова.

Фронтвой блокнот сохранил запись содержания двух номеров батальонной стенгазеты. И в обоих — статьи командира. Обе без подписи, но каждый знал, кто их автор. Первая называлась «Другу моему». Одна колонка, две странички ученической тетради. «Не каждый из вас,— писал Куников,— друзья, кто читает сейчас эти строчки, прочтет очередной номер нашей стенгазеты. Но пусть каждый выполнит свой долг так, как велит ему Родина, партия». И вторая статья — «Сыновняя верность». О матерях и отцах, о тех, кто там, далеко или близко от фронта, работает на победу.

Однажды мои друзья попросили Куникова написать статью в газету «Красный Флот». Прежде чем согласиться, он выспрашивал, что ждет от него редакция, какие вопросы считает главными.

— Или, может быть,— улыбаясь, заметил он,— поступите, как один наш собрат?

И Цезарь Львович рассказал забавный случай. Как-то в батальон приехал сотрудник почтенной газеты. Ему были предоставлены все возможности для знакомства с людьми. К концу второго дня гость пришел к майору, не подозревая в нем журналиста, благодарил за внимание, с восторгом говорил о виденном, о том, что блокноты у него заполнены «фамилиями и эпизодами», и тут же положил на стол статью

за подписью Куникова, заявив, что он, корреспондент, учел в ней мысли командира, а так как майор, мол, очень занят, то решил сам написать за него.

— Не помню,— говорил Куников,— заметил ли коллега мое смущение, но мне было стыдно. Прочитал статью и честно сказал ему: представьте себе, по этому вопросу (речь шла о тыловом обеспечении десанта) я никаких особых мыслей вообще и не высказывал, а за мысли, изложенные в этой статье, командование могло бы с полным основанием снять меня с должности комбата. Нет, нет, с таким приемом решительно примириться не могу.

Корреспонденту, разумеется, пришлось возвратиться во-свояси лишь с «фамилиями и эпизодами...».

Куников согласился написать в «Красный Флот». Но на другой день батальону пришлось начать тяжелые бои, и, честно говоря, на заказанную статью уже никто не рассчитывал. Прошло недели две или три. Каково же было удивление моих коллег, когда они оказались в батальоне и, увы, к своему стыду, позабыв даже о прежней просьбе, начали разговор о минувших боях. Цезарь Львович улыбнулся с какой-то подкупающей застенчивостью, отдал листки, густо исписанные карандашами разных цветов. В недолгие минуты тревожного отдыха, когда затихала канонада, Куников, оказывается, делал заметки, писал страничку за страничкой. Свою статью он назвал «Учиться в боях». Она была опубликована в газете «Красный Флот» 12 января 1943 года.

И какой же наблюдательностью знатока военного дела отличалось это его газетное выступление, согретое публицистическим темпераментом! «Не успокаиваться! Настойчиво учиться в огне, в пороховом дыму, учиться в сражении, в наступлении. Впереди еще большие бои. Мы их выиграем, в этом нет сомнения. И чем больше мы будем учиться, тем скорее достигнем победы».

И умел же Куников даже в статье по вопросам тактики так тепло говорить о людях! Он упомянул лейтенанта Богуславского: «Учитесь у него мужеству, умению, стойкости». Лейтенант с группой моряков прикрывал отход подразделения на новую позицию. Куников знал, что соотношение сил группы прикрытия и вражеских подразделений, наседавших на нее, будет не менее чем один к двадцати. Но другого выхода не было. Командир, автор будущей статьи, сам отправился на позицию Богуславского, прямо сказал ему об угрожающем положении. Куников с Богуславским перепол-

зали от одного бойца к другому. Потом об этом эпизоде газетчики писали: «Куников показал людям значение принимаемого маневра и высочайшую степень их личной ответственности за его успех». А выглядело все это в жизни куда проще и мужественнее. Куников подползал к бойцу, говорил иногда только два слова: «Нужно, дорогой», пожимал крепко, по-мужски руку и уползал дальше. Только тогда, когда Куников убедился, что действительно задача глубоко осознана каждым воином и безусловно будет выполнена, он ушел.

Позиция Богуславского не дрогнула. Много часов подряд горстка людей неистово отстаивала свой рубеж; бойцы гибли один за другим, но спасли целое подразделение. В каждом из тех, кто остался на том квадрате земли навечно, Куников был уверен до конца. И каждый, оставаясь с последним напутствием своего командира, верил ему, верил, что другого выхода у него не было.

В штабах знали об этой вере людей в своего командира, волевого, интеллигентного, необычайно корректного человека. И как только в штабе начали готовить план десанта, прежде всего подумали об отряде первого броска, его командире. Двух мнений тут не было. Куников. Ему поручено укомплектовать отряд. (Через много лет этот факт будет отмечен в одном из томов «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза»). С теми, на кого падет его выбор, ему и идти в смертный бой. Надо было отобрать 800 человек. Выбрать их, где только он сочтет нужным — на любом корабле, в любой части военно-морской базы. Моряков, готовых на самопожертвование во имя Родины, — легионы. Куников это знал хорошо. А ему надо только 800. Самых мужественных, самых отважных, самых умелых. И с каждым из них майор разговаривал. Нет, не анкета интересовала командира, а человек, его душа.

В один из таких дней раненый краснофлотец Кириллов увидел у своей койки майора.

— Выспались или еще часок понежитесь? — сказал он. — Спите, пожалуйста, я подожду...

Сон мгновенно улетучился. Кириллов не сразу нашелся.

— Как здоровье, Николай Павлович, скоро воевать пойдем? Жду не дождусь, решил навеститься.

Краснофлотец начал просить командира пойти к врачам, сказать, что он уже совсем здоров.

— Нет уж, успеете, не торопитесь. Поправляйтесь основательно, тогда прошу ко мне.

Майор пожал руку Кириллову и скрылся за дверью. А потом каждый день краснофлотцу передавали привет майора. Кириллов вернулся в батальон вовремя. Командир сказал: «Теперь я подобрал для вас подходящее местечко».

В 1944 году, в мае, в только что освобожденном Севастополе я встретил Кириллова. На его погонах светлела маленькая звездочка, а на кителе — Золотая Звезда Героя. И первое его слово было о Куникове.

Немало их, героев, на подвиг вел Куников. Командиру нравился Корницкий. Спокойный, чуть флегматичный, младший сержант выделялся своим умением воевать, своей рассудительностью. На него можно было положиться. И перед этим боем, последним боем Корницкого, Куников беседовал с ним. А бой оказался очень трудным. Десантникам удалось наконец прорваться к школе имени Тараса Шевченко в Станицке. Казалось, теперь уже все в порядке. Но гитлеровцы во что бы то ни стало решили вернуть школу. Это очень важный рубеж. Сюда были брошены три танка. Ожесточение боя нарастало с каждой минутой. Есть уже убитые, много раненых. Ранен и Корницкий. Превозмогая боль, он ловко метнул связку гранат под гусеницы головного танка. Машина вздрогнула, замерла, остальные отошли, продолжая вести настильный огонь с более дальней дистанции. Гитлеровцам удалось поджечь школу. Мгновенно ее охватил огонь. Остаться здесь больше не было никакой возможности. Немецкие автоматчики сосредоточились за каменной оградой школы. Они ждали капитуляции горстки советских воинов. Времени на раздумье не оставалось. И тогда Корницкий пошел на подвиг. Он обвязался гранатами, пробрался к каменной стене, вскочил на нее и, словно в реку, нырнул в самую гущу противника. Раздался сильный взрыв. Крики, стоны. Никто из врагов не уцелел. Группа моряков, воодушевленная самоотверженностью своего товарища, вырвалась из окружения. Младшему сержанту Михаилу Корницкому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

* *
*

Ночь на 4 февраля 1943 года. Холодная, сырая, с ветрами, пронизывающими насквозь. Ночь больших тревог и больших ожиданий. Ее ждали, к ней готовились, накапливали

силы. Тысячи, многие тысячи людей ждали в эту ночь сигнала. А первый прыжок сделают самые сильные, самые крепкие.

Северо-Кавказский фронт во взаимодействии с флотом в эту ночь начинает крупную десантную операцию. Задача точна и ясна — освободить от оккупантов важный порт и военно-морскую базу Черноморского флота — Новороссийск. Еще час, другой — и вот эти самые затемненные и ошетилившиеся пулеметами и пушками корабли уйдут в ночь. Куников в ватных брюках, в стеганке чуть зеленоватого цвета, в ушанке, с кинжалом на ремне и перекинутым через плечо автоматом держит в руке лист бумаги. Спокойный взгляд, уверенный голос. Он поднимает руку. Восемьсот человек слушают: «...волю свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей, мы отдадим за жизнь и счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина...»

Каждое слово написанной им клятвы волнует, западает в сердце.

...И корабли скрылись в кромешной тьме. Обстановка в эту студеную ночь сложилась весьма круто. У Южной Озерейки — месте высадки основных сил — в результате упорного сопротивления врага плацдарм захватить не удалось. Но в это время в рыбацкий поселок Станичка на западном берегу Цемесской бухты высаживался отряд Куникова. Удар его был ошеломляющим. Во вражеском стане началась паника, переполох. Так продолжалось очень недолго. Враг опомнился. С каждой минутой сопротивление гитлеровцев росло, огонь усиливался. Но теперь уже поздно! Никакая сила не способна сейчас сокрушить тех, кто несколько часов назад вслед за своим командиром повторял: «...за тебя, горячо любимая Родина!..»

В многотомной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» о немеркнущих днях семимесячной обороны «Малой земли», начавшихся той памятной ночью в броском отряде Куникова, сказано:

«Много героев «Малой земли» пали смертью храбрых, защищая плацдарм у Новороссийска. Много пробитых пулями и осколками партийных и комсомольских билетов было подобрано на этой обгазированной кровью земле. На смену погибшим приходили другие мужественные люди, чтобы отстоять завоеванный дорогой ценой клочок родной земли.

Погиб и прославленный командир десантников майор Цезарь Львович Куников. Тяжело раненного, его вывезли на

«Большую землю», но спасти уже не смогли. Советское правительство посмертно присвоило ему звание Героя Советского Союза. Поселок Станичка — место, где сражались герои-десантники, по просьбе жителей ныне назван в его честь Куниковкой. Советский народ высоко оценил героизм защитников «Малой земли»...»

После окончания Великой Отечественной войны останки мужественного командира из Геленджика — места первоначального захоронения — были перенесены в Новороссийск, в город, за освобождение которого он отдал свою жизнь. На площади Героев благодарный народ поставил памятник своему верному сыну, доблестному офицеру, журналисту Цезарю Львовичу Куникову.

Михаил Мельников

ЕСЛИ ИМЯ ТВОЕ — СОЛДАТ...



ашисты расстреляли белорусского поэта-журналиста, неггибаемого воина Ивана Денисенко. Но его и посейчас хорошо помнят в Белоруссии.

Он родился в 1913 году в маленькой деревушке Норки, Чериковского района, Могилевской области, в семье крестьянина-бедняка. Отец умер, когда Ивану было 14 лет. Он остался старшим в семье — брат в ту пору служил в армии. Мальчуган взвалил на свои плечи отцовские заботы. А ведь надо было еще и учиться, работать в комсомоле. Заканчивались двадцатые годы, и комсомольцам тогда приходилось работать не только в школьной организации, но и устраивать агитпоходы в деревню, бороться с кулачеством и бандитами... Все это было в жизни Ивана Денисенко.

В 1930 году Иван закончил школу в Черикове. Хотелось сразу же поступить в институт, но подвела тяжелая болезнь рано надорванного сердца. И все же, преодолев немало трудностей, Денисенко поступил в институт иностранных языков.

Здесь он начал печатать стихи и заметки. Но болезнь давала себя знать все сильнее. Денисенко уезжает в родной Чериков для лечения и поступает на работу в редакцию районной газеты «Социалистическая победа». Он — сотрудник сельскохозяйственного отдела газеты. Стихи Ивана Денисенко появляются на страницах областной, республиканской и центральной печати.

12 сентября 1938 года Денисенко публикует в газете «Советская Белоруссия» поэму «Семен Лагода». В этой поэме есть такие строфы:

...Есть истории огромный камень,
Мы на нем напишем имена,
Золотом их тиснем, чтоб веками
Помнила и чтила их страна,—
Всех, кто умер за свою Отчизну,
За ее величье и расцвет,
Всех, кто отдал дорогие жизни,
Чтобы ярче лился счастья свет.

Не знал тогда Иван Денисенко, что эти строчки он пишет и о самом себе!

После опубликования поэмы молодого поэта пригласили на работу в редакцию «Советской Белоруссии». Так стал он сотрудником республиканской газеты.

Работа в большой редакции требовала большого напряжения сил. А силы подтачивал неумолимый враг — болезнь. И Денисенко снова едет в родной городок, где и дышится легче и герои его произведений ближе. Сначала он руководит сельскохозяйственным отделом газеты, а затем становится ответственным секретарем редакции.

Началась Великая Отечественная война... Иван Денисенко участвует в тяжелых боях. В болотах под деревней Луцевинки, Кричевского района, часть, в которой находился Денисенко, попала в окружение. Когда группе советских воинов, в которой был и Денисенко, удалось вырваться из вражеского кольца, фронт уже продвинулся далеко на восток. Тяжело больной, Денисенко очутился в родной деревне.

Несколько дней лежит он, скованный страшным недугом. А затем, едва начав поправляться, пишет первые листовки. Партизаны быстро устанавливают с ним связь.

Однажды из леса пришел связной. Он сказал, что подпольный райком партии «рекомендует» его, Ивана Денисенко, на работу в полицию (очень нужно было иметь своего человека в самом логове врага). Денисенко отказался, но ему

передали, что на этом настаивает секретарь подпольного райкома Георгий Храмович, хорошо знавший Ивана по до-военной работе в Черикове.

Когда Денисенко встал на ноги, он отправился в город... Вернулся домой через день. Мать со страхом увидела, что к дому направляется человек в немецкой форме. Открыла дверь — и вскрикнула: на пороге стоял ее Ваня...

В Черикове были потрясены тем, что Иван Денисенко стал секретарем окружной полиции. А бургомистр Ширкевич радовался: такого человека перетянул на свою сторону! Сестра Ивана, Мария, рассказывает, как мучительно переживал он презрительные взгляды советских людей... Но сознание того, что он сражается на самом опасном посту, заставляло носить ненавистную фашистскую форму.

Денисенко работал очень активно. Он сталкивал друг с другом полицейские отряды, передавал в лес оружие, разведывательные сведения. Один, на велосипеде, он ездил в самые отдаленные деревни. Полицейские удивлялись смелости писаря. А Иван, добравшись до нужного места, давал выстрел из пистолета. В ответ раздавалось два. И из леса к полицейскому выходил партизанский командир, или уполномоченный подпольного обкома партии Яков Никифоров, или комсомольский вожак Астапенко, ныне представляющий Белоруссию в Организации Объединенных Наций.

В начале февраля 1942 года на дороге около Черикова вместе с сотнями других горожан работала учительница Антонина Зеленкова. Внезапно к ней подошел полицейский и сказал, что им надо поговорить наедине. Это был Иван Денисенко. Зеленкова испугалась: неужели ему известно о листовках, которые она распространяла?

Она не пошла на назначенную встречу. Тогда Денисенко сам зашел к ней с немцем и приказал соблюдать светомаскировку. Когда немец вышел, Денисенко быстро сказал учительнице:

— Все, что будете получать от надежных людей, у себя не задерживайте. Чаше меняйте одежду: жакетку, платок. До свидания!

Учительница не верила своим ушам: значит, Денисенко не предатель?!

Несколько дней спустя к ней зашел мальчонка лет десяти и, передав сверток в тряпке, убежал. В свертке были листовки и записка: «Распространить срочно». Задание было выполнено. И при встрече Денисенко бросил:

— Хорошо. Благодарю. Читают все.

Это были листовки от Тита Храмовича, брата секретаря подпольного райкома партии. Так Зеленкова, уже и до этого выполнявшая задания партизан, стала членом подпольной антифашистской организации, созданной в Черикове беспартийным журналистом Иваном Денисенко. Впрочем, уже тогда члены подпольного райкома партии говорили Денисенко: «Считай себя коммунистом».

Антонина Родионовна Зеленкова здравствует и поныне. Она рассказала много подробностей о работе подпольной организации, в которую входили и местные жители, и окруженцы, и поляки-дорожники во главе с инженером Куля, пригнанные из Лодзи.

— Редкая была смелость у Ивана Филипповича Денисенко, — вспоминает А. Р. Зеленкова. — Он весь горел жаждой мести фашистам и предателям.

Летом 1942 года Денисенко узнал, что за Сожем расположен партизанский отряд Михаила Перепечкина, носивший название «Победа». Необходимо было установить с ним связь. Денисенко быстро осуществил это, используя свою службу в полиции.

Он отправился в деревню Горки-Мирогоши и разыскал дом Якова Ларченко. В избе сидел партизанский связной — фельдшер Александр Демидов, ныне проживающий в Кричеве. Денисенко сразу приступает к делу: надо срочно связаться с Перепечкиным. Ларченко с удивлением смотрит на полиция — откуда он знает и об отряде и о самом Ларченко?

Ответ Денисенко краток: тот, кто принес сведения в полицию и был встречен Денисенко, уже никогда больше не произнесет ни слова. Ларченко может быть спокоен.

Так Иван Денисенко связался с отрядом «Победа».

В сентябре 1942 года Денисенко встретил в Черикове попавшего в окружение офицера Романа Ткачева. И на этот раз разговор тоже был очень короткий:

— Я все о вас знаю. Надо вступать в строй. Может, пойдете в полицию?

Идти в полицию Ткачев отказался наотрез. Нахмурившись, Денисенко сказал:

— Работа в подполье сопряжена с большим риском, но и с большой пользой для дела. И работать нужно там, где можно принести больше пользы Родине.

Ткачева устроили помощником писаря в Глинскую волюсть. Там он выполнял задания Денисенко, передаваемые

через учительницу Дудареву и Мишу Никитенко. В мае 1943 года Ткачев был вызван на совещание подпольщиков в Чериков. Проводил совещание Иван Денисенко. Он сказал, что подпольный райком требует усиления работы, и рассказал о новых задачах. Задания: Ткачеву — сжечь Чериковский сеноклад, Кистину — взорвать мост через Сож, Гуленко со своими людьми в полиции — захватить комендатуру, а коменданта доставить в бригаду Георгия Храмовича, оперировавшую в соседних лесах.

В начале июня Ткачев был арестован. Позже он узнал, что арестован и Денисенко. В тюрьме гестапо оказались бывший начальник окружной полиции старший лейтенант Красной Армии Гуленко, ростовчанин Александр Подгорный, Николай Тиллюпо, трое поляков из дорожного батальона и другие подпольщики. Из участников совещания не были арестованы только двое: Темерев и Кистин. Вскоре Темерева немцы назначили начальником окружной полиции вместо Гуленко. Темерев и был предателем. Удостоверившись в этом, партизаны в августе 1943 года казнили его.

Месяц провел Иван Денисенко в гестаповском застенке, вынес нечеловеческие пытки, но не выдал друзей. Он все брал на себя.

И вот закончен специальный суд гестапо. Иван Денисенко, воин-журналист, вожак подпольщиков, выслушал приговор — расстрел. К расстрелу приговорен и Гуленко.

Да, смерть уже стоит за плечами. Но дух Денисенко не сломлен — он и не ждал иного, он знал на что шел. Ему не разрешили уйти в лес, потому что партии надо было иметь своего надежного бойца в фашистском логове, иметь в городе руководителя подполья, умеющего уберечь людей от провалов. И он стоял среди огня, разя врагов, помогая патриотам.

А теперь пришло время умирать... Но он еще должен послать в будущее поэтическую эстафету, чтобы ее подхватили новые голоса и понесли дальше!

Незадолго до расстрела Денисенко был посажен гестаповцами в яму. Ему не разрешили проститься ни с матерью, ни с женою, ни с детьми. Когда над землей поднялось солнце, Денисенко повезли на расстрел. Его вывезли за Чериков, на широкий луг.

Иван смотрел на зеленый лес, на цветной ковер трав и жадно подставлял лицо свежему ветерку. Эх, ветер, ветер,

сколько песен нами не спето еще! Их споют новые поэты... Обязательно споют!

Иван снова повернул голову в сторону леса, широкой лентой синевшего на востоке. И в это время грохнул залп...

Над землей встал новый день — 5 июля 1943 года.

В тюрьме он писал стихи. Одно из его стихотворений, с пометкой в верхнем правом углу «Моим сыновьям», написано 21 июня 1943 года. Оно называется «Сосед» и опубликовано в сборнике «Говорят погибшие герои». Там сказано, что это последнее стихотворение Денисенко. Но это не так.

В гестаповской тюрьме в Черикове Денисенко сидел в одной камере с другим узником — Дворниковым, которому удалось вырваться на волю. Сын умершего после войны Дворникова прислал в музей города Кричева пожелтевший от времени листок в клеточку. На нем — стихотворение, написанное Денисенко перед самым расстрелом. Вот оно:

Если имя твое — солдат,
До конца будь солдатом, брат.
Стойким будь, честь свою береги.
Ничего, что кругом враги.
Ты — достойный страны патрист,
В тебе Ленина правда живет.
Так крепись же и честь береги:
Пред тобою бессильны враги!
Пред тобою родеют они...
А когда сочтены твои дни,
Когда близится смертный твой час,—
Мысль такую храни про запас:
— Не засох я за печкой сверчком,
Был с борьбой неустанной знаком.
В бой с открытым забралом ходил
И врагов никогда не щадил.
И хоть рано закончил свой путь,
Не жалею об этом ничуть:
Сделал я для Отчизны что мог,
От врагов ее счастье берег,
За нее я стоял средь огня,
И она не забудет меня.

И. Д.

Так мы снова услышали мужественный голос героя-журналиста, прожившего небольшую, но славную жизнь.

Михаил Верниковский

ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ВСЕ!



Последнее его письмо. Такое крохотное, на одном листочке простенькой бумаги, и написанное простым черным карандашом. Откуда-то из-под Витебска, из самого пекла боя, он писал в любимую Москву, родным:

«22/XII 1943 г.

Думаю, дорогие мои, что к Новому году придет это письмо.

Итак, с Новым годом! Третий раз мы встречаем его вдали друг от друга. И в эти дни, предшествующие новогодним тостам, первая мысль моя о том, чтобы уже 1945 год всем вместе встретить на Кропоткинской».

«Что делать, люблю традиции!» — восклицал автор письма и признавался, что любит он «и предпраздничную суету, и наспех снаряженную елку, и водку, и кахетинское, и споры о судьбах мира, и все на свете, от чего бывает тепло на сердце...»

«Как сон вспоминаются теперь эти дни, но очень скоро трудным сном покажутся дни сегодняшние. Только боль

реальных утрат хотя и притупится со временем, но останется неизгладимой. Но все же самое большое счастье — пройти через все. В этом нет жертвенности — чувство долга и любознательность ведут человека по жизни, и тогда только живешь по-настоящему».

Это писал мой друг, журналист Борис Владимирович Дубах, которого любили все мы, работавшие до войны в «Учительской газете», и весь характер которого красноречивее всего выражают эти, звучащие боевым девизом, слова: «Пройти через все...»

Мы знали его много лет, жили в одном редакционном коллективе, работали в одной комсомольской организации. Нет, страсть его неумная широко и буйно плескалась не за праздничным столом, а в строчках его глубоких и содержательных статей, в его делах и поступках; он был горячим, всегда взволнованным, и никогда — равнодушным и безразличным. Он и писал, и говорил страстно, эмоционально, убедительно. И когда трудно бывало кому-нибудь из нас написать статью, думалось: «Вот бы Борису эту темку. Он бы...» Иногда на собраниях он выступал с докладами.

Это был горячий, темпераментный оратор, его слово жгло, задевало чувства, подымало людей. Он говорил не стандартными фразами, не чужими, избитыми предложениями, а высказывал свое, живое, продуманное и прочувствованное.

На летучках он давал бой всем нам за торопливость, сестрость в материалах, но и сам, как никто другой, мог, взяв слово, с абсолютной искренностью заявить: спасибо, братцы, что меня тут разделили под орех, поделом мне попало...

Борис покинул нашу «Учительскую газету» осенью 1939 года, когда его призвали в армию. Через несколько дней после призыва он пришел к нам в военной форме и сообщил, что он действительно уже в армии и оставлен на газетной работе — в «Красной звезде», в отделе пропаганды. Мы искренне сожалели о том, что в нашей редакции не будет Дубаха. Нам долго не хватало его голоса — сильного, убеждающего, его мысли — прямой, логичной, ясной, его шутки — остроумной, оригинальной, его прямоты и принципиальности в беседах и поступках. Мы остро переносили разлуку с этим интересным человеком, нашим товарищем по перу, нашим другом.

«Пройти через все» — этого хотел Борис. И об этом он сказал в письме вполне искренне. Он шел туда, где трудно. Так было с ним всегда. И в «Пионерской правде», где он еще

юношей был членом редакционной коллегии и заведующим отделом культуры, и позднее в «Учительской газете», где он был литературным сотрудником, а затем заместителем заведующего партийным отделом. Нужно прочитать доклад на трудную тему — Борис за него возьмется. Срочно выехать с выездной редакцией — Борис уже готов. Немедленно в номер написать передовую на неожиданно возникшую тему — и тут может выручить Борис. За человека, оклеветанного карьеристами, он будет бороться, пойдет в Московский комитет, напишет в ЦК.

Живой, подвижный, улыбающийся, с черной большой шевелюрой, он проходил по коридору редакции, сея вокруг себя энергию, бодрость. Мы все тянулись к нему. Он любил спорить с нами, любил посмеяться, заражал своим смехом окружающих. Это был очень глубокий, серьезный, зрелый, широко образованный человек, патриот, преданный партии до последнего вздоха.

Когда он вступал в кандидаты партии, на собрании парт-организации «Учительской газеты» огласили его заявление:

«Прошу принять меня в кандидаты в члены Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

Я все продумал, все прочувствовал и твердо знаю, что настоящим содержанием жизни может быть только одно — борьба за дело Маркса — Ленина, борьба за коммунизм.

С 1928 года я кандидат, а с 1930 года — член комсомола. 10 лет пребывания в комсомоле, где я старался работать по мере сил, были подготовкой к вступлению в партию.

подавая это заявление, я обещаю нигде, никогда и ничем не запятнать чести коммуниста.

Дубах».

Борис был единогласно принят в кандидаты партии. Пришел срок — и Бориса так же единодушно приняли в члены партии. И то, что писал тогда в своем заявлении, он выполнил сполна: никогда и ничем не запятнал чести коммуниста.

Когда грянула война, Дубах стремился всеми силами попасть в действующую армию. Но из-за странной, трудно излечимой болезни кожи на лице его оставили в Москве, в госпитале, а затем отсюда направили в Свердловск ответственным секретарем редакции окружной военной газеты «Красный боец». Здесь он трудился в полную меру своих сил, но мысли о фронте не покидали его. Он писал рапорт за

рапортом: прошу направить в действующую армию, здесь успешно обойдутся без меня. Коммунист Дубах чувствовал себя неловко в тыловом городе, когда на фронте шли кровопролитные бои. Он считал, что его место в одном строю с теми, кто своими руками истребляют фашистское зверье. В эти тяжелые для Родины дни раскрылась новая черта его характера, которой мы, друзья его, почти не замечали в мирные дни: его неукротимая, огненная ненависть к врагу. Читаешь его письма к родным, знакомым, читаешь его статьи, и пламя этой ненависти обжигает сердце.

«Очень тяжело при мысли, что Люси нет,— писал он жене о знакомой, погибшей на фронте.— Ходил сам не свой, получив твое письмо. А через два дня прочел в газете («Уральский рабочий»), что умер тут, в Свердловске, мой ленинградский дядя. Оказалось, что он тут с января, а мы даже не знали друг о друге. Газету я прочитал уже после похорон... Павел на фронте, командует саперами, а Алик — самый младший, прибавив себе год, ушел добровольцем и воюет на Ленинградском фронте. Стало еще обиднее торчать тут. Растет мой личный счет к Гитлеру».

Назвав несколько имен друзей и родных, погибших от рук гитлеровских убийц, Борис продолжал: «...Самому хочется больше всего на свете убивать гитлеровскую сволочь. Причем не только при сем присутствовать, но именно самому убивать. Ведь в то время как штык входит в брюхо одному гитлеровскому солдату, в голову другого проникает луч разума. А разум солдата германской армии — это мина, хотя и замедленного действия, но невероятной разрушительной силы. Скажешь — я одержимый. Я просто не фантазер и не верю в чудеса. Гитлеровская Германия не может не взорваться. Но тут именно битие (от слова бить) определяет сознание. Потому и хочется бить и видеть, как бьют, и присутствовать при пробуждении сознания.

Словом, тошно мне в Свердловске».

Вскоре после этого письма в газете «Красный боец» появилась статья «Смерть им, только смерть!», подписанная «Старший политрук Б. Дубах». Это была гневная публикастика, зовущая на смертный бой с гитлеровцами:

«У каждого из нас кровоточат выцарапанные на сердце имена родных, друзей, имена любимых. Нам не дано услышать их голоса, нам не придется целовать их, обнимать, жать им руки. Они погибли, убиты, растерзаны. И все растет этот великий счет, требующий отмщения...

Никогда не зарубцуются эти раны. Потоками вражеской крови не смыть пепел, покрывший наши сердца. Они опалены ненавистью. Ненависть вошла в нашу кровь, ненависть к врагу стала нашим дыханием, ненависть убивает в советских людях страх смерти. Ненависть — вот комиссар, ведущий в бой!»

Работая секретарем редакции, Дубах написал много рапортов, в которых просил, умолял, настаивал, требовал направления на фронт. Наконец-то из Главного политического управления пришло согласие. Его откомандировали на Западный фронт, в газету 68-й армии.

...И вот в лесу, в болотной топи, редакционная землянка. Дубах вошел, оглядел быстрым взглядом сидевших в ней офицеров и, обращаясь к старшему из них — заместителю редактора газеты Шифману, доложил, что он, капитан Дубах, прибыл для прохождения дальнейшей службы... Александр Иосифович Шифман, работавший прежде в «Пионерской правде», сразу же узнал Дубаха, улыбнулся ему, протянул к нему руки, но Дубах строго отчеканил свой рапорт и только потом радостно заулыбался, всплеснул руками и кинулся в объятия.

— Ну, что же, Борис, включайся в нашу редакционную жизнь!

Включиться пришлось довольно своеобразно: сняв вещевой мешок, Дубах вынул оттуда свой котелок и принялся вместе с другими вычерпывать из землянки воду, обильно текшую с потолка и по стенам.

А вечером, когда коммунисты редакции собрались на свое очередное партийное собрание, Дубах коротко рассказал о себе и каким-то извиняющимся тоном (хотя, конечно, он никак не был виноват) объяснил, почему ему пришлось с опозданием войти в семью фронтовиков.

Приступив к работе, Борис Владимирович сразу же попросился на передний край. От него, как от секретаря редакции, не требовалось частое посещение подразделений, он мог бы туда и не выезжать, а оставаться в редакции. Но Борис и мысли не допускал, что может отсиживаться в редакционной землянке. Наравне с работниками отдела армейской жизни, всеми корреспондентами он отправлялся в полки и батальоны, в боевые порядки. И вскоре повсюду уже хорошо знали дотошного корреспондента-«бородача», автора заметок, статей, очерков, знали также, что он много помогает писать и другим — командирам и солдатам, кото-

рым не всегда удается на переднем крае четко и литературно грамотно изложить свои мысли.

А когда он находился в редакции, к нему то и дело шли товарищи, чтобы поговорить с ним, узнать его мнение.

Если в номер шла серьезная пропагандистская статья, редактор не подписывал ее прежде, чем ее не посмотрит Дубах. Походная редакция не располагала собраниями сочинений основоположников марксизма-ленинизма, и в вопросах теории Дубах был непререкаемым авторитетом. Он порой на память цитировал произведения Маркса, Энгельса, Ленина.

Когда же к ночи утихал редакционный улей, частенько по просьбе товарищей Дубах читал стихи.

Ночь, в землянке давно погашена гильза-светильник, все улеглись, а он наизусть читает Шекспира, Пушкина, Маяковского, Есенина...

— Ну, еще одно, напоследок,— просят его товарищи. И он читает еще и еще под звучный аккомпанемент близких разрывов артиллерийских снарядов. Потом все засыпают, наступает тишина, и только слышно, как капли воды, срываясь с потолка, падают в подставленные ведра и котелки.

Борис и сам писал стихи. И надо сказать — умные, теплые, бодрые.

Жизнерадостность, какой он всегда был исполнен, струилась и в его стихах.

Однажды он вернулся с переднего края, сдал очередную корреспонденцию о героях боев. Ночью же, перед сном, откликаясь на просьбу товарищей прочитать что-нибудь «на сон грядущий», он сообщил как о самом обычном:

— Был сегодня в бою. Четыре часа пришлось лежать в болоте. Фриц окаянный не давал поднять голову. И вот я написал стихи...

И он прочитал новое стихотворение «Мать — сыра земля». В нем он воспел родную землю. Даже сырая, болотная, она помогает воину...

Вот так Борис не просто «ходил на передний край», он всегда стремился быть там, где трудно, где жарко, где идет битва, чтобы самому все видеть, все испытать, чтобы «пройти через все», иначе разве ты настоящий солдат?

Не прошло и месяца, как все в редакции почувствовали: капитан Дубах на фронте уже не новичок, а опаленный боями солдат, который не растеряется в трудную минуту, не

потеряет мужества, не оставит товарища в беде, он всегда добудет отличный материал, добудет его из самого пекла, хорошо напишет и вовремя положит на редакционный стол.

Как-то ему было поручено написать очерк о снайперах. Капитан отправился на передний край в подразделение, чтобы собрать материал. Но тут он узнал, что разведчикам поручено провести ночной поиск, и настоял на том, чтобы ему разрешили пойти с ними. В группе захвата он действовал смело, обдуманно, как бывалый воин. На обратном пути разведчиков обнаружили, открыли по ним огонь. Пришлось возвращаться к своим под пулями врага, при свете его ракет. Но «язык» был взят и доставлен. И как только вернулись, Дубах, едва отряхнувшись с дороги, примостился в блиндаже и начал писать свой очерк.

В редакции потом говорили, что очерк — лучший из материалов, появившихся за последнее время в газете, — правдивый, яркий, интересный. Лишь позднее товарищи узнали, что в поиске участвовал и автор очерка: о себе он даже не упомянул.

Гневом и презрением полны его строки о пленных гитлеровцах, которых он не раз видел, которых при нем допрашивали. Так, о немецком обер-ефрейторе 9-й роты 499-го пехотного полка 266-й пехотной дивизии Фрице Шойнемане он писал: «И этот трусливый как заяц и жадный как волк двуногий зверь воображал из себя сверхчеловека, чтобы стать господином над русскими рабами... Таковы они, фрицы августа 1943 года. Хорошего красноармейского удара выдержать уже не могут, значит, надо их бить, не давая перевести дыхание».

...Поздней осенью газету расформировали. Капитан Дубах вместе с другими товарищами по редакции был направлен в резерв.

Шли недели, фронт двигался на запад, двигался в том же направлении и резерв политуправления фронта.

«Мои служебные перспективы, — писал Дубах жене, Ольге Владимировне, — пока не ясны. Пока что число журналистов здесь увеличивается, и не исключено, что я поеду отсюда не на газетную работу. Это меня, как ты знаешь, не пугает. Я писал тебе как-то, что все чаще и чаще подумываю о том, чтобы из газеты уйти, и если обстоятельства превратят размышления в факт, то я сожалею об этом факте не буду. В этой возможности есть, в сущности, одна неприятная

сторона. Если меня пошлют на командную работу, то полтора — два месяца придется подучиваться в каком-либо офицерском полку или на курсах, а потом опять некоторое время ждать назначения и таким образом опять оказаться в стороне от множества интересных событий...»

Еще задолго до войны Борис Дубах начал писать роман «Пограничная полоса». В нем он рассказывает о комсомольцах тридцатых годов, о молодом герое, мужаящем в борьбе за коммунистические идеалы. Автору удалось написать только три части романа — последняя осталась недописанной. И Борис мечтал по окончании войны завершить «Пограничную полосу». «Она — главное в моей жизни, — писал он как-то с фронта. — И для этого главного новый жизненный опыт, новая обстановка, новая система взаимоотношений с людьми не могут не дать очень многого. Изменения в моей личной судьбе — это только изменения форм, методов и обстоятельств аккумуляции материала, который должен быть реализован в «Пограничной полосе», и с этой точки зрения даже пребывание в резерве, где сталкиваешься со многими и разными людьми и в известной мере видишь их не только с лица, но и с изнанки, многому учит и многое дает».

Но пребывание в резерве тяготило Бориса. Он рвался в войска, на передний край, туда, где борьба с врагом не утихала ни днем, ни ночью. Он стремился быть в деле, а не сидеть в резерве, хотел пойти на политработу. Его желание было учтено.

«Вот наконец и закончился идиотизм резервной жизни», — писал он в одном из писем.

Вскоре Дубах прибыл к месту «работы негизетной». Встретили его, замполита отдельного батальона, очень хорошо. Он обошел подразделения, ознакомился с хозяйством части. «С новым своим амплуа думаю свыкнуться быстро, хотя несколько дней должно, конечно, уйти на то, чтобы знания и представления стали привычкой и бытием. Судя по всему, товарищи помогут мне в этом.

И в первый же день пребывания «в новом амплуа» он просит Ольгу Владимировну прислать ему бандеролью книгу Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», а также («если достанешь») папиросной бумаги.

Конечно, в первые же дни перед Дубахом-замполитом появилось много такого, с чем раньше ему приходилось сталкиваться лишь понаслышке. Ежедневно возникали задачи, которые надо было решать немедленно.

«Не хочу и не могу хвастать,— писал он домой в эти дни,— не все и не всегда получается кругло, но все же чувствую себя в своей стихии, а не в чужой тарелке».

Дубах отдавал себе отчет в том, что его батальону вскоре предстоит проверка боем, и готовился к ней. Но он уже имел не только внешнее представление о бое, ему были известны и все ощущения человека, участвующего в бою. Он часто задумывался над вопросом: насколько он окажется способным, в случае надобности, управлять боем, влиять на его ход, быстро реагировать на неожиданности... И Дубах приходил к выводу, что он будет годен не только для политического руководства частью, но и для командования ею.

...Выпал первый снег и растаял, в окопах прибавилось воды. В размякшей земле копошились люди в касках, с автоматами на груди. Это были чудесные люди, и Дубах любил их, жил той же мыслью, что и они: победить врага! И этой думе подчинял все свои действия. Он шел из блиндажа в блиндаж, беседовал с бойцами, выступал на партийных и комсомольских собраниях, включался в спор о том, сколько метров можно пробежать без передышки, тревожился, узнав, что не вовремя привезена солдатам картошка, ободрял словом тех, кто был невесел.

И вот — бой, за ним еще бои. Коммунист Дубах вел своих солдат вперед и вперед. Он с энтузиазмом говорил о тех, кто отличился в бою, посвящал им стихи, заражал всех воинов своей святой ненавистью к врагу.

Вскоре журналисту Дубаху пришлось принять командование отдельным стрелковым батальоном. Авторитет его был непререкаем. И не только потому, что он к тому времени стал смелым и умелым командиром, а потому, что был чуток и справедлив к солдатам, любил их, заботился о них и вместе с ними переносил все тяготы ратного труда.

Мечта Дубаха сбылась: он лично истреблял гитлеровцев, он управлял батальоном смелых и неустрашимых воинов, вел их к победе.

...В Москву, на Кропоткинскую, к своей семье Борис не вернулся. Раненный в бою, он не покинул поле битвы, а пошел вперед, ведя за собой батальон. Вражеский артиллерийский снаряд разорвался у него под ногами. Это случилось 28 декабря 1943 года.

Ян Островский

В СЕРДЦЕ НАРОДНОМ



Карикатура, невесть откуда появившаяся вдруг в клубном фойе, была необычайно дерзкой. Неведомый художник изобразил Гитлера в виде паука, прижатого ногтем советского рабочего. Искажённое злобой лицо фюрера выражало одновременно животный страх и лютую ненависть.

Но больше всего гестаповцев возмущали стихи под рисунком. В них была непреклонная уверенность и убийственная ирония. Четверостишие заканчивалось ядовитой строкой:

...З бою німці йдуть босі.

И это в разгар битвы на Волге! Плакат, конечно, немедленно сорвали, но его уже к тому времени успели увидеть десятки людей.

На следующий день весь Павлоград повторял эти стихи.

Гестапо и полиция с ног сбились, пытаясь изловить авторов рисунка и стихотворения. Фашисты и их прислужники тогда еще не подозревали, что поэт и художник были одним лицом: плакат изготовил бывший ответственный

секретарь павлоградской районной газеты «Соціалістичний наступ» Николай Степанович Шуть.

Ему было 23 года, когда в этот тихий украинский городок пришли гитлеровцы. Молодой коммунист Николай Шуть до самого последнего момента руководил выпуском газеты: большинство ее сотрудников уже было эвакуировано. И только когда враг оказался у самого Павлограда, газета, по указанию партийных органов, перестала выходить. Николай, как ему и было предложено, попытался выбраться из города, пересечь линию фронта, но это ему не удалось.

Как же быть, что делать?

Подпольный горком партии возглавляли тогда А. Караванченко и С. Прибер. Но ни об этом, ни о том, что в городе созданы партийные группы, ведущие совместно с партизанами самоотверженную борьбу против оккупантов и их приспешников, Николай Шуть никаких сведений не имел. Между тем признаки этой ни на один час не прекращающейся борьбы явственно ощущались на каждом шагу. Диверсионные акты, нападения на захватчиков, организованное бегство из лагерей военнопленных, расправы с предателями происходили очень часто, вызывая ярость врагов. Фашисты лютовали, срывая злобу на ни в чем не повинных людях. Только за последние два месяца 1941 года в Павлограде были расстреляны и замучены почти 3700 мирных жителей. И все же борьба не утихала, а, напротив, разрасталась, приобретая с каждым днем все больший и больший масштаб.

Николай Шуть не находил себе места. Он бродил по городу, присматривался к каждому встречному, надеясь каким-то образом найти заветную нить, которая привела бы его в стан деятельных борцов против фашизма. Но время шло, и ничего пока не получалось.

В ту первую военную осень горестные мысли терзали сердце Николая. Его настроения того периода выражены во многих стихах. Вот одно из них — «Дождь»:

Хмурые тучи черной отарой
Носятся в небе. Злой ветер с дымком...
Где-то тоскливо рыдает гитара,
Сыплются слезы горохом на дом.
Сердце тревога сжимает и гложет,
Ему ли молчать, покориться, забыть?..
Может быть, дождь крупнокапельный сможет
Нечисть фашистскую с Родины смыть¹.

¹ Здесь и далее перевод мой.— Я. О:

О мести фашистам страстно мечтал журналист и поэт Николай Шуть в те горькие, тяжкие дни. Сердце его безудержно тянулось, рвалось к борьбе и победе, в неизбежности которой он ни секунды не сомневался. Он твердо верил, что мрачные тучи, сгустившиеся над его родной Украиной, над всей любимой Отчизной, обернутся грозой — великой, всеочищающей. И что эта гроза неудержимым потоком смоем вражью силу.

Особую ненависть вызывали в его сердце отщепенцы, изменившие чести советских граждан. Одним из них оказался журналист, угодливо предложивший немцам свое перо, а вместе с ним и совесть. Этому негодяю Николай адресовал четыре гневные строки:

Все продано — друзья, святое дело..
Враги платили серебром ему.
Хотел продать еще и тело,
Да немцам падаль ни к чему.

Долго, очень долго искал Николай Шуть возможность связаться с единомышленниками. Но и подпольщики, по-видимому, присматривались к нему. В отчете подпольного обкома и горкома партии среди имен других самоотверженных борцов я прочитал имя Николая Степановича Шутя, ставшего подпольщиком уже в 1942 году. Как опытному газетчику, умелому организатору и человеку, прекрасно владевшему пером, ему доверили агитационно-пропагандистскую работу. Со всем жаром, со всем присущим ему пылом Николай целиком отдался высокому заданию.

«Красный пропагандист» — так враги окрестили неуловимого и бесстрашного автора пламенных антифашистских воззваний, листовок, сообщений, остроумных плакатов — создает в то же время немало ярких поэтических произведений, прославляющих социалистическое Отечество, зовущих к борьбе с поработителями. Но прежде всего, на первом плане, главной его заботой было достойно выполнять партийное поручение.

...Это случилось как раз в канун 25-летия Октябрьской революции. Слов актеров почти не было слышно. В переполненном зале клуба «Химик» (при фашистах он носил пышное название Украинского театра) было много немцев. Не зная украинского языка, не понимая перипетий разыгрывавшейся на сцене драмы, они громко, без стеснения переговаривались, обменивались грубыми шутками. И вдруг

откуда-то сверху, с балкона, донесся шелест. Все невольно подняли головы. С потолка затемненного зала большой глубиной стаяй медленно опадал ворох белых листков. Задвигались стулья, сотни рук потянулись вверх, ловя кружащие в воздухе листки.

Их тотчас же расхватили.

— Что это? Вас ист дас? — неслось со всех сторон.

И тут кто-то из полицаев растерянно выкрикнул:

— Та це ж більшовицькі листівки!..

Спектакль прервали. Зал гудел, люди перешептывались, сообщая друг другу содержание листовок. Немецкий офицер что-то бешено кричал своим солдатам. Потом он схватил за плечи одного, на беду свою оказавшегося рядом, полицая, тщетно порывавшегося что-то возразить, и заорал:

— Ферфлюхте швайн! (Проклятая свинья!)

Полиции кинулись наверх, на балкон. Из распахнутых дверей выходили люди.

— Назад, все назад! — полиция загнали публику обратно и приступили к поголовному обыску. Но многие к тому времени уже успели спуститься вниз, выйти на улицу и раствориться в густом мраке ноябрьского вечера. Среди них был и Николай Шуть — автор листовки, которую он сам изготовил и сам же бесстрашно метнул в зал.

Выполняя указание городского комитета партии, Николай привлек к активной антифашистской деятельности большую группу молодых патриотов. Они от руки размножали листовки, расклеивали их по городу, собирали разведывательные сведения. Одной из его ближайших помощниц была Галина Пасько, до войны работавшая в типографии «Соціалістичного наступу». Смелая девушка устроилась машинисткой в редакции «Павлоградской газеты» (так назывался фашистский листок, издававшийся тогда в городе), вошла в доверие хозяйничавших там предателей. Для подпольщиков это было очень важным достижением, так как появилась возможность не только размножать на машинке листовки, но и время от времени добывать в типографии шрифты. С их помощью фабриковались различные удостоверения, пропуска и другие документы. Кроме того, Галина, как и остальные сотрудники редакции и типографии, получила пропуск для беспрепятственного хождения по городу вечером и ночью, что облегчало расклейку воззваний, а главное — связь между подпольщиками.

Между тем размах подпольного движения все более и более увеличивался, в борьбу втягивались новые и новые люди.

— В конце 1942 и в начале 1943 года мне доводилось частенько встречаться с Николаем, — рассказывал бывший секретарь подпольного горкома комсомола Константин Васильевич Беляев. — То в клубе «Химик», то в кинотеатре он каждый раз вручал мне пачки листовок, которые наши ребята потом распространяли среди населения.

Когда зимой 1943 года под ударами наших войск враг начал откатываться на запад и фронт стал приближаться к Павлограду, городской комитет партии принял решение о подготовке вооруженного восстания.

Тщательно разработанный план предусматривал объединение всех имевшихся боевых сил в один отряд. Был установлен контакт со штабом 4-го гвардейского стрелкового корпуса, находившимся тогда уже в непосредственной близости — в Лозовой.

Морозное утро 12 февраля началось с невероятной паники в павлоградском гарнизоне. Она была вызвана как снег на голову свалившейся вестью о том, что связь между фашистскими фронтовыми и тыловыми частями прервана. К тому же по всему городу висели расклеенные подпольщиками сообщения о том, что советские войска окружают город. Кроме того, на многих домах и заборах было вывешено следующее воззвание к советским людям:

ВОЗЗВАНИЕ

УКРАИНЦЫ!

РУССКИЕ!

Германский фашизм напал на нашу Родину неожиданно, предательски. И вот уже более 20 месяцев терзает этот хищник нашу страну, мстит ей за смелость создания Отчизны рабочих и крестьян. Под мощными ударами Красной Армии мутно-коричневая волна катится назад. В этот час наш долг, наша обязанность перед народами СССР и всем человечеством ускорить гибель этих варваров, помочь нашим героям добить фашистских псов.

Подымайтесь, все честные граждане! Пусть наши села и города охватит огонь негодования! Пусть все леса наполнятся громом голосов: К ОРУЖИЮ! К ОРУЖИЮ! Пусть каждый дом даст бойца, пусть села превратятся в батальоны, а города в полки!

В поход! В бой!

Пойте свои грозные песни и несите ужас оккупантам и их лакеям. Не беда, что у нас не много пулеметов, пушек, танков. Города, превратитесь в леса пик, а ты, деревня, возьми вилы! Все годится в хороших руках.

Мы у себя дома, нам поможет и зимняя стужа, нам поможет дождь. Победа или смерть! Кто хочет — тот все может. Даже плохое оружие — прекрасное оружие, если человек храбр. Старый штык, обломок сабли, железная палка — все способно наносить смертельные удары, если оно находится в мужественных руках.

Партизаны 1918—1919 гг. были вооружены не лучше нас, но являлись грозой для немцев-оккупантов. Так немедленно, как можно скорее, не теряя дня, не теряя часа, каждый — рабочий, колхозник и служащий — пусть найдет у себя или подберет с земли все, что похоже на оружие или метательный снаряд.

Выворачивайте склады, нагромождайте кучи булыжника, перекуйте плуги в топоры, превратите борозды в окопы. Сражайтесь всем, что вам попадется под руки. Каждый должен проявить себя. Пусть каждый мужчина будет Чапаевым или Щорсом, пусть каждая женщина будет героиней, пусть улицы наших городов и сел пожирают неприятеля, пусть окна шлют ему смерть, пусть с домов в него бросают домашнюю утварь, пусть с крыш на него сыплется град черепицы и камней!

Тревожьте оккупантов здесь, тревожьте их там, перехватывайте обозы, рубите машины, ломайте мосты, разрушайте дороги, рвите провода, ройте рвы и канавы. Пусть Украина превратится в ад, в котором сгорят немецкие фашисты! Будем вести войну и днем и ночью, будем вести ее на равнинах, будем вести ее в лесах, будем вести ее в горах. Без передышки! Без сна! Без отдыха! Подымайся, украинский люд, разогни согнутую спину — и хлипкая стая коршунов разлетится во все стороны. Пусть на пылающей земле нашей Родины растает как снег эта армия убийц! Никто не должен уклониться от исполнения своего долга! Боритесь героически, будьте безжалостны, патриоты! Мы должны показать, как мы любим свободу, свою Родину, как умеем выполнять свой долг.

**ДА СГИНЕТ ЧЕРНЫЙ МРАК ФАШИЗМА!
ДА СУЩЕСТВУЕТ ВЕЧНО В ЛУЧЕЗАРНОМ СВЕТЕ
НАША ВЕЛИКАЯ СТРАНА!**

Люди читали и жадно повторяли эти страстные призывы. Воззвание, написанное Николаем Шутем, удалось с помощью Гали Пасько и некоторых работников типографии напечатать тиражом около 200 экземпляров.

Первыми на воззвание «отреагировали» жандармы и полицейские. Они сбежали. Но войсковые подразделения, оповещенные каким-то предателем о планах одного отряда повстанцев, сосредоточившихся в районе кожевенного завода, окружили этот район. Сотни отлично вооруженных гитлеровцев наступали на горстку храбрецов, едва насчитывавшую пятьдесят человек, многие из которых — отошавшие, изможденные — только что вырвались из лагерей военнопленных. Герои погибли, дорого продав свою жизнь, — они истребили полторы сотни фашистов.

Но на этом борьба не закончилась. Огромное большинство подпольщиков находилось в других частях города. Вернувшиеся через день жандармы и полиция вместе с гестаповцами ошалело носились по городу, глумясь над жителями, арестовывая каждого, кто казался им подозрительным. Десятки людей были схвачены и брошены в застенки. Среди них оказался и Николай Шуть.

Несколько дней его подвергали неслыханным пыткам — заставляли босыми ногами топтать битое стекло, подолгу выстаивать на морозе в одном белье, избивали.

Но из тяжело больного, вконец измученного человека фашисты не выжали ни слова признания.

— Не знаю, ничего не знаю, — упрямо повторял он.

Жительница Павлограда Галина Белова вместе со своей подругой Галиной Федосеенко в те трагические дни тоже очутилась в лапах гестаповцев. Обе они три дня провели в камере смертников вместе с Николаем.

— Его часто уводили на допрос, — рассказала мне Галина Белова, — он отправлялся, шатаясь: изрезанные ноги не держали его. А потом... Потом его швыряли в камеру еще более истерзанного. Он ничего не говорил врагам, а для нас находил удивительные слова утешения, всячески старался подбодрить. На третий вечер нашего совместного пребывания в камере фашисты объявили, что в 8 часов утра Николай будет повешен на площади. Но к утру мы вдруг услышали канонаду. И тут, кажется, впервые ему изменило самообладание. Он сказал нам: «Эх, девушки, близок локоть, да не укусишь. Но ничего, за нас отомстят, как следует отомстят». А канонада все приближалась, затем она как-то сразу

умолкла, стало очень тихо, даже шаги часового прекратились. Потом, слышим, топот коней во дворе, несколько выстрелов и совсем, совсем рядом окрик:

— Живые есть?

— Есть! Есть!

Через минуту снаружи сбили замок, и мы очутились на свободе.

Воля!.. Желанная воля! Как истосковались по ней они, смертники, отсчитывавшие уже последние минуты своей жизни! Она пришла наконец утром 17 февраля в результате мощного удара 4-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й армии, поддержанного восставшим населением.

...Люди, попадавшие навстречу, шарахались от странного человека, передвигавшегося прыжками. Николай Шуть не мог ходить — каждый шаг острой болью отдавался во всем его изувеченном теле. Но идти надо было. И, напрягая всю волю, он заставлял себя двигаться вперед.

— Коля тогда пришел к нам, — рассказывал бывший подпольщик коммунист Дмитрий Сергеевич Филиппов, — он очень дружил с моим сыном Анатолием. Мы кое-как приодели его, ведь он был в одном только изодранном, окровавленном белье.

От Филипповых Шуть направился домой. По пути крикнул встретившейся печатнице:

— Скорей в типографию, сейчас начнем газету делать.

Но делать газету ему уже не пришлось. С трудом дотащился до дома. Мать и сестра уложили его... А вскоре Павлоградом снова овладели фашисты. Им удалось выследить «красного пропагандиста», выследить и расправиться с ним...

За несколько лет до войны Николай Шуть окончил павлоградскую школу № 1. Сейчас пионерская дружина этой школы носит его славное имя.

Павлоградские подпольщики и партизаны героически сражались против ненавистного врага. Борьба была неравной и тяжелой, она требовала от патриотов всех сил, воли, нервов, а нередко и самой жизни. Одним из активных участников этого сражения был молодой коммунист Николай Шуть, боевой журналист и талантливый поэт. Посмертно принятый в Союз писателей Украины, верный сын нашей Родины, отдавший ей всего себя до последней капли крови, до последнего дыхания, он навсегда остался в сердце народном.

Иван Крисковец

ПАРТИЗАНСКИЙ ГАЗЕТЧИК



В 1942 году партизанская война в Белоруссии приняла огромный размах. Только в Могилевской области к концу года было свыше 60 партизанских отрядов и около 100 специальных групп. Весь Кличевский район, значительная часть Кировского, Бобруйского, Осиповичского и остальных районов области, а также районов соседних областей были под контролем партизан.

Во всех районах были созданы подпольные партийные органы, группы пропагандистов и агитаторов. Листовки на пишущей машинке и от руки мы начали выпускать с самого начала войны. Но теперь этого уже было недостаточно.

В сентябре 1942 года Кличевский подпольный райком партии начал издавать районную газету «Голос партизана». Газета размножалась на пишущей машинке. Вскоре начали издаваться подпольные районные газеты в Осиповичском, Бобруйском, Кировском и других районах области.

В марте 1943 года нам сообщили, что решением ЦК КП Белоруссии создается Могилевский подпольный обком КПБ

и подпольная областная газета. К нам, в тыл врага, посылается секретарь обкома партии Д. С. Мовчанский и редактор областной газеты А. А. Юшкевич.

Александра Антоновича Юшкевича я знал давно. В 1937 году, после окончания Минского Коммунистического института журналистики, он был послан к нам в Кличев редактором районной газеты. Не должность редактора, а главным образом солидный опыт журналиста и большие знания выделяли его среди нас, выходцев из селькоров.

Только два года проработал у нас Александр Антонович, но научил многому. В газете появились очерки, зарисовки, фельетоны, материалы рабселькоровских рейдов. Он учил делать газету боевой, живой, интересной, учил работать с письмами.

В газету писали сотни людей — людей хороших, честных. Но встречались и кляузники, их нужно было уметь разгадывать. Один из таких — Иван Павловский, в прошлом изгнанный из многих редакций газетный работник, буквально засыпал нас письмами. Это были грязные кляузы на коммунистов, сельских активистов, людей честных, но иногда ошибавшихся.

Изучив несколько его писем, Юшкевич быстро понял Павловского и пригласил в редакцию. Тот охотно явился с новой пачкой писем. Внимательно рассматривая клеветника, редактор начал:

— За месяц мы получили от вас около тридцати писем, в которых вы обвиняете, называя врагами народа, польскими шпионами, до ста человек, людей безусловно честных. Что с вами, Павловский? Вы не больны?

Павловский вел себя нагло, уверенно. Он разыграл возмущение:

— Как вы смеете! Вы что, только за этим меня и пригласили? Запомните, редактор, я знаю и вас. Вы еще вспомните сегодняшний день!

Павловский выбежал, хлопнув дверью, и направился в райком партии. С того дня он начал писать и на нас, особенно на редактора.

Началась война. Павловский по-прежнему писал на тех же людей, только теперь уже в гестапо, причем называл нас уже не «польскими шпионами», а, учитывая новую обстановку, «большевистскими агентами».

На этот раз суд состоялся. Партизанский. Он был короток и справедлив.

...И вот теперь нам снова предстояло работать вместе. Я был рад этому.

В ночь на 20 марта 1943 года мы встречали его на лесном партизанском аэродроме. Встречать самолет собрались почти все довоенные работники редакции и типографии кличевской газеты. Александр Антонович всех хорошо знает, представлять не надо.

— А, Микола,— приветствует он бывшего заведующего сельхозотделом газеты Николая Сидоровича,— ну как, сеешь?

— Сею смерть гитлеровцам, Александр Антонович,— отвечал Сидорович.

— Ну, сей, сей, да погуще! Семян не жалею.

Подошел и поздоровался Савва Вершук, наш довоенный печатник. Юшкевич от души обрадовался и этой встрече.

— Савка здесь, тогда полный порядок, крутить будем!

— Крутить нечего, товарищ редактор, газету машинистка делает,— ответил Савва.

— Бери и тащи,— сказал Юшкевич, показывая на привезенные им два чемодана,— здесь вся типография, будешь крутить.

Вечером в землянке отдела пропаганды только что созданного подпольного обкома партии мы отводили душу в воспоминаниях.

Юшкевич много рассказывал, а еще больше спрашивал. Радовался, что почти все журналисты области на месте и выпускают газеты, листовки.

О себе рассказал кратко. Оказалось, что это уже второй его поход в тыл врага. Еще в мае 1942 года по решению ЦК Компартии Белоруссии вчерашний журналист, став разведчиком, обошел сотни селений Витебской и Минской областей, побывал в десятках партизанских отрядов и бригад. Свыше трех месяцев провел тогда в немецком тылу Юшкевич.

А теперь его назначили редактором областной подпольной газеты «За Радзиму» («За Родину»). Первый его номер вышел 24 марта 1943 года. Грозным набатом зазвучал ее голос. Броские заголовки передовых: «Огонь по немецким рабовладельцам!», «Бушуй, народный гнев!» — призывали людей на партизанскую войну.

Газета широко освещала боевые действия партизан. Гитлеровцы старались как можно больше награть и утащить в Германию хлеба, мяса, леса.

Партизаны защищали население от грабежа, уничтожали фашистских «заготовителей».

Газета сообщала об одной из таких боевых операций. В деревню Матевичи приехали немцы и начали выгребать у крестьян последний хлеб, угонять скот. Жители села попросили у партизан защиты. Партизаны окружили карателей и истребили 138 солдат и офицеров.

«Так поплатились негодяи за грабеж и издевательства над мирным населением. Пули вместо хлеба получили фашисты», — сообщала газета.

«Пулю вместо хлеба — фашистским людоедам!» — такой заголовок стал появляться в газете из номера в номер.

Газета помещала многочисленные заметки о подрыве вражеских эшелонов, разгроме гарнизонов. Рассчитанная не только на партизан, но и на мирное население, она разоблачала зверства фашистов, призывала население не поддаваться гитлеровским провокациям. В номере за 21 апреля на специальной полосе под общей «шапкой»: «Партизан! Отомсти лютому врагу за убитых детей и женщин, за кровь и слезы нашего народа!» газета рассказала о массовых убийствах женщин, стариков и детей в деревнях Хрелев, Борки, Уболотье, Березовое Болото, Великая Старина, Старый Спор, Маковье и других. Все, кто не успел скрыться в десятках сел Кличевского и Кировского районов, убиты или сожжены заживо.

Обычно при появлении немцев население скрывалось в леса, под защиту партизан. Встречались, однако, и такие деревни, население которых пыталось не «злить» немцев. К числу таких и принадлежала небольшая деревушка Маковье (Кличевский район). Местные «мудрецы» решили, что главное в этой войне — выжить и что выжить можно только, не примыкая ни к одной, ни к другой стороне. В деревне не было ни одного полицейского и ни одного партизана; никто не ушел на фронт. Молодые мужики сидели, выжидали.

Мы их стыдили, предупреждали об опасности — ничего не помогло. Они отвечали:

— Немцы бьют евреев и коммунистов, а мы — ни то и ни другое. Переживем тихо, только вы нас не трогайте.

Что же получилось из этого «нейтралитета»? Газета об этом сообщила в коротенькой заметке:

«Деревню Маковье фашистские каратели окружили на рассвете. Не успевшие скрыться восемь человек были увезены якобы по мобилизации.

На этот раз фашисты сами показали цель своей «мобилизации». Связанных людей привезли в деревню Березовое Болото и там живьем сожгли.

В огне погибли Нарадовский Флор, Нарадовский Стась, Ивинский Феликс, Кашков Сергей, Харлап Никита, Сушко Александр, Ивинский Эдуард, Ивинский Ян.

Такая участь ждет всех, мобилизованных фашистами».

После этого «нейтральных» сел не стало. Те, кто еще надеялся отсидеться, убедились, что гитлеровцы несут им только смерть, что истребление мирного населения «узаконено» гитлеровским командованием, фашистским правительством. Газета призывала население не отдавать себя на убой, брать оружие и истреблять фашистских палачей.

И этот призыв встретил горячий отклик у советских людей. Только за 1943 год количество партизан области возросло в 4—5 раз и достигло 25 тысяч человек, а в начале 1944 года партизан стало вдвое больше.

Газета разоблачала предателей, призывала к беспощадной борьбе с ними.

Редактор газеты заботился о том, чтобы каждая заметка, каждое слово разили врага, поднимали боевой дух народных мстителей, укрепляли веру в победу над фашизмом.

Александр Антонович везде хотел быть сам, все видеть своими глазами, делать победу своими руками. Вспоминаю такой случай.

С северо-востока к нашим лесам примыкали восемь полицейских гарнизонов в деревнях Дручаны, Журавок, Глубокий Брод, Семиковка, Маковка, Заполье, Сеньково, Студенка. Окаймляя подковой большой участок партизанской границы, они мешали нашим связям с бригадами Белоусова и Гапонова, обстреливали небольшие группы партизан, терроризировали население Бельничского района.

Подпольный обком партии решил атаковать сразу все восемь гарнизонов в одну ночь. До этого отряд Мокея Михолапа нападал на гарнизон Дручан, но остальные гарнизоны поддерживали дручанских полицаяв, и операция сорвалась. Теперь нападение планировалось на всех одновременно. Естественно, что такая операция готовилась в строжайшем секрете. Даже мы, работники отдела пропаганды обкома, не знали до последнего момента дня и часа нападения.

12 апреля под вечер отряды внезапно снялись и ушли, каждый по своему маршруту. Юшкевич после обеда отдыхал

и узнал об этом только через два часа. Он быстро оделся, схватил автомат, запасные диски и попросил меня:

— Вычитай первую полосу, я отлучусь и, возможно, опоздаю.

На мой немой вопрос Юшкевич уточнил:

— Иду за отрядами.

Он быстро зашагал по темной лесной тропинке. Шел он один.

Только через два-три часа Александр Антонович догнал на привале отряд Мокея. Догнал расстроенный, злой, сел в сторонке и, как всегда, когда волновался, снял и начал протирать очки. Его заметил командир отряда Мокей Михолап, подошел, поздоровался и спросил:

— Товарищ редактор, вы тоже с нами, на операцию?

— А что тут для вас неожиданного? — ответил вопросом на вопрос Юшкевич.

— Не советовал бы. Дорога не близкая, ночь темная. Тяжело вам будет. В бой я вас все равно не пущу, да и зачем вам это, у нас корреспондентов много, ребята напишут, сам напишу — даю слово.

— Делайте свое дело, командир, а обо мне забудьте, — ответил все еще сердитый Юшкевич. — Поймите, мне мало знать, сколько уничтожено гитлеровцев, сколько взято трофеев, все это будет в вашем донесении. Мне самому надо видеть и... Одним словом, командир, я вам мешать не буду, а вы мне тоже, пожалуйста, не мешайте.

Мокей не стал больше возражать, отошел в сторонку и шепнул своему ординарцу:

— Отвечаешь за него головой, держи около себя. Понимаешь, Москва человека прислала, не можем мы его подставлять под полицейские пули.

Штурм гарнизона начался на рассвете. Напрасно полицаи пускали ракеты, взывали о помощи. Помощь нужна была в эту ночь всем восьми гарнизонам. В числе первых автоматчиков, ворвавшихся в гарнизон, был и редактор Александр Юшкевич.

Когда к концу операции Мокей вошел в освобожденное партизанами село, Александр Антонович, уставший и довольный, сидел на бревне возле полицейской управы и, широко улыбаясь, чистил автомат. Рядом сидел и курил ординарец командира.

Блокады — карательные операции против партизан, причем операции крупные, — гитлеровское командование прово-

дило, как правило, два раза в год: одну летом и одну зимой. Самой тяжелой была майская блокада 1943 года. Против партизан Кличевского района (где базировался и подпольный обком партии) немцы выставили пять пехотных полков, два мотомеханизированных полка с приданными подразделениями средних танков, танкеток, бронемашин, мотоциклистов, самокатчиков, артиллерийский полк и приданные артиллерийские и минометные батареи, более 20 бомбардировщиков, истребителей и разведывательных самолетов, подразделения собаководов. Эти войска были сняты с фронта.

У убитого в начале боев командира 2-й роты 2-го батальона 13-го полка шютцполиции войск СС капитана Ганса Эрике был найден боевой приказ по этой операции. Из приказа, а также из показаний пленных установлены все принимавшие в операции части, количество войск. Против нас выступало 45 тысяч солдат всех родов войск. А нас в кольцо было немногим больше четырех тысяч человек.

Кольцо вокруг леса замкнулось в ночь на 4 мая. Два дня партизаны вели тяжелые бои, дважды делали попытку прорваться, но безуспешно. Немцы подавляли огромным превосходством сил, техники, сосредоточивая в местах прорыва артиллерию, минометы, танки, авиацию.

И в эти тяжелые дни не только не прекращала работу, а еще более активно трудилась редакция областной газеты. Юшкевич сидел на пеньке и под грохот непрерывной канонады, под треск пулеметов и автоматов писал и писал. Наборщики Вершук и Эпштейн копошились у касс, художник Шкляр крутил портативный печатный станок. Печатались сводки Совинформбюро, боевые призывы к партизанам и мирному населению.

У того же немецкого капитана Ганса Эрике был обнаружен и другой документ, представляющий интерес, — «Приложение к приказу № 9». В нем говорилось о том, как поступать с занятыми партизанами деревнями: «подавлять решительно и беспощадно, не считаясь при этом с мирным населением».

С этим «Приложением» необходимо было срочно ознакомить мирное население. Оно было полностью напечатано в газете.

Тяжелые бои продолжались. У партизан на исходе боеприпасы, немцы уже лезут в лес. Подпольный обком принял решение: в ночь с 5 на 6 мая прорваться в нескольких

направлениях. Мы идем с бригадами Беспоясова и Изоха. Условия прорыва нелегкие. Нужно на ходу, метрах в 500 от переднего края противника, форсировать небольшую, но топкую и захламленную лесную речушку Тереболь и дальше почти полкилометра идти по открытой, специально заваленной деревьями местности, к окопам, возведенным в шахматном порядке по обе стороны дороги Усакино — Белый Лог.

Разведка доложила: на нужном нам участке — окопы, горят костры, немцы ходят открыто, — значит, нас не ожидают. Это хорошо.

Всем объявлен приказ: ни при каких обстоятельствах не пятиться назад, не останавливаться, не ложиться. Только вперед! Смысл приказа, кратко, такой: впереди — жизнь, кто отстал — смерть. Приказ не только огласили, его убедительно разъяснили агитаторы каждому. Да и по опыту прошлогодней блокады все знали: кто отстал — погиб.

За час до прорыва секретарь обкома Д. С. Мовчанский собрал работников обкома. Краткое наставление: выходить организованно, следить друг за другом, в случае ранения — выносить. Архивы и типографию зарыть.

В 22.30 выступили к месту прорыва. Впереди взвод автоматчиков бригады Евлампия Беспоясова. За автоматчиками уступами справа и слева две роты, усиленные ручными пулеметами. Их задача — сделать пролом в обороне немцев, в который пройдет вся полуторатысячная колонна.

Мы подходили к реке. Группа прорыва уже на том берегу. Пока тихо. Сзади нас горит лес. Пожар бушует с такой силой, что за шумом и треском огня наше движение пока не замечено.

Внезапно, чуть слева, бухнул в болото тяжелый снаряд, и сразу же змеями взвились в небо десятки ракет. Началось!

Мгновение замешательства. И в это мгновение заработали наши автоматчики, и вся полуторатысячная масса поддержала огонь автоматчиков мощным русским «ура!». Люди, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, бежали вперед, на вражеские окопы, на пушки, на пулеметы.

Десятки тысяч трассирующих пуль сновали над нами и между нами туда и обратно, создавая светящуюся паутинообразную ткань. С короткими хлопками они рвались, вспыхивая яркими чуть синеватыми звездочками, лопались мины, вздымали землю, тяжело ухая, снаряды.

И ко всему — ракеты, сотни ракет: белые, зеленые, красные, желтые — взвивались тонкими стебельками вверх и там расцветали разноцветными маковками. Вокруг горел лес.

Это продолжалось недолго. Наши автоматчики заставили гитлеровцев спрятать головы глубже в окопы, и немецкие пули пошли высоко над головами партизан, по вершинам леса. Огонь артиллерии и минометов тоже подавлен.

Мы осмотрелись. Юшкевича среди нас не было. Когда и где оторвался он от нас, никто не заметил. Не было и шедшего рядом с ним художника Шкляра. Позже Шкляр разыскался и рассказал: с первыми же выстрелами Александр Антонович бросился вперед и через минуту догнал автоматчиков. Вместе с ними он ворвался в окопы, в упор расстрелял оружейный расчет гитлеровцев, и здесь его насмерть сразила вражеская пуля.

Перед уходом во вражеский тыл Александр Антонович написал письмо жене и дочке, не зная, где они, написал на всякий случай. В этом письме говорится:

«Родные мои, Валька и Галушка! Прошло много времени нашего одиночества, наших страданий и мучений, принесенных нашим врагом, врагом всего человечества, кровавым людоедом Гитлером. Пишу вам это, может быть последнее, письмо, идя на выполнение важного и ответственного дела, порученного мне партией, дела во имя вашего освобождения из кровавых лап дикого зверя, во имя нашей Родины.

...Я справлюсь с порученным делом, выполню его с честью. И когда встречу с вами, родные, это будет только воспоминанием.

Да, мы еще будем жить, а как хочется жить и жить! И мы будем жить, мы живучие!

Целую крепко, крепко».

Так жил и погиб первый редактор могилевской подпольной областной газеты Александр Антонович Юшкевич. В груди этого солдата журналистского корпуса билось горячее сердце патриота. Не мог он думать о сохранении своей жизни, когда Родину терзали звери.

И он отдал свою жизнь за то, чтобы жил советский народ, жила Советская Родина.

Дмитрий Холендро

ПЕСНЯ О СПЕЦКОРЕ

(На мотив «Шаланды, полные кефали»)



Гремит война зимой и летом,
Но под снарядный вой и свист
Шаланды, полные заметок,
В газету возит журналист.
Не спит, не ест и еле дышит,
Пером воюет старина,
Пока что надо, не напишет —
Не до еды и не до сна.
Я вам не скажу за всю газету,
Вся газета очень велика-а!
Но одну заметку — хоть вот эту —
Он вчера прислал наверняка!
Но вот в десант на мотоботе
Его послали в ноябре,
Ему сказали: Керчь возьмете
И закрепитесь на горе!
Прислали скоро телеграмму,
И сообщалось в ней одно:
Что вместо Керчи этой прямо
Корреспондент пошел на дно.

Я вам не скажу за всю газету,
Вся газета очень велика-а!
Но одну заметку — хоть вот эту —
Он успел прислать наверняка!

Пролив барашками покрылся,
И утонул корреспондент.
Редактор только удивился
И тут же выслал документ:
«Достать его со дна морского,
Как он на это дно попал?
Ведь я задания такого
Ему как будто не давал!»

Я вам не скажу за всю газету,
Вся газета очень велика-а!
Но одну заметку — хоть вот эту —
Он со дна прислал наверняка!

Эта песенка была написана во время высадки десанта на Керченский полуостров в ноябре 1943 года. С этого десанта началось освобождение Крыма. Нам, корреспондентам фронтовых и армейских газет, приходилось по многу раз переплывать Керченский пролив, потому что редакции находились еще на кубанском берегу. Пролив обстреливался немцами. Ни одно суденышко не пересекало его в полной безопасности. А мы все ездили туда, на крымский берег, где шли жестокие бои, за материалом и обратно — в редакцию. Многие товарищи погибли.

Песенку эту, не очень складную, любили, однако, напевать во многих редакциях. Видно, она помогала, бодрила, заставляла улыбаться в нелегкую пору.

Не время меж рождением и смертью
Одно определяет жизни срок,—
Быть может, наша кровь, что здесь прольется,
Прекрасного бессмертия исток...

Муса Джалиль





В лесу прифронтовом... Наборный цех фронтовой газеты «Красноармейская правда». 1941 год

Снимок М. Калашникова

Генерал-лейтенант И. С. Конев на командном пункте с писателями М. А. Шолоховым и А. А. Фадеевым. Справа в первом ряду — ответственный секретарь редакции «Красной звезды» старший батальонный комиссар А. Я. Карпов. 5 сентября 1941 года

Снимок М. Калашникова





Бой за населенный пункт в Белоруссии. Осень 1943 года

Снимок М. Калашникова

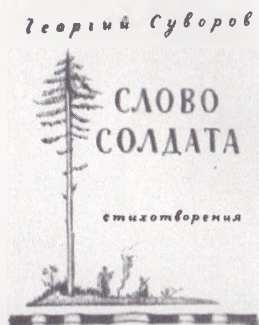
Редакция газеты 146-й стрелковой дивизии в прибалтийском лесу на подступах к Либаве. 1944 год

С рисунка худ. Ю. Цивилева





Георгий Суворов



Ленинградское
издательство «Молодая гвардия»
1936

«Свой добрый век мы прожили как люди и для людей». Это последние строчки последнего стихотворения гвардии лейтенанта Георгия Суворова. Он убит 13 февраля 1944 года при переправе через Нарву



**Старший политрук М. Залилов —
Муса Джалиль. Декабрь 1941 года**



Муса Джалиль с дочерью Чуппан. Снимок сделан в 1939 году

Весенние резервы Гитлера

Гитлер проклинал зиму,
На нее свалив вину.
„Ветром, мол, зима дышала
Наступать нам помешала“.
Он копил к весне резервы,
Утешал больные нервы.
Наконец, пришла краска
Долгожданная весна.
Только что-то, право, странно
Началась довольно рано:
Только солнце стало печь.
А резерв уж начал течь.
Под лучами нашей красной
Боевой звезды прекрасной
Тает он, как грязный снег,
Очищая путь весне.
Не резервы это — мразь,
Мокрый снег, отбросы, грязь
Ведь весной все утекает.
Что земле дышать мешает.
Вот, бандит, тебе итог,
Не спасет тебя ничто:
Ни зима, ни май, ни лето
Песенка твоя пролетит!

М. ДЖАЛИЛЬ



Стихотворение Мусы Джалиля, опубликованное в армейской газете «Отвага» 19 апреля 1942 года

Капитан Петр Оленков, он же «Полковник П. Донской»

Снимок С. Лоскутова

Виль Дорофеев

АТАКУЮЩИЕ ПРАВДИСТЫ

ПЕТР ЛИДОВ



Ветром разлохмаченные волосы, плотно сжатые губы, глаза, устремленные в безбрежную даль, которая простирается за синим лесом, за убегающим к горизонту шоссе.

«Зоя Космодемьянская» — это имя вырубил резец мастера на пьедестале памятника, установленного на Минском шоссе недалеко от деревни Петрищево. И как бы ни опаздывал маршрутный автобус Москва — Можайск, шофер обязательно сделает здесь остановку. Выйдут пассажиры из машины, молча постоят у развилки дорог, и вспомнит каждый суровое военное время и подвиг этой девушки, прожившей короткую, чистую, как родниковая вода, жизнь.

О смелости Зои написаны поэмы, сложены песни. Имя Зои стало синонимом таких слов, как стойкость и патриотизм. И за это мы говорим сердечное спасибо человеку, который по крупицам собрал и бережно донес до нас историю ее подвига.

27 января 1942 года в газете «Правда» был опубликован очерк «Таня». Написал его военный корреспондент Петр Лидов.

* *

*

...Уже три дня, как семья перебралась к Лидову в Минск. Сегодня, оставив девочек в гостинице под присмотром дежурной по этажу, они с женой сбежали в театр.

Чудесный вечер начинающегося белорусского лета. За последнее время они так мало были вместе... Сначала длительная командировка в Прибалтику, а потом это неожиданное назначение в Минск собственным корреспондентом газеты «Правда» по Белоруссии.

Как терпко пахнут тополя! Он раньше не замечал этого. Где-то вдали гудят самолеты.

— Почему им сегодня не спится? — спрашивает Галя.

— Развоевались, — отвечает он.

— Не надо так шутить, Петя.

— Слушаюсь, товарищ семейный главнокомандующий!

Сегодня им очень хорошо, этим двум немолодым уже людям.

Открыта заветная бутылка «массандры», привезенная в прошлом году из Крыма. Галина ставит на стол граненые гостиничные стаканы. Они пьют за все хорошее в прошлом и за отличное в будущем. Звучит тост журналистов, геологов, моряков — людей всех беспокойных профессий:

— За тех, кто в пути!

За стеной, в соседнем номере, кто-то включил радио. Гулко отбивают начало нового дня кремлевские куранты. 22 июня 1941 года.

Утром Лидова разбудил звонок, резкий, требовательный. Так вызывает только междугородная. Короткие «да» и «нет». Лидов достает бывалый, потрепанный в поездках фибровый чемоданчик.

— Снова срочная поездка?

— Война, Галя!..

* *

*

Лидов пытался попасть в Брест. От встречных беженцев он уже знал, что там идут ожесточенные бои. Но немцы перерезали дорогу. Пришлось вернуться назад.

В блокноте Лидова появилась первая фронтовая запись:

«Кто мог предвидеть, что в Брест-Литовской крепости, где была перевернута последняя страница русско-германской войны, начнется битва, быть может, самая страшная во всей истории...»

Последние часы Минска. Пепел сожженных бумаг хлопьями кружится в воздухе, оседает на мостовой. Пора уезжать. Сегодня утром Лидову принесли телеграмму: «Срочно прибыть редакцию».

Редакционная машина медленно пробирается через людской поток на шоссе. Сгорбившись по-стариковски, идут с небольшими заплечными мешочками воспитанники детского дома. У этих ребят Лидов был в гостях на первомайском вечере.

Угрюмо насупив брови, шагает старик художник. Месяц назад Лидов присутствовал на открытии выставки, где были показаны его работы. Едва поспевает за стариком загорелый малыш с кутенком на руках. Щенок доверчиво прикрывает глаза, спит...

Лидов распахивает дверцу:

— Садитесь скорее, подвезу.

Протяжный вой самолетов надвигается с запада. Люди тревожно смотрят вверх. Три черные точки стремительно растут. «Мессеры» с волчьим завыванием проносятся над головой.

— Ничего страшного. Они не трогают мирных жителей. Все-таки немцы культурная нация... Гёте, Гейне, Бетховен,— рассуждает художник, усаживаясь с внуком в машину.

Снова нарастает вой моторов. Тень самолета закрывает небо.

— В кювет! Быстро! — кричит Лидов, рывком открывая дверцу автомобиля.

На бреющем полете фашистский стервятник проносится над головой, расстреливая беженцев. Мальчик, будто споткнувшись, падает рядом с машиной, и лужица крови растекается у его головы. Старик поднимает внука, еще не понимая, что случилось. Жалобно повизгивает ушибленный кутенок...

В Вязьме Лидов догоняет семью. Никто из родных не знает о том, что он видел в пути. Только младшая, Наташа, вдруг захлопав в ладоши, говорит:

— У меня чулок рваный, а у папы вся машина в дырочках.

* *

*

Осенью фронт вплотную подошел к столице. Опустела Москва. Теперь Лидов добирается на передовую трамваем и попутной машиной. Положение на фронте очень тревожное: оставлены Можайск, Наро-Фоминск, Руза, Звенигород. У Лидова на первой газетной странице появилось свое постоянное место. В заголовках его корреспонденций будничная суровость. 13 октября 1941 года: «Ожесточенные бои на западном направлении»; 26 октября 1941 года: «Противник готовится к решающей битве»; 29 октября 1941 года: «Ожесточенные бои на подступах к Москве».

* *

*

Лидов и Галина идут по забеленному первым снегом Тверскому бульвару. Как рано выпал снег в этом году, как рано пришла зима! У них только один вечер, завтра Лидову снова на фронт.

Мерный глуховатый топот солдатского строя. Девятнадцатилетние стриженные мальчишки шагают по Тверскому бульвару. Уходит юность на фронт.

Двое стоят, двое молчат, двое смотрят солдатам вслед. Когда где-то далеко топот стихает, Галина спрашивает:

— А ты веришь, Петя... мы... мы выстоим?

— Да!

В блокноте четкая запись:

«21 октября. Не надо паники. Больше спокойствия. Пора понять и усвоить: у нас лучший в мире солдат. Мы воюем на своей земле, вблизи своих баз, а противник на чужой, враждебной земле и в огромном отдалении от своей страны. Нужно только уметь ждать и работать...»

И он работал.

* *

*

Самолет, тяжело урча, оторвался от взлетной дорожки и, покачав крыльями, взял курс на запад. За ним другой, третий. Всего 25 машин. Их цель — важный жизненный центр фашистской империи.

На одном из бомбардировщиков вместо стрелка-радиста летит Петр Лидов.

Вокруг машины заплескали оранжевые разрывы зенитных снарядов. Бомбардировщик полез вверх. Пилот уходит от

огня. Тяжесть наваливается на плечи. Минута, вторая, и вот уже линия фронта осталась позади. И снова в прозрачный самолетный колпак смотрят звезды.

Звезды... Манящие спутники детства... В четырнадцать лет Лидов мечтал подняться высоко-высоко, проникнуть в таинственные звездные дали. Тогда к ним в город прилетел самолет. Он прострекотал над Харьковом, сделал круг и, скользнув вниз, сел за садами в степи...

Им было четырнадцать, они давно считали себя взрослыми, хотя для многих только прошлым летом закончилось время коротких штанишек на помочах. Не сговариваясь, ринулись хлопцы в степь. Они прибежали первыми. Запыхались, долго не могли отдышаться, смотрели на самолет. Неказистая зеленая машина. Вокруг самолета ходили двое в черных хромовых тужурках. Было несказанно радостно смотреть во все глаза на этих людей. Хотелось сделать что-то необычное. Петр решил, что станет летчиком.

Всю ночь просидел он за столом. Писал. А наутро отнес письмо в редакцию городской газеты. Заметку о полете самолета в Харькове, к удивлению Лидова, напечатали.

Через десять лет Лидов стал журналистом. Работал в «Правде», ездил в командировки, исколесил всю страну. Видел такое, о чем не думалось и не мечталось в те четырнадцать мальчишеских лет...

— Уже прошли Варшаву, скоро будем «дома», — доносится голос пилота.

Скоро — это еще три часа ожидания.

Наконец звучит команда. Громадный бомбардировщик ныряет вниз. Там яркими огнями сияет большой город. Никакой маскировки. Ведь фюрер сказал, что ни один русский самолет не потревожит «голубой небосклон фатерланда».

Вниз, вниз! Теперь для этой громадной птицы нет ничего, кроме сверкающих огней внизу.

Они быстро растут. Сейчас бомбы полетят вниз, и огни погаснут. Погаснут непременно.

Самолет пикирует на город. Почему молчат вражеские зенитки?.. Сейчас они откроют огонь, сейчас... Бомбардировщик слегка качнуло: это пошла вниз первая бомба. Второй заход. Яркими факелами пожаров запылал город. Запоздало бьют зенитки противника.

Пора! Развернувшись, самолеты уходят на восток, домой.

В «Правде» была напечатана большая корреспонденция о замечательном дерзком полете в логово врага.

В записной книжке Лидова можно прочесть полустершуюся запись: «Летчики говорят, что изучили мою корреспонденцию о полете, как учебное пособие. Приятно узнать об этом...»

* *
*

Второй месяц продолжается отступление гитлеровских орд под Москвой. Школой ненависти назвал эти дни Лидов.

В записной книжке журналиста в декабре 1941 года появилась короткая запись: «На смоленской дороге, на месте бывших подмосковных деревень кладбищенскими памятниками стоят занесенные снегом печные трубы. Прокопченные, почерневшие, они словно говорят бойцам: «Отомстите»...»

Лидов не знал отдыха. Он замучил шофера своим беспрестанным «давай». Под вечер, махнув рукой на сломанную машину, журналист один пошел в Можайск. На ночевку остановился в чудом уцелевшей придорожной избе.

* *
*

Лидов прилег на полу. Ему надо было хорошенько отоспаться, но заснуть не пришлось. Загремела тяжелая дверь, и в избу вошел старик. Люди потеснились, кто-то уступил деду охапку соломы. Но старик никак не мог уговориться. Он кричал, ворочался и все время по-стариковски что-то бормотал себе под нос. Не по себе было и Лидову: слишком устал за эти четверо бессонных суток.

— Не спится, отец?

— Не спится! Видел я много страшного, сынок, оттого и не спится.

И старик рассказал историю своих скитаний. Жил он в деревне Красновидово, недалеко от знаменитого Бородинского поля. Как и многие жители Подмосковья, не желая оставаться «у немцев», покинул родные места. Теперь шел старик вслед за Красной Армией, возвращался домой. Вчера он слышал, что наши взяли Можайск, а ведь от него до деревни рукой подать.

В эту беспокойную бессонную ночь старик поведал Лидову быль, которую слышал от жителей Петрищева. Дед точно помнил название, потому что деревня эта уцелела: немцы не успели ее спалить.

Это был рассказ об отважной партизанке, которую немцы повесили в Петрищеве. Он был похож на легенду, но дед клялся, что все сказанное правда, и беспрестанно повторял:

— Ее вешали, а она речь говорила. Слышь-ка, ведь вешали — и речь говорила!

Он не мог сказать, за что повесили девушку фашисты. Но знал старик, что смерть приняла она мужественно.

Теперь не до сна. Подробно расспросив деда о дороге, Лидов отправился в Петрищево. Только сейчас он почувствовал, как устал. А до незнакомого села, говорят, двадцать с лишним километров.

Около часу Лидов уже в пути. Ноги вязнут в снегу, жарко в полушубке. Попить бы. Он разбивает хрустящую корку наста. Колочий, лежалый снег холодит руки. Если его пососать, жажда пройдет. Серееет небо, скоро рассвет. Лидов смотрит на часы: семь утра. Надо сегодня же попасть в Петрищево.

* * *

В то утро на пути в Петрищево он встретил своих товарищей: Михаила Калашникова и Сергея Любимова. Они передали ему приказ из редакции: срочно побывать в деревне Пушкино. Все трое поехали туда на машине. Они помнили Пушкино по довоенным годам. Это была большая зажиточная деревня, семьдесят три избы. Сейчас их можно сосчитать по печным трубам, которые сиротливо торчат из-под снега. Пепелище! Уцелело только три дома.

Сколько страшного рассказали журналистам жители этой деревни о своей жизни при «новом порядке», о днях, полных горя и ужаса! И снова среди повествований о нелегкой жизни «под немцем» Лидов услышал рассказ о неизвестной партизанке.

— Ей лет восемнадцать, казнили партизанку фашисты с месяц назад. На допросе она не сказала ни слова. Только перед казнью, когда уже надели петлю, девушка крикнула людям, чтоб били они фашистов.

В тот же день Лидов, Любимов и Калашников выехали в эту деревню.

* * *

В Петрищеве журналистам показали большую избу, в которой во время оккупации останавливался командир 332-го пехотного полка 197-й пехотной дивизии подполков-

ник Рюдер. Сюда приводили на допрос девушку, назвавшую себя Таней.

Уже четвертый час сидит Лидов в этой избе. Перед ним на столе лежат добротные ремни из прочной воловьей кожи. Этими ремнями избивали фашисты партизанку. На широких полосах кожи клеймо: «Сделано в Германии». Достойный атрибут «нового порядка»!

Давно закончили свой рассказ очевидцы. В блокноте появились первые записи с пометкой «Таня». Пора уходить, а Лидов все сидит в избе, где в ноябрьскую ночь пытали девушку. Ее били, ее жгли раскаленным железом, а она молчала. Ей обещали сохранить жизнь, если она предаст товарищей. Но Таня молчала, молчала все четыре часа, пока продолжался допрос.

«Пора, Петя», — говорит Калашников. Лидов, тяжело поднявшись с лавки, прощается с хозяевами. Неширокая деревенская улица утонула в сугробах. По протоптанной тропинке они идут к хате Василия Кулика, где девушка провела свою последнюю ночь перед казнью.

Снег сухой, колючий, он скрипит под ногами. Где-то здесь же босиком, в одной рубашке фашисты гнали по снегу Таню.

Журналисты слушают рассказы Василия и Прасковьи Кулик о чудовищных издевательствах, которые вынесла юная героиня.

Партизанку мучила жажда. Прасковья Кулик зачерпнула ковшом воды, но фашистский головорез выбил его из рук. Потом поднес к губам девушки горящую лампу и пытался заставить ее пить керосин...

Записаны рассказы очевидцев казни, запротоколированы объяснения людей, хоронивших героиню. Лидов выяснил все о последних двух днях Тани. Неизвестно только, кто была эта девушка.

В ту страшную ночь перед казнью партизанка сказала Прасковье Кулик, что она родом из Москвы, а зовут ее Таня.

Нить обрывалась. Теперь о безвестной героине можно было что-либо узнать только в Москве. И Лидов продолжает поиски.

Он читает списки, бесконечно длинные списки особых партизанских отрядов Московского горкома комсомола. Имя, фамилия, дата вступления в комсомол. Вчерашние школьники, они стали в это суровое время бойцами партизанских истребительных отрядов. Они уходили в леса и забывали на

время свои имена: так было нужно. Сколько их, **безвестных** и **безыменных** погибло в смертельных схватках с врагом!

Кто из них Таня?

* *
*

Снова Петрищево. Петр Лидов и фотокорреспондент Сергей Струнников прибыли сюда из Москвы вместе с комиссией МГК ВЛКСМ. Решено вскрыть место захоронения партизанки, чтобы проводить ее в последний путь с воинскими почестями. Лидов стоит у разрытой могилы, смотрит на истерзанное, измученное пытками, но все еще прекрасное лицо партизанки. Сергей Струнников фотографирует ее.

Резкий декабрьский ветер пронизывает насквозь. Но Лидов не чувствует холода. Он неотрывно смотрит на Таню, стараясь запомнить ее навсегда.

Уже позже, восьмого августа сорок третьего года, журналист писал в своем дневнике: «Есть много портретов Зои Космодемьянской. Одни художники добились портретного сходства с оригиналом, другие за сходством не гнались, старались постичь и выразить внутреннюю сущность этого человека, его порыв, его идею. И те и другие портреты хороши, пока на них смотришь. Но когда я закрываю глаза, то представляю себе Зою, какой я видел ее в первый и последний раз,— на снегу у разрытой могилы».

*
*

Десять дней пробыл Лидов в Петрищеве. Никогда еще ему не приходилось так напряженно работать. «Хочу знать всю правду о Тане,— записал он в блокноте,— и всю правду рассказать о ней. Я в ответе за память об этой девушке перед людьми».

Он рассказал всю правду о юной героине. Его очерк «Таня», написанный без громких фраз, построенный только на фактах, потряс весь мир. 28 января в окопах и цехах — всюду, куда только пришла газета, можно было услышать: — Читали о Тане? Какое мужество! Какой подвиг!

На следующий день после опубликования очерка в редакцию пришли школьные друзья партизанки.

— Мы знаем ее. Это наша Зоя. Зоя Анатольевна Космодемьянская...



Месяц спустя был опубликован второй очерк Лидова — «Кто была Таня?». Начиная работу над этим очерком, Лидов записал в дневнике:

«Еще там, в придорожной избе, слушая рассказ старика, хозяйка сказала: «Неужто все это правда, неужто бывают такие?» Да, «такие» были, есть и будут. Я хочу рассказать в этом очерке, откуда берутся «такие». Хочу показать, что не порыв чувств, а большая любовь к Родине, к своему народу помогли Зое совершить подвиг».



«Отомстим фашистам» — все письма, которые Лидов получал в те дни, кончались этими словами. Все письма были проникнуты гневом и ненавистью к врагу. Бойцы частей Северо-Западного фронта прислали журналисту резолюцию, которую они приняли на митинге, посвященном памяти Зои.

«Вам, второму отцу Зои, я обещаю отплатить врагам за смерть мужественной дочери нашей страны», — написал в своем письме один из студентов.

Мстил за юную партизанку весь народ. Пробыл час расплаты для ее палачей. Уже пойман и допрошен унтер-офицер 332-го полка, один из тех, кто пытал Зою. Разоблачен и приговорен к расстрелу фашистский прихвостень Свиридов, который помог схватить отважную партизанку. Очередь за самым главным истязателем, за подполковником Рюдером, который допрашивал Зою.

«Я верю, что мне удастся допросить подполковника Рюдера. Как знать, может быть, мне посчастливится и расстрелять его», — писал Лидов в своих письмах.

Фотографий было пять, пять небольших твердых квадратов бумаги фирмы «Кодак». Их принес в редакцию один из разведчиков, который приехал в Москву всего на два дня. В кармане убитого фашиста нашли бумажник, в нем оказался пакет фотографий. По снимкам можно было проследить, как вместе с фашистской армией шагал по Европе Курт Овелц. Пять фотографий, пять отпечатков его кровавой лапы. На снимках гитлеровец с методической последовательностью садиста запечатлел моменты казни Зои Космодемьянской.

Пусть эти фотографии зовут к мести, пусть они пробуждают ненависть к врагу! Этого хотел Лидов. Этого он достиг, создав свой очерк «Пять фотографий».

«Ни одна из моих статей не досталась мне такой дорогой ценой, как эта,— писал журналист в своем дневнике.— Я вместе с Зоей вновь прошел ее последний путь от избы Василия Кулика до места казни. Какая это короткая, но трудная дорога».

Запись заканчивается словами: «Мстить за Зою!»

Он мстил. Его оружием было слово, и он беспощадно разил им врага. В архиве семьи хранится свыше ста записных книжек Лидова, исписанных мелким, бисерным почерком. На первом листке многих из них пометка: «1943 год». В тот год Лидов «надолго обосновался в блиндаже с толстенным, в три наката, потолком».

С утра блиндаж пустел, жильцы уходили на передовую. Впрочем, уходили — слово не совсем верное. Журналистам приходилось добираться до передовой ползком: здесь, на правом берегу Волги, у немцев пристрелян каждый кустик. Ожесточенные бои шли за великий город волгарей.

Корреспонденции, которые Лидов передавал в редакцию, были правдивыми и меткими, чувствовалось, что их писала та же рука, которая держала и автомат, и гранату.

В том же 1943 году Лидов летит на самолете к партизанам Белоруссии, совершает дерзкий поход в оккупированный Минск.

Как переполошились фашисты, когда в «Правде» появился очерк «В оккупированном Минске» за подписью Петра Лидова!

В военные годы Петр Лидов был одним из самых боевых и оперативных корреспондентов «Правды». Его знали читатели газеты, его знали и враги: слишком много неприятных воспоминаний у фашистов было связано с именем этого журналиста.

...Пожелтевшая вырезка из газеты сорок третьего года. Уже после войны кто-то из друзей погибшего журналиста принес Галине Яковлевне Лидовой эту газету.

— Вот здесь о Петре Александровиче. В свое время он читал этот пасквиль. Мы узнали, что вы собираете материалы о муже.

Пасквиль был напечатан в газете, издававшейся фашистами в оккупированном Крыму. По этому поводу Лидов записал в своем дневнике: «Появился в одной нацистской

газетенке фельетон на меня. Читал, много смеялся. Враг разъярен. Ну что ж, тем лучше».

* *
*

Июнь сорок четвертого года. Давно отгремели орудия на Орловско-Курской дуге. Последние противотанковые ежи под Москвой свезены на переплавку. По дорогам страны бредут колонны пленных немцев.

Лидов снова готовится в путь. Перед отлетом в московской квартире Лидова собрались Александр Кузнецов, Сергей Струнников и он, хозяин дома.

Они летят в Полтаву. Там, недалеко от города, оборудован «челночный» аэродром для «летающих крепостей» — тяжелых американских бомбардировщиков, которые совершают массированные налеты на стратегические объекты противника, находящиеся далеко от линии фронта.

* *
*

Утром 21 июня 1944 года вместе с корреспондентами других центральных газет и Всесоюзного радио Лидов, Кузнецов и Струнников приземлились на этом «челночном» аэродроме. Поле, выложенное решетчатыми металлическими плитами, образует несколько взлетно-посадочных полос. Это позволяет садиться нескольким машинам одновременно.

Первые знакомства, завтрак в американской офицерской столовой, где нет официанток, а лишь раздаточная стойка — витрина самообслуживания, являющая собой все продуктивное благополучие «воюющей» Америки: от традиционных фруктовых соков до изысканных консервированных паштетов. И трудно поверить, что все это здесь, в нескольких километрах от полей, где женщины пахут на коровах и тощих выбракованных лошаденках, поднимая землю, возвращая ее к жизни, чтобы дать хлеб фронту. Кто-то из наших корреспондентов, окинув взглядом закусочное изобилие, негромко чертыхнувшись, произнес:

— С комфортом воюют союзнички. Не спеша...

Лидов утвердительно кивает головой. Он еще не знает, что через два часа сам скажет то же самое.

Друзья лежат на бархатистой траве, у самого края летного поля. Здесь колеса тяжелых машин не мнут траву: она

сочная, мягкая. Если лечь на спину и смотреть в небо, не отрывая глаз, то очень скоро от облаков, несущихся неизвестно куда, от голубого неба, которое видно в просвете между облаками, закружится голова. Лидов осторожно снимает с травинки пятнистую божью коровку. В последний выходной перед войной, когда они всей семьей выехали за город, он слышал, как Светлана пела: «Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфетки...»

Это было чуть больше трех лет назад. Завтра, 22 июня 1944 года, исполнится три года с начала войны. Три года фронтовых дорог, землянок, траншей. Три года бомбежек, неожиданных смертей, дымных пожарищ, занесенных обугленным почерневшим снегом. И лишь на несколько минут довоенная тишина, после которой так трудно возвращаться в этот суровый фронтовой мир...

Вот и сейчас: к ним подъехал на джипе штабной офицер; пора, скоро начнут прибывать «летающие крепости».

Многомоторные птицы, сверкая серебром в лучах солнца, одна за другой тяжело и устало шли на посадку. И, отрулив с посадочной полосы, замирали по краям поля.

Рослые, сытые парни со смехом выгружаются из этих машин и направляются к приземистым зданиям временной казармы. Каждый из них несет немалый багаж: мешок с обувью, парадный мундир, аккуратно расправленный на плечиках, бейсбольную экипировку...

Кто-то из американских высших чинов объясняет корреспондентам: «Наши ребята — отличные спортсмены. Жаль в Европе не признают этого вида спорта».

Лидов, словно читая мысли других советских корреспондентов, задает американцу вопрос:

— Скажите, почему ваши самолеты не камуфлированы? Ведь они так блестят на солнце!

— Камуфляж таких машин увеличил бы их вес на 50 килограммов за счет краски. Мы этого позволить не можем.

— А сколько личного багажа полагается каждому члену экипажа?

— 50 килограммов, — следует быстрый ответ. — Но не можем же мы из-за какого-то камуфляжа оставить наших ребят без бейсбольной формы, — отшучивается американец.

Лидов, обернувшись к Струнникову, вполголоса произносит: «С комфортом воюют союзнички...»

Интервью прерывают сигнал воздушной тревоги и торопливый, захлебывающийся лай зениток. «Летающие кре-

пости» уже все сели, и высоко в небе уходит на запад едва заметный силуэт фашистского самолета.

— Дальний разведчик,— безошибочно определяет Лидов.

— Русский майор зря беспокоится. Фронт далеко, и не стоит бояться налетов,— торопливо говорит американец.

— Поживем — увидим,— отвечает Лидов.

Но это были уже последние часы его жизни...

Ночь. Корреспонденты сидят в щели, открытой на краю аэродрома. Жестокий налет. Немецкий самолет-разведчик, видно, неплохо поработал. Пылают американские машины, дымным факелом горят цистерны с горючим...

Когда схлынула первая волна фашистских бомбардировщиков, Лидов предлагает отправиться на другую окраину поля, откуда прожектор ярким лучом обшаривал небо. Там зенитчики — можно будет написать о них. Кузнецов и Струнников принимают это предложение. Остальные решили подождать до рассвета.

Трое уходят в ночь. А вскоре новая волна фашистских самолетов накрывает бомбами аэродром. Успели ли Лидов, Струнников и Кузнецов добраться до зенитчиков?

Лишь утром, когда прозвучал отбой воздушной тревоги, на поиски трех друзей отправился звукооператор Всесоюзного радио Алексей Спасский. Невдалеке от зенитных батарей он увидел группу людей, склонившихся над изуродованными взрывной волной телами. Когда подошел поближе, увидел, как лейтенант из особого отдела вынул из нагрудного кармана одного из убитых две небольшие книжечки, обгаренные кровью.

Раскрыв одну из них, особист громко читает:

— Лидов Петр Александрович, военный корреспондент газеты «Правда».

На втором документе вытеснено: «Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков».

СЕРГЕЙ СТРУННИКОВ

К вечеру трое изыскателей и фотокорреспондент Сергей Струнников вышли из тайги. Ломаная линия пути, обозначенного на карте, заканчивалась маленькой черной точкой. Рядом стояла надпись: «Зайки». В эту деревню с удивительным названием должны были прийти изыскатели после срока дней таежных странствий.

Деревня встретила их настороженной тишиной. Не слышно было даже любопытных деревенских собак. Геологи прошли всю улицу и только в конце ее увидели людей. Они стояли толпой — женщины, старики, детишки. Никто не обратил внимания на подошедших. Все смотрели туда, где, погромыхая на корневищах лесной дороги, исчезали за поворотом одна за другой колхозные подводы с мужиками.

— Что случилось? — поинтересовался кто-то из геологов.

— Война!

— Давно? — спросил Струнников.

Дед с подозрением посмотрел на них:

— А вы кто будете?

— Геологи. Тут наша партия должна стоять.

— Была партия. Да все в район подались. Месяц уже война-то идет.

Через час Струнников и его спутники вышли за околицу. Не до ночлега было теперь, они торопились домой, в Москву. Но добрались туда лишь через месяц.

Дома соседка подала Струнникову пухлую пачку писем. От матери, от брата, от друзей. Здесь же повестка из военкомата и серый конверт со штампом: «Редакция газеты «Правда»». Редакция приглашала на работу. В письме сообщалось, что с военкоматом все согласовано. Было уже поздно. Струнников решил пойти в редакцию с утра.

Сохнут в ванной пленки последней экспедиции. Он просматривает домашний фогоархив. С новыми работами у него будет ровно восемнадцать тысяч снимков... Фотографии, сделанные в походе на ледоколе «Красин». Негативы снимков, которые экспонировались на выставках в Амстердаме, Буффало, диплом и золотая медаль, присужденные на выставке в Штеттине за серию снимков «СССР — год 1939».

Сколько споров вызывали его работы! Какими жаркими были дискуссии. Теперь все это отодвинулось куда-то очень далеко. Война! Где теперь его друзья? По каким фронтовым дорогам шагают они сейчас?

* * *

На заседании редколлегии «Правды» Струнникова утвердили фотокорреспондентом газеты. Перед отделом иллюстраций поставлена задача информировать читателей о жизни столицы. Там, на фронте, люди должны знать, что в столице все спокойно, жизнь идет своим чередом.

В эти дни фотокорреспондент побывал в различных местах: на премьере нового фильма в кинотеатре «Ударник», под землей у строителей метро, в Доме пионеров, на стадионе «Динамо», где обучались штыковому бою допризывники.

На пятый день работы в «Правде» Струнников положил на стол заведующего отделом первый военный снимок: «Аэростаты над Москвой». На фоне расплывчатых контуров кремлевских башен во мгле сентябрьской ночи повисли четкие серебристые силуэты аэростатов.

Москва настороже, Москва готова дать отпор врагу.

Она как символ стойкости и непобедимости советского народа.



На московских заставах строились баррикады. На подступах к столице москвичи рыли противотанковые рвы. Город готовился к обороне.

...Возбужденные работницы ведут по Пресне человека в штатском. Тот упирается, пытается что-то объяснить, но его не слушают. Одна из женщин с победным видом, как трофей, несет фотоаппарат. Какая-то бабка охотью поясняет любопытным:

— Шпиона, милые, поймали. Хотел фотографировать, как Катька мешки с песком на баррикады таскает. А зачем ему, спрашивается, нашу Катьку-то снимать?

Толпа входит в здание милиции. Увидев «шпиона», дежурный по отделению улыбается:

— Товарищ Струнников, опять вас поймали!

А потом объясняет работницам:

— Не шпион это, гражданочки, а фотокорреспондент. Позавчера его тоже за фрица приняли и фотоаппарат отняли.

Возвращая Струнникову фотоаппарат, женщина виновато улыбается:

— Вы уж извините нас, с кем не бывает. Ну а на баррикаду к нам приходите...

Причиной подобных неприятностей было нежелание Струнникова фотографировать позирующих. Корреспондент старался незаметно сделать снимки людей, увлеченных работой. И не случайно фотографии, запечатлевшие столицу осенью 1941 года и вошедшие позже в альбом «Разгром немцев под Москвой», так правдивы и убедительны.



НА ПОСЛЕДНЕЙ ЛЕТУЧКЕ

В Шауляе, на сквере в центре города, есть несколько солдатских могил. В одной из них похоронен майор Михаил Романович Соколовский.

Мы мало поработали вместе — он прибыл в нашу редакцию летом 1944 года, кажется в июне. Тогда фронт наступал через Литву, в направлении к Восточной Пруссии. Соколовский до войны был ответственным секретарем, а затем членом редколлегии журнала «Знамя». К нам же, в редакцию газеты 1-го Прибалтийского фронта «Вперед на врага», его назначили начальником отдела пропаганды и партийно-комсомольской жизни. Он был скромным человеком, хорошим работником — быстро освоился с новым делом, сделал несколько интересных полос.

А 20 октября 1944 года Михаил Романович поехал на передовую и в редакцию не вернулся... На передовой он был вместе с фотокорреспондентом Борисом Вдовенко, которого хорошо знали во всех частях фронта. С утра они побывали в 21-м отдельном штурмовом батальоне, подобрались к подбитому танку, стоявшему на ничейной земле, наблюдали за немцами, вернулись и поехали в 306-ю стрелковую дивизию. И здесь Михаила Соколовского подстерегла злая пуля...

Вот он на своей последней редакционной летучке... Слева сидит заместитель редактора подполковник И. Ф. Сербиченко, стоит — художник капитан В. Н. Минзев, облокотился о стол — майор Соколовский... Рядом с ним — инструктор отдела фронтовой жизни майор И. И. Игнатов, план номера докладывает ответственный секретарь редакции майор П. Д. Корзинкин, справа — редактор газеты подполковник М. М. Рамзин

Б. Дружинин



ПОГИБ, ОСВОБОЖДАЯ ЛАТВИЮ.

Война застала корреспондента Армянского телеграфного агентства Георгия Колышкина в командировке: он выехал из Еревана в Москву, в ТАСС. До осени он проработал в центральном аппарате ТАСС, а затем его призвали в Красную Армию.

Сначала Колышкин был строевым командиром, а с февраля 1943 года стал литературным сотрудником газеты 9-й армии «Защитник Родины». В марте 1944 года он получил новое назначение — в газету 51-й армии «Сын Отечества». Здесь Егор — так звали его друзья — проработал год — до дня своей гибели.

Капитан Колышкин погиб в Латвии, около местечка Приекуле — он был убит прямым попаданием снаряда. Это произошло за два месяца до окончания войны...

Капитан Г. Д. Колышкин (в белом полушубке) в окопе на передовой.
Декабрь 1944 года

Николай Ксенофонов. Для того чтобы сделать снимок в бою, он приподнимался даже тогда, когда вокруг все вжималось в землю...



К Николаю приехала жена. Его радость была и радостью товарищей. Холендро катал ее на трофейном мотоцикле, Ирина ойкала от страха, а Ксенофонов фотографировал их. Вот этот снимок

Прошли годы... Дочка Коли Ксенофопова стала взрослой. Жизнь продолжается!





**Таким был Всеволод Лобода —
воин, журналист, поэт**



**Вадим Белов, погибший
при штурме рейхстага**

«Фотография — это документ,— часто повторял Струнников.— И если я заставляю людей позировать мне, играть ради снимка, то займусь не чем иным, как подделкой документов».

* *
*

В ноябре сорок первого года редакционная коллегия решила отправить Струнникова вместе с отрядом московских партизан-истребителей в рейд по тылам врага.

Все дальше на запад уходит отряд. Вчера партизаны перешли линию фронта. Привычна для Струнникова тяжесть рюкзака за плечами. На груди фотоаппарат.

«Почти как в тайге»,— думает Струнников.

Непривычно одно — противное ощущение страха.

На следующий день отряд оседлал шоссе западнее Солнечногорска. Взорван шоссе́нный мост. На дороге горят немецкие грузовики. Отряд уходит в лес. Несколько автоматчиков прикрывают отход.

Три раза поднимались эсэсовцы в атаку, три раза автоматчики огнем прижимали их к земле. Теперь фашисты не топят. Очевидно, ждут подкрепления. Партизаны напряженно вслушиваются в тишину. И вдруг впереди, в пяти метрах от автоматчиков, раздается русская речь:

— Товарищ, повернитесь немного вправо, а то лица не видно.

Струнников, привстав из-за куста, наводит фотоаппарат на автоматчика. Сухо щелкнул затвор «лейки».

— Так, еще минуточку, для верности сделаем дубль.

Партизан, ничего не понимая, во все глаза смотрит на фотокорреспондента. Заметили Струнникова и гитлеровцы. Они вновь открывают огонь. Пули, вздымая снежную пыль, ложатся у куста, за которым спрятался журналист.

Только теперь автоматчики поняли, что фотокорреспондент, который прикомандирован к отряду, неизвестно как очутился в самом пекле боя. Очередями из автоматов они заставляют немцев поутихнуть. Кто-то из бойцов оттаскивает Струнникова из-под огня. Пуля оцарапала ему висок.

* *
*

4 января сорок второго года в газете «Правда» были напечатаны партизанские снимки Сергея Струнникова.

В эти дни автор фотографий находился в подмосковных лесах. Здесь, в стороне от дороги, раскинулась небольшая

деревня Петрищево. Два дня назад в редакцию позвонил Петр Лидов и попросил прислать фотографа. Поехал Струнников.

И вот они сидят с Лидовым в одной из петрищевских изб. Лидов рассказывает о том, что произошло в этой деревне в конце ноября. На столе лежат записные книжки журналиста. Глухо звучит его голос. Слабый огонек коптилки скупо освещает лицо рассказчика. Но Струнников видит, как частые и глубокие морщинки разбежались лучиками от глаз.

Почему-то ему вспомнилось, как он встретил весной сорок первого года на улице Горького бодрого, молодого, элегантного Петра Лидова, который только что вернулся из Эстонии.

Сколько времени прошло с той встречи? Каких-нибудь полгода...

— Сережа! — Струнников встрепнулся. — Ты понимаешь, здесь нельзя сделать обыкновенное фото. Нельзя! Снимок кричать должен. Пусть люди увидят, какой подвиг она совершила.

27 января 1942 года в «Правде» вместе с очерком Лидова «Таня» был напечатан снимок Струнникова. На этой фотографии юная партизанка выглядит так, как будто она только что произнесла свое последнее гневное слово, будто смерть еще не тронула ее волевого и гордого лица.

* *
*

В кропотливой работе над очерком о Зое Космодемьянской, в совместных командировках родилась суровая мужская дружба между Лидовым и Струнниковым. В конце сорок третьего года Лидов писал жене:

«Мне дорог Сережа. Нас связывает многое. Особенно памяты петрищевские дни. Мы стали родными и близкими. Мы стали побратимами не только в жизни, но и в творчестве».

Побратимы в творчестве! Немало хороших материалов написал Лидов благодаря Струнникову. Много чудесных фотографий снято Струнниковым по совету друга.

В январе сорок второго года Лидов предложил товарищу заснять фашиста, который ближе всех подошел к Москве. Первоначальный замысел фотографии Струнникову осуществить не удалось.

Но снимок на эту тему все же появился на газетной полосе в феврале сорок второго года.

Бесконечное снежное поле. Скрюченная рука торчит из-под снега. Больше на фотографии нет ничего. Но когда глядишь на нее, невольно дорисовывается в воображении и холод русской зимы, и предсмертный хрип фашистского завоевателя.

Мертвый немец там, под снегом, на земле, которую он мечтал покорить, словно предостерегает живых соплеменников:

«Стойте, опомнитесь, здесь, в России, где воюют даже старики и мстят дети, может остаться навечно каждый из нас...»

Одновременно был опубликован другой снимок Струнникова, по теме близкий первому: «Кресты фашистских могил». К этому снимку журналист взял эпиграфом одно высказывание фюрера: «Переход от наступления к обороне на Восточном фронте был полон риска».

Фотографии эти были остры, злободневны и сатиричны, как карикатуры Кукрыниксов. Тему второго снимка подсказал фотокорреспонденту также Лидов.

* *
*

В одну из поездок на фронт Сергей Струнников был сильно контужен. Два осколка застряли у него в ноге. Санитарный поезд привез фотокорреспондента в тыловой госпиталь.

Лечение шло успешно, и с наступлением весны, как только просохла земля, Струнникову разрешили прогулки в госпитальном саду. Он бродил по широким аллеям сада, в ясные дни часами просиживал на скамейках, упиваясь солнечным теплом, вдыхал всей грудью пьянящий весенний воздух.

Друзья прислали из Москвы фотоаппарат. Струнников уже пробовал снимать и был несказанно рад, что после контузии работать не разучился.

— Почему врачи тянут с выпиской, — возмущался он. — На фронте такие жаркие дела, в редакции работы по горло, а здесь сиди и «забивай козла».

Костяшки домино с грохотом ложатся на стол. Раненые увлеклись игрой и не заметили, как к ним подошла дежурная сестра.

— Товарищ Струнников, к вам пришли.

— Где? Кто?

Он торопливо шагает к зданию госпиталя. На крыльце, выходящем в сад, стоит незнакомая женщина. Раненый замедляет шаги.

— Товарищ Струнников?.. Здравствуйте. Лидов написал мне, что вы здесь. Я и решила вас навестить.

Незнакомка оказалась собственным корреспондентом «Правды».

Они разговаривают больше часа. Струнников торопливо расспрашивает ее о редакции, о работе, о друзьях. Вспоминают общих знакомых.

Что интересного в городе? Подготовлена серия очерков о танковом заводе. Жаль только, пойдут без иллюстраций. Звонила в редакцию, просила прислать фотокорреспондента — отказали.

Журналистка смотрит на часы. Ей пора уходить. Она будет теперь навещать его. На всякий случай оставляет адрес корреспондентского пункта.

На следующий день жители города с недоумением смотрели на старшего лейтенанта, который расспрашивал прохожих, как пройти на корреспондентский пункт «Правды». Из-под шинели у лейтенанта виднелись полосатые брюки больничной пижамы, а через плечо висел фотоаппарат. Это был Сергей Струнников. Он сбежал из госпиталя.

17 мая сорок второго года в «Правде» был опубликован первый снимок Струнникова из серии «Танковый завод».

В конце декабря сорок второго года Струнников вернулся в Москву. Еще неделю редактор не подписывал ему командировку на фронт. Лишь в январе сорок третьего года он снова попал на передовую, на этот раз в Ленинград.

За две недели, прожитые в блокированном городе, Струнников создал замечательную серию снимков «Ленинград в блокаде». Здесь и Александровский сад, где рядом с чашей большого фонтана заняла боевую позицию зенитная батарея, и оцетинившаяся пулеметными гнездами баррикада на Московском проспекте. Все эти снимки созвучны стихам Николая Тихонова о Ленинграде, городе, который, не дрогнув под ударами врагов, стоит

...большой, как жизнь,
Ни с кем не схожий, неповторимый.

В январе сорок третьего года вышел в свет альбом «Разгром немцев под Москвой». В нем были собраны лучшие

фотографии Струнникова, сделанные им в трудные дни сорок первого — сорок второго годов. Один такой альбом бережно хранится в семье Лидовых. На титульном листе черным ретушерским карандашом сделана надпись: «Пете Лидову — товарищу по работе в дни обороны Москвы, ноябрь 1941 года — январь 1942 года, вдохновителю на отображение в фотоснимках того времени. Сергей Струнников. 12.4.43 года».

Сергей Николаевич Струнников погиб вместе с Петром Лидовым во время бомбежки гитлеровцами американского «челночного» аэродрома под Полтавой.

МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ

Пограничники выполняют последние формальности. Специальный состав из четырех «международных» вагонов уходит от платформы. С Германией заключен договор о ненападении, и правительственная делегация СССР с ответным визитом направляется в Берлин.

Одно из окон третьего вагона, где едут сопровождающие делегацию журналисты, неярко отсвечивает желтоватым светом настольной лампы. Чтобы не разбудить соседа, Михаил Калашников накрыл абажур колпаком из газеты. Он, специальный фотокорреспондент «Правды», заносит в свой путевой дневник:

«Это граница. По ту сторону другая страна, с другим политическим укладом. И рано или поздно, но мы должны с ней драться».

Прием у Риббентропа, ни к чему не обязывающий разговор о погоде с одним из представителей крупнейшей нацистской газеты.

На следующий день фотокорреспондент присутствовал на обеде, который давал Гитлер в честь гостей из России. Тогда-то и сделал Калашников свой знаменитый снимок-карикатуру.

Оскаленная в улыбке массивная челюсть дегенерата, прядь набриолиненных волос свешивается на лоб. С приторной угодливостью пожимает фюрер руку главе советской делегации.

В распоряжении фотокорреспондента были секунды, он работал «навскидку». И все же Калашников сумел блестяще решить тему. Его снимок обошел все газеты и журналы мира. Оценили фотографию по достоинству и в фашистской

Германии. Когда через несколько месяцев Калашников должен был снова посетить «фатерлянд», ему отказали в визе.

Покидая Берлин, Михаил Калашников записал в своем дневнике:

«Первое впечатление о фашистской столице — это обилие полицейских и переодетых шпиков. Всюду настороженные глаза профессиональных убийц, готовых всадить тебе нож в спину...»

Он вспомнил эти глаза июньским днем сорок первого года, когда впервые услышал о варварском налете на Киев, Минск, Севастополь, когда повсюду зазвучало суровое и обязывающее слово — война!

* *
*

Калашников сидит в кабинете главного редактора.

— Ведь нет же незаменимых людей! Не разрешите — сам уеду.

— Нельзя, ты нужен здесь. Кто будет руководить работой отдела иллюстраций? Нет, мы не можем сейчас отпустить тебя на фронт.

Первое партийное собрание в военное время. Свое выступление Калашников заканчивает словами:

— Сейчас наше главное оружие — дисциплина и организованность. Многие рвутся на фронт, но с командировками на передний край придется пока подождать. Будем работать здесь...

Сразу же после собрания Калашников едет в одну из частей Московского военного округа и сдает в секретариат хороший снимок красноармейцев — отличников РККА. Этот снимок был опубликован в газете 23 июня 1941 года.

* *
*

В лаборатории полумрак. Сушатся проявленные пленки.

Первые дни войны он не приходил домой даже ночевать — спал на диване в редакции. Только за первые три военных дня в газете было опубликовано шесть его снимков. Он сделал их на одном из заводов столицы, в колхозе Московской области, на призывном пункте военкомата.

Но такая работа не удовлетворяла Калашникова. В те дни он записал в дневнике:

«Мне мало этого, я хочу быть там, на переднем крае, хочу взять в руки винтовку, хочу бить фашистскую нечисть».

В начале июля Калашникова неожиданно вызвал редактор. Разговор занял немного времени.

— Вы готовы ехать на фронт?

— Да!

Домой Калашников забежать не успел, на душе было неспокойно. Ведь дома осталась больная жена. Может быть, надо было вообще отказаться от поездки? Нет, Мария поймет. В поезде он написал ей письмо:

«Я делаю плохо, что оставляю тебя в таком состоянии. Но пойми, я не могу иначе. Мирная жизнь кончилась. Она сейчас кажется такой счастливой и далекой. Она была действительно счастливой и, надеюсь, будет еще счастливой. Расправимся с фашизмом — этой гадиной, уничтожим варвара Гитлера и заживем по-прежнему. Может быть, это будет не так скоро, может быть, придется перенести много трудностей. Но надо из этих трудностей выйти победителями, и мы выйдем победителями».

Вскоре Калашников прислал свой первый снимок из действующей армии: резко очерченные на фоне заходящего солнца самолеты, маленький силуэт стартера с флажком на переднем плане. «Советские бомбардировщики на старте» — с такой подписью эта фотография была напечатана в «Правде» 6 июля 1941 года.

* * *

Каждому фотокорреспонденту присущ свой почерк, свои излюбленные темы, своя манера подачи материала. Михаил Калашников был до войны портретистом. Он умел видеть человеческое лицо в наиболее характерном для него ракурсе. Это был фотожурналист номер один, которому поручались правительственные съемки. Портреты, сделанные Калашниковым, отличались от работ других фотокорреспондентов особой продуманностью, основательностью. Порой, чтобы сделать один хороший портрет, Калашников готовился к съемке несколько дней. Он приходил на работу к человеку, которого должен был сфотографировать, часами наблюдал, как трудится его герой, старался подметить в человеке что-то свое, особенное, присущее только ему одному.

* * *

Первые же снимки, присланные Калашниковым с фронта, удивили его друзей. В них чувствовался тот же уверенный

почерк, и в то же время что-то новое появилось в фотографиях.

Раньше многие корреспонденты наших газет применяли в работе так называемый постановочный, или игровой, метод. Иными словами, фотокорреспонденты искусственно «лепили» композицию снимка. Довольно часто применял этот способ в своей работе и Михаил Калашников. Но война потребовала от фотожурналистов новых форм работы. В боевой обстановке уже не было времени «лепить» композицию.

«Снимать все самое интересное, самое важное», — записал в те дни в своем фронтовом блокноте Михаил Калашников.

Он продолжал делать одиночные и групповые портреты фронтовиков: 7 июля 1941 года «Правда» поместила групповой портрет экипажа самолета, разбомбившего танковую колонну фашистов, 12 июля — портрет майора Берга, отличившегося в бою с фашистами, 11 декабря — портрет летчика Кузьменко, награжденного орденом Красного Знамени.

День за днем создавал журналист фотолетопись фронтовой жизни. В своем дневнике Михаил Калашников писал:

«Пройдут годы, и об этой войне будут слагать легенды. Их уже сейчас создают люди. Я снимаю теперь будни фронта. Хочу оставить память об этой суровой войне в моих снимках».

«Будни фронта» — эта тема наиболее выразительно прозвучала в военных фотографиях Михаила Калашникова. На первый взгляд простой снимок: «Прием в члены партии перед боем в эсском соединении Юго-Западного фронта». Нехитрая композиция вначале кажется даже не совсем удачной. Но снимок привлекает внимание. Суровость и собранность бойцов, мужество и чистоту их помыслов сумел увидеть и донести до читателей Калашников.

Другой снимок из серии «Будни фронта» опубликован в «Правде» 28 июля 1941 года. Под ним подпись: «Фашистский танк, подбитый нашими бронейщиками». На переднем плане вытянувшаяся гусеница танка и дальше — застывшая машина врага. Это один из первых снимков в годы войны, где вражеский танк, о котором рассказывались небылицы, показан в «натуральную величину». Лишь позднее стало известно, как Калашников сделал этот снимок.

Палец комдива скользит по двухверстке.

— Высота 192. Здесь, пожалуй, вы найдете интересный материал. Оборонять высоту будет рота капитана Быстрова. В этой роте отличные, опытные бойцы. С самой границы воюют. Там у них есть один автоматчик... Впрочем, отправляйтесь на место, сами разберетесь.

Так Михаил Калашников попал на высоту 192, недалеко от Харькова. Он сфотографировал бойцов, занимавших оборону, и остался еще на день, так как хотел заснять эпизоды боя.

Противник пошел в атаку. Были убиты командир роты и политрук. Когда фашисты принялись снова атаковать высоту, капитан Калашников принял командование на себя.

Неширокая, отрытая в рост, щель мала Калашникову. Ему приходится стоять, полусогнув ноги. Перед самым бруствером чуть прибитый комьями выброшенной из окопа земли торчит кустик седого ковыля. Рядом в таком же окопе расположился бронебойщик. Вчера, когда Калашников фотографировал его, спросил, откуда родом солдат. Бронебойщик солидно ответил:

— Клинецынские мы, может, бывали?..

Немцы опять идут в атаку. На этот раз они бросили на высоту большие силы. Веером ползут пятнадцать вражеских танков. За ними, не отставая, бегут автоматчики.

Человечки в мундирах цвета болотной тины все ближе и ближе. Калашников никогда еще не видел вооруженного врага так близко.

Почему-то стали потными ладони. Захотелось спрятаться в окопе, зарыться еще глубже в землю. Но он взял себя в руки.

— Огонь! — кричит Калашников.

Безмолвный склон высоты оживает. Рядом гулко хлопнуло противотанковое ружье. Дернулся и застыл на месте немецкий танк. На подступах к высоте сосредоточила огонь наша артиллерия.

Какая-то внутренняя сила вынесла Калашникова из окопа.

— В атаку!

Он бежит вниз по склону, скорее чувствует, чем видит, как поднялась за ним вся рота.

Очередная атака немцев на высоту отбита. Улучив минуту затишья, Калашников фотографирует подбитый танк.

За «излишний риск» редактор газеты объявил Калашникову выговор. А через три недели в списке награжденных орденами бойцов и командиров военный фотокорреспондент «Правды» прочел и свою фамилию. Его отвага в бою на высоте 192 была отмечена орденом Красной Звезды.

За два месяца пребывания на фронте Калашников опубликовал более шестидесяти фотоснимков из серии «Будни фронта». Из них особенно запомнился читателям снимок «Колонна пленных немцев», напечатанный в «Правде» 5 сентября 1941 года.

Обычный русский пейзаж. По полевой тропинке мимо колхозниц, которые жнут хлеба, проходит колонна пленных немцев. Сопоставление войны (пленные немцы) и мирной жизни (жницы), противоположность этих явлений поражает зрителя. Недаром один из лучших фотокорреспондентов-художников — Сергей Струнников писал: «Этот снимок необычен. Он заставляет человека думать».



В ноябре сорок первого года Калашников побывал в дивизии генерала Панфилова. Это были самые напряженные дни обороны Москвы. Подтягивались к столице наши войска. Красная Армия готовилась к своему первому наступательному удару по гитлеровцам. В штабе дивизии разрабатывались планы предстоящего наступления. Работал тогда Панфилов очень много, день его был загружен до предела. И все же он согласился принять фотокорреспондента и внимательно выслушал его. Калашников просил «добро» на посещение передовой.

— Нет, и не просите. Тут снимайте, сколько душе угодно. Надо — людей из частей вызовем, а на передовую не пущу, — сказал генерал.

Калашников попросил Панфилова выйти из штабной избы и сфотографировал его вместе с комиссаром. Сразу же после съемки генерал ушел в избу. Неожиданно на пороге снова появился фотокорреспондент. Панфилов поднял голову:

— Ну, что еще, капитан?

— Надо мне на передовую, товарищ генерал.

- Нет, и не просите.
- Товарищ генерал!
- Нет!

Долго стоял навытяжку перед Панфиловым журналист. Он просил, убеждал, умолял...

- Товарищ генерал, прошу как солдат, разрешите!
- Нет!

— Товарищ генерал, боевой снимок ждут в «Правде». Через семь часов он должен быть там.

— Ладно!.. Корреспонденту нашей «Правды» отказать не могу. Идите. Только не рисковать. А то я вас знаю. Сначала один снимок, потом второй, а там, глядишь, и погиб. Приказываю вернуться живым.



Длинная траншея протянулась от лесочка к шоссе. Здесь заняла оборону одна из стрелковых рот панфиловской дивизии. Бойцы перерезали шоссе на Москву.

Калашникова сопровождал адъютант генерала. Первая атака немецких танков. Сделан снимок горящих танков, снят бронбойщик.

Стало слишком жарко. Командир приказывает Калашникову и адъютанту уходить. Огонь очень плотный. Они ползут, не поднимая головы. Пуля разнесла телеобъектив. Охнув, привалился к земле лейтенант. Калашников потащил его на себе.

Сдав раненого санитарам, он отправился в штаб. Там ему сказали, что от осколка мины погиб генерал Панфилов.

«Я плакал тогда вздохнул,— писал Калашников жене.— Тяжело, Маша, видеть, как гибнут люди, но еще обиднее, когда от ничтожного кусочка металла умирает умный, талантливый, интересный человек».

Не осталось в живых ни одного из людей, которых снимал Калашников в тот ноябрьский день. Погиб в конце войны и сам корреспондент. Но сохранился снимок — последний фронтовой портрет легендарного генерала.



В декабре сорок первого года советские войска нанесли фашистам сокрушительный удар под Москвой. Под натиском Красной Армии вражеские дивизии стремительно откатыва-

лись на запад. С передовыми частями наших войск продвигался Михаил Калашников. Калуга была первым крупным освобожденным городом, где ему довелось побывать. Прямо с танка, на котором он вместе с десантниками въехал в город, журналист снимал брошенные врагом тяжелые орудия, из которых немцы предполагали обстреливать Москву, застрявшие в снегу бронемашины, подбитые немецкие танки.

На главной площади Калуги Калашников своими глазами увидел, на что способны фашисты.

Перед тем как покинуть город, гитлеровцы согнали сюда всех жителей ближайших кварталов и учинили кровавую расправу. Еще раньше на этой площади были расстреляны пленные красноармейцы. Фашисты собирались уничтожить следы своих злодеяний, но наши автоматчики помешали им. На площади остались трупы замученных и расстрелянных мирных жителей, стариков, женщин, детей... В отдалении — обугленные тела пленных красноармейцев, на снегу — пятна крови.

Стиснув зубы, снимал Калашников следы «нового порядка». В тот же день в чудом уцелевшей лаборатории городского фотографа он обработал свои калужские снимки. Поздно вечером в Москву ушла штабная машина. Вместе с фотографиями, которые корреспондент просил шофера передать в редакцию, Калашников отправил жене письмо. Он писал ей:

«Маша, появилась первая седина, не после того, как побывал под пулями, а после Калуги. Ни один человек, посмотрев на эти зверства, не может оставаться спокойным».

* *
*

В январе сорок второго года наши войска завершили разгром немцев под Москвой. На фронте наступило временное затишье. В эти дни Михаил Калашников с одним из партизанских отрядов совершил свой первый рейд по тылам врага.

Конец февраля. По утрам еще стоит крепкий мороз. Но по-весеннему яркое солнце уже основательно греет днем. Снег подтаивает, а потом застывает на морозе упругим твердым настом. Идти по нему легко.

Согнувшись под тяжестью оружия, вещевых мешков, уходят на задание партизаны. Им предстоит пройти пять-

десять километров. Они должны взорвать одну из железнодорожных магистралей. Вместе с партизанами идет Михаил Калашников.

Это был дальний и опасный поход. Лишь через неделю вернулась на основную базу группа подрывников. На следующий день Калашников улетел в Москву. В его полевой сумке лежали кассеты с отснятыми пленками.

Партизанские снимки фотокорреспондента были напечатаны в «Правде» 16 марта 1942 года. Газета поместила три лучших снимка из тридцати пяти. Еще пять фотографий автор отобрал для альбома «Фронтовые будни», над которым он начал работу уже в те дни.

Партизанские фотографии — яркая страница в творчестве Калашникова. Он показал на снимках нелегкую, полную лишений и опасности жизнь народных мстителей.

Теплотой и глубокой человечностью овеяны эти правдивые снимки. Увидев их, фотокорреспондент «Правды» Сергей Коршунов сказал Калашникову:

— Миша, а ведь ты снимаешь по-новому. Не родился ли ты второй раз, дружище?

* * *

На второй год войны Калашникову разрешили участвовать в налете на Данциг. Командир экипажа внимательно оглядел могучую фигуру корреспондента, задержал взгляд на двух орденах, прикрепленных к гимнастерке, и сказал:

— Ладно, возьму в стрелки. Только фотографией чересчур не увлекаться, а хорошенько смотреть за воздухом, товарищ майор.

Полет прошел отлично. Самолеты, отбомбившись, возвращались на аэродром. До линии фронта оставались считанные километры. И вдруг откуда-то из-за облаков выскочил фашистский истребитель.

Бросив машину вниз, пилот бомбардировщика ушел от трассирующих снарядов противника. Журналист принял к пулемету. На секунду в прицеле мелькнула плоскость крыла фашистского самолета. Калашников нажал гашетку. Забил, задрожал в руках тяжелый пулемет. И вдруг в наушниках раздался голос летчика:

— Молодец, с первым тебя, корреспондент. Посмотри вниз...

Чуть-чуть снижаясь, наш бомбардировщик делал круг победителя, провожал сбитый, стремительно падающий самолет.

Калашников отчетливо видел, как врезался в землю истребитель, как взвилось над ним облако огня и дыма.

За ужином в столовой аэродрома фотокорреспонденту выдали традиционные двести граммов — положенную летчикам «премию» за сбитый самолет противника.

18 апреля в «Правде» появились снимки, сделанные Калашниковым на аэродроме и в полете. В самом начале из кабины самолета он успел заснять бомбардировщики на старте. Затем с высоты двух тысяч метров сфотографировал горящий Данциг.

В тот день, когда фотографии появились в печати, Калашников вместе с Петром Лидовым находился недалеко от Москвы, в отдельном чехословацком батальоне. Незадолго до этого Советское правительство наградило командира батальона полковника Свободу орденом Ленина. Журналисты сделали интересный фоторепортаж о боевой жизни чехословацких патриотов.

В апреле сорок четвертого года Калашников вылетел в Крым. Наши войска с боями продвигались к Севастополю. Фотокорреспондент прибыл в штаб дивизии 18 апреля, накануне штурма Сапун-горы. Журналист решил вместе с бойцами участвовать в штурме. Иначе какие же у него будут снимки? Репортаж только тогда хорош, когда его ведут из атакующей цепи.

В 6.00 взлетела красная ракета. Бойцы пошли в атаку на опорный пункт врага. Калашников продвигается вперед с одним из стрелковых отделений. Фотоаппарат висит у него на груди, как автомат. В руке командирский ТТ. Очень мешает ему сумка с кассетами и оптикой.

Цепь залегла. Перебежка... Еще одна. Фашисты усилили огонь. Нельзя поднять головы. Только бы доползти до сбитого снарядом дерева. За ним можно укрыться и сделать фотоснимок боя.

Калашников готовится к съемке. Наведено фоторужье. Сквозь призму наводки отлично видна картина боя. Журналист нажимает спусковой крючок. Щелкнул затвор аппарата. Сейчас еще один снимок...

Что-то вспыхивает перед глазами. Тяжелый удар обрушивается на Калашникова.

В маленьком домике в бреду, без сознания лежит Михаил Калашников. У него две раны в легком, перебит позвоночник. На минуту раненый очнулся, просит пить. Потом, опять забывшись, что-то торопливо говорит о не проявленных снимках.

Снова просветление. Оглядываясь вокруг, он устало произносит:

— Все.

Под фотографиями, опубликованными в «Правде» 21 апреля 1944 года, подпись Михаила Михайловича Калашникова была обведена траурной рамкой.

Михаил Дудин

СЛОВО СОЛДАТА



Первый салют осветил январское небо Ленинграда. Разноцветные ракеты, как цветные водоросли, переплелись над Дворцовым мостом. Народ толпился у парапетов, и раненые вылезали на подоконники и крыши госпиталей, чтобы увидеть этот удивительный салют. В те незабываемые дни у меня появилось много новых друзей. Особенно я подружился с Георгием Суворовым. Он был родом из Хакасии, лихой и подвижный, с хитроватым прищуром узких глаз, с редкими, но щеголеватыми усиками на загорелом округлом лице.

Мы часто встречались в полку или в редакции, а нередко на шестом этаже в доме № 1 по Зверинской улице, на квартире у Николая Семеновича Тихонова.

У Суворова был необычный говор. Когда он читал стихи, создавалось впечатление, будто он грызет кедровые орехи. Николай Семенович, бывший кавалерист и альпинист, продубленный ветром, худой и костистый, всегда смотрел на Суворова восхищенно, угадывая в нем и талант и характер.

Суворов писал много. Он мыслил стихами. Он записывал их в самодельные тетради карандашом на привалах. Почти каждое стихотворение Георгий от щедрой души посвящал кому-нибудь из товарищей. А в товарищах у него была в полном смысле слова вся дивизия.

Из-под Кингисеппа Суворов на денек заскочил в Ленинград, радостный и возбужденный наступлением. Вместе с ним мы в тот вечер пошли в филармонию на концерт Марии Вениаминовны Юдиной.

Играла актриса прекрасно.

— Больше всех я завидую композиторам и музыкантам,— сказал Гоша.

— Почему?

— Их не надо переводить на другой язык. Они понятны всем без перевода.

Суворов задумался, порылся в полевой сумке.

— Хочешь я тебе подарю? — вдруг сказал он и протянул мне вчетверо сложенный лист бумаги.

Это была наша последняя встреча. На завтра Суворов отправился под Нарву в свой взвод противотанковых ружей.

Через день из штаба мне принесли телефонограмму:

«Суворов погиб. Его полевая сумка у Черноуса в редакции».

Я снова развернул вчетверо сложенный лист бумаги и с волнением перечитал подаренные мне стихи:

Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем,
И падает обугленная птица,
Застигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, мы выпьем боль до дна,
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем —
Зачем туманить грустью ясность дней:
Свой добрый век мы прожили, как люди,
И для людей.

В переданной мне полевой сумке Суворова я обнаружил две тетради со стихами. Четыре раза выходила потом его книга «Слово солдата», из которой сам Гоша так и не увидел ни одного своего стихотворения в напечатанном виде.

То, что сказал фронтовой поэт, звучит как реквием всем погибшим и как напутствие всем живым. Он сумел соединить прошедшее с грядущим в словах:

Свой добрый век мы прожили, как люди,
И для людей.

Эти изумительные строки могут служить эпиграфом к судьбе всего нашего поколения, прошедшего через огонь войны и отстоявшего мир и счастье для нынешних и грядущих поколений.

Георгий Суворов
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* *
*

Средь этих нив я собирал слова,—
То пестрые, как вешняя долина,
То строгие, как горная вершина,
То тихие, как на заре трава.

Средь этих тучных нив, не раз, не два,
Я песню направлял в полет орлиный;
И песня, птицей став, неслась былиной
Из века в век, прекрасна и жива.

Средь этих нив я создал жизнь свою,
Подобную сереброкрылой песне,
На зависть всем и даже — соловью.

Средь этих нив я лягу и умру,
Чтобы еще звончей, еще чудесней
Летела песня утром на ветру.



Мы тоскуем и скорбим.
Слезы льем от боли...
Черный ворон. Черный дым.
Выжженное поле...

А за гарью, словно снег,—
Ландыши без края...
Рухнул наземь человек,—
Приняла родная.

Беспокойная мечта,—
Не сдержать живую...
Землю милую уста
Мертвые целуют.

И уходит тишина...
Ветер бьет крылатый.
Белых ландышей волна
Плещет над солдатом.



Я славлю вас, герои! Обо мне ж —
Никто не скажет и никто не спросит.
Я с вами вместе выйду на рубеж,
Чтоб увидеть вас в тихий час предгрозя.

Когда ж найдут меня средь мертвых тел,
С улыбкой грустною кивнут на ветер:
«Он весело страдал и сладко пел...»
А может быть, и вовсе не заметят.

Ну что ж! Я буду счастлив даже тем,
Что сын героя мой листок подымет,—
И прозвучит ему героя имя
Во всей неповторимой простоте.

Станислав Антонов

СЧАСТЬЕ



Воронежских степях ярким пламенем полыхал сентябрь 1919 года. Город — в центре событий гражданской войны. То установится Советская власть, то казачий атаман Дутов ворвется с бандой головорезов и наведет «псрядки», то вновь придут свои, красные... Чего только не испытали в последние месяцы жители! Вот и теперь снова идут жестокие бои. Белогвардейцы насаждают, их в несколько раз больше, чем красноармейцев, но город держится с удивительной стойкостью; видно, на этот раз решено ни за что не отдавать его врагу.

Повсюду проходят митинги, собрания, и то в одном, то в другом месте можно встретить черноволосого мальчугана с живыми, пронизательными глазами. Нередко в руках его была газета.

А вскоре этого вездесущего паренька вместе с приятелем-однокашником заметили у редакции армейской газеты «Кызыл юлдуз» («Красная звезда»). Оба мальчугана, потоптавшись на улице, вошли в помещение. Растерянные, они боязливо озирались по сторонам, не зная, к кому обратиться.

Их заметили.

— Ребята, что вам здесь надо?

Вместо ответа черноволосый паренек торопливо достал из-за пазухи бумажный сверток.

— Вот... — И он робко протянул его одному из работников.

— Ого, да тут стихи! — воскликнул тот. Вокруг сгруппировались журналисты.

— Если б саблю я взял, если б ринулся с ней,
Красный фронт защищая, сметать богачей,

— начал читать мужчина, и в комнате сразу повеяло неподдельной, искренней романтикой, верой в правоту дела, за которую борются большевики.

— Кто же это написал?

Приятель ответил:

— Во... сочинил... он...

Мальчуган покраснел. А глаза его стали еще больше, загорелись еще ярче.

Редактор удивленно посмотрел на него. Посыпались вопросы:

— Сколько лет? Откуда? Чей сын? Где учишься?

А мальчуган от смущения не знал, что и говорить. Вокруг то и дело раздавались похвалы стихам.

Вскоре ребят отпустили. А на следующий день на первой странице газеты появилось одно из стихотворений — «Счастье», — которое заканчивалось так:

Славу смерти геройской я в песне пою.
Друг-рабочий, винтовку возьми — и в поход!
Жизнь отдай, если надо, за волю свою.

Внизу стояла необычная подпись: «Кечкенэ Джалиль», что значило по-русски «Маленький Джалиль».

Да, это был он, будущий герой, замечательный поэт, великолепный журналист Муса Джалиль!

Сколько потом было выпущено книг, напечатано стихов, опубликовано статей, очерков, корреспонденций, но первое стихотворение на желтой оберточной бумаге (на такой тогда печаталась газета) осталось одним из самых дорогих воспоминаний в жизни.

Через несколько дней и другие стихи тринадцатилетнего татарского мальчика увидели свет. Все они были проникнуты пафосом борьбы за власть Советов, ненавистью к врагам трудового народа.

Так счастливо начала складываться поэтическая судьба Джалиля. И конечно, газета сыграла в этом решающую роль. Недаром же, когда из-за смерти отца вскоре пришлось вернуться в деревню, Муса создает там детскую организацию, и, первое, что она стала делать, это выпускать свою газету. Душой ее, как и всей деятельности большого коллектива мальчишек и девчонок, был комсомолец Муса Залилов, известный теперь под именем Мусы Джалиля.

С того памятного 1919 года газета стала для поэта верным и необходимым спутником всей его жизни. Когда через несколько лет он приехал в Казань, чтобы поступить учиться на рабфак, и ему не удалось это (прием был уже закончен), то прежде всего юноша пошел в редакцию. Пошел — и остался в ней. Кем? Переписчиком. В то время в газете не было пишущих машинок с татарским шрифтом и приходилось материалы для набора переписывать от руки. И здесь проявилась еще одна характерная черта Джалиля — будущего журналиста: он не гнушался никакой черновой работы.

Сотрудники редакции сразу обратили внимание на вдумчивого и старательного подростка. И еще большим уважением прониклись к нему, когда познакомились с его стихами, появившимися в печати, теперь уже за подписью «Муса Джалиль».

Где только затем не побывал неутомимый юноша! Был и инструктором Орского уездного и Оренбургского губернского комитетов комсомола, потом на ответственной работе в ЦК ВЛКСМ. Но куда бы ни забрасывала его судьба, всюду он искал общения с печатью, с газетой, активно сотрудничал в ней. В заявлении в Оренбургский комитет ВЛКСМ в 1927 году он писал, что редакторская работа «является моим основным уклоном». И не случайно, конечно, старые коммунисты М. Г. Максудов и А. С. Давлетшин, рекомендовавшие его в 1929 году в ряды Коммунистической партии, самым веским доводом считали отличную работу юноши в печати. Муса Джалиль по праву мог сказать, что периодическая печать подготовила и привела его в ряды великой Коммунистической партии.

Став ее членом, он с еще большим усердием и энергией отдает печати силы свои, талант, недюжинные организаторские способности. Это по его инициативе и под его непосредственным руководством был создан в Москве детский журнал на татарском языке «Кечкенэ иптэшлэр» («Юные

товарищи»), а через некоторое время еще один — «Октябрь баласы» («Октябренок»). Даже трудно понять, как у Джалиля хватало сил, времени, энергии, чтобы успевать и учиться в Московском университете, и работать в ЦК ВЛКСМ, и быть редактором сначала одного, а затем другого журнала! А ко всему этому Джалиль писал еще стихи, статьи, пьесы...

До сих пор, к сожалению, о журналистской деятельности Мусы Джалиля почти ничего не написано, да и в воспоминаниях людей, хорошо знавших его, почему-то этому отводится очень мало места. А ведь столько интересного, поучительного в его работе! Столько выдумки, оригинального вносил молодой редактор в каждый номер журнала! Всякий раз здесь появлялись новые песни, стихи, рассказы, интересные игры. Его беспокойный характер, вечная жажда нового, стремление к постоянным поискам новых форм подачи материалов передавались всем, кто трудился с ним рука об руку.

Особенно ярко проявил себя Джалиль как журналист во время работы в московской татарской газете «Коммунист», где он заведовал отделом литературы и искусства. Во всей полноте развернулся публицистический талант Мусы. Он часто выступает с яркими статьями о защите Родины, разоблачает буржуазную идеологию, мещанскую мораль, гневно клеймит фашистских выродков, только что прорвавшихся тогда к власти.

Один из самых близких друзей Джалиля известный татарский писатель и критик Гази Кашшаф (кстати, именно ему завещал поэт все свои рукописи) рассказывает:

— Коренастый, небольшого роста, Муса острыми глазами смотрел на все явления жизни и стремился раскрыть ее значение и смысл во всем многообразии. Веселый, задорный, он постоянно был чем-то занят, все куда-то спешил, торопился, скороговоркой сообщал самые последние новости о жизни страны и мира, о жизни литературы и отдельных людей. Пожалуй, не было вопроса, который бы не интересовал его, не было работы, которая не увлекала бы его. Он все время жил новыми замыслами, и часто это были замыслы пламенной статьи, боевой публицистики. Он горел в работе и умел увлечь за собой своих друзей. Мы всегда поражались его деловитости и темпераменту.

Да, нельзя было не полюбить этого человека, беспокойного журналиста, много ездившего по стране. Его пытливый

ум, зоркий глаз, умение в частном, иногда даже мелком явлении, увидеть большое, типичное для нашего времени делали Джалиля незаменимым для газеты. В каких только краях не побывал он, с какими людьми не встречался!

В архивных делах хранится один скромный, ничем особенно не привлекающий к себе документ. В нем говорится, что Дергачский райком партии Нижне-Волжского края командировал М. Залилова в крайком партии «по вопросу организации татарской газеты». И дата: июль 1933 года. Что это? Как попал Муса в район и при чем тут организация газеты? А при том, что этот факт, как и множество других, одно из проявлений кипучей и неутомимой деятельности Джалиля-журналиста.

Весной 1933 года Муса с огромным энтузиазмом едет в качестве редактора выездной редакции «Коммуниста» в Дергачский район. В течение нескольких месяцев он исколесил весь район, побывал в каждом колхозе, в каждой деревне, беседовал со многими людьми на самые различные темы. Через короткое время его уже встречали здесь как близкого друга, земляка. На страницах газеты появлялись страстные заметки, статьи, зарисовки о колхозных делах, о замечательных тружениках села.

Как-то в райкоме партии зашел разговор.

— Хорошо бы всегда иметь у нас газету. А то вот вы уедете,— говорили, обращаясь к Джалилю,— и снова мы как без рук.

— А что ж, отличная идея! — подхватил Муса.— В районе должна остаться своя газета.

И вскоре он выехал в крайком партии. Энергия, умение убеждать, когда сам уверен в правоте, помогли добиться желаемого: Муса возвратился в район с решением о создании татарской газеты.

А как обогащается поэтическое творчество Джалиля после поездок! Да он и не мыслил для себя иной жизни. Недаром же его произведения тридцатых годов отличаются большой художественной зрелостью. Именно в это время он особенно остро почувствовал свою близость к народу. Многие его произведения, крупные и малые, рождались именно после вот таких поездок.

Его можно было встретить на Косогорском металлургическом заводе Тульской области, где он по заданию редакции готовит материал к 15-летию ВЛКСМ, то у рыбаков Каспия, после чего в «Коммунисте» появляются очерки,

корреспонденции, то среди ленинградских рабочих, откуда он дает статьи, широко пропагандирующие движение ударников труда, то в Татарии, в Черемшанском маслосовхозе... И всюду, где бы ни побывал этот неугомонный журналист, он оставлял о себе добрую память, заметный след.

Пройдет несколько лет, и Муса Джалиль перейдет из газеты на работу в театр, но никогда не изменит он журналистике, которая вывела его на путь счастья, труда для людей. И после ухода из редакции он часто выступает с публицистическими статьями, высказывает на страницах газет, журналов свои мысли, взгляды на развитие литературы, искусства, часто откликается на новые произведения своих товарищей по перу.

Настал 1941 год. Джалиль, пламенный патриот Отчизны, с первого же дня войны рвется в бой, туда, где решаются судьбы Родины, всего того, чему он отдал лучшие свои годы. Но ему говорят: «Ждите». Несколько раз настойчиво просил Муса об отправке на фронт.

Наконец он добился своего. Сначала Джалиль — рядовой артиллерист, затем на курсах политработников. И вот в начале 1942 года получено назначение на фронт, в редакцию газеты 1-й Ударной армии.

Прекрасные характеристики получает Джалиль от руководства курсов, и в каждой из них обязательно речь идет о связи с печатью.

В эти дни, отправляясь на фронт, Муса много думает о смысле жизни. 12 января он пишет жене большое письмо, в котором высказывает свои сокровенные думы. «Я не боюсь смерти, — пишет он. — Это не пустая фраза. Когда мы говорим, что презираем смерть, это на самом деле так. Великое чувство патриотизма, полное сознание своего общественного долга убивает страх». И далее пламенный патриот, страстный жизнелюбец продолжает: «Цель-то жизни в том и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать. Вот и думаю я: если погибну в Отечественной войне, проявляя отвагу, то эта кончина совсем неплохая».

Точно завещанием грядущим поколениям звучат слова: «Мы очень любим жизнь, хотим жить, и поэтому презираем смерть! А если эта смерть так необходима (в войне за Родину), если она может принести столько же пользы, как и 30—40-летняя спокойная трудовая жизнь до старости, то не зачем бояться, что я рано погиб. «Жил и творил для Родины, а когда нужно было, погиб для Родины». И такая гибель — уже есть бессмертие человека!»

Отправляясь на фронт, Муса словно предчувствовал, что ему суждено осуществить свой завет, показать современникам и потомкам, на что способна беззаветная любовь к Родине.

Но Джалилю и на этот раз не суждено было попасть в действующую армию. Снова ожидания, снова просьбы... Политработник А. Молдованов, вспоминая о пребывании вместе с Мусой в московском резерве, особо подчеркивает одно его непреклонное желание: работать во фронтовой печати.

— Очень хочется быть хотя бы в дивизионной газете,— не раз говорил Джалиль.— Хочется ежедневно бывать у солдат, нести в окопы, на линию огня наше большевистское слово!

Бывало, размечтается вечером:

— Как это здорово: скитаться, «голосовать» на фронтовых дорогах, входить в освобожденные села и города, видеть людей, как можно больше людей, которые оставляют землянки, восстанавливают жилища, фабрики, мастерские! Мне предлагают газетную работу в Москве. Но мое место там, на фронте, где гонят с нашей земли фашистских гадов.

Лишь в конце февраля Джалиля отправили на Волховский фронт. Но и там он еще долгое время не смог найти применения своим творческим силам, хотя и выполнял порой очень ответственные и рискованные поручения штаба 2-й Ударной армии. Как бы интересны ни были задания, Джалиль не перестает мечтать о газете. «А то просто обидно,— пишет он 3 апреля своему другу Гази Кашшафу.— Здесь же рядом земляки творят чудеса, храбро истребляя гадов-фашистов, а я, их родной поэт, к тому же журналист, не связываюсь с ними и молчу об их отважных победах».

Муса строит большие планы, хочет создать книгу об истории татаро-башкирской части, собирается много писать для республиканских татарских газет «Кызыл Татарстан» и «Красная Татария».

Недаром говорится: кто хочет — тот добьется. Добился своего и Муса. Встретился однажды на улицах Малой Вишеры со своим давним знакомым еще по Московскому университету Л. А. Моисеевым, который работал в газете «Отвага», да и высказал свое неудовлетворение.

— Так за чем же дело стало? — спросил Моисеев. — Давай к нам!

И вот уже на письмах появляется новый обратный адрес: Действующая армия, ППС № 1550, редакция газеты «Отвага».

Началась жизнь, полная тревог и лишений, но такая радостная, счастливая, потому что приносила пользу людям, ту, на которую способен был Муса. Его редко можно было застать в редакции. Он, как и мечтал в Москве, ходил по передовым позициям, сидел в окопах, в дозорах, засадах... А сколько раз военному корреспонденту приходилось менять блокнот и карандаш на другое оружие — автомат и пистолет!

25—30 километров в день — таков был пешеходный рацион неутомимого газетчика. На какие только темы не писал Джалиль! В газете часто появлялись его материалы: то обзор писем раненых бойцов, то о художественном ансамбле связистов (и это на передовой!), то о хирурге медсанбата... Но главные герои Джалиля — люди окопов, те, кто, не жалея сил и жизни, ежечасно, ежеминутно смотрят смерти в глаза, встречаются с врагом, защищают Родину. Иной раз в одном номере появлялись два материала, и тогда один из них появлялся за подписью М. Залилова, а другой — М. Джалиля.

«Кочующий миномет», «Автоматчик Поляков», «В засаде», «Повар — сверхметкий стрелок»... Уже простой перечень заголовков говорит сам за себя. В каждой статье, зарисовке, заметке шла речь о простых людях, героях войны.

Не откладывал Муса в эти дни и своего поэтического пера. В газете появляется несколько стихотворений, написанных поэтом на русском языке. Например, в одном из них, «Весенние резервы Гитлера», автор зло издевается над фашистами, уверенно заканчивая такими словами:

Вот, бандит, тебе итог,
Не спасет тебя ничто:
Ни зима, ни май, ни лето,
Песенка твоя пропета!

И заметьте, это в апреле 1942 года, когда на Волховском фронте шли очень тяжелые бои, когда 2-я Ударная армия под командованием генерала Власова, оказавшегося изменником Родины, терпела неудачу за неудачей.

Огромной гордостью за профессию журналиста проникнуты строки писем Джалиля того времени. «Военкор — это далеко не мирное и спокойное занятие, приходится одновре-

менно воевать и писать». В это время Муса пишет не только для армейской газеты, но и очерки для «Кызыл Татарстана», выходящего в Казани.

Война есть война. Она каждую минуту приносит неожиданности, и часто одну неприятнее другой. Случилось непоправимое и с Джалилем. Тяжело раненный, в бессознательном состоянии он был захвачен фашистами в плен. Это произошло под Мясным Бором в июле 1942 года.

Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою.
...Судьба посмеялась надо мной:
Смерть обошла — прошла стороной.
Последний миг — и выстрела нет!
Мне изменил
мой пистолет...

— с горечью писал Джалиль в первые дни своего пленения.

Но не таков был Муса, чтобы сразу падать духом. Он и в плену знал, что надо делать, как бороться с врагом. Наступил последний, самый героический период в жизни и творчестве поэта, журналиста.

«Герой,— писал в одной из своих довоенных статей Юлиус Фучик,— это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества». Так поступил сам автор статьи, так поступил и его духовный брат, много писавший о героях и героизме, Муса Джалиль.

О его величайшей стойкости, мужестве, силе воли написано теперь немало. И не только воспоминаний, статей, книг, но и пьес, повестей, стихов... И все-таки каждый раз, когда пишут о нем, забывают, что он был не только патриот, не только поэт, но и журналист, газетчик «от головы до пят». И там, в фашистском застенке, газета сопутствовала ему постоянно. Кстати, ее даже гестаповцы пытались использовать, чтобы склонить Джалиля на свою сторону.

На одном из допросов, исчерпав все приемы, шеф гестапо палач Мюллер, широко известный своими «психологическими» опытами, обратился к Мусе и его другу Ахмету Симаеву, московскому журналисту, десантнику:

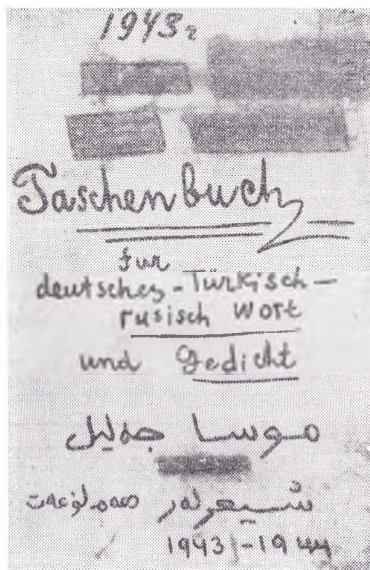
— Напрасно, господа, вы корчите из себя героев, патриотов своей родины. Не думаете ли вы, что Россия оценит ваш, как вы считаете, подвиг?

— Мы,— ответил со спокойной гордостью Муса,— исполнили свой долг — долг советского солдата!

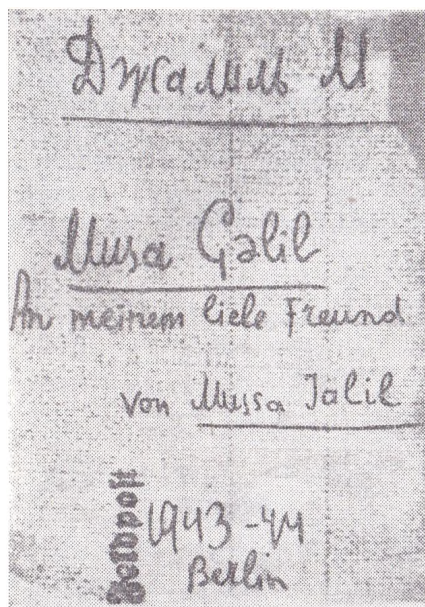
— Наивные глупцы! — с издевкой воскликнул Мюллер.— Если уж говорить начистоту, то вы просто изменники. Предателей на вашей родине ждет пуля, а семьи — репрессия. Кстати, вот взгляните...

И он небрежно протянул Джалилю газету на русском языке.

Руки Мусы дрожали: давно не держал он газету с русскими буквами, кажется, целая вечность прошла. И таким теплом, чем-то близким, родным повеяло со страниц! Но это первое впечатление. Вчитываясь, друзья все больше и больше понимали: нет, не та, не наша газета. А вот и сообщение советского командования. Но что это?! Муса пробежал заметку глазами, другой раз, третий... Не может быть! Это сон, бред, видно, сказывается слабость, усталость, мучения. Но нет, он снова читает страницу, снова и снова в заметке то же самое: группа казанских татар во главе с политруком Джалилем сдалась в плен, служит в «татарском легионе», готова ехать на фронт, воевать против Советов за освобождение Татарстана. А в конце набрано крупным шрифтом (постарался метранпаж!): «Позор подлым изменникам! Их ждет заслуженная кара советского народа!»



Обложка первого блокнота Мусы Джалиля, который передал в 1946 году в Союз писателей Татарии Нигмат Терегулов, бывший военнопленный, встречавшийся с М. Джалилем в фашистских застенках. Этот блокнот вынес из Тегельской тюрьмы Г. Шарипов и передал, уже во Франции, Н. Терегулову, а тот, по возвращении на Родину,— в Союз писателей. Надписи и по-немецки, и арабским шрифтом сданы Джалилем. Немецкий текст: «Записная книжка для немецких-тюркских-русских слов и стихов». Арабским шрифтом: «Муса Джалиль. Стихи и словарь». В этом блокноте было 60 стихотворений, написанных арабским шрифтом



Обложка второго блокнота, где было 50 стихотворений, записанных латинским шрифтом. Этот блокнот М. Джалиль передал в Моабитской тюрьме бельгийскому антифашисту Андре Тиммермансу, который в 1947 году передал его в советское посольство в Брюсселе. По-немецки рукой Мусы Джалиля написано: «Моему дорогому другу от Мусы Джалиля». Это дарственная надпись А. Тиммермансу

занимавшийся вербовкой военнопленных татар в «легион». Еще бы, имя Джалиля, известного поэта, журналиста, его авторитет могли сыграть неоценимую роль в пропаганде! Сам гитлеровский министр Розенберг уговаривал его. И Джалиль... согласился. Ему очень надо было иметь свободу передвижения. Ведь уже задолго до этого он стал руководителем подпольной группы. И тогда, тоже в первый раз, он ставил перед собой и своими друзьями необычную задачу — делать газетенку «Идель Урал» как можно хуже.

— Она должна быть беззубой, аполитичной, — советовал он, — безграмотной. Чем больше ошибок, опечаток, тем луч-

Мюллер ждал... Ждал, что вот-вот бросятся к нему два друга и заговорят, развяжут языки.

Джалиль молчал. В голове роилось немало тревожных мыслей, но он успокоился и в первый раз не поверил тому, что написано в газете на русском языке. В первый раз!

— Вот вам и верное служение родине, — откуда-то издали раздавался иронический голос гестаповца.

— Врешь! — неожиданно оборвал его Муса. — Врешь, господин шеф! Это фальшивка. Мы были советскими, ими и останемся. Врешь, не купишь!

Так и остался ни с чем «психолог гестапо».

Еще раз встретился Муса с газетой, снова фашистской, хотя и издававшейся на родном татарском языке, уже в лагере, расположенном недалеко от Берлина. Его начали авитировать, чтобы он шел на работу в комитет «Идель Урал»,

ше. Переводы должны быть малопонятными и путаными, чтобы в статьях было трудно добраться до смысла. И знаете что,— закончил Муса,— нам надо наладить выпуск листовок.

Снова Джаилиль вернулся к публицистике, теперь уже в новых, особенных условиях. Снова он поставил на службу Родине свое перо пламенного журналиста, патриота Страны Советов.

Когда с помощью провокатора гитлеровцам удалось раскрыть подпольную организацию, Муса вместе с друзьями предстал перед палачами. Их судил верховный имперский военный суд. Это было в марте 1944 года. Множество обвинений предъявлено им: и вооруженные восстания в «легионе», и переход легионеров на сторону партизан, и печатание листовок, в которых содержался призыв повернуть оружие против Гитлера, и связь с рабочими, коммунистами немецкого подполья...

С последним словом от имени всех выступил Муса. Держался он бодро.

— Не мы совершили преступление,— гневно бросал Муса в лицо фашистам,— а клика Гитлера. Мы же горды тем, что внесли маленькую лепту в долю победы над фашизмом, и жалею лишь об одном, что не удалось продолжить эту борьбу. Раньше вы,— летели слова, обращенные к судьям и тем, кто сидел в зале,— отребью из белоэмигрантского комитета,— показывали нам какие-то бумажные фальшивки и называли нас предателями. Теперь вам ясно, что все это лопнуло как мыльный пузырь. Мы — советские люди, и мы выполнили свой долг перед Родиной!

Бесновались судьи, шипел зал. Мусу много раз грубо обрывали, оскорбляли и наконец вообще лишили слова.

Так и не смог закончить Джаилиль свое последнее публицистическое выступление. Он сделал это в своих потрясающих по силе предсмертных стихах, ставших теперь широко известными повсюду. 25 августа 1944 года фашисты гильотинировали Мусу Джаилиля. Но они не смогли уничтожить его стихи, написанные в застенках! Товарищи Мусы сохранили и переслали на его Родину три маленькие самодельные книжечки, сделанные из разных обрезков бумаги. В них Джаилиль сумел уместить свыше ста стихотворений.

Так обрел бессмертие Герой Советского Союза Муса Джаилиль — журналист, поэт и воин.

СТИХИ И ЗАПИСКИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, НАПИСАННЫЕ В ТЮРЬМЕ

1943—1944 гг.

Сердце с последним
дыханием жизни
Выполнит твердую клятву
свою:
Песни всегда посвящал
я Отчизне,
Ныне Отчизне я жизнь
отдаю.
Пел я, весеннюю свежесть
почуя,
Пел я, вступая за Родину
в бой.
Вот и последнюю песню
пишу я,
Видя топор палача над
собой.
Песня меня научила
свободе,
Песня борцом умереть мне
велит,
Жизнь моя песней звенела
в народе,
Смерть моя песней борьбы
завучит.

ЗАВЕЩАНИЕ, НАПИСАННОЕ НА ОБЛОЖКЕ
В КОНЦЕ ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ

Другу, который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадку.

Это написал известный татарскому народу поэт Муса Джалиль. Испытав все ужасы фашистского концлагеря, не покоровшись страху сорока смертей, был привезен в Берлин. Здесь он был обвинен в участии в подпольной организации, в распространении советской пропаганды... и заключен в тюрьму. Его присудят к смертной казни. Он умрет. Но у него останется 115 стихов, написанных в заточении. Он бес-

покоится за них. Поэтому он из 115 старался переписать хоть бы 60 стихотворений.

Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, выпусти их в свет как стихи погибшего поэта татарского народа. Это мое завещание.

Муса Джалиль. 1943. Декабрь.

НАДПИСЬ НА ОБЛОЖКЕ ВТОРОЙ ТЕТРАДИ

В плену и в заточении — 1942. IX — 1943. XI — написал 125 стихотворений и одну поэму. Но куда писать? — Умирают вместе со мной.

Муса Джалиль. Декабрь 1943 г.¹.

ЗАПИСКА НА ПОЛЯХ НЕМЕЦКОЙ КНИГИ, ОБНАРУЖЕННОЙ СОВЕТСКИМИ БОЙЦАМИ В БИБЛИОТЕКЕ ТЮРЬМЫ МОАБИТ

Я, известный татарский поэт Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму за политику и приговорен к расстрелу... Прошу передать мой привет А. Фадееву, П. Тычине, моим родным.

Не ранее марта 1944 г.

¹ Датировано по содержанию.

Николай Денисов

ОН МНОГОМУ НАУЧИЛ МОЛОДЫХ...

I



Сотый день войны застал нас, Петра Олендера и меня, в Харькове. Мы были корреспондентами «Красной звезды» на Юго-Западном направлении. Утром, возвратившись из ночной поездки в дивизион РС¹ — нового оружия, поступавшего в войска, мы сидели в холодном номере центральной гостиницы. Из окна было видно, как воины постов ВНОС² поворачивают установленную на площади большую стрелу из фанеры: сигнал нашим истребителям, где находятся вражеские бомбардировщики. Стреляли зенитки. Тонко посвистывали падающие бомбы.

Сто дней наступления гитлеровских полчищ и ожесточенных контратак Красной Армии. Бои в эту пору подошли к Ленинграду, они гремели к востоку от Смоленска, под Брянском. В руках у врага оказался Киев. Гитлеровцы

¹ Реактивные снаряды, которыми стреляли катюши.

² Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи.

осаждали Одессу. Вражеские танковые полчища глубоко вклинились в нашу страну. Что же дальше? Когда будет остановлено вражеское наступление? Как и все советские люди, мы были твердо уверены, что где-то и когда-то это наконец случится, враг будет разгромлен и откатится вспять, до самого Берлина.

— Пространство — это еще не все, — убежденно сказал Олендер, складывая карту.

Мы познакомились и по-фронтовому быстро сдружились совсем недавно. Всего две недели назад меня, только что возвратившегося в Москву из-под Одессы, вызвал редактор Д. Вадимов.

— Нужно добраться в Киев, — отрывисто сказал он. — Сделаете два-три материала и быстро вернетесь обратно. Полетите вместе с Олендером...

Под Киевом тогда было «жарко». Гитлеровцы яростно наступали на столицу Советской Украины. Находившиеся на этом участке фронта наши корреспонденты — П. Огин, Б. Абрамов, С. Сапиго, Б. Лапин и З. Хацревин — ежедневно сообщали волнующие подробности об ожесточенных боях за Киев. Об этих боях рассказывал и прилетевший из Киева Петр Олендер — очень подвижный, экспансивный человек с высоким, крутым лбом и живыми глазами на выразительном, чисто выбритом лице.

В Киев, однако, нам попасть не удалось. Утром вылет задержался из-за густого тумана. А на следующий день Киев оказался отрезанным. Справа и слева на далеких флангах его обошли крупные гитлеровские части, создавшие угрозу оперативного окружения киевской группировки наших войск. Серией парашютных десантов гитлеровцы перерезали почти все коммуникации, идущие от Киева на восток. Так нам пришлось лететь в Харьков, где расположился штаб Юго-Западного направления.

Обстановка на этом направлении сложилась острая. И вот тут-то, с первых же дней совместной работы с Петром Олендером, по душе пришлась его какая-то особенно жадная любознательность, желание увидеть как можно больше, найти для газеты не только нужный, но и самый интересный материал, подать его так, чтобы он взволновал читателей. Постоянное, буквально ежечасное биение этой корреспондентской жилки привело нас во время поездки по прифронтовому району на так называемый сборный пункт, расположенный на окраине Ахтырки. Сюда стекались люди,

пробившиеся из окружения, чтобы получить новое назначение и снова устремиться на борьбу с врагом.

В одной из хат, крашенных крейдой, нас познакомили с предельно усталым человеком, отдыхавшим на кинутых на пол связках соломы. Изможденное, давно не бритое лицо этого человека, запавшие глаза говорили о том, что ему, видимо, досталась недобрая воля. И это было именно так.

Сергей Езерский, капитан одной авиационной части, только сегодня переплыв Псел, вернулся из-за линии фронта. Раненного, его схватили гитлеровцы, погнали вместе с другими, попавшими в плен, в концентрационный лагерь, находившийся под Уманью. Езерский вскоре бежал оттуда. Его рассказ о всем том, что за полтора месяца пришлось увидеть и пережить во вражеском тылу, буквально потряс нас. Мы подробно записали его. Это было одно из свидетельств о зверствах гитлеровцев, о кровавых расправах, чинимых ими над советскими людьми, мирными жителями Украины.

— Этот рассказ надо немедленно передать в газету, — предложил Олендер.

Передать-то — передать, а как это сделать, когда поблизости нет ни одного узла связи? Уже ночью мы разыскали аппарат Морзе, который каким-то кружным путем был связан со штабом одной из дивизий, и ее связисты после долгих переговоров согласились передать нашу ленту на фронтовой телеграф. Добрых два или два с половиной часа при свете каганца отстукивал точками и тире рассказ капитана Езерского непривычный к такого рода передаче телеграфист. И мы совсем не были уверены, что наша депеша дойдет до Москвы.

Однако назавтра в полдень, уже вернувшись в Харьков, на одной из площадей мы увидели толпу людей, вслушивающихся возле уличного репродуктора в какую-то передачу. Уловив знакомые слова, прислушались к ней и мы. Батюшки, да ведь это передается рассказ Езерского, напечатанный в сегодняшнем номере «Красной звезды» под заголовком «Уманьская яма». Надо было видеть, какой радостью озарилось в тот момент выразительное лицо Олендера!

— Значит, не зря работали, — тихо сказал он, когда диктор закончил чтение.

В тот сотый день войны, с которого начинаются эти заметки, в Харькове, жившем жизнью прифронтового города, вечером в городском театре состоялся большой антифа-

шистский митинг. Здесь собрались харьковские комсомольцы. Всем особенно понравилось выступление молодого испанца — Белды. Во время событий в Испании он командовал танковой группой республиканцев. Здесь, в театре, Белда, как старый знакомый, встретился с нашими летчиками Героями Советского Союза Лакеевым и Красноюрченко. С ними ему бок о бок довелось сражаться в Испании против фашистов. Белда выступал на митинге от имени молодых испанцев, работавших на заводах Харькова.

— В эти тяжелые для нашей второй Родины минуты,— говорил он,— мы с радостью сменим свои рабочие места у станков на боевые места в танках, кораблях и самолетах, встанем в строй рядовыми стрелками...

После митинга в абсолютной темноте, прорезаемой где-то вдали кинжалами прожекторов, выискивавших вражеские самолеты, мы пересекли по-ночному притихший город и выехали на гудронированное шоссе, ведущее к роще, где располагался узел связи: Москва вызывала нас к прямому проводу. По случайному совпадению обстоятельств получилось так, что рядом с телеграфным аппаратом, по которому мы вели переговоры с редакцией «Красной звезды», в то же самое время с командиром одной из стрелковых дивизий, находившихся в районе Богодухова, разговаривал командующий Юго-Западным направлением Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. Его плотная, крупная фигура высоко возвышалась над аппаратом, возле которого стояло несколько офицеров штаба с развернутыми картами в руках. Телеграфист — молодой боец,— напряженно вслушиваясь в негромко произносимые командующим слова, тут же, легкими касаниями пальцев по клавишам аппарата, посылал их туда, под Богодухов, командиру дивизии, уточнявшему обстановку.

Нашего редактора, находившегося в эти минуты возле такого же аппарата в Москве, видимо, мало удовлетворяли мои и Олендера сбивчивые ответы, ибо, признаться, куда большее внимание мы отдавали не телеграфной ленте, доносившей до нас вопросы редакции, а тому, что происходило возле аппарата, у которого расположились маршал Тимошенко и несколько офицеров его штаба. Ведь по улыбке, случайно скользнувшей по лицу, по нахмуренным бровям или какому-либо жесту можно было уловить, как расценивается командованием положение на фронте. А обстановка под Богодуховом, как, впрочем, и на многих других участках, была тревожной, складывалась весьма остро. От того, сколь устой-

чиво будут обороняться части, находившиеся на этих, наиболее опасных, направлениях, зависела судьба всего Харьковского направления. И конечно же, наше журналистское любопытство было вполне естественным. Оно диктовалось прежде всего стремлением быстро оказаться там, где могут вот-вот произойти самые главные, решающие события на нашем фронте, и таким образом своевременно обеспечить газету нужным материалом. Это желание — все увидеть своими глазами, не опоздать с рассказом о самом существенном — постоянно жило в сердцах многих фронтовых корреспондентов «Красной звезды», и несомненно в душе Петра Олендера, одного из наиболее оперативных и вдумчивых сотрудников газеты.

Но вот, видимо, закончив разговор, Тимошенко встал и, обменявшись несколькими короткими фразами с сопровождавшими его офицерами, направился к выходу из аппаратной. Ничего нельзя было прочесть на его лице — оно, как всегда, казалось спокойным. Честно говоря, очень хотелось воспользоваться удобным случаем и тут же представиться командующему, доложить о только что полученном от редактора задании, попросить совета, как лучше его выполнить. Дело в том, что редакция поставила перед нами весьма сложную задачу, решать ее без консультации, как говорится на самом высоком уровне, — невозможно. Редактор сказал нам, что срочно требуется очерк о наиболее отличившемся в последних боях командиру крупного соединения. Это, как представлялось нам, должна быть первая за все суровые месяцы войны развернутая публикация об одном из советских генералов — искусном организаторе боевых действий войск. Необычное, исключительно трудное задание дал нам редактор в тех сложнейших условиях осени сорок первого года, когда еще враг, казалось, неудержимо, наступал на всех фронтах.

Готовые было шагнуть к маршалу, мы переглянулись с Олендером и, видимо, враз поняли: делать это здесь, и именно сейчас, — не следует. В самом деле, командующему в эти минуты не до нас, не до заданий, переданных «Красной звездой», — мысли его наверняка заняты тем, как быстрее и лучше разрубить те узлы, которые завязались в несмолкающих боях с сильным, рвущимся вперед противником. Да если бы даже и не это, все равно, вот так, накоротке, исчерпывающе ответить на наш вопрос о том, кого из военачальников — командира дивизии или корпуса — избрать в качестве

героя заказанного редакцией очерка, маршал Тимошенко, пожалуй, не смог бы. Вот почему мы с Олендером не шагнули вперед, не представились командующему, а лишь, вытянувшись по-строевому, как это и положено по уставу, проводили его глазами.

А на телеграфной ленте между тем появилось еще несколько переданных Москвою слов. Редактор, в присущей ему в подобных случаях манере, предлагал нам незамедлительно приступить к выполнению поручения и любой ценой передать очерк через несколько дней в редакцию.

— Повторяю, любой ценой,— еще раз появилось на телеграфной ленте, и переговоры с Москвой на том закончились.

Чем сложнее задание, тем большую оперативность должен проявлять журналист. Это негласное, нигде не записанное правило еще более необходимо в столь быстро изменяющейся фронтовой обстановке, которая была характерна для того огневого времени сорок первого года. Вот почему мы, ничего не откладывая на завтра, покинув узел связи, сразу же стали пробиваться к начальнику политуправления С. Ф. Галаджеву. Встретиться с ним удалось только под утро, когда уже начало рассветать, в соседнем перелеске, усыпанном пожухлыми кленовыми листьями. Внимательно, как всегда, выслушав нас, Галаджев попросил повременить часок-другой с отъездом в войска, ибо вот-вот должны быть получены последние донесения об одной смелой операции, предпринятой стрелковыми и кавалерийскими частями. Как только эти донесения поступят, редакционное задание, на его взгляд, нам выполнить удастся довольно быстро, и главное — правильно.

Так оно и получилось. Через самое непродолжительное время мы побывали в конном корпусе генерала П. Белова, нанесшего врагу сильнейший контрудар под Штеповкой, и написали очерк о командире дивизии А. Бычковском. Он был напечатан на второй полосе одного из номеров «Красной звезды» под крупным заголовком — «Генерал». Этой публикацией газета показывала, что, несмотря на временные неудачи наших войск, вынужденных пока что отступать под натиском врага, ими руководят опытные военачальники, которые умело используют все возможности для того, чтобы наносить гитлеровцам огромные потери, на удары противника отвечать контрударами.

До начала войны Петр Олендер жил в Киеве. Когда бои продвинулись к столице Украины, его семья эвакуировалась на Урал. Из случайно дошедшей открытки он узнал о рождении сына. Первые дни после этого он ходил степенной походкой, пытался говорить солидным баском. Но потом опять стал прежним — экспансивным, горячо берущимся за всякое дело, немного шумливым, но добрым боевым товарищем. В кармане Олендер все время носил ключ от своей киевской квартиры.

— Вернусь когда-нибудь домой, — убежденно парировал он все шутливые замечания о том, что-де пора бы выкинуть этот железный лом...

Спустя два года вместе с передовыми частями Олендер вошел в Киев. Его квартира, как и тысячи других квартир киевлян, оказалась разграбленной гитлеровцами. Саперы вынимали мины из подвала и лестничных клеток дома. Двери были распахнуты, и ключ не понадобился. Осенний ветер разгуливал по комнатам.

Но все это было потом. Пока же бои с каждым днем все ближе и ближе подходили к Харькову. Гитлеровцы бомбардировали город почти каждую ночь. Обычно налет начинался сбрасыванием зажигательных бомб. Вызвав пожары и таким образом освещая город, вражеские летчики пытались добиться большей точности попадания. Поэтому мы старались придерживаться правила — подальше от зажигалок. Однажды нам пришлось укрыться в бомбоубежище на Павловской площади. На специально оборудованных скамейках сидели женщины, дети, старики. Люди, напряженно вслушиваясь в гулкие разрывы бомб, разговаривали вполголоса.

Коротая время, Олендер разговорился с девушкой из санитарного звена отряда противовоздушной обороны. В начале налета во двор соседнего дома упала фугасная бомба. Оттуда на носилках принесли контуженного мужчину. Он был засыпан известкой, по лицу струилась кровь. Санитарка перевязала его, привела в чувство и положила в дальний угол под присмотр двух старушек. Она оказалась беженкой из Львова. До начала войны Олендер несколько раз бывал во Львове, и они оживленно припоминали расположение главных улиц и театров.

— Я пришла в Харьков пешком, — рассказывала де-

вушка,—все, что есть из одежды,—на мне. Что теперь делать? Ведь и сюда скоро войдут гитлеровцы. Правда?

Что можно было ответить на этот вопрос? Положение на фронте оставалось серьезным. Враг вел бои на Вяземском направлении. Гитлеровцы приближались к Москве. Судьба войны решалась именно там, под Москвой, возле сердца нашей страны. Но судьбы тысяч людей решались и здесь, в Харькове.

— Куда я пойду,—с дрожью в голосе говорила санитарка.— Неужели придется оставаться здесь?

Олендер горячо убеждал девушку, что она сделает преступление перед совестью, если останется в Харькове; она должна понимать, какая жизнь ожидает ее у гитлеровцев.

— Неужели они действительно такие звери, как об этом пишут в газетах? — допытывалась девушка.

Подобные сомнения еще можно было слышать в ту пору от слабых духом людей. Они считали, что с мирным населением военный противник по всем законам общечеловеческой морали обязан быть гуманным. Как наивны были эти люди! Им еще было мало доказательств зверств гитлеровцев, их ненависти к каждому советскому человеку. Петр Олендер долго, пока не дали отбой воздушной тревоги, рассказывал собеседнице о всем том, что мы несколько дней назад слышали от капитана Езерского, побывавшего в гитлеровском тылу и испытавшего на себе всю «прелесть» тех новых порядков, которые фашисты насаждали на украинской земле. По всему было видно, что рассказ Олендера задел ее за живое. Мы были уверены, что она расстанется со своими сомнениями и эвакуируется вместе с тысячами и тысячами горожан, уходивших из Харькова пешком, уезжавших на попутных машинах или железнодорожных платформах с заводским оборудованием.

Мы с Олендером покинули город в те часы, когда бои уже шли на Холодной горе. Вырвавшись с асфальтированных проспектов в степь, машина пошла по забитым транспортами полевым дорогам. Впереди — Северный Донец и Оскол, рубежи, где наконец вражеское наступление 1941 года на Юго-Западном направлении было остановлено.

Как только представлялась возможность, мы старались послушать радиосообщения из Москвы. Там создалось очень серьезное положение. Хотелось бросить все и, сменив перо на винтовку, вместе с тысячами москвичей-добровольцев

стать на защиту столицы. В редакцию была дана телеграмма с просьбой о выезде в Москву. Как и следовало ожидать, в ответ пришло строгое требование редакции — ни в коем случае не снижать темпов в освещении событий, происходивших на нашем участке фронта, продолжать организацию статей командиров и политработников об опыте борьбы с врагом и на земле, и в воздухе.

Подчиняясь приказу, мы с Олендером наметили план посылки статей и корреспонденций на те темы, которые были особенно нужны сейчас для умелой организации боя в усложнившихся осенних условиях. С этой целью мы организовали несколько поездок в части, находившиеся и на передовых позициях, и отведенные в резерв. Встречи с отличившимися командирами и политработниками, их рассказы о проведенных боях, их уверенность в том, что врага можно бить, и бить успешно, не могли не заражать здоровым оптимизмом. Вместе с тем на фоне всех событий, происходивших в том числе и на нашем Юго-Западном направлении, особенно остро воспринимались всякого рода непорядки, которые чаще всего встречались не на передовых позициях, а в прифронтовом тылу. Надо было видеть, как гневно бушевал Петр Олендер, столкнувшись с каким-либо отрицательным явлением, как он страстно обрушивался на тех, кто попустительствовал злу. Он всегда был принципиален, даже в самых, казалось бы, мелких вопросах. Ему до всего было дело. Его кипучая натура, честное, прямое и открытое сердце не выносили никакой фальши, заставляли немедленно вмешиваться во все, что было плохим. И не только вмешиваться, но и доводить дело до нужного конца, пока, как говорится, правда не восторжествует.

III

Горячий августовский день 1942 года. Легендарный город на Волге. Памятник летчику Хользунову. Возвышающаяся над голубой рекой гранитная набережная. Дома, утопающие в зелени. Просторная и широкая площадь. Город по-военному шумен. Вереницы фронтовых автомобилей пересекают главную улицу. Шагает стрелковый полк. Солдаты со скатками, каски в руках, на желтых ремнях винтовки и автоматы. Как бы скрепляя бойцов в единую цепь, на плечах лежат стволы противотанковых ружей. За шумом го-

рода не слышна зенитная пальба. Только в чистом небе вдруг появляется след инверсии: где-то на огромной высоте бродит гитлеровский воздушный разведчик.

Здесь, на берегу Волги, мы снова встречаемся с Петром Олендером. Я только что прилетел из Москвы, а он приехал из частей, сдерживающих врага на Дону. Вытирая платком пот, Олендер садится на гранитный парапет набережной и тихо говорит:

— Ну, кажется, дальше некуда...

Мы молча смотрим на Волгу. Это край отступления. За ним — вода, за водой — степь. Дальше уходить нельзя. Одного взгляда на спокойную, могучую Волгу должно быть достаточно, чтобы понять, что отступать больше невозможно. Коротко рассказав о своем движении из-под Россоши, о боях в излучине Дона, Олендер достал из полевой сумки небольшой лист бумаги. Это был последний приказ Верховного главнокомандования. «...Пора кончить отступление, — говорилось в приказе. — Ни шагу назад! Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

Враг был еще сравнительно далеко от города. Наша машина с трудом вырвалась из потока городского транспорта и пошла пыльной дорогой, покрытой красноватым лёссом. Обгоняя женщин и подростков, идущих с лопатами в руках, мы завернули на ближайший аэродром. Здесь в земляных бастиончиках стояли «Яковлевы». Коки винтов и хвостовое оперение машин были тронуты яркой киневарью. Горячий ветер раздувал маскировочные сетки, кружил степную пыль. Спустившись в землянку, здороваемся с командиром полка.

— Иван Клещев, — сощурив глаза, называет себя небольшого роста, приземистый летчик — командир полка.

Ему двадцать три года, на счету шестнадцать воздушных побед. Звезда Героя Советского Союза и три ордена на пропыленной гимнастерке. Полк ежедневно производит по пяти — семи боевых вылетов. «Красноносые» творят чудеса. За последние дни они сбили 98 гитлеровских машин, не потеряв ни одного летчика.

На другом краю аэродрома стоят штурмовики. В тени большого стога, устало прислонив к нему голову и расстегнув ворот гимнастерки, сидит загорелый человек с вырази-

тельным худым лицом. Это командир эскадрильи капитан Сергей Лыткин. Мы присаживаемся рядом и беседуем о только что совершенном налете на вражеский аэродром. Олендер быстро записывает его рассказ. Потом мы едим украинский кулеш и гречневую кашу. Прощаясь с Лыткиным, Олендер говорит:

— Счастливой войны, капитан. Еще встретимся...

— Вряд ли...

— Почему?

— Нерадостно воюем. Вот уже и к Волге пришли. Дальше я с этого аэродрома не уйду. Хватит! Это мои последние полеты. Либо остановим врага, либо лучше погибнуть. Мне жена пишет — когда вы остановите гитлеровцев? Стыдно. Я перестал ей отвечать.

Мимо аэродрома тянутся вереницы подвод. Гудят тракторы, везя за собой комбайны, похожие на корабельные надстройки. Идет скот. Коровы, тяжело ступая по песку и низко нагнув морды, отмахиваются от шмелей.

Едем вперед. Степь пуста. Палящее солнце иссушило горьковатые травы. Полевая дорога извивается между холмами и овражками. Маревая дымка над степью. Где-то в синеве противно ноет «юнкерс». Вдали скользят над землей штурмовики.

Еще полчаса пути. Опять пустота и ровная сухая степь. Трудная местность для обороны, легкая для движения танков. Слева виднеются светлые точки. Подъезжаем ближе. Тысячи женщин и подростков роют широкий ров с крутыми обрезанными стенками. Сырой песок, перемешанный с глиной, поднимать лопатами тяжело. В одном месте приспособили для этого тачки; в другом перекидывают грунт в несколько приемов. Мокрые от пота лица, загорелые руки. Никто не смотрит по сторонам — все торопятся. Копать еще надо много, сделана только самая начальная работа. Дон — недалеко, а за Доном — гитлеровцы. Вон и те штурмовики, что шли туда недавно; теперь они держат обратный курс.

— Восемь,—облегченно говорит девушка. У нее длинные светлые косы. Разогнув спину, она смотрит на небо, считая самолеты.

— Все вернулись, хорошо,—улыбается девушка и склоняется над грунтом.

Снова степь. По дороге, навстречу, вереницы автомашин: бензовозы, грузовики, санитарки. Спешат за горючим, боеприпасами, везут раненых. На закате солнца подъезжаем

к Дону. Это уже знакомые Олендеру места. Он совсем недавно был здесь. За противоположный высокий берег уплывает багряное солнце. Там идет бой. Сюда, в прибрежное село, доносятся глухие раскаты орудийной стрельбы. Огонь ведут тяжелые батареи. По селу, подымая клубы пыли, идут «Т-34». Лица танкистов запылены. Танки, скидывая маскировку, выползают из самых неожиданных мест. Весь день они простояли здесь, спрятавшись от воздушных разведчиков. А ночью, пройдя несколько десятков километров, ударят гитлеровцам во фланг.

У костра и врытых в землю больших котлов — люди. Повара готовят ужин для бойцов вторых эшелонов. Часть солдат с перевязанными руками, с забинтованными головами. Раненые не хотят уходить на восток. Олендер присаживается к солдатам. Он любил вот так, невзначай, побывать среди них, послушать, что говорят воины. Подобные беседы, по его убеждению, могли очень многое дать корреспонденту, для того чтобы лучше разобраться в обстановке, правильно уловить настроения фронтовиков. Тогда очередная корреспонденция в газету сильнее, лучше отображала действительность.

— Продержимся на Дону,—говорили солдаты твердо, не улыбаясь.

Их очень беспокоил юг. Они слышали — гитлеровцы стягивают вниз, к излучине Дона, крупные силы.

— Вот бы во фланг двинуть,—задумчиво говорит какой-то пехотинец. Присев на четвереньки, он прикуривал коротенькую трубочку. Уголек бледно озарял покрытое мелкими оспинками лицо и рыжеватую бородку.

Ночью вся восточная часть неба покрылась красноватыми вспышками. И хотя стрельбы не было слышно, нам стало ясно — зенитчики ставят заградительный огонь. Завывая моторами, высоко проходили «юнкеры». По теплой земле издали дохнуло взрывами. Битва за город на Волге началась.

Всю эту многомесячную битву Петр Олендер провел на Донском фронте. Мы встречались там с ним несколько раз. В те дни он выступал в «Красной звезде» не только с оперативными корреспонденциями, но и с крупными статьями, ставящими серьезные вопросы тактического мастерства командиров общевойсковых частей и соединений. Это были весьма зрелые, хорошо аргументированные, со знанием дела написанные выступления.

После разгрома гитлеровцев на Волге еще в одном крупнейшем сражении войны — на Курской дуге — довелось мне провести несколько дней в войсках вместе с Петром Олендером. Как мужала и закалялась вся наша армия, так же возмужал и закалился к тому времени и боевой фронтовой корреспондент «Красной звезды» Петр Олендер. Статьи, передаваемые им в редакцию, почти не подвергались правке.

В один из дней этого сражения, побывав вначале на двух-трех участках Центрального фронта, я перебрался под Белгород, в войска Воронежского фронта. В тот же вечер мы встретились с Петром Олендером и выехали на передовую.

К северо-востоку от Белгорода местность малопримечательна — холмистые поля, овраги, перелески. Земля изрыта окопами, всюду горбины блиндажей. В оврагах — укрытия для автомашин, складов с боеприпасами, походных кухонь. Перед окопами проволочные заграждения, противотанковые рвы, минные поля. Таким был участок обороны гвардейской дивизии, в которую мы с Олендером приехали на рассвете. Едва успели познакомиться с начальником штаба и несколькими офицерами, началась танковая атака гитлеровцев. Через бойницу блиндажа наблюдательного пункта можно было видеть, как вдали, из-за разрушенного села, выползали темные коробки.

— Двадцать пять... Тридцать... Сорок! — спокойно считал Олендер.

Признаться, мне, авиатору, не очень-то привыкшему к наземным боям, стало немного не по себе. Олендер, успокаивающе поглядев на меня, заметил:

— Сейчас их накроют...

И действительно, там, на поле, возникли всплески разрывов. Сразу загорелось несколько машин. Покрутившись возле рва, пересекавшего поле, танки ушли в сторону, скрылись за холмом.

— Теперь держись, — предупредил Олендер, — начнется главное...

И в самом деле, наблюдатели подали сигнал воздушной тревоги. Блиндаж задрожал от бомбежки. С накатника обсыпалась земля. Бревна, казалось, едва держали свод наблюдательного пункта. В этот момент в блиндаж ввалился авиационный офицер в покрытой пылью гимнастерке. Отряхнувшись, он что-то доложил начальнику штаба. Тот

удовлетворенно кивнул головой. Штабные офицеры работали спокойно.

Целый день провели мы с Олендером у гвардейцев. Дивизия успешно отбила несколько сильных атак врага.

Солнце уже садилось, когда, переполненные впечатлениями, мы направились в тыл. Хотелось остаться в дивизии, но забывать о главном в своей работе тоже было нельзя. Следовало как можно скорее передать в редакцию хотя бы по небольшой оперативной корреспонденции. Мы это и сделали еще до полуночи. Олендер написал о стрелках и артиллеристах, я — о летчиках. Оба материала были напечатаны в очередном номере «Красной звезды».

Еще много раз фронтовые дороги то сводили нас вместе, то вновь разлучали, и порой надолго. Мне, к сожалению, не пришлось вместе с Олендером войти в столь милый его сердцу Киев.

Позднее Олендер рассказывал, как нашел в Киеве свой разрушенный дом, разграбленную гитлеровцами квартиру. Один из вечеров, перед новым, 1944 годом, мы провели вместе. Олендер только что возвратился из короткого отпуска и взахлеб рассказывал о подросшем ребенке, родившемся, когда отец уходил на войну. Разве могли мы оба представить себе, что это — наша последняя встреча? Наоборот, уговорились вскоре же обязательно повидаться на фронте, написать вместе серию обстоятельных статей об опыте боевого взаимодействия сухопутных войск с авиацией.

И вдруг, в один из дней войны, когда наши войска приступили к выполнению своей исторической миссии — освобождению от фашизма ряда европейских стран, — пришла потрясшая всех нас весть: Петр Олендер погиб от руки предателей Родины — бандеровцев. Человек большой храбрости, он один на один схватился с бандитами, бесчинствовавшими в украинском селе под Житомиром.

Враги подло убили коммуниста, фронтового корреспондента и замечательного товарища Петра Олендера. Имя его золотыми буквами высечено на мраморной доске в Центральном Доме журналиста среди имен других наших боевых друзей, отдавших в годы Великой Отечественной войны свои жизни за дело партии, за дело всего нашего народа.

Василий Субботин

СОЛДАТ-ПЕСЕННИК



Первое воспоминание у меня такое.

Машина наша стоит на задах деревни. Я сижу в кабине, а Лобода ходит перед машиной, с трудом вытягивая ноги из глубокого снега...

Он в поношенном ватнике. Лицо его в последние дни стало еще темнее от ветра и недосыпания, губы потрескались.

Он шевелит губами, но мне его не слышать... Он что-то без конца повторяет про себя и все ходит и ходит взад и вперед, стараясь попасть ногой в те места, куда еще не ступал. Рядом тропинка, но он обходит ее.

Видимо, так ему легче найти строку...

Снег глубокий, хорошо слежавшийся, и когда он, вытаскивая одну ногу, пытается встать на него другой, тотчас проваливается. Опять вытаскивает ногу и опять проваливается...

Я наблюдаю за ним через стекло кабины. Лобода подходит ко мне, я открываю дверцу, и он показывает начатое стихотворение.

Всегда она у меня перед глазами, эта картина, и всегда я, думая о нем, вижу, как он топчет снег на огородах калининской деревушки.

Теперь я вспомнил, что деревня называлась Денисово. Всеволода я впервые увидел в избе, где помещалась редакция. Был он темноволосым, смуглым. На погонах только две нашивки. Гимнастерка на нем старая, тоненькая. А брюки ватные, толстые...

На другой день мы отправились в полки. Это была чуть ли не первая моя редакционная командировка. До сего времени я с месяц находился в редакции армейской газеты, где ко мне, по-видимому, присматривались. И я только два раза успел побывать в частях.

Всеволод пошел со мной, чтобы показать, где находится штаб дивизии и полки. Добрались до батальона и разошлись по ротам, а вечером вместе вернулись в редакцию.

Мы пробыли вместе зиму и часть лета сорок четвертого года. И после, когда он был переведен в артиллерийский полк, встречались. До того самого дня и часа, когда я увидел его в палатке санроты.

Всеволод родился в Киеве в 1915 году, на Павловской, 10. Так говорится в одном из его стихотворений. В 1930 году семья переехала в Москву... В Мытищах Всеволод работал на вагоностроительном заводе, а потом редактировал многотиражку. Учился в литературном институте, переводил стихи и прозу с сербского языка. Был заядлый шахматист, посещал международные турниры и сам великолепно играл. Наши известные шахматисты помнят, наверно, многие стихи Лободы, печатавшиеся в те годы в шахматно-шашечной газете «64».

Печатался также в «Пионерской правде», в ленинградском журнале «Костер». В начале войны работал на радио, редактировал письма на фронт: была такая постоянная радиопередача. Но в том же году осенью ушел сам на фронт.

Боевой путь Всеволода начался в 1941 году. Он был пулеметчиком, воевал под Ленинградом, Старой Руссой, Великими Луками и в Прибалтике.

Скромный, замкнутый, суровый к себе человек. Он был у нас в газете сверхштатным. Когда я пришел, меня с ним так и познакомили, как со сверхштатным сотрудником.

Ему было нелегко... Он писал:

Невесел в дыме канонады
сугубо штатский человек.
Дрожи.

Повелевает век
запомнить —
как звенят снаряды,
как завывает самолет,
огнем одаривая землю,
как пьют удушливое зелье,
как рвутся в ярости вперед...

Я уже сказал, что он был требователен к себе. Мы иногда дрогли целую ночь в палатке, растянутой прямо на снегу, — где-нибудь в овраге, на берегу реки, — а он все-таки писал. И не только заметки и информации, писать которые мы, в конце концов, были обязаны, но и стихи. И с какой прочностью были пригнаны в них строчки!

Теперь, перелистывая пожелтевший от времени комплект дивизионки, я нахожу его очерки и стихи. Он, как и мы, писал все. И стихи и заметки. И листовки. Все приходилось делать.

Лободу хорошо знали в дивизии.

Была у нас своя песня, им сочиненная. Марш дивизии. В памяти у меня сохранились лишь некоторые строки:

Ты на Запад, босц, посмотри-ка.
Злес стужи бесправия гнет.
Разоренная немцами Рига
Нас давно как спасителей ждет.
Солдаты Стопятидесятой,
Нам слава части дорога.
Победа будет нам наградой,
Мы сбросим в Балтику врага...

Он умел сделать материал оперативно и так, как надо для дивизионной газеты. Очень скоро овладел всеми ее многообразными жанрами.

Я вот смотрю сейчас нашу дивизионку и вижу, как много в ней статей и очерков подписано его фамилией. Герои его репортажей — Малюк, Шаяхметов, Чемакин, Нечаев, Герасимов... Имена их оказались включенными и в его стихи.

В стихах-листовках он дает как бы своеобразную героическую хронику.

Их много, этих листовок, я выбрал только одну. Она посвящена подвигу Еременко, Идрисова, Карандаева — артиллеристов, отбивших атаку вражеского взвода. Краткое изложение этого события заканчивается строчками стихов:

Где мы вместе не побывали! Но мои воспоминания все связываются с редакцией, а о ней меньше всего здесь хотелось рассказывать.

Конечно, я помню многие наши разговоры.

Такое вот воспоминание... Два батальона дивизии, форсировав речку, заняли плацдарм. Что делалось там! Горячий же это день был!

Мы с Лободой сидели в ячейке, у самого берега реки, в районе переправы. Немцы — где-то повыше. Над головами.

Ячейка, в которой мы прятались, была столь тесна, что и одному не поместиться. Да и место низкое, и поэтому окоп наш был полон воды.

Немецкие самолеты шли волнами.

Мы просидели на плацдарме этом двое суток, и, как выяснилось, просидели напрасно. Часть пошла в наступление, и материал наш — об обороне — был не нужен. Требовались статьи о наступлении.

Я побывал у него один раз, когда его перевели в арtpолк. Даже для нас, работавших в редакции, это было неожиданностью... Но нам объяснили, что нельзя — сверхштатный!

Ничего не помогло. Никакие наши просьбы и никакие доказательства.

Я прежде в арtpолк не ходил. А тут, когда его туда перевели, пошел. Я даже ночевал у него. Помню, мы долго не могли заснуть, разговаривали, а утром отправились на их огневые.

Мы были опять в одном окопе, вместе. Но на этот раз окоп у нас был глубокий, с бруствером на уровне груди. Неподалеку виднелся разбитый костел и совсем рядом деревянный сарай. Окоп вблизи сарая — на поляне. А эта поляна — ровная и заросшая плотной мелкой-мелкой травой. Видимо, когда-то тут была деревенская улица, и место это было хорошо утоптанно... По другую сторону сарая находилась артиллерийская позиция.

Был самый разгар дня, жарко, и хотелось пить. Мы стояли в окопе, облокотясь о бруствер.

У нас на двоих было две книги, и мы их читали, попеременно отбирая друг у друга. Одна — Ремарка, «На западном фронте без перемен», другая — старая, довоенная книжечка, маленький сборник стихов поэтов-акмеистов. Книжку эту

удалось достать Лободе, я уже не знаю, где он ее взял. Думаю, что на хуторе, в одном из этих пустующих домов. Книга Ремарка, также подобранная в доме, принадлежала теперь мне.

Мне после долго помнился этот день, солнечный, с обстрелом...

Помню, фронтовая повесть Ремарка не произвела на меня особого впечатления. До войны, когда читал ее и был еще совсем юнцом, она захватила меня гораздо больше. Все теперь было у меня перед глазами. Окоп. Рвущиеся перед ним снаряды. Распухшие, раздувшиеся на жаре трупы на нейтральной полосе.

А стихи гораздо больше тогда на нас действовали.

Мы читали и перечитывали понравившиеся строки. Я впервые их читал... Может, потому мне по душе были эти тихие стихи, что уж очень гроыхало вокруг. Нам это нравилось потому, что было далеко от войны. И потому еще, что уж очень грубой была жизнь, которая нас окружала, и мало напоминала она то, о чем рассказывалось в этих красивых стихах...

Когда я накануне ночевал у Всеволода, в их артиллерийском четырехнакатном блиндаже, мы с ним обменялись адресами: я дал ему адрес моей сестры, он мне — адрес своей матери. С матерью он был в большой дружбе. Мать его, Мария Вячеславовна, жила в Москве, он часто ей писал. В письмах он просил ее сохранить стихи, которые он посылал... «Мама, посылаю тебе вырезку из фронтовой газеты. Ты ее сохрани... Она мне понадобится».

Эти стихи, те, которые он успел послать, сохранились. Они донесли до нас его голос — голос «рядового с берега Ловати». Из него со временем мог бы выработаться сильный поэт.

Тогда же он написал это стихотворение: о том, как когда-нибудь, через много-много лет, седая уже мать на скате небольшой высоты разыщет «сына дальние следы». Она, мать, придет сюда, на могилу сына, похороненного в краю, где он воевал, и здесь

...увидит изумленно
На зелени могилы дорогой —
Венок лугов, как яркая корона,
Возложенный неведомой рукой...

Венок этот — признательность латышей. Венок ее сыну.

Но все дальнейшее, что я собираюсь теперь рассказать, случилось не в том окопе, где сидели мы с книжками в руках, и не на скате им описанной высоты в Курляндии. Случилось позднее двумя-тремя днями. Когда уже пошли вперед. Когда встали с плацдарма на Айвиексте и через латышские хутора и местечки хлынули в прорыв, в наступление, пробиваясь к берегам Рижского залива. Когда были взяты и вторые и третьи траншеи... Когда уже пошли все: и штабы, и тылы.

Перед нами расстилалась балтийская равнина. Только вблизи моря может быть такая ровная земля...

Впрочем, тылы полка еще не снялись. Когда я проходил, они располагались в рощице, вблизи опушки леса. А дальше, за этой рощицей, уже и простиралась эта равнина.

Повсюду валялись противогазные сумки, клочки бумаг, чьи-то блокноты и записные книжки... Только на поле боя бывает разбросано так много бумаги.

Сколько людей в эту войну вели дневники и записи! И немецкие солдаты — больше, чем мы...

Меня окликнули. Ко мне подошла девушка. Она указала на палатку.

Она сказала, что он — там.

Я влез в эту палатку и споткнулся о его ноги. Палатка была маленькая, лагерная. Свет плохо проходил через брезент. Он лежал на земле ничком. Он был в гимнастерке. Я видел, что это он, уже по кудлатым, свалаявшимся волосам я его узнал.

Я стал на колени... Осторожно его перевернул. Он, его губы.

Опухшее лицо. Голова была забинтована, но кровь проступала. Я положил руку ему на плечо и позвал его. Он не отвечал. Только тихо, чуть слышно, не то стонал, не то что-то шептал.

Его отыскала шальная пуля.

Он шел через это поле в раздуваемой ветром плащ-накидке. И упал...

Немцы уже были далеко.

Я вышел из этого укрытия, где он лежал, вскочил на крыло проходившего грузовика. Я был потрясен, но помню все хорошо. Мы проехали поле и по переброшенным мосткам перевалили траншеи. На дне были видны полужасыпаные немецкие солдаты, накрытые нашим огнем.

Помнится: немцы — убитые — лежали в траншеях, наши — на открытом поле. Все наступало. Немецкие части не устояли и на второй полосе обороны. Мы пошли дальше. Здесь нельзя было задерживаться. Все должны были идти вперед.

Он похоронен в Добеле. Там, где находился госпиталь.

Говорят, он не умер в тот день. Его даже успели довести до госпиталя, хотя в медсанбате считали, что он безнадежен, что не имеет смысла его везти... В сознание он так и не приходил.

Его рукописи, записные книжки и стихи были в его вещевом мешке. Вещмешок пропал. Ничего уже не нашли. Ни вещмешка, ни стихов...

Кто там мог его хранить, этот вещевой мешок!

Он не дожил до Дня Победы. Он погиб 18 октября 1944 года при прорыве обороны на реке Айвиексте в Латвии.

Он лежит под тем холмиком и не знает, что его друзья и герои его стихов — солдаты дивизии, в которой он служил, дошли до Берлина и весной 1945 года всходили по ступеням рейхстага...

Солдат и песенник.

Сосны сторожат его холмик над речкой Айвиексте.

Я остановил проходившее такси... Всего лишь минуту назад я еще не думал этого делать. Конечно, прошло много времени, но все же я боялся разбередить старые раны.

Мы очень скоро остановились, остановились в переулке, возле большого дома... Как близко это оказалось!

Я вышел и лифтом поднялся наверх. Мне открыла женщина. Я понял уже, что это его мать...

На стене, в комнате, висел его сержантский портрет. И Всеволод на меня глядел с этого портрета. Такой, каким он был тогда, много лет назад.

Мертвые — не старятся.

Владимира Борисовича Ардашников хорошо знали и любили ленинградские журналисты. Человек, никогда не служивший в армии, слабый здоровьем и близорукий, он с первых дней войны надел военную форму и пришел в газету Ленинградского фронта «На страже Родины». Его специальность — международные отношения. Он мог и не бывать в войсках, а работать в редакции. Но он часто ездил на передовую и погиб, как солдат, — в наступлении. Это случилось 2 марта 1944 года под Псковом.

Всеволод Азаров

ОН СТАТЬЮ НЕ УСПЕЛ ДОПИСАТЬ

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АРДАШНИКОВА



Он рассказывал ночью блокадной, и мне не забыть
Ясный замысел книги, владевший им долгие годы.
Коммунизма солдату хотел он ее посвятить.
Мате Залке, венгерцу, что жизнь за Испанию отдал.

Книгу он не успел дописать. Кипу старых газет
Резверну и услышу, как стойкое сердце боролось.
Сквозь обстрел минометов, в мигающих вспышках ракет
Различаю лицо его, слышу товарища голос.

Дни и ночи без отдыха. Гневное слово — вперед!
Мы в блокаде еще. Но гляди, как заря пламенеет,
Там, где вражьи бомбами взорванный дыбится лед,
Грозный ладожский путь, на котором шоферы седеют.

Друг направлен в район наступленья.

И в этот момент,
Молодея душою, гордясь назначеньем высоким,
Он уходит, газеты подтянутый корреспондент,
И глядят, улыбаясь, глаза в линзы вогнутых стекол.

На развилке дорог, где полки ленинградские шли,
Пахло свежестью близкой весны. Оживала природа.
На обугленном камне, средь вскопанной смертью земли,
Сел статью он писать о грядущей победе народа.

Был недолгим привал. Он статью не успел дописать.
Он погиб в наступленье. Он жил ожиданьем рассвета.
Я пишу потому, что грозовы опять небеса,
И проходит сквозь бурю бессонная наша планета.
Я пишу потому, что, подобное стали штыка,
Это слово в сказаньях победы
оставило след свой.
Я пишу потому, что его боевая строка,
Мир и счастье храня,
переходит к живым, как наследство!

**Герой не гибнет, умирая:
Двойная жизнь ему дана,
И эта жизнь его вторая
Бессмертной славою полна.**

Демьян Бедный



Весной 1945 года, уже на территории Германии, погиб Сергей Лукич Беляков — сотрудник газеты 3-й гвардейской армии «Боевой товарищ». До войны Беляков работал в Орле, в редакции областной газеты.

Недавно друзья погибшего журналиста обратились к писателю Н. М. Грибачеву, который во время войны тоже был сотрудником редакции «Боевого товарища», с просьбой рассказать об обстоятельствах гибели Сергея Белякова.

Ниже печатается ответное письмо Н. М. Грибачева.

Николай Грибачев

ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ДНЯ...



Уважаемые товарищи! Я действительно знал Сергея Белякова, и на моих глазах он скончался от ран. Я попытался отыскать записную книжку, чтобы восстановить побольше подробностей, но поиски успехом не увенчались. Поэтому сообщаю коротко и по памяти.

Если не ошибаюсь, Сергей Беляков прибыл к нам в редакцию газеты «Боевой товарищ» в марте 1945 года. Это была газета 3-й гвардейской армии, которой командовал генерал Гордов. Армия эта сражалась на Дону под Вешенской, брала Ворошиловград, действовала под Никополем на Днепре, а еще раньше брала Запорожье, потом двигалась на Ровно, Луцк, Сандомир, Форст-на-Шпрее, Люббен, Берлин; оттуда — поворот на Дрезден и освобождение Праги. Когда прибыл Сергей Беляков, мы стояли, если не ошибаюсь, в Острове, у границ собственно Германии — по тогдашнему делению. Пробыл он в редакции около недели, всем очень понравился — хороший товарищ, мягкий, раздумчивый человек. Затем украинский писатель Никита Михеевич Шумило, Беляков и я выехали на фронт.

Путь наш по фронту начинался где-то у Глогау. Ехали на «эмке» — старенькой, видавшей виды. В маленьком городке Гюрау — он почти весь горел — наскочили на немецкую бронеразведку, но, как говорят, «не понесся потерь», свернули в сторону и продолжали поиски своих частей.

Дело это было нелегкое: наши части южнее Бреслау, форсировав Одер, двигались по его западному берегу на север, а немецкие войска по восточному берегу Одера — на юг. Получалось взаимоохватывающее движение. В этот день мы ничего не нашли — все было в броске, перемещении, запутано и перепутано в лесах — и переночевали в каком-то старинном немецком городке вместе с подразделением танкистов. Утром продолжали путь и попали за Одер по наспех навешенному мосту, причем немцы по восточному берегу, двигаясь с севера на юг, подошли вплотную к дороге и временами обстреливали ее из пулеметов.

На западном берегу Одера, напротив деревни Цюхен, в помещицьем имении нашли штаб нашего полка. Имение — два отдельных здания, расположенных подковой, в разрыве — каменная стена с калиткой в реденький парк. Стены зданий — желты и в трещинах, во дворе — мокрый снежок. Парк небольшой, просматривается насквозь, выходит на берег Одера, а на другом, восточном берегу — немцы. Мне захотелось пострелять из пулемета и поговорить с нашим пулеметчиком, я ушел на берег, а Беляков и Шумило остались в штабе, ожидая командира полка, чтобы побеседовать. Я тоже вскоре вернулся и прошел в комнату к радистам, обращенную окном прямо на занятую немцами деревню, а товарищи мои вышли на улицу, под прикрытые стены, чтобы потолковать с бойцами.

В этот момент немецкие самоходки с улиц Цюхена открыли из тяжелых орудий убийственный огонь по имению, все здания которого и двор были буквально начинены войсками. Один из первых снарядов попал в стену под окном той комнаты, где сидел я с радистами, — влетела глыба кирпича, радиостанция с питанием была сброшена с окна, пробило дверь напротив. На мгновение сознание отказало мне, почудилось, что комнату затопила зеленая мгла; потом, вслед за радистом, тоже контуженным, — спасло то, что мы сидели у стены на низенькой скамеечке, — я выполз в коридор. Огонь бушевал недолго, но убитых и раненых было много — снаряды падали буквально в гущу людей. Как только кончился обстрел, я пошел искать товарищей. «Эмка»

наша стояла на крови людей и лошадей, шофера я едва отыскал в каком-то подвале, а потом нашел Белякова и Шумило. Беляков, тяжело раненный в голову и грудь, уже умирал, Шумило лежал на соломе в полном сознании, но в крайне тяжком положении — около десятка мелких осколков попало в голову и шею, да еще, кажется, были раны в плече и груди. Хлопотали вокруг них две молоденькие медицинские сестры — другого персонала не было.

Минут через десять Сергей Беляков умер — около четырех часов дня. Я требовал оказать помощь Шумило, но оказывать было некому и нечем. Тогда, набив в «эмку» соломы и подушек, я повез Шумило в тыл. Уже в сумерках, при обратном переезде через Одер, увидел вывеску медсанбата, но оказалось, что там всего двое врачей без инструмента — медсанбат, как мне сказали, либо погиб, либо рассеян в лесах, занятых немцами. Только поздно ночью, со многими приключениями и передрыгами, — это уже другая тема — я довез Шумило в госпиталь, где его и приняли. Сам поспешил в редакцию, но попал в очередную переделку и прибыл только к середине следующего дня.

Вот все, что я могу вам рассказать об этом чудесном товарище и человеке — Сергее Лукиче Белякове. Мы все очень тяжело переживали его смерть.

Никита Михеевич Шумило выжил, хотя на войну уже больше не попал. Сейчас находится в Киеве.

Никаких других подробностей сейчас сообщить не могу. Возможно, что когда-либо я вернусь к этому в записках.

Примите мой сердечный привет.

Н. Грибачев.

Р. С. До войны Сергей Беляков работал в Орле, в областной газете, а возможно, что оттуда и приехал прямо на фронт — точно не знаю.

1963 г.

Леонид Кудреватых
КАК СОЛДАТ!



На 1-й Белорусский фронт Саша Малибашев прибыл за несколько дней до решающего и заключительного наступления наших войск в районе реки Одер, нацеленного на Берлин. В журналистском корпусе фронта перед битвой, предвещавшей окончательную победу над фашистской Германией, было многолюдно. Большинство центральных газет, радио, Совинформбюро и ТАСС были представлены писателями и журналистами, опаленными в боях за годы войны на различных фронтах. Почти все знали друг друга не заочно, по фронтовым корреспонденциям, а по личным встречам: фронтовые пути-дороги не раз сводили нас друг с другом. Сашу Малибашева знали многие. И мы обрадовались его приезду.

Бывает в жизни так: год, а то и больше, живешь с человеком в одной квартире или работаешь в одном учреждении, а вспомнить этого человека нечем, как будто его ты и не знавал. Не ссорился и не дружил. И ничем он не зацепился в твоей памяти. Но бывает и так: проведешь с человеком вместе несколько дней, а память о нем у тебя на всю жизнь.

И вспоминаешь его не только по этой встрече, но и по разным поводам и ассоциациям. Зарубку добрую и нежную оставил этот человек в твоей памяти, есть в нем что-то незаурядное, привлекательное.

Таким был Саша Малибашев для всех, кого сводила с ним фронтовая жизнь. В нем не было ни ухарства, ни других показных качеств... Роста он был среднего, лицо всегда спокойное, добродушное. Он не был ни заводилой, ни певуном. Да и имя его в журналистском мире оставалось малоизвестным. Он был из тех газетчиков, судьба которых сложилась так, что они меньше писали сами, а делали газету: организовывали статьи и очерки других авторов, правили эти статьи, вычитывали гранки, сокращали их, готовили подборку и шапку к ней. Малибашев был настоящим тружеником газетного цеха.

Старый комсомолец, отдавший много лет воспитанию пионеров, он в 1928 году пришел в астраханскую газету «Коммунист». А через несколько лет стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды», главным образом в промышленных южных городах страны.

Потом вел отдел рабочей молодежи в «Комсомольской правде», был заместителем редактора «Московского комсомольца», работал в пресс-бюро редакции «Правды».

А как только началась вторая мировая война, поехал на фронт корреспондентом ТАСС.

Он был трудолюбивый человек, храбрый и мужественный. От большинства корреспондентов ТАСС не требовали очерков, от них ждали боевых донесений о положении на фронте, о проводимой в данный момент операции. Порой достаточно было прочесть оперативную сводку штаба фронта или очередную информацию политуправления, чтобы составить не одну, а две, три и больше заметок для ТАСС, которые потом обойдут центральные, республиканские и областные газеты. Что греха таить, были такие корреспонденты, которые не часто утруждали себя поездками в дивизии и полки, а широко использовали для заметок штабные и другие документы. И это им не ставилось в укор, так как от них требовались информации, факт, рассказывающие о героических делах.

Саша Малибашев тоже заходил и в штаб, и в политуправление фронта. Но, как правило, для того, чтобы сверить свои личные наблюдения, почерпнутые из поездки на передний край. Он пользовался любой возможностью, чтобы побывать в боевых частях, и поэтому часто был спутником корреспон-

дентов центральных газет, разъезжавших по армиям, дивизиям и полкам. Вот почему его заметки для ТАССа всегда были насыщены самым боевым духом и содержали в себе самые последние известия с переднего края.

Я встретил Сашу Малибашева на 2-м Украинском фронте, уже за Днепром, в период нашего наступления на запад. И сразу подметил не только эту черту в его работе, черту труженика, храброго и мужественного, но и высокую принципиальность во всем — во взаимоотношениях с различными военачальниками и своими друзьями по журналистскому корпусу. Скромный, не любивший ненужных разглагольствований, он был всеми уважаем. К его мнению мы охотно прислушивались, когда шла речь о наших ли корреспонденциях, о нашей ли фронтовой жизни. Он умел ценить настоящую мужскую дружбу и готов был всегда прийти на помощь товарищу.

Таким его знали и другие военные журналисты. И поэтому, когда Александр Михайлович Малибашев приехал на 1-й Белорусский фронт, войска которого готовились к штурму Берлина, мы обрадовались его появлению: прибыл настоящий, боевой друг, хороший, стойкий коммунист. Да и Саша, видимо, рад был доверию, которое оказало ему руководство ТАСС. Он с первого же дня с присущей ему страстностью включился во фронтовые дела, сдавая на узел связи по нескольку боевых информаций в день.

Вскоре началась заключительная операция по разгрому гитлеровской Германии. Наши войска быстро форсировали Одер и завязали бои на Зееловских высотах — сильно укрепленном рубеже, прикрывавшем Берлин с востока.

Все журналисты ранним утром разъезжались по действующим частям. К вечеру мы собирались в городке Ландсберге, где квартировали, писали свои корреспонденции, стараясь передать в них боевой дух советских войск. А уже в полночь собирались вместе, обсуждали план действий на завтра, чтобы охватить как можно больше армий и не толпиться всем вместе на каком-то одном участке.

В один из дней наступления Саша Малибашев рано утром поехал к Зееловским высотам с корреспондентом «Комсомольской правды» капитаном А. Андреевым, ныне известным писателем. Правдисты Борис Горбатов, Мартын Мержанов и я, известинец, в этот день собирались выехать в части немного позже: мы всю ночь писали корреспонденции для своих газет. Часов в десять утра, когда мы уже шли к своим

автомашинам, увидели бледного капитана Андреева. Он шел навстречу к нам, пошатываясь, с опущенной головой.

— Сашу Малибашева убили,— еле проговорил Андреев.— Я привез его тело.

Андреев и Малибашев побывали в штабе дивизии, на позициях артиллеристов, у танкистов. В их блокнотах уже были записи, сделанные в самом пекле сражения. Казалось бы, можно ехать на телеграф передавать огневые информации. Но Малибашев настоял на том, чтобы он и Андреев побывали еще в боевых порядках наступающего пехотного полка. Там прямо перед ним и разорвалась вражеская мина.

Мы похоронили Сашу Малибашева в Ландсберге со всеми воинскими почестями и долго стояли, склонив головы, у свежего могильного холма с красным обелиском, на котором были начертаны слова: «Военный корреспондент майор А. М. Малибашев».

В архиве ТАСС хранится папка с документами Малибашева. Среди бумаг есть характеристика, написанная его непосредственным начальником. В ней сказано: «Оперативный, инициативный журналист Александр Михайлович Малибашев передает большое количество материалов, по преимуществу оттуда, где происходят события».

Как будто скромная характеристика, а смысл в ней огромный — «оттуда, где происходят события»!

Саша Малибашев всегда был на переднем крае. Журналист, как солдат! И погиб он, как солдат.

Сергей Борзенко
НА ПОЛЕ БРАНИ



Как почти у каждого советского человека старшего поколения, в Великую Отечественную войну многие мои родственники и друзья пали на поле брани.

Я журналист, и в этой краткой заметке скажу несколько слов о военных корреспондентах, с которыми я служил и которые убиты в борьбе с германскими фашистами.

Первую половину войны служить мне довелось в армейской газете «Знамя Родины». Комплектовали ее из харьковских писателей и журналистов. 18-я армия дралась на границе Румынии и затем с боями начала отходить по югу Украины к Дону и дальше на Северный Кавказ.

Листаю свой фронтовой дневник, в записи от 4 октября 1941 года сказано:

— Михаил Ройд, к великой зависти всех харьковчан, ездил в наш родной город за шрифтами и привез оттуда украинского детского писателя Миколу Трублаини (Трублаевского) — участника полярных экспедиций 1930—1933 годов на ледоколах «Сибиряков» и «Русанов», автора нашумевшей книги «Шхуна Колумб».

Он зачислен в штат редакции.

Сегодня Трублаини отправился в первую свою командировку на фронт. Вместе с ним поехали Владимир Гавриленко и Борис Милявский, люди опытные и обстрелянные.

На дороге их грузовик попал под бомбежку. Ребята выскочили из машины, разбежались по кукурузному полю и залегли. Сколько раз нам всем приходилось делать этот не хитрый, но надежный маневр. Иной раз, пока доберешься до фронта, выскакиваешь из грузовика раз пять, а то и больше. Фашисты швыряют бомбы, обстреливают из пулеметов, но все мимо. Земля надежно защищает, прижмешься к ней, и все осколки пролетают мимо.

У Трублаини еще не было этого опыта. И когда самолеты сбросили бомбы, первый же осколок нашел его, разбил крепость.

Товарищи перевязали Миколу, положили в кузов грузовика, застланный шинелями, и заметались по дорогам в поисках санбата. Машину трясло на ухабах, Трублаини мучился и все просил положить его на землю; порой он бредил, звал жену, порывался встать и куда-то идти.

На какой-то станции (вывески с названиями в целях маскировки были сняты), забитой обгорелыми составами, увидели санитарный поезд, который вскоре должен уходить в тыл. Гавриленко отыскал главного врача поезда, но тот отказался брать раненого: Трублаини был одет в штатский костюм и у него не было даже военного удостоверения. Все же главврача удалось уломать, и хирурги тут же положили раненого на стол...

Затем мы потеряли Семена Гольдмана. Это был совсем молодой человек, почти юноша, старшина по званию. Он начал свою журналистскую работу в военной газете Харьковского округа, был храбр, хорошо знал армейскую жизнь. Многие завидовали его жизнерадостности и неистощимому оптимизму. Сеня мечтал закончить войну в Берлине, но мечты его не осуществились. Он погиб в июле 1942 года в Ростове во время переправы через Дон. Я помню эту страшную переправу, над которой шли ожесточенные воздушные бои, и «юнкеры» день и ночь бомбили и обстреливали ее.

Нам рассказывали, что Гольдман был сражен осколком, но ни один из его товарищей не знает, где он похоронен.

На Северном Кавказе мы потеряли Михаила Ройда. Он руководил партийным отделом редакции, до войны был заведующим отделом партийной жизни харьковской областной

газеты «Соціалістична Харківщина» и был там секретарем партийной организации.

Ройд участвовал во многих сражениях. Случилось так, что одна из наших дивизий — 32-я, в которой я служил специальным корреспондентом, попала в окружение в лесах Северного Кавказа. Добраться в дивизию можно было лишь по узким пешеходным тропам.

Побаиваясь, что я не справлюсь с возложенной на меня задачей, редактор нашей газеты — старший батальонный комиссар В. И. Верховский послал в помощь мне Михаила Ройда. В то время фашисты бомбили все подходы к фронту. Миша на попутных машинах добрался до станции Навагинская. Налетели бомбардировщики, и Миша был ранен осколком. Наш корреспондент Александр Светов доставил товарища в сочинский госпиталь. Там ему сделали сложную операцию, но было поздно — Ройд умер.

Мы, его товарищи, спустя некоторое время приехали в Сочи, но могилы Ройда не смогли найти.

Затем на Туапсинском шоссе при обстреле из самолета был смертельно ранен украинский поэт, корреспондент «Знамени Родины» Константин Герасименко.

При штурме Бреслау фашистский снайпер выстрелом из винтовки сразил нашего фотокорреспондента Николая Ксенофонтова. Редакция похоронила его на кладбище в городе Штейнау.

Ксенофонтов был храбрый офицер. Помню, как самозабвенно работал он в разгар боев на Эльтигенском плацдарме. Ксенофонтов сделал уникальные батальные снимки и покинул плацдарм на одном из последних мотоботов, уходивших в Тамань.

Хоронили Колю не только газетчики, но и солдаты. Армия знала и любила своего фотокорреспондента.

Сквозь даль годов все так же ясно видятся эти прекрасные люди, отдавшие свои жизни за счастье ныне живущих.

Дмитрий Холендро

ПАПА КОЛЯ



Мы немало вместе прошли, проехали и проплыли. По дорогам Кубани, залитым дождями и вязким, как болота,— ног не вытянешь, по неприютным волнам Керченского пролива, когда сзади оставалась и таяла узкая полоска лермонтовской Тамани, а впереди сиренезо туманился крымский берег с наполовину чужими высотами, по опасным виткам полуразбитого горного шоссе между Ялтой и Севастополем.

Сейчас возле кубанских станиц толпятся нефтяные вышки. Рычаги насосов, похожие на тяжелохвостых птиц, клюют и клюют землю, качая нефть. Сизые волны пролива пенят рыбацкие суда, на них играет музыка, когда ребята везут хороший улов в Глейку или Капканы. На южных склонах Крыма чуть ли не круглый год привычно цветут деревья, удивляя курортников.

Тогда нам тоже ударил в глаза этот весенний цвет, не правдоподобный, как солнце среди ночи, но Коля Ксенофонов снимал не персиковые ветки, а колонну пленных фашистов, длинным червяком ползущую по шоссе среди гор.

Они плелись, присматриваясь к указателям, наспех вкопанным у дороги,—сбор военнопленных там-то. Сзади ехал на румынском ослике конвоир, наш парень, солдат с усталым лицом, и играл на губной гармошке, чтобы не уснуть. К пилотке его была приколата цветущая веточка. Так она и попала на Колин снимок.

Была весна 1944 года.

Уже, кажется, сняли затемнение в Краснодаре, но еще не освободили Севастополь. Гитлеровцы не доставали до наших близких тылов, у них становились все короче руки, они только отбивались.

В Краснодаре, незадолго до высадки крымского десанта, фотокорреспондент газеты Северо-Кавказского фронта «Вперед за Родину» Николай Ксенофонтов женился. На свадьбе у него гуляли друзья—только те, кто был тогда в редакции, а не на клочке Малой земли под Новороссийском, или в Абинской, у подножья Кавказских гор, или в Варениковской, на пороге неоглядных и непроходимых плавней.

Фронт тянулся тогда по голубой линии речек, рек и лиманов, поросших камышом. Малая земля была на далеком фланге, как кулак, занесенный для удара сбоку, и, страшась его, гитлеровцы сдерживали нашу руку, повиснув на ней всеми силами своих корпусов и дивизий, расставленных поперек Кубани.

Малая земля то и дело превращалась в огненный котел: враг хотел выжечь оттуда матросов и солдат легендарного Цезаря Куникова. Тогда в наступление кидались гвардейцы где-нибудь на высоте Героев, далеко от Малой земли. Эту высоту у казачьей реки называли так потому, что она маячила курганом над окрестными полями, захватить ее было трудно, удержать еще трудней, но наши гвардейцы ее не отдавали, в худшем случае она переходила из рук в руки два раза на день и опять оставалась у нас.

Коля Ксенофонтов женился между двумя поездками, как пошутил кто-то из нас, по дороге между Малой землей и высотой Героев. Он полюбил хорошую краснодарскую дивчину Иру, веселую и простую, ходил к ней пешком по ночному городу, в центр, с дальней окраины, где стояла редакция, по безмолвным трамвайным путям, повесив на шнурок в фотолаборатории сушиться фронтовые снимки для завтрашнего номера газеты.

Среди этих снимков иногда были и фотографии круглоглазой и круглощечкой девочки Иры, но они не предназна-

чались для газеты. А только для самого Коли. Однако с ним начиналась и ими заканчивалась иная боевая пленка.

Шла война, но воевали люди, а люди, чья молодость была застигнута войной, любили и на войне.

Небольшой, коренастый, с доброй, почти всегдашней улыбкой на полных губах, с крупными, блестящими от счастья и красными от бессонницы глазами, Коля ничего не боялся. Я уверен — ему помогала его любовь.

Если бы она хоть раз его остановила, я бы не вспоминал о ней и она не была бы любовью.

Ира смертельно боялась за Николая, но никогда не приходила в редакцию — даже спросить, вернулся ли он. Мы видели их только вместе.

Наверно, это очень радостно — возвращаться из части, с поля боя и знать, что увидишь любимого человека, и, наверно, это очень трудно, прощаться каждый раз, когда снова уезжаешь туда.

Мы, литературные сотрудники, могли еще беседовать в блиндажах, в землянках, в траншеях, ночью, а то и с ранеными, медленно вспоминающими подробности боя и подвиги товарищей. Коле нужно было снимать. Ему требовались свет и дела, а не слова. Он всегда снимал на переднем крае, под пулями.

А был он вольнонаемным. В ту пору. И не носил ни погон на плечах, ни оружия на поясе. Полагался газете вольнонаемный фотокорреспондент. Он им и числился. Можно сказать — своего рода доброволец. И оружием его был только фотоаппарат.

* *
*

— Слушай,— сказал он мне, разбудив ночью,— завтра начинается концерт.

— Ты откуда знаешь?

— Знаю.

Он тревожно улыбался.

Маленькая группа фронтовых корреспондентов нашей газеты ждала в Тамани высадки десанта на крымский берег. Я был старшим, и все-таки Коля узнал о событии первым.

— Кто тебе сказал? — снова спросил я.

Вместо ответа он закурил и проронил:

— Туда идет Борзенко.

Сергей Борзенко был армейским газетчиком. Я понял, что, проявляя свои пленки в армейской редакции, Коля услы-

шал известие, которое пока держалось в тайне. Раз это уже не тайна, значит, и правда — завтра на укрепленный, проглядывающий в ясные дни из-за моря крымский берег пойдут мотоботы и катера с командирами и солдатами, которые после освобождения Кубани только и делали, что учились на лиманах бросаться в атаку прямо с палуб, готовились стать десантниками.

— Это правда, Коля? — приподнялся я в крестьянской постели, уступленной нам хозяевами одной из хат.

Вместо ответа он опять проронил:

— Я тоже пойду.

Месяц мы стояли. Писали про учебу, фотографировали отличников. Теперь пришла эта ночь... Я вскочил и побежал на телеграф.

Наш редактор любил точно знать, где его корреспонденты. откуда ждать материала в газету, и не терпел поэтому своеволия. Я позвонил ему и сказал, что завтра ожидается концерт.

Он хмыкнул, а я еще добавил, что выступят большие артисты и что я хочу посмотреть.

— С кем же мы будем держать связь, если вы отлучитесь? — спросил он, и не успел я ответить, как он отдал приказ: — Нет. Оставайтесь на месте и делайте все, пока придет майор Кузьмин.

— Но концерт кончится!

— Ваше дело — любыми способами подготовить отчет и передать его, ясно? — сказал он далеким голосом. — А так мы можем не дожидаться статьи и через неделю.

В этих словах была логика, но не было сердца.

Конечно, если бы мы погибли, не преодолев пролива, газета осталась бы в день высадки с белым пятном. Но отчет о событиях на том берегу, написанный по сведениям из вторых, третьих, пятых рук, казался мне не лучше белого пятна.

В ту ночь, кроме нас с Колей, из нашей редакции в Тамани больше никого не было.

— А где Ксенофонтов? — спросил редактор.

— Он стоит рядом, товарищ полковник.

Пошуршало расстояние в трубке.

— Распорядитесь сами, — сказал редактор.

Нелегко было послать человека в десант. Вдвоем было бы идти проще. Мы шли по темной улице, спотыкаясь о кочки. Я не мурил. Я сказал:

— Коля, смотри.

— Кажется, Борзенко дают связного краснофлотца,— глуховато проговорил он.— Я постараюсь передать с ним пленку. Хотя бы одну катушку.

Уходили они очень рано, далеко еще был рассвет. Мотоботы заполнялись людьми строго по счету, лишних не брали. Из вещмешков выбрасывали все, что казалось грузом. Ворчливо проверяя их содержимое, старшины оставляли только хлеб, табак и патроны, главное, патроны. Коля прицепился к кому-то после второй или третьей попытки, и вот уже только стучали моторы над плеском волн, тише и тише, дальше и дальше.

Когда все ушли, расшумелось море. Длинные волны долго шипели, расстилаясь по берегу, и скатывались в ночь. Казалось, оттуда не было возврата.

Я спрашивал потом раненых, доставленных с того берега, легких, которые могли и хотели рассказывать, не видели ли они одного такого, в ватнике, с фотоаппаратом на шее.

— Невысокий? — отозвался кто-то наконец так, что я закричал: «Он, он!»

Раненый лейтенант улыбнулся мне спекшимся ртом.

— Я видел, как там девчонка одна, в бушлате, топала ногой перед проволокой, кричала: «Мин нет!», просто танцевала на минном поле, чтобы цепь поднять — пехота попадала у берега, а этот черт снимает ее с коленки...

— Коля?

— Как зовут, что ее, что его,— не знаю...

Он опять улыбнулся, только губы дернулись.

Борзенко присылал скупые, начиненные порохом в каждой строке отчеты о десанте: день первый, день второй, пятый... От Коли ни записки не было, ни пленки, ничего...

Между тем становилось ясно, что десант не удался. Немцы блокировали его со всех сторон, даже с моря. Наши силы перебрасывались для второго, более мощного удара на север, под Темрюк. Редактор приказал мне переправиться туда, заодно подчеркнув свою предусмотрительность.

А я тянул, я ждал Колю...

День шестой, день седьмой...

На Эльтигене яростно дрались моряки и пехотинцы — не за каждый метр, а за каждую пядь. Самолеты кидали десантникам мешки с продуктами и боеприпасами... На севере накапливали технику и суда... Война проверяла нервы...

В ночь на третье ноября десантные суда снова пошли через пролив.

Это была ночь, опередившая рассвет, с бликами артиллерийской зари в полнеба. Артиллеристы грохнули из всех своих стволов. Они стояли по всему берегу длинной косы Чушки и по островам в море, куда тайно переправились тяжелые батареи.

Скоро были на том берегу и мы с Колей.

Да, Коля вернулся, вырвавшись на штабном катере из Эльтигена, съездил в редакцию, проявил пленки, пронумеровал кадры, оставил короткие подтекстовки и на попутном грузовике добрался до Чушки.

А там — за пролив, и новые встречи, новые боевые кадры и подтекстовки...

Подтекстовок, кстати сказать, Коля вообще не умел делать, а любил, чтобы под снимком были хорошие слова, и поэтому дружил с литсотрудниками. Я пытался развить в нем из этой страсти нехитрое умение подписывать снимки подробнее... Сядешь рядом, узнаешь, где снимал, кого, почему, подскажешь, как сделать десять строк. Он отнесет снимок секретарю, повздыхает, посопит и скажет:

— Фото Ксенофонтова, текст Холендро.

А снимал он замечательно.

И писал на обороте, на белой стороне снимка просто — «Медсестра Галина Петрова» или: «Гвардии рядовой Павел Тарасенко». А потом оказывалось, что это и есть та самая Галина, которая «танцевала» на противотанковом минном поле, чтобы пехотинцы не боялись подняться, а гвардеец Тарасенко — тот, который первым ворвался на сопку у рыбацкого поселка Глейка, гранатой уничтожил немецких пулеметчиков и воткнул в землю, на макушке сопки, красный флаг, который ему дали, как комсомольцу. Когда увидели красный флаг на этой сопке, атака поднялась новой волной, и с рассветом за спиной десантников осталась такая полоса берега, что на ней уже устанавливались пушки, и даже самолеты — хрупкие и дерзкие У-2, те самые, что кидали продукты и патроны в Эльтиген, — начали садиться, прилетая за ранеными. С собой они привозили муку.

В медицинских кассетах самолетов белые мешки пропитывались кровью бойцов, потому что «летали» на тех же носилках.

У Коли были снимки и Гали, и Павла, и девушек-летчиц. Почему я вспоминаю о них?

Потому что это — часть и его биографии. Как никогда, в те военные дни общей для всех была жизнь и смерть, и скромный солдат своей газеты, Коля Ксенофонтов, делил со всеми одну судьбу. Он снимал героев и был рядом с ними. Иначе это не удалось бы.

Только никто не говорил ему тогда, что он тоже герой.

* *
*

— Ты замерз?

— Нет.

— Я тоже. Знаешь, маленьким я всегда болел ангиной, как чуть что, а сейчас — закалился. После войны не будем знать никаких насморков.

Мы лежали на каменном полу рыбацкого стана, оборудованного под пекарню, и пытались уснуть...

Шел февраль, четвертый месяц десанта. Наши войска прочно облегали Керчь, гитлеровцы прочно ее удерживали. Катера, пересекающие пролив, просматривались и обстреливались ими с Митридата. Транспортные самолеты перехватывались над морем «мессерами», свистящими так, точно они во всю длину вспарывали шпагой холодный шелк открытого неба.

Над проливом завязывались мгновенные воздушные схватки, надо было медленно просчитать как раз до ста тринадцати после того, как внизу проплывет Чушка, и самолет касался птичьими ногами, обутыми в колеса, кромки крымского берега у самой воды.

Дрались истребители, иногда вспыхивая черными факелами на голых прибрежных высотах. Транспортные самолеты проскакивали мимо во время этих боев. Их водили девушки. Как они ухитрялись садиться на поле, изрытое снарядами и траншеями, в ладошках между двумя горами, уму непостижимо.

Но на войне возможно все.

Коля не раз фотографировал храбрых девушек для газеты и «по знакомству», они, случалось, возили нас вместо мешков муки. Газета — тоже хлеб... На этот раз мы даже и ночевали в пекарне, спрятавшись от пронзительной и хлесткой выюги. Мы прилетали на плацдарм, как домой, в двадцатый или тридцатый раз, проводя здесь времени больше, чем в редакции.

Из-за шторма катер с дровами не пришел, и пекарня бездействовала...

Да, шел тяжелый, лютый февраль, длинный февраль, за проливом не было ни палки, ни сучка, в кухнях сожгли телеграфные столбы, степная, не богатая на дрова сторона грела худо: одной надеждой, что скоро пойдем вперед.

Мы все замерзли, среди ночи завернулись в пустые мешки и утром вышли, белые, как мельники.

— Петя будет смеяться, — сказал Николай.

Отряхнув друг друга, двинулись знакомой тропой в сторону Керчи.

Днем туда пройти было трудно, но мы помнили дорожку. Обойдя Капканы, мы бежали за горами шлака у разбитого металлургического завода, а потом ползли по каким-то железобетонным трубам, служившим раньше заводу, а теперь пустым и во многих местах продырявленным снарядами. Это была странная коммуникация на открытом месте... И самое опасное в ней были дыры, разрывы шага в три-четыре, а то и в пять... Гитлеровцы пристрелялись к ним с того берега бухты и вдруг всаживали наугад длинную очередь. Видеть, как кто-то двигался по трубам, они не видели, но никто из нас тоже не знал, когда они откроют огонь.

Каждый раз приходилось замирать перед такой дырой: угадаешь не угадаешь, проскочишь или нет, одним словом, кто кого обманет или как кому повезет.

Так мы добирались до Пети Головатюка.

Ему был двадцать один год, и он командовал полком, начав войну в Одессе лейтенантом. С горсткой людей он оборонял отдельные дома в осажденных городах, а теперь сам брал большой город.

Командовать полком — не шутка, в двадцать один год — тем более. Уж одно это — геройство, и, когда Коля первый раз привез портрет Головатюка, он попросил написать о нем подробнее. Он снимал обычно солдат, сержантов, командиры на своих наблюдательных пунктах привлекали его меньше. Иные, замечая его, позировали. Невольно, конечно, но все же уже не то!

Петю Головатюка он снял со всей своей любовью к героям трудных военных будней. С Петей мы здорово сдружились, как одногодки. Он любил поболтать с нами ночью о чем-нибудь веселом, о темрюкских рыбачках, а на печке-буржуйке посреди блиндажа жарились, треща, олады, и Коля, кругло улыбаясь, говорил:

— А Ирка думает, что я холодный-голодный...

— Ты меня познакомишь с ней, я ее успокою,— отвечал Петя.

В новогоднюю ночь мы пробрались к нему с двумя бутылками шампанского, купленного в военторге в Темрюке, где ютилась редакция. Мы перебегали разрывы в трубах, прижимая холодные бутылки к животам, оберегая их от пуль больше себя, честное слово, так нам хотелось обрадовать Петю. К пулям многие тогда привыкли, а к шампанскому нет...

И вот мы снова шли к Головатюку.

Вернее, мы сидели на корточках в темной трубе, смотрели, как впереди расплывается пятно света, и ждали своей удачливой минуты, которой наверняка определить было нельзя. Было тихо...

— Знаешь, Коля,— сказал я,— мы ведь на самом левом фланге всего фронта.

Почему-то мне пришло в голову, что огромная, неровная линия фронта, напичканная взрывами, техникой, людьми, идущая от Кольских высот и пересекающая всю страну, кончается здесь, у Черного моря, где сидим мы.

Она с обрыва падала в волны, дальше фронта не было...

И какие-то незнакомые нам два-три солдата на самом краю.

Коля сразу понял, в чем дело.

— Точно! — закричал он. — Я должен их снять!

И, напялив шапку на затылок, он ринулся в пятно света, как будто счастливая находка не терпела промедления.

Левый фланг фронта! Всего фронта... Это и правда было интересно для печати в дни глубокого затишья. Мы решили посоветоваться с Головатюком, каких бойцов выделит.

Вот и блиндаж Головатюка. Еще сто метров, еще одна перебежка, мы уже идем по узкому ходу сообщения, Ксенофонов спешит, аппарат болтается на его груди, я вижу, как ерзает по воротнику шинели ремешок.

С аппаратом на шее
Он идет по траншее,

— приговаривали о нем в редакции.

Навстречу нам выходит из блиндажа заместитель командира полка.

— Где Петя? — спрашиваем мы с ходу.

— Петя? — Он смотрит на нас отсутствующими глазами, мотает седой головой, приходит в себя и снова смотрит на нас, теперь осознанней, но все так же тяжело. — Петя?

— Да...

— Убит, — говорит он.

В один миг мы становимся похожими на этого пожилого человека, который более чем вдвое был старше своего командира.

— Убит?

Мы садимся прямо на землю и долго молчим. О чем говорить?

Он был убит на командном пункте артиллерийским снарядом, но мы все равно не верили в это, пока не нашли его могилу на военном кладбище под Темрюком.

Там мы вынули пистолеты и трижды выстрелили в небо. Нам было горько.

Коля впервые стрелял из пистолета, а пистолет ему подарил Петя Головатюк, молодой командир полка.

Не думал Коля, для чего ему понадобится этот пистолет впервые.

Ночью вспомнил он родной Николаев, где строят корабли, стал рассказывать о своей маме, Клавдии Яковлевне. Как она посадила его на пароход, уходящий в пионерскую прогулку, а местком завода, где она работала, дал ребятам фотоаппарат, и Коля сделал на реке свои первые снимки. Как мама дежурила у сарая, где он проявлял пленку, чтобы дружки не ворвались. Далеко был Николаев...

А большой фотоочерк о левифланговых советско-германского фронта мы все же привезли. Отделение вело бой на скалистом берегу, там как следует не окопаться, и это была линия почти непрерывного огня. Пулеметчики поддерживали друг друга, оберегая выход к бухте и отвечая на огневые наскоки немцев с той ее стороны.

Коля делал снимки, пока я беседовал с пулеметчиками в траншее. Снимков вышло много, гораздо больше, чем требовалось для очерка. Так уж получалось всегда.

И все это были снимки-документы. Без фальши. Никаких инсценировок.

* *

*

На косе Чушка в обшарпанной легковушке мы случайно встретили фотокорреспондента одной центральной газеты. Коля знал его.

— У тебя есть что-нибудь для нас, старик? — спросил тот.

— Ты скоро улетаешь?

— Сейчас! В Краснодар. На аэродром и — в Москву. Краснодар был далеко, как луна, и вдруг стал близко.

— Я дам тебе непроявленную катушку, — сказал Коля. — Ладно? Только ты в Краснодаре зайди в один дом. Ладно? Я напишу адрес. Скажи, что меня видел. Больше ничего. Ладно?

Он вырвал из блокнота записи к непроявленной пленке, отдал ее, завернув в этот листок, и, как самый счастливый человек на свете, всю остальную дорогу, пока мы топали по мокрому песку Чушки и тряслись на ледяном ветру до Темрюка в попутной полуторке, повторял:

— Вот здорово!

Не знаю, побывал ли тот человек у Иры, но снимки он опубликовал. Правда, Колиной фамилии там не было. Под длинной цепочкой разных фотографий он поставил только свою подпись. Встречались и на войне такие продувные сволочи.

— Гад! — сказал о нем Коля, а потом махнул рукой. — Ну ладно... Снимки появились, а кто снимал, для людей — дело десятое.

Больше он об этом никогда не вспоминал. Тем более что его снимки все чаще печатала «Красная звезда». Было что печатать: он первый из фотокорреспондентов на бензовозе, везущем горючее для танков, въехал в Ялту и снимал, как партизаны ремонтируют дом Антона Павловича Чехова, пострадавший от бомб. Снимал и сестру писателя, радостно встретившую советских солдат. Одним из первых среди газетчиков вошел он и в Севастополь и снимал, как устанавливается красный флаг на каркасе полуснесенного купола Севастопольской панорамы.

* *
*

Отдельная Приморская армия осталась в освобожденном Крыму. Надолго ли? Никто не знал.

И он, Николай Петрович Ксенофонтов, первым подал рапорт с просьбой направить его туда, где еще шли бои, — на запад, куда откатывалась, оттеснялась война.

Почти в тот же день, когда он подал этот рапорт, из Краснодара приехала в Симферополь Ирина. Как она

добралась, никто не знал, никто не мог понять: «голосовала» на дорогах, шла, плыла, одним словом, живая, хохочущая, грязная, она вдруг возникла перед нами. Чудеса! Отгоняя смерть, за нами шла любовь. Она шла в образе этой совсем тоненькой — Ира сильно похудела за дорогу — девочки, и мы чувствовали, что жизнь сильнее всего...

Это был большой праздник.

У Коли были и еще праздники: его наградили орденом, присвоили звание младшего лейтенанта. И свое назначение в армейскую газету одного из Украинских фронтов он воспринял тоже как радость.

Радость товарища была и нашей радостью. Я катал Ирину на трофейном мотоцикле, она, вцепившись в меня, ойкала от страха, а Коля фотографировал нас.

Но все проходит...

Подошла пора расставания. Мы пили, провожая их.

Сначала проводили Иру, потом его. Война еще делала свое дело — разлучала. Но никто не думал, не хотел думать, что навсегда.

Расставаясь, мы улыбались. Молодость и близкое дыхание победы делали нас в ту последнюю военную весну счастливыми навеки.

Хлопая меня по плечу, младший лейтенант Ксенофонов говорил:

— До встречи, черт возьми!

Он картавил, точно и сейчас я слышу это его и прячущее, и открывающее чувства «чеут возьми!».

Для того чтобы сделать снимок в бою, ему приходилось вставать даже тогда, когда вокруг вжимались в землю. Его убили в Бреслау. Снайперская пуля фашиста попала между густых бровей Коли...

А потом пришло письмо из Краснодара, что Ира родила дочку. И через пять лет — фотография маленькой, глазастой, похожей на Колю девочки, с чернильными палочками и закорючками на обороте и одной сдержанной строкой:

«Не забывайте нашего папу Колю».

А он так и не услышал, что его называют папой.

Владимир Савицкий

НА ПОДСТУПАХ К РЕЙХСТАГУ



Берлин. 29 апреля 1945 года. Наши войска ведут последние бои в окруженной вражеской столице. Части 150-й стрелковой дивизии ближе других пробились к рейхстагу, на котором приказано водрузить Знамя Победы. Батальоны Неустроева и Давыдова заняли исходные позиции для решительного штурма фашистской цитадели.

Я был тогда корреспондентом армейской газеты и по заданию редакции выехал в Берлин. Надо было попасть в полки 150-й дивизии, собрать материал о воинах, отличившихся в боях на подступах к рейхстагу, и немедленно вернуться назад.

В Берлин я приехал часов в десять утра. На каждом шагу наши танки, наши пушки, наши автомашины и солдаты, солдаты, солдаты. На улицах возбужденное оживление, во дворах весело дымят походные кухни, а где-то впереди гремит и клубится в небе бурый дым. Там еще война, туда мне и надо попасть. Но как попасть? Расположения боевых порядков нужных мне полков я не знаю; в условиях

уличных боев, когда в одном доме наши, а напротив, в другом — враги, без совета и помощи осведомленного человека не обойтись. И хотя времени у меня было в обрез, я все-таки решил разыскать редакцию дивизионной газеты «Воин Родины». Там у меня был задушевный друг — литсотрудник старший лейтенант Вася Субботин, беспокойный и непоседливый журналист и поэт. Он сутками пропадал в ротах, иной раз под огнем, по телефону передавал в редакцию информацию и корреспонденции и, конечно, знал все извилины переднего края. Захватить бы только его на месте!..

Очень хотелось повидаться и с редактором газеты капитаном Вадимом Всеволодовичем Беловым, обаятельным и отзывчивым человеком, с которым встречался я не часто, но все же успел подружиться. Он любил газету и поэзию, я же был начинающим газетчиком и поэтом, и он всячески старался помочь мне и в том и в другом.

До войны Белов жил в Москве и работал в газете «Московский комсомолец», был журналистом со стажем и опытом.

Не случайно газета «Воин Родины» считалась одной из лучших дивизионных газет в нашей армии. Солдаты с нетерпением ждали ее и прочитывали от названия и до подписи редактора, хранили вырезки и отдельные номера посылали домой. Они называли ее своей помощницей и сотрудников редакции знали в лицо, сами поддерживали с ними повседневную связь. Стоило кому-то отличиться, как Белову звонили по телефону. И он тут же посылал в роту кого-нибудь из своих подчиненных или же шел сам. Был он офицер смелый и решительный и в то же время спокойный и уравновешенный. Умел себя держать в любых условиях с достоинством.

Не знаю почему, но Вадим Всеволодович следил за моим ростом, читал все корреспонденции и очерки, которые печатались в армейской газете. Однажды, когда я появился у них в редакции, он сказал мне:

— Очерки ваши неплохие, но стремитесь поглубже заглядывать в душу солдата. Часто вы описываете сам подвиг, даете обстановку, в которой подвиг совершен, а нужно раскрывать сущность подвига,— и показывал мне «Красную звезду», где были напечатаны очерки наших ведущих писателей.

Как-то раз в нашей газете было опубликовано мое стихотворение «Сестре». В этом стихотворении я писал о том, что,

мол, кончится скоро война — мы подходили уже к Берлину — и мы, сестра, обретем долгожданный покой и насладимся тишиной.

— Ну, товарищ поэт, — шутливо произнес Белов, но в голосе его я уловил укор, — не для этого мы воюем. Надо смотреть глубже и дальше... У нас столько дел, что в первый же день мира нужно будет засучивать рукава, и засучивать надолго... На это нужно нацеливать солдата.

Возразить мне было нечего.

По долгу службы капитан Белов всегда находился в курсе всех боевых дел дивизии, знал обстановку на переднем крае, и я рассчитывал на его дружескую помощь в выполнении моего задания.

...Примерно через час я наконец разыскал редакцию «Воина Родины» в небольшом белом домике с полувыбитыми окнами, в стороне от уличной суеты, недалеко от тюрьмы Моабит. В комнате, заставленной нехитрым редакционным имуществом дивизионки, к радости своей, я застал Вадима Всеволодовича, Васю Субботина, секретаря редакции старшего лейтенанта Бориса Минчина и заместителя Белова майора Николая Зацепина. Они только что выпустили номер газеты, отправили его в полки и теперь обсуждали очередной. Минчин сидел за столом, и, когда били пушки, перед ним вздрагивала обшарпанная чернильница-непроливайка...

— Хорошо, что приехали! — сердечно воскликнул Белов, здороваясь со мною. — Сейчас нашему брату надо быть прямо-таки в цепи атакующих. Не сегодня — так завтра Москва потрясет весь мир историческим салютом... И наша дивизия... Вы понимаете?

Кто бы не понял радости этого милого человека! Был он в желтом кожаном пальто, с планшеткой на боку, при свежем подворотничке и до блеска начищенных сапогах. Чувствовалось, что он взволнован величием и важностью переживаемого момента, что ему не терпится побыстрее попасть на передний край, чтобы своими глазами увидеть последний подвиг советских воинов в Великой Отечественной войне и написать об этом подвиге уже для самой истории. Он прошел всю войну, был награжден орденом и медалью «За отвагу» и, конечно, давно ждал этого дня.

Давая указания Минчину, он то и дело обращался ко мне:

— Мы собрались туда... — Он сначала кивнул головой на Субботина и Зацепина, потом в сторону артиллерийской

канонады.— Поедем на КП дивизии, сориентируемся и — в полки. Поедете?

Я ответил, что готов ехать немедленно.

— Вот и прекрасно! А вы завтракали?

— Завтракал.

— Это серьезно?

— Честное слово!

Я знал Вадима Белова, и, если бы не дал ему честного слова, пришлось бы садиться за стол, а он бы ждал, пока я поем, и все бы ждали и попусту тратили время.

— Вас, должно быть, интересуют люди Неустроева и Давыдова? — спросил он.

— Да.

— В таком случае Субботин во всем вам поможет и, надеюсь, поделится материалами. Он ночью пришел оттуда. Словом, разлучать вас я не собираюсь.

Говорил он о Васе Субботине с гордостью и нескрываемым уважением. Обычно сдержанный и малоразговорчивый, на этот раз Вадим Всеволодович был оживлен и словоохотлив. Высокий, красивый, с добрыми глазами и мягкой улыбкой на продолговатом лице, он всем своим обликом как бы согревал собеседника и привораживал его к себе. С ним одинаково было приятно побеседовать, просто побыть вместе и даже помолчать.

— Послезавтра Первое мая, — сказал он задумчиво. — Праздник этот, видимо, будет ознаменован водружением Знамени Победы... Было бы здорово! Словом, Минчин, первая полоса из огня... Поехали, товарищи!

Мы вышли во двор. Он положил мне на плечо руку и как-то особенно тепло произнес:

— Скоро, Володя, увидимся со своими... — Улыбнулся и твердо повторил: — Скоро!

У него в Москве остались отец и мать, жена и сын, которого тоже звали Вадимом, и Белов очень сожалел, что не видел его: сын родился осенью 1941 года. О сыне он всегда говорил с гордостью, о жене — с нежностью, чувствовалось — сильно любил свою маленькую семью.

Во дворе стояла трофейная легковая машина, маленькая, зеленая. Водитель взглянул на редактора и включил мотор.

— Как же мы все поместимся в машине? — озабоченно спросил Зацепин.

Белов обошел машину, заглянул внутрь, осмотрел снаружи и с удивлением сказал:

— Действительно, только четыре места!

Мы засмеялись, засмеялся, глядя на нас, и Белов.

— Мы с Субботиным пойдем пешком,— сказал я.

— Пешком? На машине было бы быстрее. Ну что ж, ладно. Обижаться не будете?

— Что вы!

— Верю. Прошу, будьте осторожны, не лезьте куда не следует.

Вадим Всеволодович сел рядом с водителем Митей, позади него разместился Зацепин и с ним — печатник, которому нужно было попасть на КП по неотложным делам. Белов улыбнулся нам, кивнул головой, машина вырулила на улицу и вскоре затерялась вдалеке.

На полчаса мы задержались в редакции, потом по дорожке пошли к улице. Светило солнце, по небу плыли вразброс белые пушистые облака, дымились руины и зеленели клены. Вася Субботин читал мне свои стихи. Мы были молоды...

Повернули к переднему краю, и вдруг возле нас, как вкопанная, остановилась легковая машина. Маленькая, зеленая... За рулем сидел незнакомый шофер, подле — Митя, а сзади — Зацепин и печатник. У Зацепина забинтована голова, у Мити — рука.

— Где капитан?.. Где Белов? — в один голос спросили мы.

Зацепин ответил одними губами:

— Убит...

Мы остолбенели.

Стояла машина. Молча стояли мы. Все молчали. Потом оцепенение прошло:

— Как это случилось?

...Они быстро приехали в район расположения командного пункта дивизии. Поставили за домом машину и пошли на КП. Улица была завалена битым кирпичом, бумагами немецких учреждений, оборванными телефонными проводами, головешками. Вскуду были видны следы совсем недавнего боя. Впереди изредка стучали пулеметы, ухали пушки. Вздрагивала земля. В воздухе носились хлопья сажки.

Недалеко, за домами, был рейхстаг. Капитан Вадим Белов шел по направлению к рейхстагу, за ним шли остальные. Потом... Потом у самых ног Вадима Белова разорвался фаустпатрон. Белов упал. К нему бросились Зацепин и Митя. Он был мертв. Защелкали разрывные пули. Немцы открыли огонь по Зацепину и Мите. Раненные осколками

фаустпатрона, они укрылись за домом. Прибежали солдаты, пытались вынести Белова, но вражеские снайперы не допускали к нему.

Только вечером удалось вынести его и похоронить. А на другой день батальоны Неустроева и Давыдова ворвались в рейхстаг. Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над ним Знамя Победы. На штурм рейхстага шли солдаты 150-й стрелковой дивизии. В карманах у них лежал свежий номер газеты «Воин Родины» — последний номер, подписанный Вадимом Беловым.

Мертвый, он вместе с нами штурмовал рейхстаг и водружал Знамя Победы...

Константин Симонов

МЫ ПОМНИМ!..



Вот и закрыта последняя страница этой книги, в которой рассказано о шестидесяти наших погибших на войне товарищах по профессии — журналистах и писателях.

В январе 1940 года на Ухтинском направлении в снегах Финляндии погиб Сергей Диковский — первый из тех, о ком рассказано в этой книге.

В конце апреля сорок пятого в поверженном Берлине, в самом преддверии победы, погиб Вадим Белов — последний из тех, кто «не вернулся в редакцию».

А между этими двумя смертями лежит огромное расстояние в пять с половиной лет, из которых четыре с лишним года — война.

Когда-то, восемнадцать лет назад, в 1946 году, Илья Эренбург напечатал в «Новом мире» открытое письмо, в котором призывал составить «сборники воспоминаний, способные показать образ наших незабвенных друзей». Он писал об этом так:

«Говорят, что скорбь мешает жить, что печаль разъедает мужество. Разной бывает скорбь, печаль. Когда на фронте

хоронили боевых товарищей и звучал последний салют автоматов, скорбь звала в бой, печаль приподымала дух. Когда скорбят о храбрых, нет места малодушию. Печаль о потере смелого и стойкого друга закаляет сердце. Забвение — это недостойная нас слабость».

Я привел эти прекрасные, на мой взгляд, слова здесь потому, что они имеют самое прямое отношение к той книге, которую я заключаю этим послесловием. В самом деле, забвение — недостойная вещь. И как бы ни было грустно перелистывать одну за другой судьбы журналистов, в конце каждой из которых все одна и та же точка — смерть на войне в расцвете сил и таланта, я глубоко убежден, что умение помнить все, в том числе и трагическое, есть сила, а не слабость.

И это хорошо, что отошли в прошлое времена, когда было не очень-то принято упоминать о тяжести потерь, понесенных в годы Великой Отечественной войны. Правда, вслух говорили тогда об этом обычно несколько иначе — мягче по форме: дескать, не надо подчеркивать тяжесть потерь. Но что значит — подчеркивать? Те, кто остались живы, — те живы, а те, кто погибли, — погибли, подчеркивай это или не подчеркивай. И если уж говорить о долге живых, то их долг в том, чтобы, прежде чем говорить о себе, вспомнить о тех, кто уже не может сказать о себе, вспомнить погибших товарищей.

Журналисты и писатели, большинство которых во время войны тоже были журналистами, в какой-то мере выполняют этот свой долг в нашей книге. И я пишу послесловие к ней прежде всего потому, что считаю эту книгу только началом — иначе бы она не нуждалась ни в каких послесловиях.

Передо мной рядом с книгой лежат списки журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эти списки не совпадают с оглавлением книги, потому что только в одной Москве погибло около ста пятидесяти журналистов. А Ленинград, а Украина, а Белоруссия, а другие республики нашей страны? Повсюду было много, очень много утрат...

Эта книга мне кажется только началом большого дела, которое нам всем вместе еще предстоит совершить.

Погибшие журналисты были такими же солдатами своей Родины в минуту ее тягчайших испытаний, как и любые другие люди любой другой мирной в мирное время профессии. Конечно, первый долг любого из нас и первый долг всех

нас, вместе взятых,—написать обо всей мере подвигов, героизма, жертв и потерь, с которыми была связана Великая Отечественная война, для всего нашего народа. И мы об этом писали. Писали и в годы войны, писали и после нее. Пишем и будем писать впредь, потому что это было и остается для нас самым главным и самым незабываемым. Думается, что мы еще в долгу в этом смысле, и нам предстоит еще многое написать об этом великом и трудном подвиге партии и народа.

Но и о той частице, которую внесли в общее дело советские газетчики, мы тоже непременно должны сказать, потому что это тоже частица нашего долга.

История воинских частей начинала писаться еще на фронте и продолжает писаться сейчас. Но вряд ли когда-нибудь будет написана история фронтовых, армейских, дивизионных газет, в которых трудились тысячи наших товарищей — военных журналистов. Однако если взглянуть на дело шире, то, в сущности, всю эту армию журналистов можно рассматривать как некую единую, сводную воинскую часть, которая своими маленькими ячейками воевала на всех фронтах и направлениях от начала и до конца войны.

И можно написать историю этой своеобразной воинской части, историю ее поражений и побед, испытаний, трудов, подвигов, потерь. Такая история советской военной журналистики, наверное, будет когда-нибудь написана, а книга, которую мы издаем сейчас, и другие такие же книги, которые потом, я уверен, станут в один ряд с ней, окажутся одними из важнейших первоисточников этой будущей истории.

Пока всего шестьдесят имен... Эта книга, конечно, не имеет права оказаться единственной. Рядом с именами людей, о которых в ней рассказано, должны встать еще многие другие имена. Многие из них мы хорошо помним, а некоторые должны сообща восстановить в памяти вместе с историей работы этих товарищей во фронтовой печати и обстоятельствами их гибели. И хотя каждому понятно, что в одной книге трудно вспомнить сразу обо всех, кто заслуживает нашей благодарной памяти, я все-таки хочу подчеркнуть еще раз, что смотрю на эту книгу именно как на первую в ряду других.

Если говорить о воинах, то наше красное знамя до стен горящего рейхстага донесли не только те из них, кто завершил свой героический путь в Берлине, но и те, кто пал на



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШИХ ТОВАРИЩЕЙ
ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ В БОЯХ ЗА РОДИНУ
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941 — 1945 гг.
ПОГИБЛИ СОТРУДНИКИ „УЧИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ“

БУРЫКИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
ВОРОВЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ГЕНИН ЗИНОВИЙ АРОНОВИЧ
ДУБАХ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗУПЕРМАН ИСААК НАУМОВИЧ
ПОЛИТОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ



Так чтят память павших товарищей в редакции «Учительской газеты»

этом долгом и многотрудном пути с оружием в руках, потому что без принесенных ими жертв не могло родиться победы.

Если говорить о работе фронтовых газетчиков, то надо всегда помнить, что раньше, чем над газетными листами появились шапки: «Вперед, на запад!», «Добить врага в его логове!», «Даешь Берлин!» — им предшествовали другие шапки: «Ни шагу назад!», «Выстоять!», «За Волгой земли нет!» И конечно, вместе с нами, дожившими до конца войны и писавшими свои последние военные корреспонденции с берегов Эльбы, из Кенигсберга, Берлина, Праги, Вены, там незримо присутствовали и наши товарищи, не дожившие до грозных и счастливых дней победы, но, пока они дышали, жили, держали в руке перо, делавшие все, что было в их человеческих силах, ради того, чтобы эта победа пришла!

1963 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Жуков. «ПУСТЬ НЕ БУДЕТ СКИДОК НИКОМУ И НИКОГДА»	7
Петр Корзинкин. ПИСАТЕЛЬ-ВОИН	16
Василий Гроссман. «ВЫ ОТЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР И ОРГАНИЗАТОР...»	21
Константин Паустовский. ЗОЛОТЫЕ РУКИ	25
Руеим Фраерман. ПРАВОФЛАНГОВЫЙ	—
«...МЫ ПОВЕДИМ...» (Из писем В. Т. Бобрышева)	27
Борис Камов. ПУТИ-ДОРОГИ ГАЙДАРА	28
Лев Славин. О ЛАПИНЕ И ХАЦРЕВИНЕ	38
Б. Лапин, Э. Хацревин. ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЗАДУШЕВНАЯ	51
Елена Вечтомова. ВСЕГДА РЯДОМ	53
Александр Прокофьев. НА ВАЛТИКЕ	60
Зигмунд Хирен. ВОЗДУХ ВОЙНЫ	61
Константин Симонов. С «ЛЕЙКОЙ» И ВЛОКНОТОМ	71
Савва Морозов. ОН БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ПАРЕНЬ	81
Василий Жилмостный. НАШ ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР	89
Григорий Крылов. «НАСТОЯЩИМ ИЗВЕЩАЮ...»	95
Лев Осипов. ФЛОТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ	97
С. Лоскутов, Н. Ситников, Э. Езерикин. ВОЕВОЙ ФОТОКОРРЕСПОН- ДЕНТ	103
Юрий Корольков. ИСПАНСКИЙ РЕЙС	107
Иван Рахилло. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ	120
ИЗ ПИСЬМА МИХАИЛА РОЗЕНФЕЛЬДА	129
Константин Симонов. ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА	132
Илья Эренбург. ОН МНОГО СДЕЛАЛ ДЛЯ НАШЕЙ ПОВЕДЫ	141

Ираклий Антропников. ЗАРУБКА НА СЕРДЦЕ	144
РАЗГОВОР С ОТЦОМ	149
Николай Потапов. «ГОВОРИТ РУССКИЙ ФРОНТ!»	157
Илья Эренбург. ОДНОПОЛЧАНЕ	166
СТРОКИ ИЗ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ ЗАПИСЕЙ ЛЬВА ИША	163
Петр Сажин. ЖУРНАЛИСТ ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ	172
Леонид Кудреватых. КОНВЕРТ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ	176
Кенджабай Юсупов. АБДУШУКУР ПИРМУХАММАД-ЗОДА	182
Евгений Долматовский. РЯДОВОЙ ГАЗЕТНОГО ПОЛКА	185
Григорий Кияшко. ПИСЬМО В ВЕЧНОСТЬ	190
Анатолий Малутин. С ПЕРОМ И АВТОМАТОМ	204
Василий Скоробогатов. «БЕЗ ГАЗЕТЫ ЖИТЬ НЕ МОГУ...»	216
ПЕСНЯ О ВЕСЕЛОМ РЕПОРТЕРЕ	223
Константин Лапин. ЗЕМЛЯ, ЧАСТИЦЕЙ КОТОРОЙ ТЫ СТАЛ...	227
Григорий Тertyшник. ТРОПА ДО ВЕРЛИНА	233
Павел Григорьев. НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ВОЙНЫ	245
Юрий Жуков. ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ	248
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК НИКОЛАЯ МАРКЕВИЧА	254
СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА	—
Константин Лапин. ПОЕЗДКА В НЕВЕЛЬ	268
Алексей Лобачев. БРИГАДНЫЙ КОМИССАР	276
ПИСЬМА ДРУГУ	281
Ходжи Садык. ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ	283
Константин Симонов. КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ	287
Евгений Каменецкий. ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ.	289
Михаил Мельников. ЕСЛИ ИМЯ ТВОЕ — СОЛДАТ...	301
Михаил Верниковский. ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ВСЕ!	307
Ян Островский. В СЕРДЦЕ НАРОДНОМ	316
Иван Крисковец. ПАРТИЗАНСКИЙ ГАЗЕТЧИК	324
Дмитрий Холендро. ПЕСНЯ О СПЕЦКОРЕ	333
Виль Дорофеев. АТАКУЮЩИЕ ПРАВДИСТЫ	337
Михаил Дудин. СЛОВО СОЛДАТА	368
Георгий Суворов. ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ	370
Станислав Антонов. СЧАСТЬЕ	372
СТИХИ И ЗАПИСКИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ	384
Николай Денисов. ОН МНОГОМУ НАУЧИЛ МОЛОДЫХ...	396

Василий Субботин. СОЛДАТ-ПЕСЕННИК	400
Всеволод Азаров. ОН СТАТЬЮ НЕ УСПЕЛ ДОПИСАТЬ	407
Николай Грибачев. ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ДНЯ...	411
Леонид Кудреватых. КАК СОЛДАТ!	414
Сергей Борзенко. НА ПОЛЕ ВРАНИ	418
Дмитрий Холендро. ПАПА КОЛЯ	421
Владимир Савицкий. НА ПОДСТУПАХ К РЕЙХСТАГУ	433
Константин Симонов. МЫ ПОМНИМ!.. . . .	439

В редакцию не вернулся... Кн. 1-я. Изд. 2-е.
В11 М., Политиздат, 1972.

446 с.

На обороте тит. л. сост.: П. Д. Корзьянкин и А. И. Ланг-фанг.

Эта книга — памятник погибшим на войне журналистам. Тем, кто вместе с солдатами делил все тяготы фронтовых дорог, кто запечатлевал для своего и грядущих поколений облик грозного времени и мужество советских людей, кто не увидел светлого лица Победы.

Заведующая редакцией А. Т. Шаповалова

Редактор Р. В. Короленко

Младший редактор Л. В. Окатьева

Художник Ю. А. Цишевский

Художественный редактор С. И. Сергеев

Технический редактор Н. П. Межерицкая

**Сдано в набор 12 июля 1971 г. Подписано в печать
14 декабря 1971 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1.
Условн. печ. л. 27,9. Учетно-изд. л. 24,26. Тираж 100 тыс. экз.
А 00400. Заказ № 642. Цена 1 р. 14 к.**

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

**Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.**